

## Дорогие читатели!

Поздравляем вас с нашей общей победой — подписка на журнал в 2016 году у нас не сократилась, чего мы опасались, но осталась такой же, как и в истекшем 2015-м. Мы не отступили с наших позиций ни на шаг, несмотря на возросшую стоимость жизни, трудную для наших небогатых подписчиков, несмотря на естественные страхи, связанные с продолжением горестной украинской трагедии, несмотря на то, что нас обожгло дыхание варварских орд и коварных элит Ближнего Востока.

Скромный успех нашей подписки свидетельствует о том, что в России ещё есть запас традиционной духовной и материальной прочности, позволяющий нам мобилизоваться и восторженно встречать возвращение Крыма, выходить на площади российских городов под знамёнами “Бессмертного полка”, выписывать и читать лучший литературный журнал Отечества, верить в то, что “наше дело — правое”, впрочем, как и наше слово. Слава Богу, что души наших читателей не подчинились ни пошлым соблазнам гламура, ни безумствам рекламного шабаша, ни усилиям либеральных СМИ свести жизнь человеческую к страстям о ценах на баррель нефти и курсах рубля и доллара. Наперекор всемирному рёву “хлеба и зрелищ!” мы с достоинством отвечаем: “Не хлебом единым жив человек”.

В истекшем году в редакцию “Нашего современника” пришло около полутора тысяч читательских писем и рукописей, свидетельствующих о том, что лучшая часть нашего народа читает, мыслит, помогает обществу понять, в какое время мы живём. Многие из этих писем опубликованы на страницах журнала и являются голосом нашего “народного фронта” или одним из основных жанров народной публицистики. Благодаря нашим верным читателям “Наш современник” — журнал Валентина Распутина, Николая Рубцова, Вадима Кожинова, Василия Шукшина — вот уже 15 лет, с начала третьего тысячелетия, является лидером по подписке среди толстых литературных журналов.

Традиции вышеуказанных авторов достойно продолжают Юрий Бондарев и Александр Проханов, Захар Прилепин и Альберт Лиханов, Сергей Шаргунов и Иван Переверзин... И многие, многие другие писатели и поэты России. Да будет так и дальше.

Благодарим всех наших друзей читателей за любовь, за талант, за верность. С Новым годом, с новыми надеждами, с новыми победами!

*Станислав КУНЯЕВ*

НАШ СОВРЕМЕННОК

№ 1 2016

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 1 2016

# 80 лет со дня рождения Николая Рубцова



*Звезда полей! В минуты потрясений  
Я вспоминал, как тихо за холмом  
Она горит над золотом осенним,  
Она горит над зимним серебром...*

*Звезда полей горит, не угасая,  
Для всех тревожных жителей земли,  
Своим лучом приветливым касаясь  
Всех городов, поднявшихся вдали.*

*Но только здесь, во мгле заледенелой,  
Она восходит ярче и полней,  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей...*

**Более полувека читают и поют его стихи. Его звезда горит, не угасая...  
И на свет её идут всё новые и новые поколения поэтов и читателей.**

**Материалы, посвящённые юбилею Николая Рубцова, читайте на стр. 212.**

## Премия им. В. В. Кожина



М. Лобанов

## Премия им. Л. М. Леонова    Премия им. Ю. П. Кузнецова    Премия им. А. Г. Кузьмина



П. Беседин



К. Кармалита



Н. Иртенина

## Ежегодные премии журнала



В. Берязев



М. Гуцериев



И. Золотусский



Б. Ключников



Ю. Ключников



Ю. Козлов



Н. Корниенко



Ю. Лощиц



С. Михеенков



А. Проханов



Л. Сычёва



Ю. Убогий



А. Фурсов



И. Чарота



М. Шелехов



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО «ИПО писателей»

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УВОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

### Проза

- Дмитрий ЕРМАКОВ  
Берег юности. Рассказ ..... 3
- Александр ПРОХАНОВ  
Губернатор. Роман ..... 25
- Роман СЕНЧИН  
Дорога. Рассказ ..... 83
- Сергей КОЗЛОВ  
Обычная история. Рассказ ..... 97

### Поэзия

- Юрий ЛОЩИЦ  
Иду, томлюсь и вопрошаю... ..... 21
- Вадим КОВДА  
Я срастаюсь с землёй и небом... ..... 79
- Андрей РАСТОРГУЕВ  
Эпоха ещё не разъята... ..... 89
- Эльвира КУКЛИНА  
Моя речка течёт – навсегда... ..... 107

### Память

- Сергей ШАРГУНОВ  
Вечная весна. Роман-биография  
Валентина Катаева..... 110
- Николай ПЛИСКО  
Авантюра-44 (окончание) ..... 175

### Очерки и публицистика

- Андрей ФУРСОВ  
Русофобия – психоисторическое  
оружие Запада ..... 141
- Михаил ДЕЛЯГИН  
Европа: трагедия интеграции .... 149
- Александр СЕВАСТЬЯНОВ  
Византийская мозаика ..... 157
- Камиль ЗИГАНШИН  
Удивительная Камчатка ..... 197

### Мир Рубцова

- Валерий АУШЕВ  
Архипелаг Николая Рубцова ..... 212
- Сергей ЛАГЕРЕВ  
Старший брат ..... 221
- Анатолий ЕХАЛОВ  
Поэты Божьего призыва... ..... 227

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
*зам. главного редактора* —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
*зав. отделом критики,  
отдел поэзии* —  
(495) 625-02-81

*Отдел публицистики* —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
*зав. техническим центром* —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

Татьяна ЕРОХИНА  
Об одной сплетне  
и неумолимых фактах ..... 235

## *Мир Свиридова*

Александр БЕЛОНЕНКО  
Шостакович и Свиридов:  
к истории взаимоотношений ..... 238

Николай ШУМЕЙКО  
Георгий Свиридов.  
Из прошлого в будущее ..... 268

## *Критика*

Виктор ПЕЛЕНЯГРЭ  
Мужество и верность ..... 275

## *В конце номера*

Елена ТУЛУШЕВА  
Иероглифы и кириллица ..... 285

Наши лауреаты ..... 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 29.12.15. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 20-2016. Тираж 5200 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

Рукописи по электронной почте не принимаются)  
Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarp.ru](http://www.redstarp.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

**ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ**



## БЕРЕГ ЮНОСТИ

РАССКАЗ

1

Бело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посоревноваться в скорости с поездом... И канула вниз, в колёсный грохот.

Состав проезжал по металлическому мосту, перекинутому с одного полого каменистого берега широкой серой реки на другой.

— Онега, — сказал лениво усатый, пухлый, отёчный мужик с противоположной полки, глянув в окно, и отвернулся к стене, укрываясь с головой потрепанным пальцем.

“Онежская губа рядом”, — подумал Николай, вспомнив карту, которую рассматривал совсем недавно, получая расчёт в тресте “Севрыба”. Карта висела на стене в коридоре треста: Архангельск, Белое море, Соловки, изрезанные заливчиками и устьями речушек скалистые берега, горловина выхода в океан, берега, будто изъеденные фьордами, Мурманск...

Всё это знакомо ему. Их траулер РТ-20 “Архангельск” таскал трал у Летнего берега, а потом был переход Баренцевым морем в незамерзающий Мурманский порт.

Снова чайка в окне, но её словно сносит ветром, к оставшейся позади реке... “Летели большие, клювастые птицы за судном, пропахшим треской”, — повторил строчку, застрявшую в голове, но к которой не находилось продолжение.

---

*ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде. После школы служил в армии, занимался спортом. Рассказы, повести публиковались в журналах “Наш современник”, “Алтай”, “Подъём”, “Москва”, “Воин России” и других. Лауреат конкурса им. В. Шукшина “Светлые души”. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.*

...Когда поднимался трал, вода из него рушилась в воду, пенилась, и пенилась единой живой массой рыба, и чайки, пронзительно, скрипуче орали и пенились над тралом...

Всё это было, всё это теперь уже навсегда с ним, что бы там ни было впереди. А что впереди? Учёба в техникуме, если поступит, и жизнь — интересная, большая, хорошая... И поезд несёт его к этой жизни. И хотя небо сейчас серое, а поезд — грязно-зелёный, в ритм перестука колёс складывается: “Прекрасно небо голубое, прекрасен поезд голубой...”

В приоткрытое окно залетает пахнущий паровозным дымком влажный ветер...

— Сынок, прикрой-ка форточку-то, — просит бабулька с нижнего сиденья.

Николай задвигает форточку. И сразу становится душно, все поездные запахи — еды, табака, одежды, людей — лезут в нос. И Коля даже дышит какое-то время через шарфик (белое кашне — предмет особой гордости), потом привыкает к запаху.

А бабульке — приятно-округлой, седовласой — хоть бы что. Как и сидящему напротив неё скуластому востроглазому мужичку в сером свитере и в штанах, заправленных в сапоги, голенища которых собраны в гармошку. На кисти левой руки его — заходящее в море солнце и надпись “Север”.

Старушка сперва с опасением поглядывала на этого соседа, потом стала его расспрашивать о жизни и даже угостила лепёшкой, которую достала из плетёного пестеря с плетёной же крышкой.

И Николаю предложила:

— Паренёк, на-ко, угостись.

— Нет, спасибо, — торопливо ответил он и отвернулся.

“Парнишка-то скромный какой”, — слышит Николай, как тихонько говорит бабулька тётке, сидящей через проход у противоположного окна. И добавила ещё, думая, что он не слышит: “Лопухонькой. У меня внучок такой же”.

Ох уж эти уши! Хоть приклеивай их к голове! Торчат, как лопухи, особенно когда он стрижётся. Получив расчёт в тресте, он и постригся, и в баню архангельскую сходил...

А прилётанный мужичок, освободившийся по амнистии, как стало ясно из разговора, от бабушкиного угощения, конечно, не отказался, уплёл лепёшку, запив холодной водой. Говорил он громко, развязно. Затягивал, но не заканчивал разные песни: “Эх, завтра я надену майку голубую, майку голубую, брюки клёш...” Или: “Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет...” И пояснял бабушке:

— Это, мама, поэт Есенин, был такой, да...

Никакая старушка ему не мама, но он так её называет.

Коля вспомнил, как на траулере старший механик Капуста (фамилия такая!) под гармошку пел: “Клён ты мой опавший, клён заледенелый...” — и тоже говорил, что это Сергей Есенин. Коля тогда запомнил имя и решил для себя, что при первой же возможности пойдёт в библиотеку и спросит Есенина. В городе, где есть техникум, наверняка же есть библиотека...

Он тоже на гармошке-то играл, хоть бывало после смены в кочегарке и руки едва не отваливались. Играл. И частушки позабористее пел — он же матрос, а не какой-то там... “младенец”. Очень тогда, в конторе “Севрыбы” обидело его это слово, брошенное каким-то бывалым, конечно же, морячком. А начальник отдела кадров, глянув в его автобиографию, громко, чтобы и тот, что обидел его, и остальные слышали, переспросил: “Значит, отец на фронте погиб? — Да. — И мать умерла?” Молча, кивнул. “Детдомовец?”

— Ну, к нам если только помощником кочегара...

— Я могу, — Коля тут же заверил.

— Силёнок-то хватит ли...

— Давайте возьмём, — сказал молодой, с озорными глазами и синим якорьком на правой кисти матрос.

— Давай возьмём, — сказал и седоголовый коренастый матрос, оказавшийся кочегаром Иваном Васильевичем Коневым.

— Ну, давайте! — махнул рукой капитан.

И стал Коля Рубцов помощником кочегара...

— По тундре, по железной дороге... — пропел бывший сиделец. — Эх, мама, жил я на Северном Урале, долго и мучительно... Душа праздника просит, мама, — говорил он, охлопывая себя, что-то ища в карманах.

— Сиди, баламут, праздника ему хочется... — ненатурально сердито отвечала бабулька. — Тебя мать-то ждёт ли? — спросила.

— Ждёт.

— Так ты куда, сокол ясной, правишься-то?

— В Мурманск. Ташкент — город хлебный, а Мурманск — город рыбный, — говорил он, произнося название неплохо знакомого Коле северного города с ударением на “а”.

“А хорошо бы и в Ташкенте побывать! — подумал Николай. — И на Байкале, и на Алтае... Страна большая... Но сначала нужно специальность получить, чтобы не бродягой по стране ездить, а нужным человеком”. Вот он и едет получать специальность. А там и горы, между прочим, есть — Хибины...

— Пойду-ка я к своим, в буру перекинусь, — поднялся беспокойный сосед с нижней полки и пошёл вдоль вагона, цепко вглядываясь в сидящих и лежащих пассажиров, нагловато ухмыляясь, опять напевая что-то.

Тётка, что сидела через проход, пересела тут ближе к бабульке, заговорила негромко, но зло:

— Их там целый вагон — архаровцев. Сталин-то помер, так их и распустили, шпану-то. И зачем только?

— Так-так, — кивала сочувственно бабушка.

Она всем сочувствовала, эта бабушка — и худенькому пареньку, что спит на верхней полке, и освободившемуся из лагеря уркагану, у которого тоже мать есть, и этой тётке, переживающей за содержимое мешка, засунутого на верхнюю полку, и за деньги, рассованные по многочисленным карманам и складкам её юбки, кофты, жакетки...

— Так, милая, так... — кивает она.

— А у нас в деревне пастух коров доил, колхозных... В лес-то угонит, да и подоит! А кто-то узнал, донёс — восемь лет дали. И, говорят, таких не отпускают, только тех, у кого до пяти лет срок — во как! — возмущалась тётка.

И вдруг подал голос пухлый мужик со второй верхней полки:

— А кто у нас тут недовольный?

— А лешой бы тебя пронеси! — откликнулась тётка и пересела на своё место, замолчала.

Коля уже и хочет спуститься, размять ноги-руки, и понимает, что лучше лежать, дремать — так есть меньше хочется... Будет какая-нибудь станция — выйдет, подышит...

А за окном вырастают из-под земли огромные камни. И это уже не камни, а скалы, за которые, запустив корни в трещины, уцепились чахлые деревца. А вон-то и море же между скалами видно — стальную холодную гладь Онежской губы.

...И откуда, каким ветром занесло в их село Никольское, стоящее не берегу речки Толшмы, в тысяче вёрст от моря, романтику морских странствий?

Но знали они, мальчишки, что маленькая Толшма их впадает в судоходную Сухону, а Сухона, сливаясь с Югом, образуют могучую Северную Двину, а та несёт воду в Белое море, дальше уже — Ледовитый океан. И отпускаемая по весне сделанные из щепок кораблики в бурлящие ручьи, устремлявшиеся к Толшме, верили они, что доплывут их корабли до самого океана... И вот ему всего-то шестнадцать лет (или уже шестнадцать?), а он уже и по Двине плавал, и по Белому морю, и по океану...

Там, в Николе, выбежали как-то раз на улицу, а по ней идёт, чуть покачиваясь, моряк в широких штанах, крепко печатая востроносыми ботинками снег, в чёрном бушлате, из-под которого видна тельняшка, в бескозырке с развевающимися по ветру лентами... Спереди на ленте бескозырки — золотые буквы: Северный флот.

Детдомовцы и моряка-то до этого разве что на картинке видели.

Он — Колька Рубцов, — как и все остальные, в длинном пальто, в сером, обмотанном вокруг шеи шарфе, в шапке с ушами, завязанными на затылке, первым восхищённый голос подал: “Дяденька, а вы моряк?” “Моряк, моряк... — усмехнулся: — Беги, давай, в дом-то, а то шнобель-то отморозишь!” Остальные тут набегают: “Моряк, моряк!..” — “А у меня папа тоже моряк!” — “Иди ты — моряк с печки бряк!”

А моряк уходил вдоль по улице и в конце её толкнулся в калитку, и с крыльца, будто птица, раскинув крылья, метнулась к нему женщина.

Как же мечтал он, да и другие мальчишки, вот так же когда-нибудь толкнуться в калитку родного дома — в таких же широких брюках, в бескозырке с лентой и золотыми буквами...

А ещё он читал книжки в школьной библиотеке: “Остров сокровищ”, “Пятнадцатилетний капитан”... А фильм “Дети капитана Гранта” смотрели в клубе. И потом долго, как ненормальные или пьяные, распевали: “А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер...”

Да, ветер, ветер... Теперь уж узнал он, что ветер может быть и злым, и грозным, и добрым, и ласковым, и поплакать он может с тобой, и отстегать тебя холодными плетями шторма... “Может ветер выть и стонать, может ветер за себя постоять...” — слагаются слова и остаются в памяти... Вот будет у него свой угол — всё запишет. И может, не хуже тех стихов получится, что читал на “Архангельске” команде. Мужики, похохатывая, повторяли его строчки: “Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато — работаю в трал-флоте!” — и особенно: “Избушка под названием “Пивная” стоит без стёкол в окнах, без дверей”. Здорово получилось!

— Здорово ты, Колька! Молоток!

А кочегоар Иван Васильевич слушал как-то, как Коля напевал что-то под гармошку, и сказал остальным, курившим на баке:

— Его, ребята, Бог поцеловал, у него душа песенная...

В чемоданчике его, кроме второй тельняшки, большая часть денег (ещё есть деньги в кармане бушлата) и тетрадка — тонкая школьная, — и карандаш...

Чемоданчик уже не тот, с которым два года назад ездил поступать в Рижское мореходное училище — сработанный в школьной мастерской, закрывавшийся на гвоздик... Нет, тот, как приехал обратно в Ниолу, бросил с моста в Толшму, чтобы и не напоминал о той поездке. А всё равно помнится.

Нет, поездка-то была интересная: поезд, Ленинград, Рига, сопровождающая Ольга Сергеевна — добрая, но и чуть надоедливая со своим постоянным присмотром. Ехали с ними ещё девочка Оля Смирнова и парень, Вася Коробов, куда-то в Ленинграде поступали. На вокзале их встретила Васина тётя. А Коля с Ольгой Сергеевной переехали на другой вокзал. Пока ехали в трамвае, Коля успел рассмотреть высокие дома, сливавшиеся иногда в сплошную стену с окнами, какой-то канал с чёрной водой в серо-гранитных берегах... “Обязательно вернусь сюда и всё-всё погляжу”, — подумал он тогда.

Приехали в Ригу. В мореходку его не взяли. “Ему ж пятнадцати лет нет ещё”, — сказал Ольге Сергеевне усатый человек в моряцкой форме (Коля был уверен, что это капитан какого-то судна). И тихо, чтобы он не слышал, добавил: “Что вы нам дистрофиков везёте!”

Поэтому он не любит Ригу... И ничего, ничего не помнит...

После той неудачной поездки поступил в Лесотехнический техникум в Тотьме. Куда-то же надо было поступать...

В первый учебный день была экскурсия в музей. И там женщина-экскурсовод рассказывала о том, что церкви в городе, и правда похожие на парусники, строились на деньги удачливых тотемских купцов-мореходов. А тотемский житель Иван Кусков и вовсе построил в Калифорнии русский город, женился на индианке и вернулся в Тотьму. “Значит, дети-то у них наполювину индейцы, — восторженно говорил он новому другу Серёже Багрову. — Ты, Серёга, может, потомок индейцев, а? — Сам ты Чингачгук!” — отвечал



Багров, тоже любитель книжек про индейцев, морские приключения и путешествия...

И как только появилась возможность — рванул в Архангельск. И уж так решил: “Если в мореходку не возьмут, всё равно не вернусь в Николу, в матросы пойду, кем угодно, лишь бы на судно”.

“А жаль, что отказался от бабкиной лепёшки, со вчерашнего вечера не ел...” — отвлекает его голод от воспоминаний.

Поезд долго шёл, замедляясь, и встал на какой-то станции. Народ повалил на улицу. Напялив фуражку-мичманку и запахнув потуже на шее белый шарф, на ходу уже натягивая бушлат, Коля тоже пробрался к выходу, спрыгнул на перрон. А тут настоящий базар — продают варёную картошку, хлеб, рыбу, одежду. Толкаются, кричат, безногий инвалид на тележке, в грязной фуфайке, к которой приколотая какая-то медаль, рвёт гармошку: “Я немцам жару подавал! Я кровь мешками проливал!..” Выделяются блатным форсом освободившиеся по амнистии уголовники, которых полно в поезде. Вон, кажется, и сосед по вагону мелькнул. Точно, он — подмигнул Кольке и исчез в толпе.

Коля на ту мелочь, что была в кармане бушлата, купил у сердитой тётки пирожок с капустой. Сквозь толпу пробрался к вагону, влез, добрался до своего места... И сначала подумал, что это не его место... Но вот же бабулька сидит. Тётка ушла, видно, на улицу. Усатого толстяка с верхней полки тоже нет, и блатного нет... Нет и чемодана, а вместе с ним и денег. Хорошо ещё, что паспорт в кармане брюк и потрёпанная тетрадка со стихами, свёрнутая в трубку, во внутреннем кармане бушлата. Но что же делать без денег?..

Страшно, холодно, пусто...

— Ты чего, паренёк?

— Ничего...

Чего-то он ещё ждёт. Поезд трогается, толпа на перроне растворяется, вагон наполняется. Но не возвращается ни толстяк, ни освободившийся... “Ещё подмигнул мне”, — вспомнил Коля. Глаза его слезами наполнились.

— Что-то негу соседней-то... — вернувшаяся тётка вроде бы говорит. Вроде бы кто-то садится на освободившиеся места — он не смотрит на новых людей. Вроде бы что-то спрашивает бабулька — он не слышит её.

Залезает на свою полку. Пусто. Нет ничего.

Вечером поезд прибыл на полустанок, где нужно делать пересадку — тут отворотка на Кировск. Билет надо покупать. А денег нет.

Но Коля уже успокоился. В конце-то концов, это же приключение! Самое настоящее! Обидно конечно, но что ж... Хорошо хоть паспорт остался. И мичманка, и бушлат, и шарф. И курточку он ещё в Архангельске купил вельветовую, в разрез ворота которой очень красиво выглядывает тельняшка. Фуражку-мичманку ему старпом подарил, бушлат боцман списал и тоже подарил “студенту”. А адрес техникума, в который решил поступать, он на зубок помнит... Ну, что делать — на станции к милиционеру подойдёт: так, мол, и так... Или просто в поезд попросится, там, говорят, уже и остаётся-то полтора часа ехать. “Доберусь! Где наша не пропадала!”

Когда выходил, бабушка спохватилась:

— Ты ж вроде с чемоданчиком был...

Он не ответил, махнул рукой и вышел на перрон.

Был ещё день, но уже клонился он к вечеру. Холодный ветер пронизывал... И вдали видны то широкие и острроверхие, будто взбитые и поставленные углом вверх подушки; то узкие, устремленные ввысь, похожие на тотемские церкви, горы! Хибины...

А на соседнем пути стоял поезд:

— Это куда? — спросил Коля у пожилого железнодорожника, проходившего мимо.

— На Кировск, через пять минут отправляется.

Коля шёл вдоль состава... Вот и последний вагон, а на его крышу, сзади, подсаживая друг друга, подтягиваясь руками, забираются двое парней. Вот они уже и на крыше.

— Эй, помогите-ка! — командирским тоном сказал им Колька.

Один свесил светлую голову, осмотрел его.

— Ну, чего смотришь-то...

— Давай!

Колька вспрыгнул на ступени, ухватился за протянутую ладонь, за крышу, подтянулся... Влез.

— Здорово!

— Здорово!

Гудок. Поезд дёрнулся, и все трое присели, ухватились друг за друга. А поезд набирал ход, вздрагивал... Но вскоре освоились. Кричали друг другу в ухо что-то и всё равно почти ничего не слышали, смеялись... Какие-то замечательные, весёлые это были парни. Примерно одного с ним возраста — один худенький светловолосый, второй — плотный, коренастый, тёмно-русый.

Коля увидел, что на крыше их вагона ещё люди сидят, и на других вагонах. И вовсе успокоился. Только холодно было... И мичманку, на которую, он заметил, завистливо поглядывали парни, всё время держал рукой, чтоб не улетела, а второй рукой держался за какие-то перильца...

Поезд мчался с грохотом и свистом — мимо скал, мимо редких огней... Чувство восторга охватило Кольку.

У парней были с собой ещё и какие-то мешки, и вот один из них достал из своего мешка... гармошку! Тоже, видно, от восторга... Поставив её на колени, заиграл... Точно на такой же гармошке играл Коля в детдоме, и в Тотме, и на траулере:

— Дай-ка! — крикнул парню и показал на гармошку. Мичманку свою снял, подал ему, принял гармонь, пристроился к ней, подтянул ремень, нажал несколько раз на кнопки, склонив голову, будто прислушиваясь, и рванул:

— Куда идёшь, зелёна рать!

— Малину жрать, зелёна рать!..

Парни, севшие вплотную, чтоб слышать его, покатались со смеху...

Так и ехали полтора часа, распевая частушки.

Поезд встал.

— Прибыли, Кировск.

Парни спрыгнули с вагона и быстро прошли в вокзал, который поражал своими размерами, высотой потолка, большими окнами...

Снова познакомились, назвали имена:

— Колька!

— Валька!

— Серёга!

— Вы куда?

— В техникум.

— И я в техникум!

Вышли на привокзальную площадь, за которой тянулись ряды бараков, впереди в туманной дымке начинавшейся белой ночи — горы... А глянув правее, Коля увидел озеро — противоположный берег его сейчас лишь угадывался в дымке.

— Ничего водоёмчик. Не море, но всё-таки, — констатировал Николай.

— Это Большой Вудъявр, — сказал Валька, — озеро.

## 2

Валька и Серёга уже бывали тут. У Вальки старший брат в техникуме на четвёртом курсе учится. Они из рыбоколхоза, что на самом берегу Белого моря...

— Как тут комбинат-то открыли — все, кто помоложе да пограмотней, сюда стали перебираться... Чего там в деревне-то... — говорил Валька.

Выяснилось, что ребятам по четырнадцать лет, сразу после седьмого класса поступают. Коля старше их на два года, потому и выше на голову. А уж по опыту, по тому, где бывал и что видел, он не на голову, а на все три выше этих деревенских парней-поморов — невысоких, но крепких уже по-мужицки.

Между делом, идя по мягко пружинящим под ногами деревянным мосткам, он рассказывал им про Архангельск, про Мурманск, про Ленинград (который почти и не видел, но так уж его поразило то, что успел увидеть, пока проезжали с вокзала на вокзал), про траулер...

Уже белая мутная ночь опустилась на город. Дома, всё двухэтажные деревянные бараки, тянутся унылыми рядами вдоль грязных, с разбитыми дорогами улиц, кое-где желтеют окна. А там, у гор, где-то за городом слышен постоянный гул, похожий на шум прибора, и будто откуда-то из-под земли вырывается свет и озаряет жёлтым и красным небо...

— Комбинат! — говорит Валька. — А вот и общага, — он сворачивает к тёмному бревенчатому, длинному дому-бараку.

“Общезитие № 1” написано на табличке у входа. Под козырьком крыльца горит фонарь в стеклянном колпаке и металлической сетке... И как-то не по себе становится Кольке от этого барака, от этого фонаря в сетке...

Валька уже дёргает дверь. Заперто.

Николай на правах старшего берёт инициативу на себя, уверенно стучит. И ещё раз. У ближнего к двери окна на первом этаже сдвигается шторка. Приоткрывается форточка:

— Чего стучите-то? А? Чего гремите? — спрашивает строгий хриплый женский голос.

— Откройте, пожалуйста, мы поступать приехали, — уверенно говорит Николай.

— Поступать... Стойте, щас открую...

За дверью слышны шаги, стучит об пол скинутый длинный металлический крюк, дверь открывает невысокая женщина с жёстким лицом, в платке, покрывающем голову, в зелёной кофте.

— Ну, заходите, мазурики. Знаю, что поезд только пришёл, уж жду. Каждую ночь едете.

Ребята стояли в тесном коридорчике, переминаясь с ноги на ногу...

— Подождите, сейчас выделим вам комнату... — деловито говорит женщина, листая толстую тетрадь. И сообщает: — Меня зовут Зинаида Николаевна, я комендант, слушаться меня, как отца родного!.. Вот в девятую вас пока поселю, пошли. — И шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж.

Коля успел увидеть длинный коридор с рядом дверей, одна дверь приоткрылась, выглянула девчонка, да и спряталась. Значит, на первом девушки живут.

По лестнице навстречу им бежал белоголовый крупный парень:

— Ну, здорово, орлы! — тряхнул за плечи Вальку, ткнул в плечо Сергею. Николаю протянул руку: — Валерий. Старший брат вот этого индивидуя, — кивнул на Вальку.

— Николай.

— Он в тралфлоте служил! — сообщил брату Валька.

Валерий кивнул уважительно и шутливо одновременно — не поймёшь...

Поселились в пустой ещё комнате, в которой стояли восемь кроватей.

— Бельё и матрасы завтра выдам, если документы возьмут ваши, — сказала комендантша, которую нужно было слушаться, как отца.

Парни так устали от всех впечатлений дня, что тут же растянулись на голых пружинных кроватях и, вроде бы и продолжая ещё говорить, засопели, уплывая в сон.

— Ну, спите, если что — я в четвёртой, — сказал, видя такое дело, Валерий и ушёл.

Парни, подложив под головы свои мешки, тут же уснули.

Николаю и подложить было нечего, он лежал на спине, закинув за голову руки.

Он не спал, он, просмотрев внутри себя все события сегодняшнего дня, беспорядочно и полусонно снова вспоминал разное из жизни своей.

Опять вспомнил ту воспитательницу — Ольгу Сергеевну. Она очень любила стихи. И его, Коло, любила за то, что он сочинял стихи.

Да, с ним это уже давно бывало: возьмёт да и скажет что-нибудь складно. Потом ещё в школьную стенгазету писал... В Риге, когда шли из училища

на вокзал (а уехали в тот же день), она, может, стараясь отвлечь его от переживаний неудачного поступления, рассказывала:

— Я читала, что здесь лечился раненый поэт Батюшков, здесь он полюбил девушку, но не смог жениться на ней...

Коле и правда было не до Батюшкова, и он плохо слышал воспитательницу. Но заинтересовался, когда она сказала:

— А родом Батюшков был из Вологды, как и ты... У него сам Пушкин писать учился... А похоронен Батюшков в Прилуцком монастыре.

— А, так это было давно?.. А монастырь-то я знаю...

И сейчас, в голой комнате Кировской общаги, как тогда посреди красивого нерусского города Риги, память унесла его в тот светлый день, под древние Прилуцкие стены... Они жили там, в Прилуках, когда переехали из Няндомы. Домик их (снимали, кажется, у кого-то) был неподалёку от монастыря, и рядом была ещё церковь, Никольская, и кладбище. И река Вологда была рядом. Только почему-то недолго пожили в том домике (а несколько месяцев, которые жили в нём, помнятся, как самые счастливые), переехали в Вологду, в страшный барак, потом война началась, мама умерла, отец на войну ушёл, первый детдом, второй... Мама раскинула на травке скатёрку, выложила из корзины какую-то еду — хлеб, огурцы... Отец купался, Коля пытался схватить в траве кузнечика, но и боялся его — треугольного и большеглазого, и всё равно хотел схватить, и с восторгом наблюдал, как делал кузнечик гигантские прыжки... А потом от монастырской стены бежал какой-то человек, а за ним другой человек, в форме, но не мог догнать. А его отец вылез из реки и догнал, приказал стоять. И беглец остановился.

Больше он ничего не помнил о том дне. Только осталось щемящее чувство того, что и в самое доброе счастье всегда может ворваться что-то непонятное и недоброе...

Так вот там, за теми-то стенами — могила Батюшкова. Когда-нибудь он побывает там, нужно побывать...

Потом уже, в Архангельске, был у него период — месяца два, когда он снова не поступил в мореходку, но ещё и не устроился в тралфлот: ему подсказали, что есть место в библиотеке в Соломбале... Добрая вахтёрша из училища увидела его, едва не ревушего, и сказала:

— Да будет тебе, поезжай домой, через год поступишь.

— Нет у меня дома...

Тут-то она и сказала, что, мол, дочь увольняется и освобождается место библиотекаря — и жильё прямо там и, пусть небольшая, зарплата.

— Потому как на судно-то когда тебя ещё возьмут... — покачала головой. — Ты там годик-то поработаешь, подготовишься да на следующий-то год и поступишь...

Вот и стал там жить-работать. Неплохо, в общем, устроился. Главное — книг много. И он читал. Там-то и попался ему том Пушкина из собрания сочинений 1937 года выпуска. И в этом томе подробный разбор “Опытов в стихах и прозе” Батюшкова. Так там Александр Сергеевич “учителя”-то своего “под орех” разделявал! Но и восхищался удачными стихами и строчками... Никаким Батюшков учителем Пушкина не был. Но учился Пушкин и на нём, и на Вяземском, и на всех тех книгах, что читал... Вот именно тогда Коля понял это про Пушкина и Батюшкова. И сам, между прочим, старался уже читать по-пушкински... Потом, на корабле, конечно, долго не до книг было. Ну, теперь-то уж он начитается... И кстати, там же, в той архангельской библиотеке, нашёл книгу Всеволода Гаршина (знал этого писателя по сказке “Лягушка путешественница”, которую читал ещё в детстве) с его обжигающими рассказами. А в предисловии вычитал, что какое-то время Гаршин жил в усадьбе Красково под Вологдой. А ведь детдом, в который поначалу его и брата Бориса привезли, в Краскове и был, в усадьбе... Может, в той самой... Тесен всё-таки мир. Всё близко в нём, надо только чувствовать. Давнее становится вдруг осязаемым, твоим.

Он поднялся, вышел из комнаты, пошёл по длинному коридору в дальний его конец, откуда пахло уборной — хлоркой и куревом.

Тут и кучковались старшекуреники. Курили, говорили о чём-то громко

и весело, явно не думая о том, что могут кому-то мешать спать. Впрочем, общежитие было ещё почти пустым. Тут был и Валерка, Валькин брат.

— Этот, что ли? — спросил у него невысокий, широкоплечий, курносый парень, куривший папиросу.

Валерка кивнул, но и как-то отвернулся сразу, будто и не знал вовсе Николая.

— Здорово, морячок! — окликнул курносый и выдул дым в сторону Коли.

— Здорово...

— А чё, на флоте хорошо зарабатывают?

— Нормально получают.

— Так поделись, — напрямую сказал парень, и двое его дружков заушмылялись, а третий, Валерка, пробубнил:

— Да ладно, Седой, не надо...

Но Седой не слушал его. Спрыгнул с подоконника, шагнул к новичку.

Николай знал, что именно сейчас, сразу, нужно поставить себя так, чтобы больше уже не трогали. Вспомнил приёмчики, которым учил его на траулере Вовка Девятов (похожий, между прочим, на этого Седого). Вспомнил и то, как дрались ребята с траулера в пивнухе в Мурманске, и он даже пытался помогать им...

Он сам шагнул навстречу Седому и не ударил, а ухватил за чуб, спадающий на глаза, и резко вниз потянул, так, что парень сразу на колени опустился — Девятова наука. Дружки дёрнулись к нему, но Николай ещё раз резко потянул волосы:

— Ему же хуже будет.

— Отпусти, — прохрипел Седой.

Николай отпустил, ожидал, что сразу будет удар, но виду не показал, не отшатнулся, заговорил миролюбиво:

— Ребята, давайте забудем это. Дайте лучше покурить. А то я вторые сутки без курева, а у тех малюток только конфеты.

Седой сам дал ему папиросу — выщелкнул из пачки “Беломорканала”.

Николай, уезжая из Архангельска, задумал бросить курить, всю дорогу не курил и вот — опять... И уже он рассказывал парням, как работал на сейнере, к месту вставил и про то, как дрались в Мурманске...

— В поезде вот обокрали — совсем на мели.

— Ничего, здесь не пропадёшь — кормёжка казённая, не ахти, но с голодухи не помрёшь.

— Ещё поступить надо.

— Поступишь.

— Напишу братве на сейнер — выручат деньгами, — ещё похвастал Николай.

...Он вернулся в свою комнату, лёг на взвизгнувшую пружинами кровать. В окно вливался серый свет белой ночи. Да-да, никакая она не белая — серая эта ночь, серая...

Горько было Коле, грустно. “Ну, почему же так? Неужели всю жизнь надо будет что-то доказывать, отстаивать своё место... Вот что я им плохого сделал?! И почему стал хорошим, только когда плохо сделал? А?..” Но постепенно успокаивался, и мысль уже другая пришла: “Ну, хорошо хоть я, а не меня. Больше не сунутся. Можно спокойно устраиваться, готовиться к экзаменам, учиться”. И, как удар: “А надолго ли здесь-то?” И что это за сила гонит и гонит его с места на место, срывая, когда уж вроде бы устроился, прижился... Поступил вот в Тотьме в “лесной” техникум — учился легко, друзья были, крыша над головой, в будущем — хорошая специальность. Но бросил всё, в Архангельск поехал. О море мечтал! И добился же своего! И на судно попал, и в коллектив вписался, и в работу втянулся. Но опять бросил всё — сюда приехал... Неужели всю жизнь так? Неужели бродягой быть?..

Уснул, когда все уже просыпаться начали.

— Колька, пошли документы-то подавать, — толкнул его Валька.

— Ага, сейчас, — отвернулся к стене и попытался накрыть голову несуществующим одеялом.

— Вставай давай, пошли!

— Ну, пошли, пошли...

А когда возвращались в общежитие, их поджидала уже комендантша Зинаида Николаевна:

— Хватит вам бродить без дела, красавцы, — строго сказала она и определила фронт работ: пилка брёвен и колка дров.

Брёвна были свалены неподалёку от общаги. Ничего не поделаешь: взяли у Зинаиды Николаевны пилу, колун... Коля, когда получал в кладовке пилу, весело говорит:

— Это ж моя любимая работа, я ж прирождённый пыльщик дров!

И строгая Зинаида Николаевна, глядя на него, вдруг улыбнулась и сказала:

— Ишь, какой!.. Ну, давайте, ребята, давайте, а я вам к чаю печенья дам.

Валька встал с Колей к двуручной пиле, Серёжка за колун взялся. Деревенские ребята, конечно, умели с этими инструментами обращаться. Да и Коля не зря хвастался — пилить доводилось и в детдоме, и в Тотьме. Там они с Серёжкой Багровым целую делянку, десять кубов леса на корню, спилили — было дело, без этой нормы не отпустили на каникулы...

Подходили ещё ребята, тоже в работу включались. По ходу дела и знакомились. И девушки вышли (комендантша никого без дела не оставляла), стали складывать наколотые полешки в поленницу...

На перекуре Валька сбегал за гармошкой. И Коля, пристроившись на чурбаке, растянул меха: “Шумел камыш, деревья гнулись!..”

— Давай повеселее, Кольша!

— У нас, когда камыш только шумит, деревья гнутся!.. Ну, держись!

И тут сами, одна за одной, вспоминались частушки, что пелись на гулянках в Николе...

*Нам хотели запретить  
по этой улице ходить.  
Наши запретители,  
по морде не хотите ли!*

*Из тюремного окошка  
вижу город Вологду.  
Принеси, сударка, хлеба —  
умираю с голоду.*

Когда кто-то из ребят хотел перебить его, своё спеть, Николай сразу откликнулся:

*А ты не пой, а ты не пой,  
У тя голос не такой!  
Есть такие голоса —  
Дыбом встанут волоса.*

*На столе стоит бутылка,  
А в бутылке лимонад.  
Девки юбки разорвали —  
Председатель виноват.*

Тут и девушки ответили:

*Гармонист, гармонист —  
Рубашечка моряцкая,  
Почему же у тебя  
Морда-то дурацкая?*

— грубовато спела высокая чернявая красавица.

Вторая — светленькая, худенькая — смягчила грубость:

*Хорошо парнёк играет,  
Хорошо и слушать-то!  
Задумшевная подруга,  
Игрока и сушат-то!*

— Хорошо поёте, да надо и дело делать, — нестрога сказала появившаяся вдруг комендантша и даже положила пару поленьев в поленищу.

Николай ещё пропел, подыграв маршево: “Нам песня строить и жить помогает!..” — и отложил гармошку.

А вечером вышел Коля на крыльцо покурить, а из окна ему Зинаида Николаевна:

— Кареглазый, иди-ка сюда, — и подала в раскрытую форточку пачку печенья...

...И вот — экзамены сданы, на стене приказ: “Зачислить...” И долгий список. На “Р” — вот он: Рубцов Николай Михайлович.

Будет теперь учиться на маркшейдера.

— Ну, что, братва, отметим! — хлопнул по карману своего флотского бушлата. Он ведь на второй день по приезде и правда — взял, да и написал письмом кочегару своему. И вот вчера получил перевод — больше, чем при расчёте, денег друзья-моряки ему выслали. И был рад, и говорил: “Вот это морская дружба!” И в кармане его сегодня ещё не только звенит, но и шуршит.

— Отметим! — тут же подхватил идею новый приятель, тёзка — Колька Шантаренков.

В комнате их теперь уже семь человек. Кроме первой заселившейся троицы (Коли, Серёги и Вальки) — Колька Шантаренков, Жёня Ивановский, Васька Потапенко и Эдик Гольдберг. Восьмая койка почему-то так и осталась пустой.

Общага теперь полна, гудит, как улей, — во всех комнатах живут, на первом этаже — девушки, на втором — парни. Старшекурсников перевели в другое общежитие.

Не заходя в общагу, компания — два Николая, Валька и Жёня Ивановский — отправилась на рынок.

Уже две недели, как они здесь. Поиздержались, домашние припасы приели. Но сегодня Коля “на коне”! Сегодня он угощает.

Шли центром города: памятник Кирову, дом культуры, кинотеатр. Ровными линиями — полтора десятка новых пятиэтажных домов. Никто из парней таких домов раньше не видел. И думалось, что вот она, здесь, на их глазах зарождается новая прекрасная жизнь, о которой пишут в газетах и показывают кино. Город — совсем молодой, вырос вместе с рудником и комбинатом — стране нужны минеральные удобрения! Да, они уже знают, что начинали его строить заключённые, и сейчас там, внизу, “зеки” работают, лагерь неподалёку от города. Но ведь есть и “комсомольцы-добровольцы”!

Кончились пятиэтажные красавцы, и потянулись ряды бараков. Но вон и красивое здание вокзала, строенное, видно, с расчётом на рост города. И сбоку от него — базарчик, ларьки пивные, рыбные, овощные.

Купили еды. Коля, как старший, пошёл вино покупать. Зашёл в низкий деревянный магазин, попросил две бутылки плодово-ягодного.

— Тебе сколько лет-то? — спросила моложавая, румяная продавщица в грязноватом халате и в колпаке.

— Девятнадцать. Да я ж моряк — не видно, что ли?

— Моряк — с печки бряк! — откликнулась молодуха, напомнив детдомовскую дразнилку. — Каким же ветром к нам-то? — выставила вино на прилавок.

— Попутным! — ответил Николай и взял бутылки.

— Ему пятнадцать, тётенька! — подал тут голос тихонько до этого стоявший у двери Шантаренков. — Но мама ему уже разрешает...

Коля лихо засунул бутылки в карманы бушлата. Погрозил пальцем тёзке. Настроение у него было задорное, и даже случайное упоминание о матери сейчас не задело.

Он развернулся снова к прилавку:

— Беломора ещё две пачки и коробок, — сказал, выкладывая на блюде деньги.

Продавщица усмехнулась, ничего больше не сказала, подала папиросы и спички.

— Пить будем, гулять будем! — приплясывая, напевал Шантаренков, когда шли в общежитие.

— Держите себя в руках, молодой человек, — строго сказал Рубцов...

Глянул он сейчас на своих “собутельников” (совсем ещё детишки, все младше него) и сказал: “Валька, беги-ка к брату, пусть свою партию ведёт!”

В комнате разложили еду, открыли вино... Не заставили себя долго ждать старшекурсники, пришли из своего общежития — Седой, Валерка и ещё один парень, — подвинули мелкоту.

— Ну, за нашу новую жизнь, — торжественно сказал Николай, и разномастные чашки, кружки, стаканы сдвинулись с глухим звоном...

Старшие парни, в общем-то, всё вино и выпили и вскоре ушли. Николай подумал и не пошёл с ними.

— Доставай гармошку, Валька, пошли к девчатам! — скомандовал.

И, собрав оставшиеся продукты, ребята пошли этажом ниже.

Смелости добавляло и то, что комендантши не было на месте, её комната у выхода была заперта на замок.

С девчатами за дни экзаменов уже познакомились и пришли в комнату, в которой жили их одногруппницы.

— А мы в гости! — Коля развернул гармошку:

*Машина ехала,  
Колёса тёрлись,  
А вы не ждали нас,  
А мы припёрлись!*

— Угощайтесь, девчата!

Девочки стеснялись, но и старались показать себя хозяйками. Быстренько освободили стол, разложили еду по тарелкам и блюдам.

Коля гармошку не выпускал. Сначала плясовую выдал... Но плясать никто не стал, хотя и заулыбались, запритопывали.

И тут Николай замер, будто вслушивался в себя, и все почему-то замолчали и замерли, и он начал негромко:

*Ветер под окошками, тихий, как мечтание,  
А за огородами в сумерках полей  
Крики перепёлок, дальних звёзд мерцание,  
Ржание стреноженных молодых коней...*

Дальше не пел, а только мычал мотив, потом перестал играть, замолчал.

— Это чьё? — спросила девушка с внимательными глазами, имя которой он ещё не запомнил.

— Да это так...

— На Есенина похоже, — сказала другая девушка, — я читала...

— Да это же твоё, Колька! — Шантаренков крикнул. — Это он пишет. У него целая тетрадь...

Николай резко встал, скинул ремни гармошки с плеч, сунул её Валентину и резко пошёл к двери.

— Да ты чего, Коль...

Хлопнул дверью. Вышел на улицу, пошёл, куда глаза глядят. Оказалось, что в сторону гор, подковой огибающих город. Ветер быстро выдул хмель, остудил. И уже не было никакой обиды, и даже сам себе удивлялся: чего сорвался-то? Смотрел на горы и думал, что хорошо бы подняться на них, посмотреть оттуда на город, на озеро... Ещё поднимется.

“А девчонки ничего есть... Конечно, не как Таня. Надо будет написать ей. А ведь ей ещё год учиться в Тотьме, а потом куда она? А я куда? Здесь буду?..”



— Вон он! — услышал голос Жени Ивановского.

Догнали. Шантаренков и Ивановский.

— Ну, ты чудак, — заговорил Колька Шантаренков. — Чего обиделся-то? Пошли в общагу, а то комендантша пришла, запрет двери — останемся на улице.

— Ну, и ладно... А ты... трепло, — Коля улыбнулся. — Пошли!

Он закурил, отвернувшись от ветра и прикрыв огонёк спички ладонями.

— А вот придумайте-ка мне рифму на слово “идиот”, — сказал он ребятам.

— Пароход!

— Бегемот!

Смеялись, кричали возбуждённо — от предчувствия ли счастья, от чего ли ещё...

— Ну-ка, потише, — прикрикнула на них комендантша из своей комнаты.

— Всё-всё, Зинаида Николаевна, — ответил Шантаренков, состроив при этом дурацкую рожу. И тихо добавил: — Отец ты наш родной...

Коля строго погрозил ему пальцем и этот же палец к губам прижал — молчи.

В комнате продолжился конкурс по придумыванию рифм.

— Ну-ка, на слово “рубка”! — дал задание Коля.

— Рубка леса, что ли?

— Рубка на корабле...

— Будка! — Гольдберг первым сказал.

— Нет, не то...

— Юбка!

— Покупка!

— Трубка! — Женя Ивановский последним голос подал.

— О! Вот это железная рифма, — похвалил Коля. И тут же добавил: — Но мне не подходит. И, не скрываясь, достал купленную сегодня же тетрадь в чёрной обложке и что-то записал в неё тоже новой чернильной ручкой. Старая тетрадь, которую ещё в Тотьме завёл и таскал везде с собой, даже на траулере, давно кончилась, да и поистрепалась.

Засыпая, он ещё подумал, что надо будет стихи из старой тетради в новую переписать.

### 3

Началась учёба и повседневная жизнь. Программа первого курса в основном совпадала с тем, что учил и сдавал Николай в лесотехническом техникуме. Так что учился он легко, не напрягаясь: отличником не стал, но и двоечником не был. В комнате убирали по очереди, подметали и мыли пол, уже в конце сентября начали топить печь. Дрова надо было приносить из поленицы во дворе. Печь дымила; боясь угореть, ребята оставляли трубу открытой, пока угли совсем не остывали. Конечно, и тепла от такой топки было немного...

Но даже такую плохонькую печь Коля любил топить. А точнее — любил он сидеть перед топкой, подбрасывать полешки, глядеть на огонь... Тут же и читал, и писал тоже.

Как и думал, записался в городскую библиотеку.

В первый раз Николай взял сборник Некрасова. А когда второй раз пришёл, Фета попросил... Когда пришёл через неделю сдавать книгу, впереди него у стола библиотечарши — очкастой худой женщины с седыми волосами, собранными в кучку на затылке, — стоял невысокий паренёк. Он сдавал какую-то явно старую книгу...

Коля сразу же и взял эту книжку посмотреть. Да это ж чудо! Альманах “Серебряный ветер”, 1924 год. Николай отошёл к окну, стал листать. Есенин! “Выткался над озером алый свет зари...”

— А я предпочитаю Северянина, — раздался негромкий голос совсем рядом, сбоку. Коля обернулся. Тот мальчишечка и стоял — волосы светло-

русые, хохолок торчит, глаза голубые-голубые. Вроде бы серьёзно сказал он, и смотрит вроде бы серьёзно. Но и усмешка какая-то чувствуется.

— Чего?

— Северянина предпочитаю.

— Какого ещё северянина?

— Игоря, поэта. Вы что, не знаете? Здесь есть, — кивнул на книжку. Коля перевернул страницу. И правда — Игорь Северянин.

*Она вошла в моторный лимузин,  
Эскизя страсть в корректном кавалере,  
И в хрупоте танцующих резин  
Восстановила голос Кавальери,*

— прочитал Николай. — Да, ярко. Но, знаешь, как-то без души...

— Ребята, вы бы потише, — сделала замечание библиотечарша.

Они быстро взяли книги: Коля — сборник “Серебряный ветер”, а парень, фамилию которого успел прочитать Николай в карточке, — Ерофеев, — взял Гёте.

Вышли на улицу.

— Веня, — первым подал руку парень.

— Николай. Рубцов.

— А ты, похоже, и сам пишешь...

Они шли по дощатым мосткам, и доски приятно качались под ногами, и это даже напоминало Николаю то, как плавно покачивалась палуба в спокойную погоду, при хорошем быстром ходе траулера...

— А ты тоже, наверное, пишешь, — ответил он Вене.

— Пробую. А ты дай своё почитать.

— Да я тебе и так читаю: “Ветер под окошками, тихий, как мечтание...”

Ерофеев выслушал и проговорил с усмешкой:

— О пастухах достаточно сказал ещё Вергилий.

— О каких пастухах? — Николай даже опешил от такой наглости.

— Ну, кони там у тебя ржут...

— И чего?

— Есенинщина — вот чего.

— А в лоб? — остановился и насунился Коля.

— Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все великие люди так плохо воспитаны? — сказал Веня и обезоруживающе улыбнулся.

Они остановились перед деревянным двухэтажным домом с табличкой, на которой написано: “Детский дом...”

— Ну, пока, Николай.

— Подожди, так ты тут, что ли?

— Да.

— А я ведь тоже... Детдомовский.

И они пошли дальше, к озеру. Остановились на берегу — камни серые, розовые, по воде невысокие (в сравнении с морем, конечно) волны с белыми шапками пены. Серое небо, горы за озером...

— Вода — моя стихия, — сказал вдруг Рубцов. — Река, озеро, море, да хоть пруд! Это моё... И огонь моя стихия! Люблю костёр на берегу, огонь в печи. И ещё ветер люблю... Люблю ветер, больше всего на свете!

— А горы? Ты ж на горняка учишься?

— Не знаю. Пока не знаю, Веня... Было мне лет пять, и я три дня в лесу жил, ушёл из дома и жил под ёлкой; ягоды ел, пил из речки и костёр разжигал. И не боялся ничего. Вот с тех пор я знаю, что не пропаду у реки, у костра. Это моё... А потом вернулся домой, там сестра уж в милицию заявила. Я в Вологде жил. Слышал такой город?

Веня кивнул и спросил:

— У тебя совсем никого?

— Совсем... Нет — братья есть, сестра... Я их найду.

Про себя Веня ничего не сказал, а Николай не спросил.

Они вернулись к детскому дому, попрощались. И больше они никогда уже так не разговаривали, хотя виделись довольно часто — в библиотеке, в кинотеатре “Большевик”... Почему-то больше не говорили.

Коля шёл из техникума в общежитие. Стало скучно, и он просто ушёл с математики. Хотелось побыть одному, полежать на койке, не слыша разговоров и беготни в коридоре. Просто подумать...

Он подходил к общежитию и вдруг понял, что это длинное тёмное здание очень похоже на тот дом, в котором... В котором столько несчастья было! Который хочется забыть ему. Из которого ушёл и больше не вернулся отец, из которого ушла в больницу и уже не вернулась смертельно больная мама, в котором умерла крошечная младшая сестрёнка, из которого забрали в детском доме сначала братьев, а потом, когда тётка взяла к себе сестру, забрали в детский дом и его... Он ненавидит этот дом. И вот он — перед ним.

Коля не пошёл в общежитие, обошёл здание... За их домом был дворик, тополя, сарайки, кусты... Там, у стены дома, за кустами, рос цветок, на который он ходил любоваться, набирал из лужи воду в банку и поливал его... Маме подарить хотел...

Тут никаких деревьев и кустов не было... Да и трава-то пожухла уже. Снег вот-вот выпадет. Зима за Полярным кругом рано приходит.

Коля поправил шарф, застегнул верхнюю пуговицу бушлата, закурил. Выкурив папиросу, он пошёл в общежитие, в свою комнату, по пути набрал под лестницей охапку дров, чтобы затопить печь.

Он уже знал, что долго здесь не проживёт.

Сидел перед топкой, огонь лизал поленья, ветер гудел в трубе, на коленях Николая лежала тетрадь в чёрном переплёте. И был он, Николай Рубцов, в этот миг далеко от этого барака, от этого неуютного мира...

...Из стипендии вычиталась плата за общежитие и за питание в техникумовской столовке. Оставшейся мелочи хватало разве что на курево. Конечно, те, кому приходили посылки из дома или кто сам ездил на выходные домой, вечерами, когда садились за общий чай, делились продуктами. Но не мог же Николай всё время на чужом сидеть, хотелось и ему одногруппников угостить... В общем, нужны были деньги.

От Вальки он узнал, что техникумовцы давно уже подрабатывают на железнодорожной станции — разгружают вагоны. Ещё и не попадёшь просто так в бригаду-то. Но у Вальки же старший брат, Валерка, на четвёртом курсе...

И вот с Валькой идут вечером на станцию — холодно, пахнет углём, сыростью... Из своей общаги подходят старшекурсники — всё та же компания во главе с Седым, Васькой Седовым.

— А, морячок, привет... — смотрят на него, не богатыря с виду, с сомнением, но и помнят, как поставил Седого на место, знают, что работал в тралфлоте...

И пошла вскоре работа! Разгружали вагон с картошкой. Тяжеленные мешки двое, Седой и Валерка, с площадки вагона водружали на подставляемые спины. Четверо таскали.

Коля довольно быстро втянулся, бегом от вагона под крышу склада забегал. Когда же все уже явно устали (но отдыхать было некогда, начальник склада подгонял, надо было убирать вагон), он и начал по своей привычке выдавать частушки. Потом вспомнил читанного недавно Некрасова: “Видь на Волгу, чей стон раздаётся!” — выкрикивал на бегу. “Эх, дубинушка, ухнем!” — говорил, подставляя спину под мешок. “Эх, зелёная, сама пойдёт!” — орал, отбегая от вагона.

А когда мешки кончились, и они, покачиваясь, шли в комнатку начальника склада за расчётом, он продекламировал:

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,  
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем  
И в ночь идет, и плачет, уходя!*

— Ну, ты уж загнул, чего-то... — покрутил пальцем у виска Седой.

— Это же поэт Фет! Деревня! — добродушно откликнулся Коля.

Получили по тридцатке и к дому двинулись. Обошли какой-то состав, перешли через пути... Гуднул маневровый тепловоз, тащивший один вагон. Встал на площадке, обнесённой колочей проволокой. Ребята притаились за вагоном, глядели. По периметру площадки стояли солдаты в длинных шинелях, в зимних шапках, с автоматами наизготовку, у некоторых на поводках овчарки. Брякнул засов, отъехала дверь.

— Пошёл!

Человек выпрыгнул, отбежал от вагона и присел на корточки, руки за голову убрал. И второй так же, и третий... Лай собак, выкрики, пар из десятков ртов... Холодное чёрное небо над холодной землёй.

— Зеков на рудник привезли, — сказал Седой. И скомандовал: — Пошли.

Ребята, стараясь оставаться незамеченными, быстренько уходили от страшного места.

— Внизу, в руднике больше двух месяцев никто не работает, — говорит Седой, когда уже идут по улице. — Или в больничку, или на кладбище...

— Ну, ты дак всё знаешь.

— Люди говорят. Да у меня ж брат сидит.

— А у меня дядька вышел, — кто-то сказал.

По чёрному небу пробежал блик какой-то, и ещё, и замигало, заиграло небо синим, жёлтым, розовым. Мальчишки заворуженно смотрели.

— Сполохи!

— Полярное сияние!

— Вот это да, я никогда раньше не видел...

— А у нас часто...

— Здорова!..

Коля сказал:

— Я в прошлом году в Баренцевом море видел. Море, небо и сияние...

Небо погасло, но парни ещё постояли, покурили... Пошли дальше, покришывая первым снежком.

— Как тебя взяли на корабль-то?

— Не хотели. Повезло, там бывший юнга попался...

— Давай возьмём, нам помощник кочегара нужен, — сказал молодой весёлый парень.

— Ну, ладно, — махнул рукой капитан. И сказал, обращаясь к кадровику треста: — Оформляйте, я беру его.

Потом уже этот матрос, Вовка Девятов, рассказывал:

— В сорок третьем году отец у меня погиб, мне четырнадцать лет было, я старший, ещё трое у матери. Ну, в колхозе работал, конечно. Голодали. А тут в райком комсомола вызывают — набор, мол, в школу юнг. Я и пошёл! Хотелось ещё и повоевать успеть, за отца отомстить гадам-немцам. Ну, и на море — форма, романтика. Взяли меня и ещё двоих из нашего сельсовета, я ярославский... А школа-то на Соловках была. Там монастырь раньше был, потом тюрьма... Вот там. Летом хорошо — ягод полно, а зимой всё метели. Год там учились — ох, и гоняли же нас! А бескозырки были не с ленточкой, а с бантиком...

И фотокарточку показывал, на которой и правда — худенький паренёк в форменке и в бескозырке с бантиком.

— Вот с тех пор я мореман! Повоевать, правда, не успел. На севере в сорок четвёртом война закончилась, ну, правда, подлодки ихние ещё долго шарилась, и мин много было... У нас один катер налетел — ничего не осталось!..

Рассказов о войне за месяцы работы на сейнере Коля много наслушался — почти все в команде воевали...

— У меня отец тоже, в сорок третьем... — сказал он тогда Девятову.

На Новый год делали праздничный концерт. Девочки из их группы, занимавшиеся в секции гимнастики, показывали упражнения, Колька Шанта-

ренков читал рассказ Чехова “Хамелеон”. Потом девушки пели, Коля подыгрывал им на гармошке. А после концерта были танцы.

У Коли прекрасное настроение, звучит радиола, он приглашает Олю Смирнову, потом Галю... Хорошо, что ещё в детдоме научился, преодолел стеснение и научился танцевать. В Тотьме, уже понимая, что танцует лучше многих, совсем не стеснялся. И тут тоже сразу показал себя... Да ещё чувствует, понимает, как ладно сидит на нём курточка и флотские брюки, и ботинки, тщательно начищенные, блестят... И вспоминает, как танцевал с Таней и как прощался с ней, уезжая в Архангельск... “Коля, ты о чём думаешь?” — спрашивает обиженно очередная партнёрша. “О законе Ньютона!” — неудачно шутит он и ещё больше обижает девушку. И тут начинает стесняться и уже злится на себя...

— Белый танец!

Он отходит к окну, делает вид, что уже натанцевался...

Не сразу, постепенно, выходят на круг пары...

— Николай, можно вас пригласить?

Улыбаясь, на него смотрит их учительница литературы.

Он кивает и берёт её за руку...

— А танцуете вы, Николай, не хуже, чем стихи в стенгазету пишете.

— Лучше!..

Музыка умолкает, и они останавливаются.

— Да, вы хорошо чувствуете музыку... И слово, — добавляет учительница.

— Я не просто чувствую, я этим живу, — вдруг совсем серьёзно отвечает он...

Из всех преподавателей больше всех понравилась ему учительница литературы: молодая, красивая, увлечённая и увлекающая своим предметом, похожая своей молодостью и увлечённостью на Ольгу Сергеевну из детдома.

— Кем бы вы ни стали в жизни — литература, книги всегда будут с вами, — говорила она на первом уроке. — Ребята, представляете, что было бы, если бы Александр Сергеевич Пушкин не написал об Онегине, Татьяне Лариной, Дубровском, Петруше Гринёве, если бы Лев Толстой не рассказал нам о Наташе Ростовской и Пьере Безухове, если бы ничего не знали мы о страданиях Раскольникова, если бы не переживали мы судьбу Павки Корчагина... Ведь мир наш был бы беднее...

Так говорила эта учительница. И Коле хотелось сделать ей хорошее и показать, что для него не пустой звук имена великих писателей и их героев и что и он тоже думает, мечтает, мыслит. Он знал, что сочинения у него хорошо получаются, ещё по школе и по “лесному” техникуму. И тут тоже старался.

...Ирина Олеговна читала его сочинение, и даже не верилось ей, что пишет это Коля Рубцов — лопоухий, с длинной и тонкой шеей, с хрупким горлышком, а в общем — обычный мальчишка. Да не совсем обычный. Глаза у него — тёмно-карие, цепкие, внимательные, а то озорные искры в них, то вдруг грусть, а когда пишет сочинение в классе, поднимет лицо от тетради, и по глазам видно, что далеко он...

“Село Никольское, в котором прошло моё детство, стоит на высоком берегу шустрой речки Толшмы. С берега этого далеко видны заречные дали — леса, крыши деревень, поля, просёлочные дороги... Мой друг, что стоит рядом со мной, говорит вдруг: “Всё это моё, всё это я должен понять и вобрать в себя. Когда у тебя есть родина — ты можешь быть строителем, или крестьянином, или поэтом, ты можешь путешествовать по всему миру. Ты знаешь, для чего ты живёшь. Ты живёшь для родины, как и она живёт для тебя”. И я благодарен моему другу за то, что он выразил словами то, что и я чувствую.

И по тропке, выходящей в мягкой зелёной траве, мимо пасущихся коней мы сбегаем к нашей реке, скидываем одежду и ныряем в ласковую воду.

Мы долго купаемся, а потом лежим на берегу и смотрим в синее небо, по которому плывут белые, лёгкие, как мысли в этот момент, облака. Посмотришь на воду, а там тоже облака, плывут вниз по течению.

И мы мечтаем о том, как по этой реке уплывём к океану.

Так с речки детства начинается для человека океан жизни. А в океане и шторма бывают, и штиль... Всё бывает.

И настал день, когда я простился с моим другом и со всеми друзьями и подругами детства, с учителями, с жеребёнком нашим, с деревней и уехал далеко.

Продолжается моё плавание по океану жизни. Каким-то оно будет?..”

Ирина Олеговна, недавняя студентка и школьница, только-только ещё начавшая своё “плавание по океану жизни”, надолго задумывается над сочинением Коли Рубцова. Как сложится её жизнь? Она ещё не знает. Кем станут все эти ребята — её ученики? Кем станет Коля Рубцов?.. Как-то не представляется он ей человеком, работающим маркшейдером. Вот именно само название специальности — не для него...

Впрочем, всё это посторонние сейчас мысли, отвлекающие от работы. Ирина Олеговна ставит в конце пятёрку за содержание, задумывается на мгновение, вставляет синими чернилами пропущенную Рубцовым запятую и за грамотность тоже ставит пятёрку...

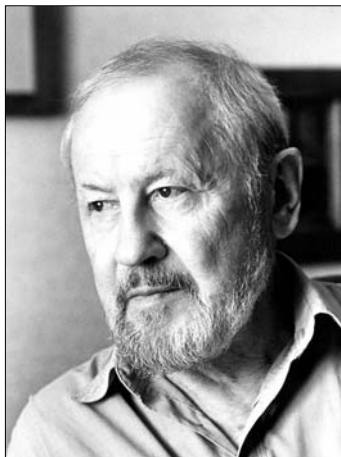
### Послесловие

На береговом откосе, на ветру стоит он над рекой Вологдой, которая впадает в Сухону, а та — в Северную Двину, а та — в Белое море... Он смотрит на заречный храм, на пристань, от которой ночами, скрытые туманами, отходят неслышимые пароходы и теплоходы...

Навсегда стали эти берега ему родными, и он стал родным этим берегам, лесам, полям и деревням на этих берегах, и городам, и тысячам людей стал он родным, близким, необходимо нужным...

Не зря же написал: “Я уплыву на пароходе... И буду жить в своём народе”. И живёт...

## ЮРИЙ ЛОЩИЦ



# ИДУ, ТОМЛЮСЬ И ВОПРОШАЮ...

## ДНЕВНИК НОЧЕЙ

\* \* \*

Дни всё короче,  
ночи — длинней.  
Видеть такое  
нет уже мочи.  
Ах, поскорее бы, поскорей:  
ночь — покороче,  
а день — подлинней.

\* \* \*

День всё короче.  
Ночь всё длинней.  
Свыкнуться трудно  
с убылью дней,  
ночь коротая  
с подушкой своей.

\* \* \*

День-то короче,  
ночь-то длинней.  
Вот и ворочай  
грудой углей  
в печке своей.  
Смилуйся, Отче!

\* \* \*

Дни всё короче,  
ночи длинней.  
Мир не соскочит  
с орбиты своей.  
Не унывай —  
очи вперяй  
в темень ночей.

---

*ЛОЩИЦ Юрий Михайлович родился в 1938 году в селе Долинском Одесской области. Окончил филологический факультет МГУ. Автор книг “Сковорода”, “Гончаров”, “Земля-именинница”, “Дмитрий Донской”, “Слушание земли”, “Унион. Проза последних лет”, романа “Полумир” и сборников стихов “Столица полей”, “Больше, чем всё”, “Величие забытых”. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.*

\* \* \*

Дни всё короче,  
короче, короче.  
Ночи — длиннее,  
длиннее, длинней.  
Дай дотянуть нам,  
Отче,  
до воскресения дней.

\* \* \*

Дни всё короче,  
Ночи длинней.  
Лей слёзы, лей!  
Да высохли очи...

\* \* \*

Опять новый день короче,  
А ночь длиннее опять.  
Так до конца научаешь нас,  
Отче,  
претерпевать.

\* \* \*

День полярный иссяк,  
перелился  
в полную ночь.  
Небо накрыла  
тьмы исполинская птица.  
Но прочь, отчаянье,  
прочь!

\* \* \*

Уже не скажешь:  
“длиннее”, “короче” ...  
Где вы, дни?  
Властвуют ночи.  
Но верю:  
петух прохрипит зарю,  
и ресничку солнца узрю.

\* \* \*

Ночь давит, гнетёт непрестанно.  
День чахнет, сходит с ума.  
В Евангелии от Иоанна  
такую представлена тьма.  
Но как она в нас ни метит,  
а света не может объять.  
Свет светит,  
он светит  
и светит!  
И пятится тьма вспять.



## О ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА

О жизни будущего века  
всё сказано.

И ни-че-го!

И я, лишённый чувств калека,  
не в силах осязать его.

И скуп, и сдержан Символ веры,  
к порывам любопытства строг.  
Что там? Приметы ли, примера  
ни в строчке нет, ни между строк.

Бессмертий два?

Бессмертье муки...

О нём у нас насышан всяк.  
Но разве в нём — живые звуки,  
коль жизнь земная — не пустяк?

О, Господи! Зубовный скрежет  
любим младенцем пережит.  
Живую плоть и жгут, и режут.  
И вновь всё то же нам грозит?

Куда как вняты корчи ада:  
мрак, жар свирепый, жуткий хлад.  
Но в чём же, в чём она, улада  
для тех, кто призван в горний сад?

Не утвердится ли меж ними  
и всем земным глухой барьер?  
Не скучен будет херувимий  
превечный хор небесных сфер?

Или о нас печаль пребудет  
в их душах, как жила и здесь,  
и всяк молитвою натрудит  
о нас всевечный век свой весь?

Я для себя не жду пощады,  
Господь, от Твоего суда.  
Но если вдруг в реторты ада  
меня не вташат навсегда,  
и, недостойный благодати,  
сверх меры буду пощажён,  
как в горней мне пребыть палате  
святых мучей, пречистых жён?

Там, где ничто не станет длиться  
и где иссякнет ток минут,  
ничто случайно не случится —  
не постучат, не упрекнут.

И где ни вздоха, ни рыданья  
извне не принесёт волна,  
и всепокоем созерцанья  
насыщен буду я сполна —

в том Авраамлем дивном лоне,  
где мягко, как в гнезде птенцам.  
А грешник?

Пусть в геенне стонет,  
низвергнутый в бессрочный срам?

И так сверхмирные пустоты  
всех нас невнятностью томят,  
что люд пустился в анекдоты  
без удержу про рай и ад.

Не соблазнит сераль прелестный  
наркозом чувственных усад,  
и пир в обители Телемской  
не завлечёт в обжорный ряд.

Но отворятся ли иные  
явления, смыслы, знамена  
в том дне, подобном летаргии,  
в той яви, бестелесней сна?

О, чем тогда займу я душу —  
в отсутствие годин, минут?  
Что, как молитвою нарушу  
запрет на всякий дольний труд?..

Но я же изведусь, исчахну  
без попеченья о своих...  
Кому свою прибавлю драхму?  
Кому прочту приветный стих?

Неужто все души волненья  
навек отменят тишь и гладь,  
и мне без волеизъявления  
смирненной мумией лежать?

Но где ж мой дар от Бога — воля?  
Свобода выбрать правый путь?  
Иль это всё фантом, не боле?  
Ответьте сердцу кто-нибудь!

Иду, томлюсь и вопрошаю...  
Лишь чей-то шёпот невзначай:  
“Се тайна... Тайна пребольшая...  
Сорвать покров не поспешай...”

Иду неровно, как калека.  
Всё тайны, тайны... тут и там...  
.....  
О, жажда откровенья тайн  
о жизни будущего века!

## СВОБОДА ВЫБОРА

*...но Себя умалил, да зрак раба приим,  
в подобии человечестем быв  
и образом обретяся якоже человек.  
Флп. 2, 7*

*Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?..  
А. С. Пушкин*

Зачем Ты, о Боже, Себя умалил  
да в зраке раба между нами пребудешь?  
Не Ты же на волю рабов отпустил,  
мгновенно и окрик забывших, и упряжь?

Но с кафедры ловкий теолог бубнит:  
“Свобода и выбор — дары человека”.  
Свобода да выбор? — Двуликий магнит.  
Куда ими раб увлекался от века?

Известно — куда: по лукавым стопам,  
за ангелом падшим, соблазном пропахшим.  
Уж если и тот оскользнулся, то нам  
сорваться тем проще, погибнуть тем паче.

И вот, захмелев от скаженных свобод,  
от дурьего вольного выбора спятив,  
толпа на майданы зловонные прёт  
(чернь, сброд, но себя выдаёт за народ!),  
крушит бесновато и ором орёт,  
и требует снова:

“Поджогов!..

Распятый!..”

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



## ГУБЕРНАТОР

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иван Митрофанович Плотников дорожил своей фамилией. Она досталась ему от неизвестного плотника, что ставил срубы для церквей, домов и колодцев. В фамилии звучали плотность, крепость, надёжность, умение сплачивать, складывать воедино свои усилия и достижения. Так же катал венцы его предок, подбирая их один к одному, возводя звонкую смоляную избу. Плотогон вязал плоты, соединяя в крепкие связки танцующие на воде брёвна, сплавлял их по рекам.

Среди государственных нестроений и хозяйственных неурядиц, изнурявших страну, среди неразберихи реформ и указов, от которых трясло заводы и корпорации, среди разболтанного и дурного управления, по вине которого падали самолёты и тонули корабли, сходили с рельсов поезда и взрывались ракеты, губерния, где правил Плотников, казалась оплотом порядка и благополучия. Упорно и умело Плотников преодолевал разорение и бедность, доставшиеся от предшественников. Он обустроивал и ремонтировал дороги, строил жильё, открывал больницы, реставрировал старинные усадьбы. Появление

---

*ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое", "Убийство городов". Живет в Москве.*

\* Журнальный вариант.

каждого нового дома, каждого нового моста, каждого стадиона или плавательного бассейна он воспринимал как личное приобретение, как своё собственное достижение, которое передавал в дар губернии, что способствовало её укреплению и процветанию. Он был садовником, который вживляет саженцы, ухаживает за ними, терпеливо ожидая будущего цветения. Садовником, а не лесорубом, потому и отмечал свой путь садами, а не просеками.

Изнурённые перестройкой, ограбленные лихоимцами, советские заводы лежали грудой развалин или чадно дымили, отравляя небо железными ядами. Жутко и болезненно скрежетали старые станки и поломанные краны, рождая тяжеловесных уродов. Плотников не закрывал эти допотопные производства, ждал, когда умолкнет на них последний мотор, погаснет последняя сварка. Умерший завод распиливали на части, сваливали лом в плавильную печь. И в бесцветном металле плавилось изнурённое время. В кипящем тигле таились образы новых машин и заводов.

Плотников искал за границей компании и фирмы, готовые перенести в Россию своё производство, те промышленные новинки, которых не могло быть в России. Заманивал иностранцев, предлагал им всевозможные выгоды, налоговые льготы, безопасность и сбыт. Ему принадлежала новация, получившая название “индустриальные парки”. Среди пустошей, вблизи от шоссе и железных дорог отводилась территория. Тянулась высоковольтная линия, газопровод, водовод. И на эту территорию, как на космодром, опускался инопланетный корабль. Немецкий автомобильный завод. Итальянская фармацевтическая фабрика. Корейское производство телевизоров. Один за другим заводы приземлялись целыми эскадрильями, компактные, серо-стального цвета, почти невидимые среди лесов и полей. Мимо них, незамутнённые, продолжали течь реки. У заводских проходных цвели полевые цветы. Заморская цивилизация вживлялась в русскую почву, пускала побеги, множилась, сливаясь в живой покров. И это преобразование происходило без надрыва, без скрежета костей, без истошной пропаганды. Плотников ставил заводы, как его предок ставил срубы, насыщая губернию этой изысканной цивилизацией.

Его успехи отмечала страна, замечал Кремль. Ходили слухи, что его призовут в Москву и предоставят высокий пост в правительстве, чуть ли не должность премьера. Ибо экономика нуждалась в новых дерзновениях, промышленность требовала новых лидеров, не похожих на говорливых и пустых неудачников, остановивших развитие. Плотников знал об этих слухах, относился к ним серьёзно, ждал приглашения в Кремль. И продолжал рыскать по Европе и Азии, заманивал в свою губернию авангардные предприятия.

Он чувствовал, что ему предстоят огромные свершения. Чувствовал приближение вспышки, которая озарит всю его жизнь. Готовился к поступку, которого ожидают от него множество людей, заблудших в сумерках бессмысленных дел, в лепете пустопорожних слов.

Ещё и ещё раз уподоблял себя плотнику, который кладёт венцы один на другой, так что рубленные пазы, набитые мхом или пенькой, не оставляют зазоров.

Но иногда ему чудилось, что зазор остаётся. Он ловил странный холодок неведомого сквозняка.

В свои пятьдесят он был крепок, высок, исполнен властной величавости и тёплого дружелюбия. На большом открытом лице серые глаза смотрели внимательно, зорко, и волнение, радость или горькое, угадывалось по крыльцам носа, которые напрягались, бледнели. Губы сохранили мягкость и свежесть, и только в уголках рта начинали темнеть едва заметные складки, из которых со временем потекут тёмные реки старости.

Сейчас он осматривал металлургический комбинат в десяти километрах от губернской столицы. Хозяин комбината, Фёдор Леонидович Ступин, владелец заводов на Урале и в Нижнем Новгороде, шёл рядом с ним моложавой походкой спортсмена. В его стальных глазах светились раскалённые точки воли, упорной страсти и жёсткой непреклонности, позволявшей владеть и управлять могучим заводом. Ступин готовил к пуску громадный цех по производству труб, столь необходимых сибирскому газопроводу. Сталелитейное

производство уже работало, переплавляло металлолом в слитки, которые копилась на складе, ожидая пуска трубного цеха.

Они шли в ревущем и дрожащем сумраке, среди малиновых отсветов и металлических запахов. Их источала электропечь — малиновый цветок среди мрака, с сочными лепестками и бесцветной сердцевинкой. Их сопровождали вице-губернатор Владимир Спартакевич Притченко и главный инженер завода Коляда. Все четверо были в белых пластмассовых касках, придававших им сходство с экзотическими птенцами.

— Вчера, Фёдор Леонидович, приезжала экологическая экспертиза, — докладывал главный инженер Ступину. — Брали пробы воздуха, грунта, воды. Делали замеры в километре, в пяти, в десяти от комбината. Всё в норме. Я им говорю: “Да у нас в цехах птицы живут. А они в дурном месте сесть не станут”.

Главный инженер махнул вверх рукой, и Плотников увидел, как в малиновом зареве мелькнул голубь, вспыхнул стеклянным оперением.

Плотников, украшая губернию заморскими заводами, не просто умножал богатство вверенного ему края, не просто заменял изношенную, израсходованную технику на восхитительные, невиданные в России машины. Он надеялся, что люди, обретая эти волшебные технологии, станут одухотвореннее и свободнее. Очнутся от гибельных лет, преодолеют поражение. Он улавливал в работе заводов энергии, преображающие утомлённую страну.

Подходили товарные составы с металлоломом. Изрезанные, расплюснутые останки машин высыпались на площадку гремящим колючим ворохом. В этой ржавой горе угадывались контуры разбитых автомобилей, измятые ковши экскаваторов, изуродованные железнодорожные рельсы. Виднелась танковая башня с помятой пушкой. Громоздились дырявые баки, сгоревшие трансформаторы, бортовина корабля с ватерлинией. Странно, нелепо, протыкая обломки, торчала чугунная рука безвестного памятника, словно последний взмах утопленника.

Электромагнитный кран, как присоска, всасывал обломки, переносил в бадью, и та уплывала в цех, сбрасывала обломки в зев печи. Чёрный зев напоминал могилу, куда падали железные мертвецы. Шли похороны убитых машин. Траурно звучали раскаты и лязганья цеха.

В печи, как в глухой пещере, слабо замерцало. Полетели зелёные и синие светляки. Раздался рык, словно в пещере проснулся разбуженный зверь. Полыхнула зарница, другая. И возникли три раскалённых клыка — три могучих электрода с пульсирующими белыми молниями.

Печь содрогалась и чавкала. Клыки рвали и давили железо. Огненная слюна хлопала, растворяя обломки. Печь, словно пасть, жевала, хрипела, давилась. Чёрные комья таяли. Казалось, их слизывает красный мокрый язык. Печь наполнялась вязкой малиновой жижой, дышала красным дымом, сыпала искры.

Сталь кипела. В ней лопались бесцветные пузыри, взлетали вязкие всплески. Печь казалась огромной кастрюлей, в которой варилось варенье. Шлак бурлил и вздымался, как чёрно-красная пена. Трескался, и в трещинах возникала ослепительная белизна, золотое сияние.

Теперь они шли по громадному, уходящему вдаль цеху, где заканчивался монтаж оборудования. Как великаны, стояли тяжеловесные прессы. Круглые ролланги. Драгоценно вспыхивали электронные системы управления. Весь цех по частям был куплен в Италии, Германии, Японии. Могучая заморская техника была готова служить насущному русскому делу: катать трубы для газопровода, соединявшего заполярный Ямал с Китаем. Это были бронхи, вдыхающие русский газ в китайские лёгкие.

— Фёдор Леонидович, к декабрю запуститесь? Поздравим вас с первой трубой? — обращался Плотников к Ступину, наблюдая, как монтажники в касках тянут связки разноцветного кабеля. — Мне дали понять, что на запуск может приехать президент. Этот газопровод — его личное детище. Его ответ дурной Европе.

— Мы стараемся, Иван Митрофанович, — Ступин смотрел на сочленения гидравлического пресса, словно мысленно гладил кожу огромного послушного

животного. — Европа чинит препятствия. Отказывается продавать электронику. Приходится хитрить, добывать через третьи страны. Я тоже слышал о возможном приезде президента. Для нас обоих это будет событие.

Ступин смотрел, как движется под металлическими сводами порталный кран, и в крохотной стеклянной кабине, как лётчица, поместилась крановщица, оглашая гулкое пространство тревожным гудком.

Главный инженер и вице-губернатор приотстали, заглянув на пульт управления прокатного стана.

— Отдаю должное вашей энергии и вашей смелости, Фёдор Леонидович, — Плотников с удовольствием смотрел в открытое волевое лицо Ступина, который жадно озирал убегающий в туманную даль цех.

— А правда ли, Иван Митрофанович, что вы можете переехать в Москву? Приедет президент и заберёт вас в Москву?

— Я люблю мою губернию. Я начал здесь большое дело и должен его закончить. Мы построили за десять лет сто тридцать заводов. Так строили только при Сталине во время первых пятилеток, перед войной. Но тогда кости трещали, и кровь лилась из разбитых носов. Мы же ставим заводы, как сажают деревья. В бюджете скопились деньги, и теперь я хочу вложить эти деньги в людей. В жильё, в дороги, в детские сады и больницы. У нас огромные планы. Зачем мне уезжать из губернии?

— Но ведь кто-то должен заниматься экономикой в целом. Эти, в правительстве, никогда производством не управляли. Не знают, как выглядит завод. Только меркантильные схемы. Только менеджеры. Ни одного инженера. Затолкали страну в тёмный мешок. Кто-то должен из мешка Россию достать.

Моментальная ненависть сдвинула брови Ступина, польхнула в глазах фиолетовой тьмой. Он прикрыл веки, чтобы не обнаружить накопившуюся усталость, неприязнь, глухой ропот.

— Вокруг президента скопились хитрые дельцы и скользкие перевертыши. — Ступин уступал дорогу автопогрузчику, везущему сияющие стальные катки. — Иногда мне кажется, вокруг него образовался заговор. С ним может что-то случиться. Если к власти придёт это льстивое и лживое племя, страны не станет. Они отнимут у нас страну, отнимут заводы, отнимут у народа России. Русские не уцелеют. Россия не уцелеет.

Голос Ступина захлебнулся, словно к горлу поднялся ком боли. Плотников почувствовал, что в этом крепком, удачливом человеке есть тонкая струнка, на которой держится всё его громадное дело. Его завод, его угрюмое служение. Как и в нём самом, Плотникове. Бруски заводов серо-стального цвета, что он ставил один за другим в губернии, напоминали плотную кладку, в которой не было зазора, как в крепостной стене. И это сообщало стене надёжность, сообщало надёжность его делу, всей его жизни. Но иногда ему казалось, что тайный зазор существует, в кладке притаилась огреха, и стена может качнуться.

Он пережил моментальную растерянность. Преодолеl её.

— Россия устоит, Фёдор Леонидович, что бы ни случилось. Русский народ устоит. Потому что русский народ Богу угоден.

Их нагнали вице-губернатор Притченко и главный инженер Коляда.

— Фёдор Леонидович, пришёл факс из Италии, — Коляда протянул Ступину лист бумаги. — Бригада наладчиков вылетает из Турина.

— Я же говорил, итальянцы не подведут! Мужская дружба сильнее санкций, — Ступин волил по листу радостным взглядом.

Плотников рассматривал коричневое от несмываемого загара лицо Коляды. На нём синели яркие солнечные глаза. Такой загар бывает у металлургов, проводящих жизнь у огненных печей, а солнечная синева глаз предаётся по наследству от какой-нибудь ясновидящей ведуньи.

— Откуда вы к нам в губернию? — спросил Плотников.

— С Донбасса, из Мариуполя. Там теперь металлургам делать нечего. Только артиллеристам, — синие глаза Коляды потемнели, словно из них ушло солнце.

— Устроились? Как с квартирой?

— Пока снимаю. Спасибо, завод помогает.

— Мы только что сдали коттеджный посёлок. Предлагаю дом по льготной ипотеке. Владимир Спартакович, — обратился он к вице-губернатору, — поможем металлургам?

— Конечно, — бойко ответил Притченко. — Хохол хохлу всегда поможет, — хлопнул по плечу Коляду.

Они обошли трубопрокатный цех, ещё холодный и пустынный, и вернулись в горячую зону, где ревела и содрогалась печь.

— Хочу вам сделать подарок в день пуска, Фёдор Леонидович. Пришло из нашего областного театра балерин. Пусть танцуют в цеху на железных плитах. Символизируют изящество и лёгкость наших с вами подходов.

— А может, лучше группу “хэви метал”? — засмеялся Ступин.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Плотников наслаждался мягким шелестом шин по безупречному, недавно проложенному шоссе. Навстречу, ударяя ветром, пронеслись тяжеловесные фуры, похожие на стада слонов. Мелькали, как солнечные вспышки, молниеносные автомобили. В полях зеленела рожь. Холмы, то голубые, то розовые, были в полевых цветах. Тихие речки, солнечные опушки, убегавшие вдаль просёлки — всё это радовало и манило своей тихой доверчивой красотой. И почти незаметные, как тени облаков, появлялись и исчезали заводы. Французский цементный завод напоминал башни небольшой живописной крепости, построенной среди сосняков. Чешское фармацевтическое производство с белоснежными, стерильными цехами, в которых бесшумно работали сияющие агрегаты. Биотехнологический комплекс — серебряные цилиндры и сферы, подобье церковных куполов. Предприятия пропадали в лесах, омывались чистыми реками, возникали в лугах с колокольчиками и ромашками.

Плотников передвигался по области без охраны, без тяжеловесного джипа с сиреной и ядовито-лиловыми вспышками. Его сопровождали только водитель и неизменный вице-губернатор Притченко, самый приближённый из заместителей.

— Вот бы хорошо, Иван Митрофанович, если бы Ступин пустил свой цех в декабре. Как раз к вашему дню рождения. Был бы подарок.

— Он пустит. Подарок не мне, а президенту. Трубы, дорогой Владимир Спартакович, — это оружие, не менее мощное, чем тяжёлые ракеты.

Теперь они приближались к посёлку Копалкино. Мысль об этом удалённом поселении причиняла Плотникову страдание, мешала воспринимать свою деятельность как успешное преобразование губернии, в которой исчезает убогость и бедность, а захолустье уступает место совершенной цивилизации.

Указатель “Копалкино” вводил с шоссе. Покинув ухоженную трассу, машина запрыгала по разбитому асфальту. Обочины были замусорены, навстречу катил какой-то нелепый, виляющий велосипедист, поля были не засеяны, зарастали молодым лесом. И только река, чистая, с синей студёной водой, радовала глаз.

Плотников испытал неприязнь к этому виляющему, должно быть, пьяному велосипедисту, к молодым осинкам, заселяющим непаханое поле, к уродливой чёрной махине развалившегося зернохранилища. Всё это портило образ преуспевающей губернии. Образ успешного губернатора, дающего другим областям пример образцового хозяйствования.

На въезде в Копалкино на покосившихся ржавых опорах сохранилась стародавняя надпись: “Совхоз “Красный луч”. Надпись была прострелена крупной дробью, в слове “луч” буква “л” была заменена буквой “с”. Главная улица нещадно пылила, заборы покосились, дома казались обшарпанными, деревья были серыми от пыли. В кювете валялся остов “Москвича” дотопочной конструкции, вокруг играли неумытые дети. И опять Плотников испытал раздражение, какое испытывает садовод, увидев на цветущем дереве сухую уродливую ветку в лишайниках и коросте.

Перед зданием администрации серого силикатного цвета с линиялым триколором собрался сход. Два десятка жителей топтались у ступенек админис-

трации. Они казались одинаковыми — и мужчины, и женщины, в мятых несвежих одеждах, словно их подняли из кроватей, где они прятались от солнца в сырой тени. Глава поселения Буравков был им под стать: в поношенном костюме, несвежей рубашке и в каком-то попугаечного цвета галстуке. Галстук не доставал до брюк, открывая круглое брюшко. Буравков кинулся встречать Плотникова, протягивая сразу обе руки, словно боялся не поймать начальственное рукопожатие.

— Спасибо, что приехали, Иван Митрофанович. А мы вот народ собрали. Люди хотят вас увидеть, — смущённо улыбался глава и не отпускал большую тёплую руку Плотникова, стискивая её корявыми ладонями.

— Я тебе, Виктор Терентьевич, в следующий раз галстук подарю, — усмехнулся Плотников. Отобрал руку и легонько дёрнул галстук Буравкова, притягивая его к ремню.

Люди смотрели молча, угрюмо. И не было в их лицах любопытства или неприязни, а лишь тупое равнодушие, готовность повернуться и разойтись по домам, чтобы снова улечься в мятые сырые постели. И это отупение, равнодушие, обречённость доживать свои жизни в тихом тлении, это медленное и необратимое умирание вызвали у Плотникова острое возмущение, желание разбудить, растолкать их криком, свистом, ударами, чтобы в их мутных глазах возникло живое чувство, пусть не радость, а ненависть, и с этой разбуженной ненавистью он сможет взаимодействовать. Своей страстью и волей он превратит эту ненависть в энергию творчества.

— Ну, что, граждане славного поселения Копалкино, закопались вы, скажу я вам, глубоко. Не люди, а корнеплоды какие-то! — Плотников поднялся на ступеньки крыльца, возвышаясь над головами толпы своим крепким подвижным телом, элегантным костюмом, дорогим французским галстуком. — Есть такие лежалые корнеплоды, свёкла или картошка, в земле и плесени. У вас хоть в домах зеркала есть? Вы хоть бреестесь, головы чешете, детей умываете? — Плотников хотел их задеть, оскорбить, вызвать ропот. Увидеть, как в глазах сквозь муть блеснёт гнев. — В вашем Копалкине только кино про войну снимать. Вот, дескать, что с нами проклятые оккупанты сделали. А вам, дорогие мои, и грим не нужен. Как военнопленные смотрите. Может, к вам учёного прислать, который изучает древние племена, жившие на территории нашей губернии? Дескать, сохранилось одно древнее племя, живут в пещере, добывают огонь трением, копают в полях луковки и клубеньки. И вождь вашего племени подходящий, из одной с вами пещеры. Правильно я говорю, Виктор Терентьевич? — он повернулся к Буравкову, который покорно слушал. — Но я вам скажу, и древние люди любили свою пещеру, чистили, убирали, украшали шкурами, рисовали на стенах наскальные рисунки, которые теперь считаются великими творениями. А вы? Неужели трудно каждому свой забор поправить, молотком постучать? Кисточку взять и наличник на доме покрасить? Машину песка привезти и выбоины перед администрацией засыпать? Неужели трудно, Виктор Терентьевич? — Он вонзал свои отточенные слова в понурого, испуганного Буравкова. В опухшее небритое лицо тучного мужчины с царапиной на щеке. В бесцветный лоб под линиялым платочком немолодой худощавой женщины, которая смотрела куда-то в сторону, приоткрыв рот. Но обидные слова не причиняли боли. Казалось, люди бесчувственны, словно находятся под наркозом. — А ведь может так случиться, что Копалкино исчезнет с карты губернии. Зарастёт лесом, дорогу дождями размочет, и останется только искореженный указатель “Красный суч”, неизвестно в какую сторону.

Плотников вдруг почувствовал усталость, словно все его силы утекли в неведомую дыру, которая сосала жизненные соки из этого погибающего посёлка, изнурённых людей, из утлых домов и чахлах деревьев. Где-то в тусклом небе, в мутной мгле таилась скважина, сквозь которую земля теряла свои животворные силы, питая этими силами неведомую сущность.

Плотников одолел минутную немощ. Решил воздействовать на сонные души вдохновенными речами.

— Дорогие мои, осмотритесь вокруг! Узнайте, в какой чудесной губернии мы с вами живём! Я пришло вам десяток автобусов самого современного



класса. Садитесь в них, старики и дети, и прокатитесь по нашим просторам. Вам покажут удивительные, небывалые заводы, которых не знала Россия. Голландцы построили завод по производству инсулина, который прежде мы покупали за границей. Вы увидите стерильные, ослепительно белые лаборатории, похожие на операционные. Автоматы, сверкающие, как серебряные скульптуры, разливают по ампулам целебную жидкость. Человек, работающий на таком производстве, не станет сквернословить, обижать детей и животных, мять цветы. Немцы возвели завод композитных материалов. Казалось бы, тонкая пленочка, а выдерживает вес грузовика. Казалось бы, хрупкая пластина, а не пробьешь её пулей. Казалось бы, шелковая нитка, а пропускает ток в тысячи ампер. Из таких материалов делают крылья сверхзвуковых самолётов, корпуса ракет, элементы космических станций. Наша с вами губерния летает в Космосе. Мы с вами космические люди! Мы купили в Японии станки, которые обрабатывают деталь, её не касаясь. С помощью этих станков на заводе вытачивают гребные винты для подводных лодок. Такие винты бесшумны. Лодку не засечёт ни один гидролокатор, и она становится неуязвимой. Наша с вами губерния плавает в океанских пучинах!

— Вы знаете, мы были отсталой областью, откуда уезжали люди; здесь не рождались дети, воровали и бездельничали чиновники. Теперь же мы строим новую губернию, новую страну, ту, что нам не дали достроить в девяностые годы. Страну, способную конструировать невиданные машины, совершать небывалые открытия, создавать неповторимые произведения искусства. К нам едут люди со всей России. Рабочие, учёные, художники. Здесь появляется новый человек, неутомимый, творческий, чистый умом и добрый сердцем. Не таким ли, скажите, является наш русский человек?

Плотников старался вовлечь этих людей в чудотворный вихрь, который когда-то подхватил его самого и повлёк по захоластным городкам, ветхим селам, преображая их, создавая невиданную жизнь, полную красоты и энергии. Это преображение многие называли чудом. Оно и было чудом, где объяснимое и понятное соседствовало с необъяснимым и чудесным. Он сам был преображён этим чудом, летел в этом таинственном чудотворном вихре.

Но люди, стоящие перед ним, оставались немые и глухи. Чудо их не коснулось. Вихрь не долетал до этих сломанных заборов и печальных лиц.

— Дорогие мои, может, вы думаете, что я рассказываю вам сказку о каких-то заморских краях? Да нет же, это всё рядом, по соседству с Копалкиным! Это и ваших рук дело! И вы к этому причастны! И вы строите новый завод по производству стекла, из которого можно создавать хрустальные вазы и ставить их на столы в ваших домах с букетами цветов. А также лазерные дальнометры для скоростных истребителей, сбивающих противника на дальних дистанциях. Всё это наше общее дело! Не моё, не бельгийских или немецких инженеров, не богатых предпринимателей и собственников. А всех нас, всего народа — наше общее с вами дело!

Плотников вдруг остро почувствовал, что его от людей отделяет стена. Его слова ударяются о прозрачную стену и падают, как оглушённые птицы. Вся земля перед крыльцом была покрыта ворохом убитых слов, словно ворохом мёртвых остывающих птиц.

Его сильное здоровое тело, облачённое в английский костюм, небрежно повязанный французский галстук, модные швейцарские часы с золотым браслетом, дорогой немецкий автомобиль, на котором он приехал, вся его напыщенная пылкая речь делают его чужим для этих изнурённых вялых людей. Проповедь, обращённая к ним, фальшива и неуместна. И эту фальшь чувствует и вице-губернатор Притченко, стоящий рядом с ним, потупив глаза, и глава поселения Буравков, поглядывающий на толпу, виновато улыбаясь, словно ему неловко за эту фальшь.

Было слышно, как где-то отчаянно лает собака. И Плотников подумал, что он сам со своей гремучей речью похож на собаку с привязанной к хвосту консервной банкой.

— Ну, что, товарищи, кто о чём хочет спросить Ивана Митрофановича? Губернатор не каждый день к нам приезжает, — Буравков, смущённый и подавленный, побуждал сограждан высказываться.

Люди молчали, топтались, отводили глаза. Иные вздыхали, глухо кашляли. Но постепенно в них начиналось движение.

Одутловатый, с лиловыми тенями в подглазьях мужчина, плохо выбритый, в замызганной спортивной куртке, кашлянул в грязный кулак:

— Я говорю, лесопилку закрыли, автобазу закрыли, совхоз раздербанили. Куда работать? Идти воровать? Молодёжь убежала, и её не сыщешь. Мы, кто постарше, водку пьём. А кто спился, тот стариков доит. Из пенсии стариковской себе на бутылку выуживает. Чего нам делать-то? На криок верёвку наматывать?

Маленький, лысый человек, с острым носиком и хохолком, похожий на вёрткую птичку, притопнул, суматошно взмахнул руками:

— Мы немцев сюда привели, в коттеджи их поселили, и они теперь нам хозяева. Русский мужик на них вкальвает. А наши батьки их из этих мест выбивали и до Берлина гнали. А мы их сами назад привели. И какая это “победа”? “Хенде хох” называется!

Распихав локтями соседей, выскочила тощая плоскогрудая женщина в мужском пиджаке, с синяком под глазом:

— А я на этих фрицев — “тьфу”! Я на этих олигархов — “тьфу”! Я лучше пить буду, крапиву жрать, а на этих кровососов не стану работать! В партизаны уйду! — она качнулась, её удержали, спрятали за спины других.

— Я вам не всё сказал! Я вернулся из Австрии, где заключил контракт с австрийской фирмой “Безен Дорхер”. Она производит музыкальные инструменты мирового класса — рояли, пианино, скрипки, виолончели. Завод по производству этих инструментов мы построим у себя в губернии. И не где-нибудь, а у вас, в Копалкине. Создание завода предусматривает благоустройство и преобразование всего вашего поселения. Здесь больше не будет кривых заборов, заколоченных окон, осевших домов. Мы разобьём прекрасный парк и соорудим великолепный фонтан, сияющий радугами. Мы уберём, наконец, этот чудовищный знак при въезде в ваше поселение, продырявленный дробью. И установим серебряный скрипичный ключ, который отныне будет символом Копалкина.

Раздвинув плечами стоявших, выступил вперёд человек, в рубашке пузыряем, в кепке набок, с белесым выщипаным чубом. В открытом воротах виднелась жилистая загорелая шея с цепочкой. Глаза шальные, бегающие, хмельные. Нос с горбинкой сдвинут на сторону, как хищный клюв. Губы узкие, подвижные, в мелких едких смешках. Казалось, сквозь лицо простодушного и беспечного гуляки проступало другое, лихое и хищное. Встал перед Плотниковым, расставив ноги, руки в бок.

— Здравствуйте, Иван Митрофанович, господин губернатор. Спасибо вам от народа, что сделали такой криок и к нам завернули. Вы не думайте, что мы здесь глухие и дикие и добрых слов не понимаем. Я музыку уважаю, сам на балалайке играл. “Калинку-малинку”, “Светит месяц”, “Во поле березонька стояла”, “Артиллеристы, Сталин дал приказ...” Этот завод, который рояли будет строить, — очень для нас хорошо и спасибо.

Человек поклонился. Глаза его смиренно потупились, а потом вспыхнули, яркие, солнечно-рыжие, как цветы одуванчика.

— Но чего я хотел сказать, Иван Митрофанович. Когда будете ставить завод и копать котлован, аккуратней. Грунты у нас больно тяжёлые. Как бы не просесть заводу! У нас почему Копалкино? У нас в старину мужики вздумали колодец копать и до центра земли докопаться. Говорили, есть царствие небесное, царствие земное и царствие подземное. На небе и на земле русскому человеку нет места. Так, может, в царствие подземном его примут. Копали, говорят, лет десять, и докопались. Ушли в подземное царствие и не вернулись, должно, там понравилось. А потом грунт осел, и колодец засыпало. И вход в подземное царствие завалило. Вот почему — Копалкино. Грунты, говорю, тяжёлые!

Человек озабоченно качал головой, показывая большие жилистые руки, готовые к земляным работам. Плотников собирался его успокоить, рассказать о новейших технологиях возведения фундаментов, о лёгких и сверх-

прочных конструкциях, об инженерах мирового класса. Но чувствовал в словах человека тайное глумление, язвительное веселье.

— Колодец завалило, да не весь. Видать, какая-то щель осталась. Дырка под землю уходит. Из дырки этой звук идёт, музыка, на песню похожа, только без слов. Зимой особенно слышно. От этой музыки люди, скажу я вам, звереют, шерстью обрастают. Друг друга грызут, оскорбляют, в колодцы дохлых собак кидают, и пьют, чтобы этот вой не слышать. И чего я боюсь, Иван Митрофанович, господин губернатор, что вы этот завод распрекрасный к нам посадите, и мастеров иностранных пришлёте, и Дворец культуры постройте, а мы, подземные люди, всё это в щепки! Мастеров погоним, скрипки топорами порубим, Дворец культуры спалим, а скрипичный знак, который вы серебром покроете, вырвем с корнем, и прежний знак вроем: “Красный суч”. Потому что, Иван Митрофанович, мы здесь, в Копалкине, подземные люди!

Глаза человека стали жёлтыми, как латунь, кривой нос заострился, и горбинка на нём побелела. Губы стали бесцветные, в мелких бешеных судорогах. И казалось, прежде, восхищённое лицо ушло вглубь, а выступило злое, безумное и жестокое.

— Ты чтой-то, Семён, говоришь? Чтой-то на нас наговариваешь? — глава поселения Буравков ужаснулся и умоляюще смотрел на Плотникова, ожидая для себя немедленной гибели.

— А ты, Буравок, лучше расскажи губернатору, как ты собаку свою удавил и таскал по посёлку на тресе, а потом в дом закинул, где раньше библиотека была. До сих пор там гниёт. Потому что ты, хоть и глава, а тоже подземный человек!

— Ты, ты... — заикался Буравков, — Ты, Сёмка, опять захотел на зону?

— Вы, Иван Митрофанович, его не слушайте. Я, Сёмка Лебедь, — человек добрый. И все у нас в Копалкине добрые, безотказные. Вот Анька, смотрите какая!

Он растолкал людей и вытянул из рядов женщину. Высокая, в розовой блузке, с тугой налитой грудью, с волосами в мелких барашках, она казалась большой куклой. Белое фарфоровое лицо, обведённые синевой глаза, выщипанные высокие брови, пунцовые губы, на которых блуждала размытая пьяная улыбка. В ушах её были серьги с красными камушками. Она стояла, покачиваясь, не отнимая у Сёмки белую пышную руку.

— Она, Анька, мужика своего потеряла. Он ей двух ребятишек заделал, а сам ушёл, может, в подземное царствие. Анька детишек растит, на хлеб зарабатывает. Ходит на трассу и под дальнобойщиков ложится. Они её так полюбили, что к нам в Копалкино приезжают. Спрашивают: “Где тут Аньота Сладкая?” Она и впрямь сладкая. Не желаете попробовать, Иван Митрофанович? — Сёмка тянул женщину за руку, словно хотел подвести её к Плотникову. И та, пьяно пошатываясь, шагнула, и вдруг истошно взвыла, долго, заваливая назад голову, обнажая белую шею, на которой дрожала налитая голубая вена:

— Ненавижу! Проклятые вы! Людоеды! Пусть вас черви сожрут!

Сёмка Лебедь хохотал, пританцовывая. Люди шарахались, разбегались. Глава Буравков что-то жалобно лепетал. Вице-губернатор Притченко вёл Плотникова к машине, заслоняя собой. Через минуту они мчались по разбитому шоссе, и Плотникову всё слышался истошный бабий вой, виделась жуткая синяя вена на шее у женщины.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Плотников смотрел на летящие дуга, мимо которых мчала его машина. Мчала мимо нескончаемой, растянутой на десятилетия заботы.

— Я хотел вам сказать, Иван Митрофанович, — вице-губернатор Притченко, некоторое время не мешавший его созерцанию, нарушил молчание. — Вам необходимо брать с собой охрану. Вы пренебрегаете безопасностью. Этот

безумец с жёлтыми глазами мог вас пырнуть. Что у сумасшедшего на уме? Что у бывшего уголовника в руке? Бережёного Бог бережёт, Иван Митрофанович. Вы преобразуете область, совершаете своеобразную революцию. А народ в период революций возбуждён, непредсказуем. От него можно ждать любых сюрпризов.

— Вы знаете мой принцип, Владимир Спартакович. “Любить народ, бояться Бога”. Можно затевать реформы во имя народа, и при этом для достижения великой цели скрутить народ в бараний рог, так что к концу реформ и народа не останется. И поэтому нужно бояться Бога, который не позволит тебе быть безжалостным в проведении реформ. Остановит тебя, если ты попытаешься совершить жестокость или насилие. Я не боюсь моего народа, потому что он понимает мои намерения.

— Иван Митрофанович, не понимает! Народ не благодарен. Народ вероломен. Наш народ, Иван Митрофанович, — народ предатель! Он предал царя и расстрелял его из наганов. Он предал святое Православие и порушил церкви. Он предал Сталина и навалил на его могилу груды мерзкого мусора. Он предал Хрущёва, Брежнева. Предал великий Советский Союз, который бесплатно учил и лечил народ, дарил ему квартиры. Народ и теперь готов предать.

— Но вы-то не готовы предать! Команда, которую я собрал, не готова предать. Если повсюду видеть предателей, нужно заточиться в крепость и не выходить наружу.

— Не поможет, Иван Митрофанович! Всегда найдётся предатель с золотой табакеркой в руках!

— Оставим это, — раздражённо перебил его Плотников. — Лучше расскажите о мероприятиях, которые вы намерены осуществить в ближайшее время.

Притченко огорченно вздохнул, сетуя на руководителя, который не внял его опасениям.

— Мероприятия проводятся в русле патриотического воспитания. Наши поисковики обнаружили двести останков павших советских воинов. Мы устроим торжественное захоронение, и вам, Иван Митрофанович, следует присутствовать.

— Обязательно, — кивнул Плотников.

— Готовятся шествие военно-патриотических объединений. Будут десантники, участвовавшие в Чеченских войнах и в южноосетинском конфликте. Молодёжные объединения, представители районов. Мне кажется, вам следует выступить с патриотической речью.

— Там будет речь о войне на Донбассе?

— Выступят ополченцы, воевавшие в Славянске.

— Я буду.

— Мы проведём шествие, в котором люди понесут фотографии своих родственников-фронтовиков. Если погребение останков станет актом поминовения, то шествие мы представим, как крестный ход, где символически совершится воскрешение из мёртвых, как на Пасху. Мне кажется, вы должны участвовать, нести портрет вашего погибшего деда.

— И двух его братьев, и бабушки. Все они воевали.

— И, наконец, в филармонии состоится концерт патриотических песен времён войны, песен на музыку Пахмутовой, композиций по мотивам песен группы “Любэ”. Мы пригласим кого-нибудь из кумиров патриотической общественности. Ищем кандидатуру. И на этом вечере прошу вас быть, Иван Митрофанович.

Летели цветущие луга и холмы, и среди них, как тени облаков, проплывали заводы. На указателях ведущих к ним шоссе дорог были начертаны названия немецких, французских, японских компаний.

— Я хотел, Иван Митрофанович, предложить вам сделать краткую становку. Здесь, неподалёку, существует удивительный храм и удивительный священник. Вам будет очень интересно.

— Нет, мне не интересно. Я тороплюсь. У меня впереди ещё встреча, — с раздражением ответил Плотников. Он стремился к себе на дачу, где предстояло ему драгоценное свидание. Награда за изнурительный день.

— Может быть, помните, с этим священником, отцом Виктором, был связан скандал. Владыка Серафим хотел сместить его с прихода, чуть ли не отлучить от церкви, да махнул рукой.

— Да, да, припоминаю. Какие-то иконы несуразные, обвинения в ереси. Не хочу, неинтересно. Домой, домой!

Водитель, услышав понукающий возглас, нажал на газ, вокруг зашумело, быстрее замелькали цветущие луга и поляны. Плотников вдруг почувствовал едва различимый толчок, неслышимый удар бокового ветра, который качнул машину, словно хотел её направить по иному пути. Плотников угадал в этом лёгком толчке безмянную волю, которая уводила его с шоссе.

— Ну, ладно, давай заедем. Только быстро! — произнёс он, удивляясь вторжению этой безмянной указующей воли.

Они свернули с трассы, проехали по узкому асфальту, достигли дубравы с синими тенистыми глубинами и солнечными вершинами. Остановились перед церковью, стоявшей на отшибе, вдали от невзрачной деревни, почти на опушке.

Церковь была сложена из чёрных брёвен. Над жестяной двускатной крышей возвышалась малая главка, с синей линялой луковкой и неказистым крестом. К торцу была пристроена островерхая колокольня с проёмами, в которых виднелись два колокола. Церковь была похожа на старинный корабль, потрёпанный бурями. Он причалил к опушке и, когда отступили воды, осел на мели, покосившись и тихо сгнивая.

Навстречу Плотникову из маленькой, притулившейся тут же избышки вышел священник. Выцветшая, пепельного цвета ряса, сквозь которую проступало худое, почти тощее тело. Лицо, такое же пепельное, иссушенное, с впадинами щёк, седой, негустой бородой. Волосы словно посыпаны золой, с залысинами. Будто весь он прошёл сквозь неведомый огонь, испепеливший все живые цвета. И только глаза, серые, нестарые, а зоркие и внимательные, спокойно смотрели на Плотникова.

— Здравствуйте, отец Виктор. Это губернатор Иван Митрофанович, — произнёс Притченко. — Захотел посмотреть вашу церковь.

— Я знаю Ивана Митрофановича, — ответил священник и поклонился. Плотников хотел было подойти под благословение, поцеловать руку с большими костистыми пальцами, но передумал.

— Прошу вас в храм, — священник указал на тёмный, угрюмый короб.

Поднялись на косое крыльцо, перекрестились и оказались в таинственном благоухающем пространстве, в котором струилось тихое сияние. Из окон падали голубые лучи, в них, казалось, ещё дышали сладкие дымы. В золотом иконостасе темнели иконы Спаса, Богородицы, Иоанна Крестителя. Застыли, воздев руки, апостолы и пророки. Плотников вначале устремил глаза на эти лики, перед которыми висели лампы с разноцветными кристалликами солнца. Но потом его изумлённый взор побежал по стенам, где красовались иконы, изумляющие своими необычными изображениями.

На большой золотисто-алой доске была изображена Богоматерь “Державная”, окружённая Небесными Силами, — ангелами, херувимами. Под покровом розовых облаков возвышался Сталин в белом кителе генералиссимуса, с алмазной звездой. Вокруг, словно виноградная гроздь, теснились маршалы в парадных френчах, золотых погонах. К ногам Сталина были брошены знамена поверженных фашистских дивизий. Икона изображала триумф Победы.

Плотников удивлённо смотрел. Глаза скользнули в сторону, и он увидел две другие иконы. На одной, серебристой, двигалось небесное воинство — всадники с нимбами, витязи в алых плащах, острокрылые ангелы. А ниже, повторяя их порыв и стремление, катились по Красной площади броневики и танки, маршировала пехота, шли лыжники в белых халатах с автоматами на груди. На мавзолее, под рубиновыми звёздами стоял Сталин, напутствуя войска. Это был парад 1941 года, в серебряном отсвете осеннего неба, овеянный метелью. Вторая икона, алая, золотая, ликующая, изображала парад 1945-го: Жуков на белом коне, Сталин на мавзолее, гвардейцы, кидające на землю штандарты с чёрными крестами. И над всем — Богородица, в окружении земных царей и райских праведников, витающих над парадом.

Плотников водил глазами, и повсюду, вспыхивая в лучах голубого солнца, сияли небывалые иконы. На изумрудно-зелёных, медово-золотых, пурпурно-алых досках наступали войска, горели танки, падали подбитые самолёты. И на каждой доске, влетаясь в батальные сцены, возносились святые, сияли нимбы, струились ангельские плащи.

— Что это? — Плотников изумлённо спросил священника, продолжая рассматривать на стенах иконы, до конца не понимая их содержание. — Разве Сталин — святой? Жуков — святой? Разве на иконах такое допустимо?

— Нет, они не святые. Их головы не окружены нимбами. Хотя со временем и над их головами зажгутся нимбы, — отец Виктор говорил тихо, с истовой убеждённостью. Его серые глаза на измождённом лице переливались отражением чудесных икон.

Плотников чувствовал исходящую от икон волшебную силу. Они влекли к себе, манили в своё загадочное пространство, куда погружалась душа. Он шёл в строю лыжников, неся на плече лыжи, и у соседнего автоматчика были тёмные усики, и при каждом шаге вздрагивали полные щёки. А на майском параде он опустил к брусчатке тяжёлый штандарт с серебряным крестом и орлиным клювом, и ждал своей очереди, чтобы шагнуть к мавзолею.

— Но ведь это противоречит канону. Не всякий будет молиться на такие иконы, — произнёс Плотников.

— Великая Отечественная война — Священная война. Победа в ней — Священная Победа. Роты, полки и армии священны. Все, кто командовал взводами, ротами, батальонами, кто направлял в бой полки, корпуса и дивизии, кто управлял армиями и фронтами, — священны. Генералиссимус, полководец священной Красной Армии — тоже священный. Все, каждый солдат, окружены святостью, — у отца Виктора зазвенел от волнения голос, и на пепельном лице, на скулах проступил слабый румянец.

— Но как это соотносится со Священным Писанием? Может ли война быть священной? — Плотников сопротивлялся этому звенящему пророческому голосу, этой истовой убеждённости, добытой священником в неведомых Плотникову размышлениях и молитвах.

— Эта война необычная. Эта война всех времён и народов. Не было и не будет такой войны, какую выиграл наш народ. Это Христова война.

— Где же в этой войне Христос?

— Он в Победе. Победа — это Христос.

Плотников понимал, что стоящий перед ним сухощавый священник исповедует вероучение, которое родилось не в кельях, скитах и церковных оградах, а в одинокой душе, пребывающей в вечных странствиях. Плотников смотрел на иконы, и перед каждой в вазе или кувшине стоял букетик полевых цветов — ромашек, колокольчиков, васильков, собранных чьей-то любящей рукой.

— Но здесь, на иконе изображён Сталин. Разве он не повинен в разрушении храмов, в гонениях на церковь, в казнях священников? Может ли его изображение быть на иконе?

Отец Виктор страстно сжал губы, и в их синеватой бледности слабо заговело.

— Сталин действовал жестоко, он был грешник. Но он не был подобен царю Ироду. Ирод избивал Вифлеемских младенцев и искал среди них Христа. Сталин избивал людей в поисках среди них Антихриста. Он запечатывал врата адавы, открывшиеся в России после свержения царя, чтобы ад не наследовал землю. Война была сражением ада и рая. Сталин возглавил райское воинство и сокрушил ад. Христос был со Сталиным. Православная церковь многие годы молилась за Сталина. Она не может теперь отозвать назад своих молитв. Апостол Пётр трижды предал Иисуса и горько плакал об этом. Церковь не может уподобиться апостолу Петру в минуты его слабости.

Плотников не понимал до конца богословского смысла их беседы. Он лишь чувствовал, что священник преисполнен знания, которое добыл не размышлениями, а каким-то иным, внутренним опытом. Сердцем, а не разумом. Отстаивает этот опыт истово и несокрушимо, готовый претерпеть гонения и, быть может, гибель.

— Многие отреклись от Сталина, отреклись от Победы. Но другие верны ему. Грех предательства самый страшный...

— Как вы правы, отец Виктор! — воскликнул Притченко. — Мы — народ-предатель! И нам гореть в аду!

— Мы — народ-победитель, — твёрдо поправил священник. — Из нашего народа исходили и продолжают исходить святые. Они оградят нас от ада.

Плотников продолжал созерцать иконы, висящие на стенах. Казалось, что в тёмном срубе отворились окна в иные дали, и из них изливается чудесный свет.

— Это мученики Священной войны, которые принесли во имя Победы Христову жертву, — отец Виктор истово перекрестился.

— Хотите, я вас исповедую, Иван Митрофанович? — неожиданно спросил священник. — Перед этой иконой.

— Я не готов, отец Виктор, — Плотникова испугало это внезапное предложение. — Я к вам случайно заехал.

— Ничего не бывает случайного. Наклоните голову, я вас исповедую.

Плотников, повинуясь спокойному властному голосу священника, наклонил голову, почти касаясь креста на груди батюшки. Тот положил ему на темя сухую костистую руку. Вице-губернатор Притченко деликатно отошёл в сторону.

— В чём ваши грехи?

Плотникову было неловко стоять, склонив голову. Этот худой, с провалами щёк старик вдруг обнаружил свою власть над ним. Он повиновался этой настойчивой воле. У него были грехи, но он не думал о них как о грехах, а только как о мучительных, притаившихся в душе проступках, которые со временем забудутся. Его вина перед женой, которую затмила прелестная, обожаемая возлюбленная. Это раздвоение причиняло страдание, он был вынужден лгать жене. Он смотрел сквозь пальцы на уложения государственной власти, в которых было много несправедливости и неправды. Вспышки раздражения и гнева по отношению к подчинённым, которых он обижал, забыв извиниться, и те не смели ему возразить, молча переживая обиды. Всё это копилось в нём, смутно волновало и огорчало, но не было времени и умения погрузиться в свои душевные переживания и освободиться от их тайного гнёта.

И он сбивчиво каялся в этих грехах. Плотников умолк, испытывав жжение в горле, словно сделал глоток едкого напитка.

Всё это время рука священника лежала на голове Плотникова. Он почувствовал, как твёрдые пальцы отца Виктора трижды ударили его в темя.

— Вы исповедовались, Иван Митрофанович, перед иконой генерала Карбышева. Теперь духовно связаны с этой иконой.

Плотников смотрел на икону. В серебряном сиянии стоял голый человек, с резко выступающими рёбрами, скрестив на груди руки. На него проливался чёрно-синий смертельный поток, превращаясь в алмазные струи. И эта икона, как окно в иное, волшебное пространство, влекла Плотникова.

Подхваченный вихрем, он вошёл в икону. Встал рядом с Карбышевым. На него хлынул страшный ледяной поток, от которого остановилось сердце. Он превратился в ледяную прозрачную глыбу, сквозь которую видел отца Виктора, Притченко, туманно озарённую церковь. Лед хрустнул, раскололся, и он выпал из ледяной глыбы на руки Притченко.

— Вам плохо, Иван Митрофанович? — испуганно спрашивал Притченко.

— Нет, нет, ничего, — слабо ответил Плотников, чувствуя, как болят обмороженные рёбра.

Они покинули церковь. Солнце слепило глаза. Бревенчатый короб был похож на старый амбар. Отец Виктор провожал их к машине.

— Когда вам будет невъяснимо, Иван Митрофанович, помолитесь генералу Карбышеву, и он вас спасёт. Ангела Хранителя!

Машина мчалась по вечеряющему шоссе. Плотников взглянул на часы и увидел, что они покрыты корочкой льда. Лед таял, холодная струйка сбегала в рукав.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они доехали до кольцевой дороги, окружавшей губернскую столицу. Не въезжая в город, направились к заповедному озеру, на берегу которого Плотников выстроил дачу. Ограждённая высоким забором, с воротами, охранныком и камерами наблюдения, дача была давнишней мечтой, исполнение которой Плотников позволил себе только теперь, после нескольких лет пребывания в губернаторах.

Выходя из машины, Плотников приказал шоферу:

— Отвезёшь Владимира Спартаковича, заберёшь Валерию Петровну и вернёшься сюда. А вы, Владимир Спартакович, готовьте заседание правительства. Выносим вопрос о деревообрабатывающем заводе в районе Копалкино. Реконструкция посёлка и инфраструктуры.

— Будет сделано, Иван Митрофанович. Ох уж эти мне копалкинские! К ним без бронезилета лучше не соваться.

Машина с вице-губернатором скользнула и исчезла в аллее.

Валерия Петровна Зазнобина, Лера, была отрадой Плотникова. Она преподавала в педагогическом университете русскую литературу. Молодая, чудная женщина одарила его своей свежей и светлой женственностью, своим преданным служением, своей чуткой пронизательностью, с которой угадывала его тайные тревоги, честолюбивые стремления, невысказанные мечтания. Он звал её “Зазнобушка”. Она заслонила от него жену, постаревшую, потускневшую, хворую. Жена пребывала в вечном недовольстве и унынии, которые были для него дополнительным бременем среди его утомительных трудов и забот. Жалость к жене, чувство вины перед ней лишь усиливали его отчуждение, теснее сближали с Лерой.

Теперь, после утомительной дороги, он оказался на своей великолепной даче, которую строил с привередливой тщательностью, вознаграждая себя за многолетние телесные и духовные траты. Он подждал свою милую, расхаживая по даче, вдыхая чистые и свежие запахи ещё не обжитого поместья.

В гостиной, сквозь широкие окна и стеклянную балконную дверь сияло близкое озеро с тонкой серебряной полосой, которую оставила далёкая лодка. Перед балконом цвели розы. Высокие клёны и дубы обступали аллею, ведущую к воде. На стене висела картина, изображавшая женщину, похожую на перламутровую раковину. На стекле, среди шёлковых занавесок бесшумно трепетала бабочка. Должно быть, залетела, когда они с Лерой стояли на открытом балконе, любуясь озером. Плотников, испытывая нежность, открыл окно и выпустил бабочку.

В столовой буфет переливался дорогим фарфором и хрусталём. На столе стояли два бокала, полные солнца, и два серебряных витых подсвечника с белыми, нетронутыми свечами. Плотников зажгёт обе свечи, воображая, как они с Лерой в новогоднюю ночь будут сидеть перед горящими свечами, протягивая друг другу бокалы. Картина с фарфоровой миской, полной малины, была так хороша, что, казалось, в столовой витает аромат сочных, переспелых на солнце ягод. Плотников потушил свечи, тронув пальцами мякоть воска.

Кабинет был отделан красным дубом. На столе глянцеви́то темнел компьютер. На книжной полке, не заполняя всего пространства, стояли книги. Одна, на английской, посвящённая реформам в Сингапуре, лежала плашмя, с кисточкой закладки. Плотников зажгёт висящий под потолком плоский светильник, состоящий из разноцветных стекол, среди которых угадывались прозрачные стрекозы и цветы. Посмотрел на свой портрет, выполненный известным московским художником: жёсткий, цепкий взгляд, волевые складки лица... Таинственные, летящие над головой мерцающие миры.

В спальне на широкой кровати с резными спинками поверх полосатого покрывала лежала подушка, шитая серебром. Он поднёс подушку к лицу, улавливая притаившийся в ней запах духов. Лера положила подушку на голую грудь, и теперь подушка хранила запах её духов.

Крытый бассейн напоминал голубой слиток. На дне, словно замороженный в голубой лёд, был изображён дельфин. Плотников наклонился, тронул



воду рукой. Бассейн слабо дрогнул, колыхнулся, и казалось, дельфин зашевелил своими плавниками и хвостом.

Предвкушая свидание с милой, Плотников обошёл дом. Услышал, как шуршит перед крыльцом гравий. Из машины вышла Лера, улыбаясь, зная, что он из-за шторы видит её. Машина исчезла, и она стояла, улыбаясь, не входя в дом, ожидая, когда он выйдет.

Он вышел на крыльцо сквозь стеклянную дверь и счастливо замер. Она стояла, белолицая, с каштановыми волосами на прямой пробор, высокой шеей и голыми плечами, на которых слабо держались фиолетовые дужки вольного, до самой земли сарафана. Ему казалось, она окружена прозрачным свечением: её чудесное, с едва выступающими скулами лицо, обнажённые, с солнечным отливом плечи, розовые мочки маленьких прелестных ушей, сквозь которые просвечивало солнце, — всё её высокое стройное тело, спрятанное в лиловую ткань сарафана. Плотников, не спускаясь к ней, радостно выхватил её взором из зелёных клёнов, из кустов красных роз, из бирюзового озера, над которым стояла недвижная туча с оплавленной кромкой. Сбежал по ступенькам и стал целовать смеющиеся сладкие губы, плечо, крохотные бриллианты в ушах.

— Ты моя прелесть! Моя Зазнобушка!

— Думаю о тебе каждую минуту. А вдруг не позвонишь? Вдруг не позовёшь?

— Колесил по дорогам. Люди, встречи, ссоры, заботы. И думал, когда же, наконец, вечер? Когда увижу тебя?

— Ну, вот и увидел.

— Ужин готов. Прощу к столу.

— А что, если перед ужином пойти к озеру? Искунаться? Такое у тебя чудесное озеро.

— Это твоё озеро. И твои клёны. И твои розы.

— И ты мой?

— И я.

Они пошли от дома к озеру с белесым песчаным берегом и купами осоки. Озеро было нежно-голубое, с серебряной полосой и тёмно-лиловой далью, над которой застыла туча. Лера сбросила босоножки, повела плечами. Фиолетовый сарафан упал, и она переступила его, поднимая белые ноги. Не оглядываясь на Плотникова, пошла к воде, ступая по песку. Шагнула в озеро, медленно погружаясь, двигая лопатками. И он жадно, восхищённо смотрел, как гибко изгибается ложбина её спины, и бегут от её бёдер тихие волны. Озеро наполнялось её женственностью и, казалось, радостно дышало, обнимая её. Он вдруг испытал неизъяснимую нежность, мучительное обожание, словно время остановилось, и это мгновение запечатлелось в нём навсегда: озеро с серебряной полосой, огромная туча, лиловый, брошенный на песок сарафан. И она — белая, чудесная, стоит по пояс в воде, окружённая водяными кругами.

Она легла на грудь и поплыла, бесшумно, мягко, оставляя след на воде, как плавают выдры. Он видел, как потемнели от воды её волосы, и что-то слабо сверкало — то ли солнечные капли, то ли крохотные бриллианты.

Он разделся. Вода была бархатной, тёплой. Стопы чувствовали замшевый песок. Бросились врассыпную мальки, зеленовато-голубые, с золотыми глазами. Голубая стрекозка закружилась над ним, собираясь сесть на плечо, но испугалась и улетела в осоку. Он зашёл по грудь и стоял, глядя, как она повернулась и плывёт к нему. Он видел её глаза над водой, поднятые брови, губы, которыми она сдувала набегавшую волну. Подплыла и встала, зонком сбрасывая с плеч воду, сияющая, восхитительная, и он обнял её, чувствуя мягкие груди, колени, дышащий живот.

— Как ты прекрасна, — сказал он, целуя её стеклянные плечи, чувствуя, как пахнет она свежим озером, словно водяная кувшинка.

— Я знала, ты смотрел на меня, когда я шла к озеру.

— Хотел тебя навсегда запомнить.

— Пусть озеро нас запомнит.

Застрекотал мотор, из-за мыса выскользнула лодка, помчалась мимо, задирая острый нос, разрезая воду. И они ждали, когда волна докатится до них и плеснёт.

Они возвращались в дом. Её сарафан потемнел на животе, и к нему при- стали песчинки, как солнечные искры.

В столовой он с нежностью и весёлым вниманием смотрел, как Лера хо- зяйничает, уже зная, где хранятся в буфете тарелки, столовые приборы. Уго- щала его ломтями мяса, успевшего остыть, молодой картошкой. На белых клубнях, как крохотные птичьи следы, прилипли зелёные травинки укропа. Вот она рассекла сочный алый помидор, наполненный золотистыми семена- ми. Резала длинными долями хрустящие огурцы.

— Настоящая летняя трапеза. Вкуснее, чем в любых ресторанах, — хвалил он её, наливая в бокалы вино. — За тебя, моя хозяйюшка!

— Ты в следующий раз закажи мне обед. Сама тебе приготовлю.

— Суп из белых грибов. Уже появились на рынке.

— Приготовлю, мастерица варить грибные супы.

— Цветную капусту полей яйцом и зажарь.

— Пальчики оближешь. А ещё испеку тебе пирожки, всякие пышки, пампушки. Ты ещё не знаешь, какая я кулинарка. Ты приезжаешь домой, а обед готов.

Она посмотрела на него и испуганно замолчала. И этот испуг на мгно- вение передался ему. С её появлением его прежний мир стал шататься, пу- таться, и он боялся думать, что станет с его миром, с его домом, с женой и сыном, когда у него не хватит сил утаивать свои свидания, утаивать свою любовь.

— За тебя, мой милый, — она протянула бокал с вином. В глазах её была тайная печаль, отражение серебряного озера и фиолетовой тучи, уже накрывшей далёкие берега.

Он взял её за руку и повёл из-за стола. Она шла, потупясь, почти не- охотно, словно между нею и им возникло отчуждение. И он хотел его пре- одолеть, извлечь тёмную чужую частицу, залетевшую в их светящуюся близость.

На полосатом покрывале лежала подушка, расшитая сингапурскими ма- стерицами. Он обнял её плечи. Сарафан скользнул на пол, и она в своей белизне стояла, наступив на фиолетовый ворох.

Она не поворачивалась к нему. В её неподвижности была печальная по- корность. И это безропотное повиновение причиняло ему боль.

Он прикоснулся губами к её волосам, ещё влажным от недавнего купа- ния, к её затылку. Губы чувствовали тихое, струящееся в ней тепло, чуть слышные биения. Её жизнь, её женственность, её любимая душа принадле- жали ему, и он осторожно целовал её шею с пульсирующей жилкой, мочку уха с мерцающим камушком, прохладное плечо. Каждым поцелуем вдыхал он в неё свою нежность, стараясь расколдовать её, растопить её печальную неподвижность. Медленно опускался, скользя губами по ложбинке спины, целуя её бедра, её прохладные ноги. И она отзывалась на прикосновение его губ, тихо вздыхала, чуть слышно вздрагивала. Обернулась к нему, глядя сверху вниз дрожащими, в жадном блеске глазами.

— Иди ко мне!

Ему казалось, что их завернула в себя безумная волна, слепящий водо- ворот, который их перевёртывал, метал из стороны в сторону, тошил. Не да- вал дышать, не давал кричать, уносил в свою бездонную глубину.

Её огромные, дрожащие, глядящие мимо глаза... Её губы в бессвязном лепете, с каплей крови, оставленной его поцелуем... Её зубы, которыми она хватает его пальцы и больно сжимает.

Из глубины, куда он падал, навстречу поднималось розовое пятно, раз- мытое свечение, словно там находилось подводное светило. Оно приближа- лось, дрожало, он торопил его приближение. И слепящая вспышка, мучи- тельный стон, смертельная сладость. Птичье оперенье стеклянно блеснуло. Птица, охваченная огнём, исчезла в слепящем жерле.

Плотников лежал отрешённо, закрыв глаза. Почувствовал лицом слабое тепло. Сквозь закрытые веки угадал её руку, которую она, не касаясь, прильнула к его лицу. Поймал её пальцы, прижал к губам.

— Люблю тебя, — сказала она.

— Ты моя любушка, Зазнобушка.

Лежали, прижавшись голыми плечами. В окне потемнело. Туча пришла и встала над домом. Было видно, как отяжелела листва деревьев, наполнилась сумраком аллея.

— Думаю о тебе каждую секунду, — сказала она. — Подумаю и начну улыбаться. Иду по улице и начинаю смеяться. Прохожие спрашивают: “Почему вы смеётесь”? Но разве им скажешь, что всё во мне ликует от любви к тебе. У меня галлюцинации. Слышу твой голос. Вижу твои брови и губы. Я не думала, что так можно любить. Я не девушка-студентка, но то, что стало со мной теперь, это небывалое чудо. Ты наградил меня этим чудом. Может, ты меня околдовал? Ты колдун?

— Ты же видишь, что я колдун. Кинул в вино приворотное зелье.

— Моё последнее увлечение, — оно прошло, и всё во мне погасло. И хорошо, и тихо. Дом, университет, любимые лекции. Я думала, так будет теперь всегда. И вдруг появился ты, на выпускном вечере. Подошёл, поздравил. Не помню твоих слов, но твои глаза, сияющие, полные света, посмотрели на меня, и я пропала. Я и теперь пропадаю!

Он прижимал к губам её пальцы. Её женственность окружала его. Она лелеяла, находила в нём то, чего он не знал о себе. Он был счастлив и горд тем, что эта молодая прелестная женщина наделяет его красотой, которой он в себе не видел. Благородством, о котором никогда не задумывался. Добротой, которая не ценилась и не замечалась другими. Она возвышала его, приписывала идеальные свойства.

— Я ждал, когда кончится этот день, и я увижу тебя. Люди, люди, бесконечные встречи, заботы, ухищрения. Терпеливые уговоры. Утомительные ожидания. Столкновения, неудачи. Вся моя жизнь в этом. Но вот всё это отлетает, и я с тобой. Понимаю, что мне ничего не надо, кроме твоих чудесных любимых пальцев, твоих близких волос, которые ты намочила в озере, твоей родинки на плече.

Стекла в окне тихо задрожали и зазвенели. На них давил поднявшийся ветер. И этот слабый перезвон казался откликом на его слова. Словно кто-то невидимый пробивался к ним из сада, хотел что-то добавить к его словам. Что-то важное, о чём он забыл сказать.

И он рассказал ей о Сёмке Лебеде в Копалкино. Она внимательно выслушала.

Он вдруг подумал, что нашёл женщину, с которой начнётся для него новая жизнь, с которой у него драгоценные совпадения в каждом слове и чувстве. От неё исходит одно благо, одна дивная сладость. А от прежней жизни, от тусклых воспоминаний, досадных огрех и ошибок больше ничего не осталось.

Плотников испугался этой мысли, вслед за которой последует страшный и мучительный оползень, сметающий его бытие. Опечаленное, несчастное лицо жены, беспомощной в своём увядании. Верящие, полные света глаза сына, для которого отец был безупречен. Плотникова охватила паника, и он убежал от этой мысли. Мысль ещё гналась за ним, как оса, и постепенно отстала.

Лера не заметила его мгновенного помрачнения.

— Ты рассказал об этом Сёмке Лебеде, о его ненависти. Иногда кажется, что в народе живёт зверь, косматое чудище. Да и как не жить! Столько обид, насилий, обмана! Столько во все века мучений! Но найдётся сердце, которое его полюбит. Найдётся душа, которая увидит в нём Божье творение. И этот Сёмка Лебедь, если его полюбить, если в него поверить, преобразится. Ответит добром и любовью.

В стекло ударил ветер, со звоном растворил окно, ворвался холодной силой. Занавески взлетели и стали метаться, как две танцовщицы в прозрачных рубахах.

— Сейчас будет гроза, — сказал он, вставая. Вышел на балкон, охваченный свежестью, шумом, запахами неба, листвы и озера. Далёкая вода казалась фиолетово-чёрной. Туча выбрасывала из себя косматые клубы, словно строила одну за другой башни и тут же их валила к земле. Деревья бушевали, выворачивались наизнанку, словно боролись между собой зеленые великаны, напрягая тугие спины. Розы в сумраке светились огненно-красным. На перилах балкона лежали забытые садовые ножницы.

В голые плечи Плотникова ударили холодные капли. Лера вышла и встала рядом, и оба они смотрели на бушующие деревья и красные розы.

Дождь приближался от озера. Заволок аллею туманом, скрывая берег. Зашумел в отдалённых деревьях, укрощая их бурное колыханье. Надвинулся шумом, тусклым блеском. Наполнил деревья литой тяжестью, от которой те замерли, переполнились водой, как огромные зелёные лохани. И ударил ливень, всей мощью, оглушающим шумом, хлюпающими струями, от которых на земле вскипели ручьи, запузырились лужи, заблестела трава. В деревьях открылись зелёные гулкие водостоки, из которых хлестала воды. Розы, как флаконы, отяжелели, согнулись и горели, качались в дожде.

— Как прекрасно! — сказала она, прижимаясь к нему. На балкон залетали холодные брызги, но они не уходили. В туче хрустнуло, громыхнуло. Провернулось в чёрной глазице ртутное око. Гул покотился, удаляясь, словно рокотали сердитые басы.

Плотников испытал мгновенье восторга, юношеской удалы, бесшабашной свободы. Схватил садовые ножницы, перемахнул перила балкона и помчался, скользя по лужам, сквозь ледяные водопады, подставляя голову под зелёные водостоки. Подбежал к кустам роз. Срезал тёмно-красный тяжёлый цветок и вернулся на балкон. Преподнёс розу Лере. Счастливые, без одежд, как в первые дни творения, стояли они в блеске дождя. И она касалась губами розы.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Плотников возвращался в свою губернскую столицу, когда начало темнеть. На въезде в город, где ещё недавно тянулось болото и запущенный пустырь, теперь возвышались странные сооружения. В уменьшенном виде — Спасская башня, мечеть с минаретами, английский Биг-Бен, американская Статуя Свободы. Строения празднично озарялись, над ними пробегали разноцветные сполохи, взлетали шутихи. Там шёл праздник, и Плотников порадовался этому многоцветному веселью, которое бушевало на месте недавнего пустыря. Странные сооружения были воздвигнуты по прихоти заезжего миллиардера Головинского, с которым Плотников всё ещё не был знаком. И это было упущением.

Городской центр, где жил губернатор, туманился фонарями после прошедшего ливня. Центральная улица сберегла множество ампирных особняков, великолепных колоннад, торговых подворий. Радениями реставраторов они превратили центр города в заповедник. Деревья вдоль тротуаров были оплетены хрустальными гирляндами, словно их усыпали бриллианты. Вечерняя молодая толпа празднично двигалась среди стеклянных деревьев, оседая в кафе, усаживаясь прямо на воздухе под влажными от дождя балдахинами. Льдистым потоком струились автомобили, и фары, полные белого огня, столбами отражались в мокром асфальте. Улица выходила к озеру, вокруг которого зеленел парк. В парке играла музыка, крутилось колесо обозрения с огненными спицами, вычерпывая из листвы разноцветные люльки. Через озеро, продолжая улицу, вёл пешеходный мост, уставленный фонарями, которые опрокидывались в воду золотыми веретенами.

Плотникова радовала красота губернской столицы, которую он украшал, как украшают витрину. Его новый фешенебельный дом находился в глубине квартала, заслонённый арками и колоннами старых торговых рядов. Теперь в них размещались дорогие бутики, были выставлены французские и итальянские костюмы, на чёрном сафьяне мерцали бриллианты. Дом губернатора

охранялся, гостеприимно растворились ворота, постовой в полицейской форме отдал честь.

Жена Валентина Григорьевна, Валя, встретила его рассеянным взглядом в гостиной. Она сидела в кожаном кресле, среди нарядного убранства, которое сама подбирала, радуясь новой великолепной квартире. Теперь же, в тёмном домашнем платье, небрежно облекавшем располневшее тело, она выглядела усталой и тусклой. Глаза не вспыхнули, как бывало, при появлении мужа. Плотников, боясь с ней встретиться взглядом, от порога стал говорить:

— Как я устал, Валя! Какой тяжёлый сумбурный день! Наш сталеплавильный магнат Ступин, задержка с пуском трубопрокатного цеха. А ведь это президентский проект! И ещё это Копалкино, ну, ты знаешь, там раньше был совхоз-миллионер. Теперь Закопалкино, люди совсем одичали. И ещё один священник блаженный, отец Виктор, Сталина хочет сделать святым. Но я в этом мало что понимаю. Это по твоей части. Люди, люди... От них устаёшь ужасно!

Он говорил торопливо, не глядя ей в глаза. Мучился оттого, что фальшивил. Раздражался, но не на себя, а на неё. Она вынуждала его лгать, заставляла мучиться. В этом была её вина перед ним. Он ловил себя на этой двойной неправде, и это увеличивало раздражение.

— Ты голоден? Ужин готов, — сказала жена.

— Да нет, десять обедов на день. Всякий хочет за стол усадить. Какой уж там ужин!

Жена была рассеянна. Казалось, к чему-то прислушивалась в себе самой. Не улавливала в словах мужа фальши. И Плотников успокоился. Ждал, когда сможет пожелать жене “спокойной ночи” и отправиться спать в кабинет.

— Клавдия Константиновна звонила, просила помочь. У неё дачный участок хотят забрать, будто бы он не оформлен, — жена произнесла это тихо, вяло, глядя куда-то мимо Плотникова.

— Помогу, — сухо ответил Плотников. — Все твои подруги о чём-то просят. Пусть обратится к Притченко, я распоряжусь.

— Ещё Роза Яковлевна Зактрегер, директор музыкальной школы, просила, чтобы дали денег на ремонт классов. От потолка штукатурка отваливается.

— Да ведь я же её принимал! К сентябрю сдаём новую музыкальную школу, в которую выписали из Германии небольшой орган. Пусть потерпит до сентября и не сажает детей под аварийный потолок!

— Ещё поймал меня на улице Лаптев. Просил посодействовать, чтобы ты выделил ему под жилую застройку участка за озером. Хочет построить элитное жильё для иностранных специалистов, — жена передавала эти просьбы, к которым Плотников привык. Люди использовали жену, её доверчивость и отзывчивость для решения своих материальных нужд.

— Лаптев, говоришь? Лакомый кусочек отхватить хочет! Пусть освоит пустыри на болотах!осушит, проведёт дорогу, водопровод, газ и там строит своё элитное жильё! Губерния не станет оплачивать из своего кармана его фантазии! И прошу тебя, Валя, отсылай ты их всех ко мне, в порядке живой очереди! — Плотников сердился, но одновременно был рад тому, что жена не заметила его фальши. — Давай почивать!

Тихо, в туманной сладости, проплыло озеро с серебряной полосой от лодки. Деревья под ветром, похожие на огромных бушующих борцов. Роза, отяжелевшая от дождя. Хотелось уйти в кабинет и там, в темноте, засыпая, ещё раз пережить восхитительные мгновенья, увидеть обожаемое лицо.

— Спокойной ночи, Валя. Пора отдыхать, — он повернулся, собираясь уйти.

— Подожди. Я хотела тебе сказать.

— Что?

— Я больна. Врач Сергей Семёнович Куличкин провёл исследование и сказал, что я больна, и болезнь запущена.

— Как? Чем больна?

— Не хотела тебе говорить. Думала, обойдётся. Когда ездила в Оптину пустынь, молилась, и как будто стало полегче. Но теперь началось обострение.

— Неужели онкология?

— Да.

Плотников смотрел на жену, притихшую, печальную, покорную. В её тусклом голосе, в том, как она сутуло и безвольно сидит, в неряшливом платье и шлёпанцах, была обречённость. Плотников с ужасом видел, что в ней поселилось тёмное молчаливое чудище и медленно растёт, расплзается, занимает всё больше и больше места. Жена несёт в себе это безмолвное тёмное чудище, которое пускает в ней свои страшные отростки, не в силах ему сопротивляться, покорно ему отдаваясь...

— Но как? Почему молчала? Надо лечиться! Есть прекрасные врачи, лучшие клиники! Поедешь в Германию!

— Клавдия Константиновна хочет познакомить меня с одним человеком. Он лечит “живой водой”. У него есть лаборатория. Он изготавливает в ней “живую воду”. Опухоль рассасывается, даже самая запущенная.

— Дичь! Идиотизм! Колдуны, шарлатаны! Вместо того, чтобы обратиться к врачам, ты знаешь с церковными старухами и бессовестными шарлатанами!

— Не кричи на меня! Зачем ты на меня кричишь? — она заплакала. И он в порыве нежности, любви и бессилия шагнул к ней, обнял, прижал к груди её голову, чувствуя, как она вздрагивает, всхлипывает, прижимается к нему, как к последней опоре.

— Валя, родная, всё будет хорошо. Мы справимся.

Дверь в гостиную открылась, и появился сын Кирилл. Встревоженный, с круглым юношеским лицом, на котором сияли вопрошающие глаза.

— Мама, папа, что здесь происходит?

— Ничего, Кирюша, так, печаль набежала, — произнесла жена, отирая рукой слёзы. — Я пойду отдыхать, а вы посидите. На кухне есть ужин, — и она ушла, тяжело ступая.

Он был угнетён известием о болезни жены. Мучился тем, что лгал ей, больной и страдающей. И теперь, обнимая сына, искал в нём отраду, отрезался от дурных ощущений.

Девятнадцатилетний Кирилл учился в Оксфорде и приехал домой на каникулы. Его юношеская худоба и стройность, свежесть округлого лица, большие карие глаза под мягкими бровями, которые он унаследовал от матери, крепкий рот и большой открытый лоб, доставшиеся от отца, радовали взор. Кирилл был в том чудесном возрасте, когда душа выбирает путь и стремится сразу во все стороны, не ведая, какой путь главный.

Они стояли с Плотниковым у окна. Смотрели, как текут по проспекту огни, словно белые сосуды с огнём. Как крутится колесо обозрения с разноцветными спицами, похожее на расписную прялку. Как людно на мосту под фонарями, как множество золотых веретён отражаются в тёмной воде.

— Ну, что у тебя нового, сын? Как время проводишь?

— Встречался с одноклассниками. Знаешь, когда два года назад расставались, клялись каждый год встречаться, поддерживать дружбу. А теперь встретились, и говорить не о чем. У каждого своя жизнь, свои интересы. Сенька Черкашин по литературе одни пятёрки имел, его в писатели прочили, а он водит автобус, шоферит, о заработках печётся. Витька Цыплаков, который, ты помнишь, драку затеял, чуть в тюрьму не угодил, а теперь в Москве, в университете учится, на юриста. Андрюха Сырцов — в армии, где-то на Урале. А Вася Максюта, тихоня такой, рыбок разводил в аквариуме, он на Донбасс уехал, воюет, ранен был. А я, сынок губернаторский, в Оксфорде учусь. Меня друзья лордом дразнят.

— Мужчины дружат, если у них есть общие интересы и цели. Исчезают общие интересы, расходятся цели, и дружба врозь. Это женщины с детства и до самой смерти дружат. У них чувства сильнее разума.

Плотников смотрел на открытый лоб сына, над которым распушились лёгкие светлые волосы. Когда-то Плотников любил дуть на этот пушистый чубчик, дыхание щекотало сыну лоб, и тот смеялся.

— Конечно, папа, я тебе благодарен за Оксфорд. Мне интересно учиться. Там отличные парни. Я сдружился с канадцем Вилли, он сын известного банкира. И с индусом Чангом, он принц, из знатного рода. Но всё же я думаю, может быть, мне следовало остаться в России, здесь поступить в университет? Мои школьные дружки смотрят на меня чуть искоса, как на “белую косточку”, папенькиного сынка.

Плотников приобнял сына, чувствуя его юношескую стройность и гибкость. Сын, как стебель, тянулся вверх, утончаясь в талии, в шее, в плечах, исполненный хрупкой нежности.

— Ты послан мною в Оксфорд не на тёплое место. Учись, впитывай, узнавай, заводи знакомства. Библиотеки, театры, интеллектуальные кружки. Узнавай их дух, их культуру, их психологию. Они наши вечные соперники, вечные противники. Они снова придут к нам, как приходил Стефан Баторий, Наполеон или Гитлер. Ты послан в стан противника, и должен его изучать, пока он не двинул на нас свои дивизии и эскадрильи.

Плотников наставлял сына, давал ему задание, встраивал в свои замыслы. Между ним и Кириллом была связь, подобная световоду, по которому от отца к сыну лилась невидимая сила, родовая заповедь, упование на их неразрывные, одна другую продолжавшие судьбы.

— Окончишь Оксфорд, поступишь в корпорацию. Пусть вначале на самую скромную должность. И там учись, и там узнавай. У них есть тайны, которые они не открывают миру. Есть секреты, которые держат за семью замками. Не чертежи самолётов и кораблей, а чертежи своей цивилизации, которая обладает огромной мощностью, огромной созидательной или разрушительной силой. Узнай, как устроена их цивилизация, в чём её тайный код, где игла, на конце которой таится её гибель. Привези эти секреты в Россию.

Плотников вёл сына, давая направление его росту, его интересам, занимаясь его становлением с тех ранних чудесных дней, когда они шли по горячему дугу, наклонялись над цветущими ромашками, колокольчиками, резными пахучими травами, и Плотников учил сына названиям цветов, и тот собирал свой первый гербарий. А тёмной бархатной ночью, когда над крышей деревенской избы горели созвездия, оба они, запрокинув голову, смотрели до головокружения на сверкающее мироздание, и сын запоминал названия звёзд. Сын был любимым созданием, которое сотворял Плотников. Был проектом, который он задумал и все годы тщательно воплощал. Указывал сыну книги, которые тот должен читать, фильмы, которые он должен смотреть, идеи, которые он должен исповедовать. И сын послушно и благодарно следовал его наставлениям.

— Мы отстали от Запада, трагически отстали. Десяток лет разрушали себя, повинувшись злой воле. Проводили вредоносные реформы, которыми заразили нас, как заражают чумой. Мы теряли заводы, учёных, изобретателей. Теряли самый главный ресурс — историческое время. Теперь мы накануне рывка. Россия созрела для рывка. Мы вырвемся из капкана, куда нас затолкали, и начнём стремительно развиваться. Нам понадобится западный опыт. Потребуется не только их промышленные технологии, но технологии управления заводами и корпорациями, технологии управления историческим временем. Для этого нам нужны люди, знающие их секреты. Молодые, блестяще оснащённые знаниями, окончившие Оксфорд и Гарвард, Кембридж и Бостон. Поработавшие в их корпорациях, знатоки их политики и культуры. Ты — один из них. Тебя ждёт Россия. Не я, а Россия послала тебя в Оксфорд.

Путь, на который Плотников ставил сына, был опасен. Впереди предстояла жестокая схватка, встреча с ненавидящими врагами, с лукавыми предателями. Его ожидали неудачи, опустошённость, минуты уныния. И Плотников, обнимая сына, передавал ему свою бодрость, мудрость, веру в неизбежность Победы.

— Я буду ждать, сынок, твоего возвращения в Россию. Мне сулят большие перемены, новые роли. Я знаю, как совершить долгожданный рывок. Мне нужны помощники, нужны сподвижники. И ты один из них. Это счастье, когда сын и отец заняты единым делом, живут одной мечтой, стоят плечом к плечу!

Плотников заглянул сыну в сияющие глаза. Дунул на белый открытый лоб, сдувая пушистый хохолок.

— Я горжусь тобой, папа, — сказал Кирилл, прощаясь с ним перед сном.

Ночью Плотникову снился ливень, в котором туманно краснели розы. Сверкающий след на озере, оставленный лодкой. Икона, на которой, скрестив руки, стоял генерал-мученик, превращённый в стеклянную глыбу. В спальне по соседству спала жена, и в ней шевелилось, разрасталось чёрное чудище, протягивая свои щупальца во все части её бессильного тела. Плотников просыпался в страхе, чувствуя, как сердце наполняется болью и начинает болезненно ухать. И снова прятался в сон, в ливень, в кипящие деревья, в тяжёлый, полный воды цветок.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лев Яковлевич Головинский слыл миллиардером. Он явился два года назад и зажил широко и пышно, как может жить баснословный богач, не считающий деньги. Он купил руину в центре города, наводившую уныние на приезжих и служившую вечной укоризной нерасторопным городским властям. И на месте этой руины построил усадьбу в стиле ампира, копию тех дворцов, которыми владели Голицыны или Шереметьевы, с белоснежными колоннами, высоким фронтоном, с хозяйственными службами, подобными тем, в которых именитые владельцы держали прислугу, кареты, конюшни и псарни. Головинский открыл в городе два ювелирных магазина с драгоценными витринами. На чёрном сафьяне сверкали золотые украшения, переливались бриллианты, диадемы и браслеты, выполненные знаменитыми ювелирами Италии и Франции. Говорили, что его основное богатство находилось в Амстердаме, куда стекались алмазы со всего мира, превращаясь в руках искусных гранильщиков в несравненные бриллианты. Никто не мог объяснить, почему Головинский, “человек мира”, внесённый в список “Форбс”, выбрал для проживания здешнюю губернию. Спрос на бриллианты был здесь сравнительно невелик. Общество не блистало обилием кинозвёзд и знаменитостей, среди которых вращаются миллиардеры. Тем не менее, он зажил на широкую ногу, открыто и пышно, изумляя обитателей города своими необычными затеями.

В гараже, напоминающем каретный флигель, у него хранилось несколько раритетных автомобилей, и среди них “Хорьх” и “Мерседес”, на которых развезжал Гитлер. Говорили, что Головинский однажды сел в заповедный “Мерседес”, нарядившись в форму нациста, и совершил поездку по губернии, останавливаясь у памятников погибшим воинам. Из автомобиля будто бы раздавались звуки нацистских маршей, а из бетонных памятников слышались рыдания.

Ещё одну необычайную выходку, смутившую горожан, приписывали Головинскому. Осенью, в “День национального примирения и единства”, когда город был разукрашен флагами, а по центру двигалось патриотическое шествие, возглавляемое губернатором Плотниковым, сотня молодых людей размалевала лица, обрядилась в рубища, отправилась на городское кладбище и там отметила “Праздник Смерти”. Молодые люди напяливали на могильные кресты рваные рубахи и куртки, нахлобучивали на них старые шляпы и шапки, так что казалось, что из могил поднялись мертвецы. Молодёжь танцевала на могилах, занималась любовью и завершила праздник, избрав “Мисс Смерть”. Красивую молодую женщину, обнажённую, окружённую свечами и фонариками, водили среди могил и обсыпали землей. Скандал был ужасный, Головинского вызывали на допрос, но его причастность к кошмарному действию осталась не доказанной.

Ещё одно удивительное начинание закрепило за миллиардером репутацию опасного выдумщика и возмутителя городского спокойствия. Он задумал провести в губернской столице всемирный съезд колдунов и ведьм. Со всего мира стали съезжаться маги, волшебники, шаманы и чародеи. Африканские



колдуны, украшенные амулетами из львиных клыков, воскрешали покойников. Мексиканские ведуны, вращая огненными глазами, наводили и снимали порчу. Якутские шаманы, грохоча бубнами, вызывали дождь. Маги из Калифорнии, уважаемые господа в цилиндрах и галстуках-бабочках, останавливали вращенье земли. Врачеватели с Борнео без скальпеля и пинцета вынимали у пациента слепнувший глаз, промывали его в травяном настое и возвращали в глазницу, после чего слепец прозревал.

Головинский выкупил часть рыночных рядов, отдал прилавки волшебникам, и те торговали магическими пирамидками, обезьяньими лапками, сморщенными, лишёнными костей человеческими головками, баночками с целебными мазями и эликсирами. Полгорода перебивало на рынке, после чего врачи зафиксировали множественные случаи сумасшествия и учатившиеся самоубийства. А когда колдуны разъехались по своим континентам, в городе объявились их последователи из местных экстрасенсов и гадалок, продолжая торговать амулетами, совиными лапками и книжками о переселении душ. Храмы почти опустели, и местный владыка Серафим подал на Головинского жалобу в правоохранительные органы, но делу не дали ход, ограничившись запретом на торговлю кошачьей мочой и трупиками мышей.

Головинский, между тем, показывался на публике, доброжелательный, весёлый, гораздый на шалости и театральные выходки. Ему было под пятьдесят. Лицо его выглядело продолговатым, с заострённым подбородком, жёсткие кудрявые волосы отливали металлической сединой. Нос был странной волнообразной формы, словно от переносицы двигалась волна пытливой энергии, скапливаясь на кончике носа жалиющим пузырьком. Глаза были большие, влажные, то задумчивые, то ироничные, и иногда вдруг покрывались млечной поволокой, словно на них напылали бельма. И тогда Головинский беспомощно, вяло качал головой, как слепая лошадь. И вдруг сквозь эту лунную муть сверкала чёрно-золотая молния, и глаза распахивались, озарились тёмным наслаждением и восторгом.

К числу его причуд можно было отнести строительство фантастического комплекса, который возник на въезде в город, на месте гнилого болота. Болото осушили, навезли грунт, вбили сваи, и возникли экзотические сооружения, поражающие воображение горожан.

Здесь была Спасская башня из кирпича с золотыми курантами и красной звездой — уменьшенная копия московской, повторяющая всю её белокаменную вязь, всё стрелчатое стремление ввысь. С ней соперничала Эйфелева башня, стройная, кружевная, из сияющей нержавеющей стали. Рядом с обеими башнями находился фрагмент Великой Китайской стены и пагода с черепичной кровлей, драконами, беломраморными львами у входа. Тут же, ажурное, с витражами и готическими арками, разместилось Вестминстерское аббатство, знаменитая башня с часами Биг-Бен и миниатюрные статуи Кромвеля и короля Ричарда Львиное Сердце. Американская Статуя Свободы, казалось, была перенесена прямо с Гудзона, лишь уменьшенная, но с тем же факелом и лучистым венцом. И, наконец, великолепная зеркальная мечеть из иранского город Кум высила свои минареты, крутнула бирюзовые купола.

Все эти сооружения были соединены стеклянными галереями. Во всех сооружениях, включая стацию Свободы, располагались рестораны, гостиницы, конференц-залы, выставочные помещения, боулинги и гольф-клубы. И весь этот фантастический ансамбль назывался Глобал-Сити, ночами озарялся неугасающей иллюминацией, напоминавшей пылающий бриллиант.

Именно здесь, в Глобал-Сити, после его открытия Головинский созвал пресс-конференцию журналистов, телеведущих, блогеров и держателей сайтов.

Мерцали телекамеры, тянулись к подиуму микрофоны, кресла были заняты пишущей публикой. На подиуме появился пресс-секретарь Головинского Пётр Васильевич Луньков, слышавший плейбоем. Слегка развязный, в великоленном костюме, с часами “Ролекс”, с хохочущими голубыми глазами, он произнёс:

— Благодарим, господа, за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Лев Яковлевич Головинский, открывая Глобал-Сити, хотел бы объяснить с журналистами и ответить на все, даже самые интимные вопросы.

Открытость — вот черта Головинского. Уважение или, более того, великое почтение к профессии журналиста побуждает Головинского способствовать свободе слова, развивать открытое общество. Вы можете рассчитывать на его помощь, на щедрые пожертвования, на открытие новых печатных и электронных изданий. Не хочу отнимать у вас время, господа. Общайтесь с героем нашей пресс-конференции, и вы получите наслаждение! — Луньков, блеснув золотом часов, повернулся на каблуках, приглашая на подиум Льва Яковлевича Головинского.

Головинский вышел широким шагом, улыбаясь, как выходят к публике любимые актеры. От него исходило здоровье, бодрость, радушие. Он был в белоснежном костюме, в чёрной косоворотке, на стоячем воротнике которой струился тонкий алый орнамент. На шее Головинского висела серебряная цепочка с круглым амулетом, на котором были изображены два дерущихся зверя: медведь и лев.

— Прекрасно выглядите, господа! Глобал-Сити приветствует вас! Мы находимся в недрах Великой Китайской стены, и после пресс-конференции вы сможете отведать деликатесы китайской кухни. За счёт компании Глобал Сити! — Головинский сделал жест, каким фокусник сбрасывает с таинственной вазы платок, когда оттуда вылетают голуби.

Представители прессы захлопали и заулыбались.

— Я живу в этом замечательном городе почти два года. Читаю газеты, смотрю телевидение, восхищаюсь остротой и едкостью блогов. Но только теперь решился предстать перед элитой губернии, к которой я отношу журналистов.

Эта лесь понравилась журналистам, они вольнее расположились в креслах, кто-то писал, кто-то протягивал микрофон.

— За время моего жительства, я знаю, вокруг меня создано немало мифов, распространяются слухи и домыслы. И я решил развеять таинственность вокруг моей персоны и ответить на все ваши вопросы, даже на самые неожиданные. Я член сообщества, дорожу этим членством и хочу, чтобы общество приняло меня. Ваши вопросы, господа!

Он слегка развёл руки, открывая грудь, приглашая вонзить в неё стрелы самых острых и беспощадных суждений.

— Господин Головинский, я представляю независимую губернскую газету “Обозреватель”. Моя фамилия Ручейков. Позвольте задать вопрос, — вопрошавший журналист хотел казаться вольным, вальяжным, ровней миллиардеру. Он был слегка горбат. Горб холмиком возвышался за его плечами, словно там были сложены недоразвитые крылья. Его лицо было иссушено недугами, едкой иронией и слегка подёргивалось, словно он своим нервным тиком хотел согнать невидимую муху. — Что значат все эти архитектурные поделки, которые вы собрали в свой Глобал-Сити? Это напоминает Диснейленд и граничит с безвкусицей.

— Благодарю за интересный вопрос, — Головинский ослепительно улыбнулся, направляя на едкого горбуна лучи обаяния и симпатии. — Глобал-Сити — не парк развлечений и аттракционов, не Диснейленд. Это центр управления миром, средоточие магических энергий, способных воздействовать на мировую историю. Звезда Спасской башни — это магический кристалл, выпрямляющий изгибы и выверты Русской истории, направляющий её в русло общечеловеческих ценностей. Китайская стена останавливает распространение Китайской мечты, которая грозит китаизацией всего человечества. Эйфелева башня — антенна, рассеивающая по миру идеалы Великой французской революции с её принципами Свободы, Равенства и Братства. Зеркальная мечеть из иранского города Кум укрощает неистовых “стражей исламской революции”, препятствует распространению халифата. Вестминстерское аббатство устанавливает связь с тайными англосаксонскими обществами и древней европейской аристократией. А Статуя Свободы сочетает нас с мессианской идеей Америки, с “Градом на холме”, который и есть, в своей сущности, Глобал-Сити.

Головинский говорил с Ручейковым, как с равным и посвящённым, полагаясь на его эрудицию, видя в нём единомышленника. И едкое пергамент-

ное лицо горбуна исполнилось благодарности, в нём на краткое время исчез изнурительный тик.

— Я — Татьяна Валдайская, представляю радиостанцию “Свежий ключ”, — немолодая, с ярким маникюром женщина, кокетливо и смело выставив голое плечо, давала понять, что встреча с миллиардером не мешает ей оставаться вольной и небрежной, такой, какой подобает быть представительнице свободной журналистики. — Лев Яковлевич, а что, скажите на милость, привело вас в нашу губернию? Вы бы могли жить на Лазурном берегу или в Палм-бич. Но вы поселились у нас, в довольно обыденном месте.

— Это место уже не обыденно, если в нём обитают такие обольстительные женщины. — Головинский посмотрел на голое плечо Валдайской, словно огладил его. — Ваша, а теперь уже наша губерния находится в центре могучих силовых линий, на перекрестье которых должны случиться события, меняющие облик мира. Здесь должен родиться Человек-Солнце. Он выведет человечество из тьмы, куда оно забрело под воздействием мрачных религий и культов. Здесь родится солнечная религия, единая для всех людей мира. И я хочу приветствовать этого великого человека, отвлечь от него беды и злые усилия желающих ему погибели. Надеюсь найти в вас союзницу. Быть может, вы первая преподнесёте ему воду из вашего “Свежего ключа”.

Валдайская кивнула, заключая союз с Головинским, и на её стареющем лице появился румянец былой красоты.

— А как вам наш губернатор? Он и плотник, и большой работник. Часом, не встречались? — этот вопрос задал блогер по прозвищу “Клёвый”. Долговязый, с гребнем торчащих волос, отливающих зелёным и красным, с круглыми птичьими глазами, он был похож на петуха.

— Ку-ка-ре-ку! — смешно прокричал Головинский, ударив себя руками по бёдрам, как петух бьёт себя крыльями, желая взлететь на забор. Все засмеялись, и первым загоготал сам Клёвый. — С губернатором Иваном Митрофановичем Плотниковым не имел чести встречаться. Но, как сказала перуанская прорицательница Миранда, духи тьмы насыщают его кровь ядами лунных пауков, и его укусы смертельны. Он послан сюда духами Луны, чтобы ужалить Человека-Солнце и умертвить его. Здесь, в нашей губернии предстоит сражение Луны и Солнца, и нам предстоит выбрать одно из этих светил.

Головинский говорил всё это с хохочущими глазами, но некоторые из журналистов стали ежиться, словно по залу пробежал ледяной сквознячок.

— А что значат ваши пристрастия к разного рода колдуньям и ведьмам? Наш владыка Серафим назвал вас опасным магом, — бритый наголо, с голубоватой жилой на черепе, блогер по прозвищу “Кант” поправил очки с двойными линзами, сквозь которые смотрели водянистые рыбы глаза. — Вы действительно маг?

— Губернатор Плотников заполнил всю губернию заводами. Плавильные печи, производство автомобилей, оружия, медикаментов, телевизоров. Насилует материю, сжигает газ, изнуряет природу и человека. Мы же управляем не материей, а духом. Перемещаемся со скоростью света. Перелетаем из будущего в прошлое. Убиваем импульсом воли. Воскрешаем вспышкой вдохновения. Видим то, что ещё не случилось. Волшебной энергией питаем человеческую плоть, которая обходится без “хлеба насущного”. Человек-Солнце, о котором я говорил, родится не от женщины, а из пучка бестелесных лучей. Старомодный владыка Серафим запечатан в стенах храма, куда не залетают энергии мира. Среди архитектуры Глобал-Сити я воздвигну храм новой веры, и у этого храма не будет стен, а только прозрачные радуги.

Журналисты не понимали, смеётся над ними миллиардер или он пребывает в безумии. Некоторые раскрыли компьютеры и посылали в блогосферу сообщения, похожие на истошные вопли. Другие заворожено внимали, и гребень на голове у Клёвого переливался всеми цветами радуги.

Задал вопрос ведущий частной телекомпании “Карусель”, по прозвищу “Ласковый”. Он имел округлое, не знавшее бритвы лицо, томный, обволакивающий взор, полное сдобное тело и руки с ухоженными длинными пальцами, которыми он любовался.

— Губернатор Плотников трижды отказывал нашему гей-сообществу в проведении парадов. Какое-то brutальное постоянство! Как вы, дорогой господин Головинский, относитесь к проблеме сексуальных меньшинств? — Сказав это, Ласковский отвёл руку и стал любоваться своими ногтями, покрытыми розовым лаком.

— Это очень важный вопрос, стоящий в центре современной цивилизации. Всё архаическое, затхлое, деспотическое стремится остановить приближение новых времён: нового искусства, новой науки, новой философии. Человечество восстало против навязанного ему изнурительного разделения на мужчин и женщин, против диктатуры природного своеволия. Гей — лучшие из нас, они посмели восстать против ветхого Бога и совершают рывок в царство будущего. Им дано почувствовать то, что недоступно обычным людям. Они талантливы, сверхчувственны, прозорливы. Они, благодаря своей исключительности, создают невиданную литературу, пишут фантастические картины, играют небывалые спектакли. Им открывается будущее, и они добывают из этого будущего для нас, простых смертных, драгоценные открытия. А мы в своей тупой жестокости вместо того, чтобы беречь их, лелеять, травить их, мучаем, гоним. Прометей, добывший людям огонь, был геем. Коперник, открывший симфонию планет, был геем. Колумб, приплывший в Америку, был геем. Вы хотите запретить гей-парады, так запретите Америку! Запретите огонь! Должно быть, этого и добывается губернатор Плотников!

Сразу несколько присутствующих журналистов заплотировали, а Ласковский, сжав сочный бутончик губ, послал Головинскому воздушный поцелуй.

Пресс-секретарь Луньков, как капельмейстер, взмахивал рукой с блеском золотых часов. Поднимал то одного, то другого журналиста. Головинский жонглировал ответами, то становился серьёзным и вдохновенным, то шутивным и милым. Его ответы были фантастическими. Журналистам казалось, что их пригласили на спектакль “одного актёра”, и все суждения Головинского — это розыгрыш и насмешка. Но вдруг случались галлюцинации, и пространство зала начинало сворачиваться в свиток, рождая первобытный ужас. А время теряло свою неосязаемую протяженность, густело и начинало течь, как жидкое стекло. И тогда журналисты начинали догадываться, что перед ними гипнолизер и чародей.

— Позвольте вопрос, Лев Яковлевич, — поднялся Курдюков, издатель жёлтого листка “Все грани” — тучный, неряшливый, с салными волосами, словно он носил овечий парик. — А правда ли, что недавно на охоте вы застрелили медведицу и двух её медвежат? Вам не жалко?

— Медведь — это образ дремучей России, её сумрачного разума, её берложьей истории, куда она спряталась от мира и рычит на всё человечество. Тотемный зверь русского народа из мрачного медведя преобразится в солнечного льва. Это была не охота, а магическое действие, — Головинский, став суровым и бесшощадным, тронул медальон на груди, где, поднявшись на задние лапы, схватились лев и медведь.

— Последний вопрос, господа! Самый последний! — Луньков оглядывал зал, из которого тянулись руки. — Вот вы, прелестная дева, пожалуйста!

— Меня зовут Паола Велеш. Я представляю интернет-издание “Логотип”. У меня к вам вопрос. — Молодая женщина и впрямь была прелестна. Её лицо переливалось множеством мгновенно возникавших вспышек самых разнообразных чувств: верой в свою неотражимость, смелой дерзостью неопытной души, наивной открытостью, детской незащищённостью и той пленительной женственностью, которая туманит мужской обожающий взгляд, увлекающая влюблённого в сладостное помрачение. Так переливается драгоценный камень, на который падает солнце.

Её чёрные, словно стеклянные волосы отливали лучистым блеском. Хотелось погрузить в них ладони и смотреть, как волосы скользят и струятся меж пальцев. Её глаза под длинными бровями были тёмно-лиловыми, с золотой искрой, какая загорается вдруг иногда на ягоде чёрной смородины. Её тонкий нос, чуть заострённый подбородок, пунцовые губы волновали своей изысканной соразмерностью. И хотелось издали целовать их, видя, как на лице загораются и гаснут воздушные поцелуи. На её открытой высокой шее

тонко золотилась цепочка, под прозрачной тканью летнего платья чуть просвечивала девичья грудь.

— Скажите, господин Головинский, вам везёт в любви?

Миллиардер, минуту назад ироничный и воодушевлённый, вдруг замер. Его нос, волнообразный, с горбинкой и заострённым концом, побледнел от переносицы до ноздрей, которые беспомощно трепетали, словно ему не хватало воздуха. Большие, вишнёвого цвета глаза внезапно наполнились мутью, словно на них накатили бельма. И весь он застыл, словно его насадили на острую спицу. Только кисти рук мучительно вздрагивали.

Это продолжалось мгновение. Из глаз ударили ослепительные серебряные молнии. Из ноздрей полыхнул прозрачный голубоватый огонь. Нос затрепетал, словно по нему побежала волна энергии. Преображённый, исполненный яростной силы, Головинский обратил к молодой женщине восторженный взгляд:

— Я ждал от вас, Паола, этого вопроса. Вам ли не знать, что такое любовь? Любовь — это смерть. Вы — “Мисс Смерть”, самая прекрасная из смертей. Ведь это вы, белоснежная, под осенней луной, ступали среди могил, касаясь голой стопой истлевшей земли. Вас осыпали прахом восторженные поклонники, требуя от вас любви, готовые заплатить за неё своей смертью. Когда кончаются ласки, и приближается последнее безумие, в смертельной сладости, в ослепительном озарении открывается Божье око, и ты влетаешь в него, как влетаешь в смерть. На мгновение, перед смертью, ты постигаешь все концы и начала, сотворение мира и его неизбежный конец. Большого я не могу вам сказать. Теперь судите, счастлив ли я в любви.

Головинский покинул подиум. Его место занял пресс-секретарь Луньков. В руках у него был серебряный поднос, на котором лежали конверты.

— Пресс-конференция закончена, господа.

Лев Яковлевич на память о встрече и в знак благодарности делает каждому из вас подношение, которое вы используете по своему усмотрению.

Он стал обходить журналистов, и те брали с подноса конверты. Ручейков бережно, с поклоном, засунул конверт в карман. Валдайская кокетливо сунула конверт за корсаж. Клёвый подбросил увесистый конверт, поймал, понюхал и со смехом сунул в сумку. Ласковый поцеловал конверт и опустил его куда-то вниз живота.

Передавая конверт Паоле Велеш, Луньков произнёс:

— А вас, обольстительная Паола, Лев Яковлевич приглашает пообедать в узком кругу друзей. Обед состоится в зеркальной мечети, уже теперь, через полчаса.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Глобал-Сити был переполнен людьми. Народ истосковался в пресной провинции по развлечениям, по блеску реклам, сверканью витрин, аттракционам и зрелищам, завезённым из Диснейленда или самого Лас-Вегаса. На открытых эстрадах среди фантастических сооружений выступали полубогажённные танцовщицы. Канатоходцы балансировали на тонких струнах, протянутых от Спасской к Эйфелевой башне. Клоуны на ходулях перемещались среди толпы. Факиры глотали и изрыгали огонь. Толпа ахала, восторженно редела, поглощала “сладкую вату” и попкорн.

Рестораны поражали воображение зажиточных горожан, которые семьями посещали Эйфелеву башню с деликатесами французской кухни. Заказывали устриц, лягушек, садовых улиток, средиземноморских осьминогов. И прежде чем всё это поглотить, фотографировали на айфоны и тут же посылали в “Фейсбук”, соперничая с теми, кто в это же время в Спасской башне лакомился дарами русской кухни. Свежей осетриной, пельменями из оленьего мяса, медвежатиной, которую, как говорили, поставил к столу загадочный и всемогущий строитель праздника, миллиардер Лев Головинский.

Гуляющей толпе предлагались затейливые игры и аттракционы. Среди них особенно красочными и забавными были те, что демонстрировали различные виды казней, распространённых в той или иной стране.

Перед Спасской башней был возведён эшафот. На нём стояла плаха. Манекен в белой рубахе положил голову на плаху. И любой посетитель мог взять топор, рубануть по голой жилистой шее и отсечь голову. Пластмассовая голова отскакивала, но из обрубка шеи тут же выскакивала новая голова, и казнь повторялась.

Перед китайской пагодой высилась каменная стенка. Перед ней на цепях висело бревно, на котором лежал связанный человек. Участник аттракциона подходил к тяжёлому бревну и начинал медленно раскачивать. Бревно, поскрипывая цепями, неохотно приближалось к стенке. Расстояние между стенкой и черепом привязанного человека постепенно уменьшалось, пока голова не ударялась о камень и не раскалывалась, как горшок. Когда бревно переставало раскачиваться, вместо разбитой головы отрастала новая. И аттракцион продолжался.

Перед Эйфелевой башней стояла гильотина. Голова приговорённого к смерти была зажата колодкой. Участник игры нажимал на рычаг. Нож гильотины со свистом рушился, отсекал голову, которая падала в плетёную корзину. И на месте отсечённой вырастала новая голова.

Возле мечети, согласно закону шариата, провинившегося забивали камнями. У Вестминстерского аббатства преступника вешали. У Статуи Свободы приговорённого поджаривали на электрическом стуле. Но всякий раз манекен возрождался, позволяя продолжать потеху.

У каждого аттракциона толпились люди, нетерпеливо ожидая своей очереди. Дети хлопали в ладоши. Матери поднимали их на руки, чтоб тем была видна забава. Мужчина с накаченными бицепсами молодежато подошёл к плахе и браво схватился за топор. Другой силач, пыхтя, раскачивали бревно. А какая-то немолодая грудастая женщина, засучив рукава, ловко метала камни в голову нарушителя исламской нравственности.

Пьяненький мужичок в мятой кепке переходил от одного аттракциона к другому, посмеивался, пританцовывал. И вдруг, увидев, как с плахи летит очередная пластмассовая голова, воскликнул:

— Эй, ядрёна вошь! Да ведь это башка губернатора! Потеха! Сколько ни руби, у него башка отрастает!

И рубивший голову парень всмотрелся в лицо манекена, помялся, а потом всади в пластмассовую шею топор.

Пока на воздухе кипело гулянье, в зеркальной мечети, точной копии той, что воздвигнута в Иране, в священном городе Кум, собрались гости. Сами себя с лёгкой иронией они называли “демократическим подпольем”. Это были представители оппозиции, не согласной с политикой губернатора.

Хозяин вечеринки Лев Яковлевич Головинский задерживался, и гости, поглядывая на обеденный стол, отражаясь в зеркальных стенах, беседовали.

— А правда ли, Николая, что губернатор Плотников запретил ваше выступление во Дворце культуры? И всё потому, что вы дали концерт на Украине, в районах, отбитых у этих донецких бандитов? — местный правозащитник Разумников, член общества “Мемориал”, обратился с вопросом к рок-звезде, саксофонисту Николаю Боровичу. Тот, скаля зубы, рассматривал своё отражение в зеркальной стене. У Разумникова было голубоватое мясистое лицо, гулкий, резонирующий нос; седая бородка и лысый череп, вокруг которого сохранились пепельные кудряшки, дополнявшие его портрет. — Ведь это беспредел какой-то!

Музыкант Борович шевелил толстыми, намятыми саксофоном губами, рассматривая в зеркале свои жёлтые лошадиные зубы.

— Я думаю, мне теперь не дадут здесь играть, — ответил музыкант. — Пора валить из России. Все порядочные люди уезжают. Остаются дураки и подлецы.

— Но ведь кто-то должен бороться с деспотизмом! — правозащитник обиделся на то, что его причисляют либо к дуракам, либо к подлецам. — Кто-то должен жертвовать собой!

— Вот я и пожертвовал. Дал концерт в гарнизоне украинских военных, прямо среди развалин. У меня нет гранатомёта, а только саксофон, но он тоже стреляет. Прямо с концерта солдаты пошли в атаку и отбили ещё один

населённый пункт. Эти оборванцы в казачьих папахах разбежались, услышав мой саксофон. Я напутствовал их словами: “Добейте гадину!” А теперь вот Плотников добивает меня! Валить, валить!

— Давайте начнём сбор подписей! В защиту свободы высказываний! В защиту современного искусства! А то попы совсем обнаглели! Из всех углов лезет поповщина! — лидер местных либералов Орхидеев картинно потрянул шевелюрой, блеснул очками, как он это всегда делал на демократических митингах, призывая голосовать за свою партию. — Вы слышали, неподалёку от Копалкина есть приход с безумным попом, который повесил иконы со Сталиным. Сталин *святой*, душегуб с нимбом! Говорят, наш губернатор приезжает в эту церковь и молится перед иконой Сталина. Сталинизм под колокольные звоны!

— Что вы удивляетесь! — Шамкин, хрупкий молодой человек с выпуклыми испуганными глазами и тонкой незащитной шеей, возглавлял местных антифашистов, и на него недавно было совершено нападение. — Наш губернатор зазывает к себе террористов с Донбасса, лечит их, тренирует и отправляет обратно в Донбасс, где они продолжают убивать и насиловать. Мы хотим провести молодёжный митинг: “Нет империи! Нет фашизму!” Мы очень надеемся, что вы, Николай, придёте к нам на митинг со своим золотым саксофоном, — Шамкин благоговейно посмотрел на своего кумира, рок-музыканта.

— Нам нужно объединить усилия, сомкнуть, как говорится, ряды, — эколог Лаврентьев, представитель “Гринпис”, был известен своей борьбой с индустриализацией области, которую проводил губернатор. — Плотников застроил нашу губернию заводами, на которых производится Бог знает какая продукция. В реках и озерах исчезает рыба. В лесах массовый мор птиц. Грибы отравлены. Радиоактивный фон превышен вдвое. Какую судьбу Плотников готовит нашим детям? Своего-то сынка отправил на жительство в Англию!

— Вот увидите, — правозащитник Разумников покачал головой, — так долго продолжаться не может. Когда-нибудь рванёт. Не здесь, так в Москве. Не в Москве, так в Питере. Уроки русских революций нашу власть ничему не учат.

— Скорей бы уж рвануло, чтобы дерьмо полетело во все стороны, — сказал музыкант Борович. — Только бы успеть свалить из этой долбаной страны!

— А что же вы, сударыня, всё молчите? Мы вас совсем не знаем, — эколог Лаврентьев, галантно, с манерами старого ухажёра обратился к Паоле Велеш, которая, сияя своим матовым прекрасным лицом, чуть улыбалась пунцовым ртом. — Хотелось бы знать, кто вы? Мы могли с вами где-то встретаться?

— Ночью на кладбище. Вы там брали пробы могильного грунта, — с милой улыбкой ответила Паола, повергнув эколога в смущение.

Головинский вошёл внезапно, стремительный, то ли гневно, то ли вдохновенно блестя глазами. Луньков попевал за ним, борясь с вихрем, который оставлял за собой Головинский.

— Господа, прошу садиться. Разговор предстоит доверительный, переводящий нашу дружбу в деловые отношения.

Все уселись, окружённые зеркалами. Обеденный стол, ещё без яств, был уставлен дорогим восточным фарфором. Паола смотрела на Головинского, не узнавая в нём игривого, очаровательного шутника, который развлекал журналистов своими искромётными фантазиями. Теперь это был жёсткий, почти жестокий властелин, не терпящий возражений. И эта жестокая сила и деспотизм пугали и влекли Паолу.

— Положение в стране, господа, ухудшается с каждым часом. Кризис и остановка производств. Крым, Донбасс, Ближний Восток и вражда с Западом. Собачья грызня элит и заговор против президента. Всё это стремительно сходится в одну точку и сулит взрыв. Повторяется семнадцатый год, повторяется девяносто первый.

— Пусть взрывается! — произнёс музыкант Борович, скаля жёлтые зубы. — А я буду играть на саксофоне, как играл в девяносто первом!

Головинский строго взглянул на рок-звезду и продолжал:

— Президент мечется, чувствует себя в западне. Уже никому не верит из своих приближённых. В панике будет срезать головы. Искать людей на стороне. Замышляет “новый курс”. Всё это, как вы понимаете, грозит катастрофой.

— Он кончит, как кончил Каддафи. Черенком от лопаты, — правозащитник Разумников злорадно забарабанил пальцами по столу, словно сопровождал барабаном ужасную казнь диктатора.

— Вы не понимаете остроты положения, — осадил его Головинский. — “Новый курс” означает крутой разворот русской истории из будущего, о котором мы с вами мечтали, в прошлое, от которого с ужасом убежали. “Новый курс” — это возрождение империи, война в Прибалтике, в Казахстане, в Молдавии, в самой Европе. Это возрождение сталинизма в его самых жестоких формах. Следующая наша встреча может случиться не в этой зеркальной мечети, а в арестантском вагоне, идущем в Забайкалье на урановые рудники.

— Там заключённый погибает через три месяца от рака крови, — мрачно заметил эколог Лаврентьев.

Паола слушала, не понимая смысла пугающих слов. Не знала, зачем её пригласил этот властный, с молниеносным взглядом человек. Зеркальная стена хватала её отражение, передавала другой стене. Та подбрасывала его к потолку, бросала вниз, в зеркальную бездну. Ей казалось, она превращается в стеклянный взрыв, зеркала разрывают её на части и разбрасывают в разные стороны, в бесконечность.

— У меня есть конфиденциальные сведения из кремлёвских кругов, — Головинский медленно обвёл взглядом гостей, заглядывая каждому в глаза, и от этого пронзительного взгляда глаза останавливались, превращаясь в лед. — У меня есть точные сведения, что губернатора Плотникова готовят к переводу в Москву. Он становится премьер-министром, и ему поручают осуществление “Нового курса”.

— Слава Богу, отдохнём от него, — либерал Орхидеев, ожидая услышать ужасную весть, теперь с облегчением вздохнул. — Как говорится, *баба с возу!*..

— К сожалению, вы меня не услышали, — презрительно произнёс Головинский. — Вы, либералы, не слышите гулов истории. И поэтому никогда не возьмёте власть. Повторяю, Плотникова переводят в Москву, и ему отводится роль Столыгина, спасающего трон от революции. Но он не Столыгин, он Сталин. Его “Новый курс” означает ГУЛАГ и миллионы узников, осуществляющих насильственную индустриализацию. Он маньяк индустриализации любой ценой. Конец частной собственности! Конец свободе! Конец искусству и культуре! Марширующие батальоны! Ревущие танки и самолёты! Подводные лодки, носящие имена русских святых! Чего-чего, а святых у нас предостаточно.

— А нельзя избежать всего этого кошмара? — тоскливо воскликнул антифашист Шамкин. — Обратиться к Западу! Обратиться к президенту Америки! Пусть пришлёт морских пехотинцев! Уверен, Россия встретит их хлебом-солью!

— Не будьте наивны, молодой друг, — сострадая Шамкину, произнёс Головинский.

Паола чувствовала себя в зеркальной ловушке, в огромном стеклянном кристалле, куда залетел луч света и бьётся о серебряные преграды, стремясь на свободу. А его отбрасывают, отражают, и он мечется в бесконечном kaleidoscope. Это походило на пытку светом. Её мучали, крутили на зеркальной карусели, переворачивали вверх ногами, обжигали пролетающим лучом. Чего-то от неё добивались, только было неизвестно, чего.

— Ко мне обратились с просьбой. Если угодно, я получил задание. Нет, это не сообщество западных разведок. Не финансовые разведки, где у меня много друзей. Не клубы европейских политиков. Это закрытые центры влияния, которые управляют финансами, политикой и войной. “Новый курс” — это



война, большая война, в Европе, Азии, быть может, мировая война. Мы должны не допустить “Нового курса”. Не допустить перевода Плотникова в Москву. Его нужно остановить. Нужно уничтожить.

— Вы хотите убить губернатора? — ахнул правозащитник Разумников и тут же прижал ладонь к губам. — Как убили Столыпина? Но разве такое возможно? — он стал оглядывать стены и потолок, словно там спряталось подслушивающее устройство.

— Какие глупости вы говорите! — зло оборвал его Головинский.

Паола сходила с ума от мерцающих вспышек. Множество бесшумных молний било в неё, пронзало, наполняло пространство расплавленным серебром. У неё отнимали разум, слепили глаза, мучали галлюцинациями. Вдруг множество серебряных рыб врывались в мечеть, один косяк улетал в небеса, другой нырял в пучину, третий несся в колдовских потоках света, и она задыхалась от бесчисленных рыб. Вдруг видела, как загорается над ней светило, окружённое радужными кольцами, словно зимняя луна. Светило превращалось в зелёный месяц с хрустальной звездой. Из этой звезды приближалось к ней лицо Головинского, страшно расплющивалось, уродливо корчилось, превращалось в сгусток ртути и уносилось в бездну.

— Никакого физического воздействия! Только духовное! Мы нанесём ему духовный удар невиданной силы, который остановит его, как броневой снаряд останавливает танк. Сегодня я встречался с журналистами и создал информационную пушку громадного калибра. Теперь её следует зарядить и начать обстрел. С каждым ударом он будет слабеть, и вокруг него разверзнется пустота. В эту пустоту устремимся мы. Мы — огромная сила. Правозащитники поведут за собой всех, кто обижен, а обижен весь русский народ. Экологи поведут за собой всех, кто видит в Плотникове губителя родной природы. А природа для русских является второй религией, вместилищем русских богов, и Плотников со своими заводами является богоборцем. Антифашисты поведут за собой всех, кто страдает от русского шовинизма, всех, кто приехал в Россию в надежде найти здесь новую Родину, а получил тюрьму. Либералы объединят вокруг себя всех, для кого сталинизм есть самая страшная страница русской истории, кто слышит шевеленье костей в расстрельных рвах. Музыканты напишут музыку, от которой у Плотникова остановится сердце!

Паола чувствовала, что её оперируют в зеркальной операционной. Над ней летает сверкающий скальпель. У неё вынимают мозг, помещая вместо него слепящий расплавленный сгусток. Вырезают сердце, закатывая в грудь раскалённый ком серебра. Вскрывают чрево, и пучки лучей вторгаются в сокровенное лоно, и она испытывает боль и сладость, как при зачатии. И близкое, отвратительное и прекрасное, склоняется к ней лицо Головинского, окружённое радужным нимбом.

— Вы услышали меня, господа? — спросил Головинский, — Вы идёте со мной?

— Да, — чуть слышно прошептала Паола.

— Конечно, идём, — отвечало застолье. — Мы остановим Плотникова, чёрт возьми!

— Спасибо, друзья, — сказал Головинский. — А теперь отобедаем.

Он хлопнул в ладоши, и слуги в шитых иранских шапочках и долгополых кафтанах внесли на фаянсовых блюдах жареного ягнёнка, копчёного осетра, запечённого фазана.

После обеда гости распрощались с хозяином. Луньков придержал Паолу за локоть:

— Прекрасная Паола, Лев Яковлевич просил вас зайти в библиотеку. Я вас провожу.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Библиотека была уставлена стеклянными шкапами, в которых стояли книги. Древние, в кожаных переплётках, коричневые и шершавые, как ковриги. Многотомники с золотым теснением — так в минувшем веке издавали

классиков. В ярких суперобложках — произведения нынешних модных писателей. Пол был застелен ворсистым ковром с чёрно-красным персидским узором. В глубокие мягкие кресла можно было погрузиться, читая книгу, и задремать, если тебя убаюкает долгое повествование. На маленьких резных столиках стояли сладости, изюм, фисташки, калёные орешки.

Головинский поднялся из кресла, обаятельный, любезный, делая галантный поклон. Указал Паоле место на диване с шёлковыми подушками.

— Мне неловко злоупотреблять вашим вниманием. Не сомневаюсь, вы бы нашли более достойный способ употребить своё время. Признателен за ваше долготерпение, — в его голосе была благодарность, робость, чувство вины, и это так не вязалось с его недавней жёсткостью, с грубостью, которую он позволял себе в обращении с несогласными.

— Что вы, Лев Яковлевич, напротив, мне так интересно. Знакомство с вами — большая честь. — Паола, сев на диван, гладила подушку, чувствуя пальцами серебряное шитьё. — Не понимаю, чем я заслужила ваше внимание?

— Я регулярно заглядываю на ваш портал “Логотип”. Восхищаюсь вашими остроумными и блистательными эссе, вашими светскими хрониками. Чего стоит повествование о пикнике, который устроили депутаты на берегу реки. Главу забосования раскачали и бросили в воду, а он выплыл, держа в зубах палку, как спаниель. Или рассказ о вечере во Дворце культуры, посвящённом Пушкину. Пять надувных Александров Сергеевичей и столько же Наталий Гончаровых были явлены публике. А напившийся министр культуры подходил, прокалывал их булавкой, и они громко лопались. Я смеялся до слёз!

Головинский, откинув голову, засмеялся так простодушно и заразительно, что сразу помолодел и стал похож на юношу. Паола засмеялась в ответ, и ей стало легко и свободно.

— А чего стоит ваш рассказ о кладбище, где бродили призраки и скрежетали зубами. Вы были бесподобны, когда шествовали, как привидение, со свечой в руке. Дорого бы я заплатил, чтобы посмотреть на это зрелище!

— Мы просто хотели выразить своё неприятие казённым шествиям, которые устраивает губернатор в дни государственных праздников. Эти шарик, флажки, гармошки... Такая тоска!

— Действительно, тоска. В нашей русской провинции всё является дурной копией столичных затей. И праздники, и выборы, и оппозиция, и интеллигенция. Вы видели сегодня “властителей дум”? Все копии столичных деятелей, все имитация. Но вы — подлинник! Ваша красота неподдельна!

— Спасибо, — Паоле было лестно, что столь влиятельная и именитая персона, миллиардер, окружённый мифами, общается с ней, робеет, любит её ступнями, погружёнными в мягкий ковер, её тонкими руками, оглаживающими серебряную подушку.

— Что бы вы сказали, Паола, если бы я резко расширил ваш портал? Превратил бы его в интернет-телевидение. Вы получите настоящую студию, современное оборудование, персонал. Станете заниматься первоклассной журналистикой, перешагнув провинциальный уровень. У вас будет столичный размах, — глаза Головинского мечтательно сияли, и он приглашал Паолу в свои мечтания. — Вы достойны самой высокой роли!

— Но чем я заслужила? — испугалась она, на секунду поверив в возможность чуда. — У меня нет опыта. Я веду скромные светские хроники, которые, как вы сказали, являются карикатурами на столичные. Ни мировых выставок, ни международных фестивалей, ни чествования прославленных звёзд.

— Всё это будет, я вам обещаю. Я вложу деньги, использую мои связи, и сюда приедут звёзды Голливуда. Но начнём с небольшого.

— С чего? — волнуясь, спросила Паола, подозревая, что всеильный шутник разыгрывает её, как разыгрывал других. — Что я должна сделать?

Головинский потянулся к резному столику, взял лежащий на нём планшет, повертел в руках и протянул Паоле.

На экране по пояс в воде стояли мужчина и женщина. Было видно, как на голой женской груди блестит вода. Мужчина обнимал её сзади, она улыбалась, и вокруг них расходились круги. У мужчины было восхищённое лицо, а женщина, не стыдясь наготы, блаженно раскрыла руки.

— Кто это? — спросила Паола.

— Не правда ли, красивая пара? Будто созданы друг для друга. Ну, просто Адам и Ева перед грехопадением.

— Кто они?

— Губернатор Иван Митрофанович Плотников и его возлюбленная Валерия Петровна Зазнобина. Ведь это надо же, какое лицемерие демонстрирует наш губернатор! Проповедует нравственность, справедливость, консервативные ценности, а сам развлекается с любовницей, в то время, как жена его, больная неизлечимой болезнью, умирает у него на глазах. Он выстроил себе роскошную дачу подальше от глаз и возит туда свою красотку. Они, наши государственные мужи, бранят Запад, чуть ли не объявляют ему войну, а сами учат своих детей в западных университетах, лечатся в западных клиниках, то и дело суются то в Ниццу, то в Монако. Сын Плотникова Кирилл обучается в Оксфорде, и отец купил ему в Лондоне дорогую квартиру. Великолепно, не правда ли?

Тем же вечером на портале “Логотип” появилась фотография губернатора Плотникова с обнажённой возлюбленной среди озерных вод. Фотографию сопровождал текст: “Как прекрасно летнее озеро в окрестностях губернаторской дачи! Как прекрасны русалки, ласкающие губернатора Плотникова своими нежными ластами! Как прекрасна дача из дорогих пород дерева, мрамора, яшмы, построенная в стороне от досужих глаз людских. Губернатор Плотников, ах, простите — Блудников, ах, я ошиблась, — Плотников — ревнитель православной традиции, проповедник консерватизма. Он не отказывает себе в плотских, ах, простите, — в плотнических, радостях. Что и понятно рядом с немолодой и не совсем здоровой женой. А что бы сказали жители поселения Копалкино, живущие в трущобах, если бы губернатор пригласил их на свою роскошную дачу попить чайку? Что бы сказали граждане нашего города, ютящиеся в коммуналках, если бы им показали дорогую квартиру в Лондоне, которую губернатор подарил своему сыну, студенту Оксфорда? Давайте их спросим!” И подпись: “Паола Велеш”.

На эту публикацию мгновенно отозвались газета “Обозреватель”, блогер Клёвый, блогер Кант, телеканал “Карусель”, радиостанция “Свежий ключ”, жёлтый листок “Все грани”. Отклики изобиловали выражениями: “Коррупция — мать порядка”. “Губернатор опустил конец в воду”. “Лондонский след губернатора”. “Фото с нудистского пляжа”. “Голая правда”. “А у меня длиннее”.

Буря летела по интернету, как мусорный ветер, переносилась из губернии в губернию, врывалась в столицу, обволакивала имя Плотникова ядовитой пылью.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Плотников проснулся разбитым, с большой головой, словно его всю ночь раскачивали и били теменем о каменную стену. Было рано, жена ещё не вставала. Мысль о её болезни пугала, побуждала действовать, отыскивать лучших врачей, звонить в элитные клиники.

Он вызвал машину и спозаранку поехал на работу, чтобы в тишине огромного кабинета просмотреть документы и письма. Одни документы он подписывал, другие, с резолюцией, рассылал заместителям, третьи откладывал, чтобы ещё раз внимательней с ними ознакомиться.

Его тронуло письмо из интерната для отстающих детей, в котором директор просит срочно помочь с ремонтом, ибо здание пришло в негодность, и в любой момент может случиться авария. Плотников взял это письмо на особый контроль.

В другом письме руководитель народного хора просил создать в селе музыкальную школу, ибо народ в селе наделён абсолютным слухом, сочиняет музыку, и среди одарённых детей таятся будущие великие композиторы. Плотникову захотелось побывать в селе, послушать хор, познакомиться с руководителем хора.

Он нашёл письмо из Японии, где побывал в прошлом году и вёл переговоры об открытии в губернии филиала фирмы “Ямаха”. Японцы подтверждали свою заинтересованность и были готовы приехать в Россию, осмотреть территорию технопарка.

Тогда, в Японии, он мчался по хайвэю из Токио в Икогаму вдоль токийского залива, погружался в ревущую тьму туннелей, взмывал в пылающую белизну небес. И повсюду непрерывно вдоль моря тянулись заводы, корпуса цехов, трубопроводы, цилиндрические хранилища нефти, полусферы с жидким газом. Химия, металлургия, электроника. Гигантские верфи с заложенными судами. Аэрокосмические производства. Всемирно известные компании “Мицубиси” “Тойота”, “Хонда”. И снова кубические громады заводов, огромные пирсы, к которым причаливают супертанкеры с ближневосточной нефтью, отплывают многопалубные автомобилевозы, увозя машины в Америку и Европу. Поражал этот густок индустрии, грандиозная мощь цивилизации, могучий мускул, дрожащий от непомерных усилий. Плотников с завистью и восхищением смотрел на плоды японского гения, мечтал, что бы подобная мощь явила себя в России.

Он разобрался с документами до начала рабочего дня. Услышал, как здание администрации наполняется голосами, звуком шагов. Зазвонили телефоны в приёмной, секретарша отвечала. Плотников провёл скоротечное совещание с министрами и, захватив неизменного заместителя Притченко, поехал в область.

Он хотел посетить автомобильный завод “Фольксваген”, который ещё недавно был местом сборки автодеталей, привозимых из Германии по железной дороге и воздуху. Но постепенно, стараниями Плотникова, рядом с германским заводом возникали русские фирмы, производящие бамперы, диски, фары. Всё больше русских элементов входило в состав немецкой машины, и Плотников мечтал, что когда-нибудь последняя немецкая деталь будет вытеснена русской, и возникнет долгожданный первоклассный русский автомобиль.

Завод “Фольксваген” занимал огромную белесую пустошь, окружённую лесами. Серо-стальные, почти бесцветные корпуса казались тенями проплывавших облаков. К цехам подходили железнодорожные пути, на которых стоял состав с контейнерами, прибывшими из Германии. Сюда же вела высоковольтная линия с кружевной вязью подстанции. И вся окрестность была плотно уставлена рядами недавно изготовленных автомобилей разных расцветок и модификаций, похожих на коллекцию нарядных жуков. То и дело отъезжали двухъярусные автомобилевозы, в которых машины ещё больше напоминали сцепившихся жуков.

В заводууправлении, похожем на гранёный бокал, Плотникова встретил управляющий производством Франц Грюнвальд, немец родом с Волги, поэтому и выбранный руководством концерна для управления дочерним предприятием в России. Полный, благодушный, с рыжеватой бородкой и пятнистым румянцем немолодого, не желавшего стариться лица. Бледные синие глаза, чуть навывкате, смотрели спокойно и мягко, словно в них никогда не возникало и тени гнева, изумления или страха. Именно так, с дружеской безмятежностью взирали теперь эти глаза на Плотникова.

— Ну, что, Франц, будем с помощью Германии строить идеальный русский автомобиль? — Плотников пожимал тёплую сдобную руку немца. — Хочу неподалёку отсюда посадить производство автомобильных стёкол. Зачем их возить из Германии?

— Мы будем приветствовать производство стёкол в России, — ответил Франц. — Но не уверен, сумеют ли русские создать идеальный автомобиль. Танк — да. Самолёт — да. Подводную лодку — да. Но автомобиль — сомневаюсь. Русскому человеку не интересно создавать машины для комфорта. Это не в характере русского человека.

— В характере русского человека, Франц, делать любые машины. Просто нам слишком долго угрожали войной, сжигали наши города и дворцы. И мы должны были создавать первоклассное оружие. Теперь, я надеюсь, у нас возник некоторый запас времени, свободного от войны. Мы им воспользуемся и создадим идеальный автомобиль.

— Вам надо, Иван Митрофанович, создавать идеального человека. Русские всегда стремились создать идеального человека.

— А вы думаете, Франц, мы пригласили вас сюда, чтобы вы создавали идеальный автомобиль? Ваш завод выпускает совершенный автомобиль, но он также выпускает усовершенствованных людей. Русские рабочие, которые строят немецкие машины, скоро будут строить совершенные русские автомобили.

— Мы возим ваших рабочих в Германию, и они очень восприимчивы к новым технологиям.

— Мы пересадили сюда небольшое деревце немецкой цивилизации. Но постепенно это деревце даёт отростки, и уже возникает целая роща. Мы переносим сюда вашу цивилизацию и благодарны за это. Мы отстали за эти трудные годы. Вы помогаете нам наверстать упущенное.

— Мы рады вам помочь, Иван Митрофанович.

Они смотрели друг на друга с симпатией, и природа этой симпатии у каждого была разной. Немец, родившийся в России, помнил огромную синеву поднебесной реки, русскую речь, в которой звучали самые нежные и чудесные переживания его детства. Он дорожил заводом, который строил для России прекрасные машины, принося концерну немалую прибыль, дорожил престижной должностью управляющего, который, в силу происхождения, умел уладить с русскими множество самых несуразных проблем, возникавших в России.

Плотников видел в немце удобного и надёжного партнера, который содействовал воплощению его стратегических замыслов, превращал ещё недавно сирую область в оплот новой русской цивилизации.

— Русский человек может всё, — повторил Плотников, — потому что русский человек — мечтатель. Он мечтает о недостижимом и в страшных трудах достигает его.

— Немецкий народ когда-то тоже был мечтателем. Мечтал о недостижимом. Но теперь он не мечтает, а только работает. И достигает в работе того, о чем другие только мечтают, — Франц улыбнулся своим сочным розовым ртом, и Плотникову показалось, что в его улыбке промелькнула печаль.

— Вы всегда были великим народом-мечтателем. Но вашу мечту сначала превратили в чудовищный фарс, человечество увидело в вас исчадие ада. А потом, когда вы проиграли, вам запретили мечтать и оставили только работу. Вы должны снова обрести возможность мечтать.

— Едва ли это возможно, — Франц осторожно оглянулся, словно кто-то чутко следил за ходом его мыслей. — Нам возбраняется мечтать.

— Русские помогут вам снова стать народом-мечтателем. Мы учимся у вас технологиям, которые помогут нам лучше работать. А вы изучайте наши технологии, благодаря которым мы после разгрома снова стали мечтать.

Здесь, на заводе, в стороне от болезненных предчувствий и страхов, Плотникову было хорошо. И он в который уж раз захотел осмотреть производство.

После тихого, с бархатным освещением кабинета, пройдя сквозь пневматические двери, Плотников оказался в сборочном цехе. И был огушен, ослеплён, остановлен. Громадное, лязгающее, сверкающее пространство снизу доверху было наполнено движением, пульсирующим, звенящим, мерцающим. Бетонный пол был расчерчен разноцветными линиями, по которым в разных направлениях двигались автокары с деталями, мини-тракторы, шагали рабочие в комбинезонах. Ленты конвейеров наполняли цех, взмывали к потолку, низвергались обратно, и по ним сплошными потоками двигались детали. Соединялись в узлы, укрупнялись, меняли конфигурацию. Озарялись звёздами сварки, краснели ожогами, искрили, казались стеклянными.

Плотников восхищённо смотрел. Это был его мир, здесь воплощались его мечтания. Так из крупиц металла, из огненных капель возникали машины.

По тем же законам из крохотного семени выросло дерево. Так же из космической пыли и незримых лучей Бог создавал Вселенную, собирал по частицам, одушевлял её. Так, через все препоны и разделения, великими трудами, непомерным напряжением разума строилась новая русская цивилизация.

Автомобильные дверцы, как сверкающие глазастые рыбы. Конвейер, как струящийся шумный поток. Сварщик вонзал в рыбу чешую колючую вспышку. Дверца с гаснущей красной отметиной пролетала дальше, и другой сварщик пронзал её остриём. Сварочные аппараты качались в воздухе с клювами электродов. Они были похожи на гарпуны. Сварщик хватал гарпун, нацеливал в пустоту, где тут же всплывала глазастая рыба. Всаживал остриё, точное, хрустящее, прокалывал чешую. Мигали индикаторы, мерцали окуляры слежения. Озарялись головы в защитных щитках, крепкие руки в перчатках. Летел, блестя чешуей, икрящийся бесконечный косяк.

Плотников жадно ловил момент, когда электрод касался детали, и в этой мгновенной вспышке, в голубой звезде человек соединялся с машиной. Ум человека и его душа, его судьба и любовь, его рождение и неизбежная смерть передавались машине, оживляли, очеловечивали. Плотникову казалось волшебным одухотворение машины. Бездушная, не одухотворённая, она была способна на чудовищные злодеяния. От неё погибали города, умирала природа. Государство, будучи непомерной машиной, не одухотворённое любовью и верой, становилось ужасным злом: истребляло соседние страны, угнетало народы, было бедствием для собственных граждан. Плотников мечтал о цивилизации машин, одухотворённых возвышенным человеком.

Кузовная сварка происходила в брызгах огня и лязге скопления роботов. Железный короб проталкивался по конвейеру. Роботы, состоящие из сочленений, из железных суставов и мускулов, молча смотрят, словно прицеливаются. Разом со всех сторон набрасываются на кузов, изгибаются, извиваются, проникают электродами в самые недоступные точки. Жгут, звенят, пылают воспалёнными головами. Отпрянули и застыли, словно оценивают проделанную работу. Сваренный кузов уходит по конвейеру, его место занимает другой. Роботы смотрят, скосив головы, прицеливаются и вновь повторяют свои виртуозные выверты, набрасываясь на изделие.

Внезапно погасли огни, застыли конвейеры, бессильно повисли роботы. Стало мертво тихо, только где-то жалобно постукивало, словно останавливалось сердце. В сумраке, среди тусклых светильников расходились люди. Они торопились уйти, будто здесь у них больше не было дел, их пребывание утратило смысл и грозило опасностью.

Плотникову стало худо. Сердце полоснула резь. Он искал опору, чтобы не упасть.

— Что с вами, Иван Митрофанович? — к нему подоспел Франц Грюнвалд.

— Почему остановился завод?

— Конвейер встал на профилактику. Завтра в двенадцать часов он работает.

— Мне нужен свежий воздух. Проводите меня, — чувствуя, как щемит сердце, он направился к выходу.

В машине, рядом с вице-губернатором Притченко, он был погружён в свои тревоги и не сразу заметил, что Притченко, заглядывая в планшет, порывается ему что-то сказать.

— Что вы хотите, Владимир Спартакович?

— Да не знаю, как и сказать! — заикаясь, заглядывая в экран планшета, произнёс Притченко.

— Что там такое? — рассеянно повторил Плотников.

— Не знаю, как и сказать, Иван Митрофанович! Просто ужас! — Притченко заслонил экран растопыренной пятернёй, словно не давал вылететь из планшета какой-то трепещущей силе.

— Позвольте, — Плотников принял из дрожащих рук Притченко планшет. Увидел на экране водяную гладь с расходящимися кругами, и среди кругов стоит он, Плотников, обнимая за плечи Леру, на её голой груди блестя капли, и у обоих блаженные лица.

Мгновение он ловил этот восхитительный свет озера, нежность близкого любимого тела, пролетающую над ними голубую стрекозку, а потом ударил ужас, словно из планшета прогремел выстрел в упор.

— Что? Откуда? — беспомощно пролетел он, чувствуя, как тихие круги на воде превращаются в ревущую взрывную волну. И та распространяется с ужасной скоростью, сносит на своем пути всё, из чего состояла его жизнь. — Кто? Кто разместил?

— Там столько всего, Иван Митрофанович! И текст, и комментарии, и всякие гадости!

— Кто сделал снимок? — Он вдруг вспомнил, как по озеру из-за камышей вылетела лодка, промчалась, оставляя на воде серебряную полосу, пропала с затихающим стрёкотом. — Лодка! Оттуда снимали!

Он читал текст, который назывался “Голая правда”. В этом тексте всё было мучительно и ужасно. И то, как оскорбительно перевирали его фамилию, нарекая то Плутниковым, то Блудниковым. И то, как лгали о дорогой квартире, которую он купил сыну в Лондоне, хотя сын не купил, а снимал эту квартиру. И про дачу, построенную из ливанского кедра, из родосского мрамора, с золотыми раковинами и унитазами. И о тайных ночных молениях перед иконой Сталина, в которых он молил о возвращении сталинизма, славил ГУЛаг и расстрелы. И намёки на неизлечимую болезнь жены, которая страдала от многочисленных измен мужа и от оргий, которые тот устраивал на даче.

В комментариях к этой публикации было ещё больше лжи и гадости. Сына причисляли к “золотой молодёжи”, который “свалил из России”, в то время как его одноклассники воюют добровольцами в Донбассе. Леру называли “порочной и алчной интриганкой”, которую он продвигал в университете на должность декана, и все её сослуживцы ненавидели её. Было много непристойностей и похабщины в описании постельных сцен. Говорилось, что иностранные фирмы платят Плотникову огромные взятки за право строить в губернии вредные производства, и у Плотникова за границей денежные счета. И, наконец, вскрывался тайный замысел Плотникова переместиться в Москву, сначала на пост премьера, а потом и самого президента, чтобы осуществить пересмотр всего, что было сделано либеральными силами после крушения СССР. “Сталинский реванш” — так назывался злой комментарий.

Комментарии сыпались один за другим. Это был не одиночный выстрел, а сокрушительный залп. Серия залпов. Работала артиллерийская батарея из множества орудий разного калибра. Каждое орудие было пристрелено, знало свою цель.

Читая имена блогеров, названия сайтов, Плотников старался вспомнить, кто такая Паола Велеш, которая написала самый главный, самый злой материал. Чем он её мог обидеть? Где перешёл дорогу? Не мог вспомнить. Только чувствовал, как взрывная волна стремительно распространяется, ударяя в стены его дома, расшибая вдребезги его ценности, разрезая связи с самыми дорогими людьми. Сверкающий след промчавшейся лодки был порезом, отсекающим одну часть его жизни от другой.

— Кто такая Паола Велеш? — обморочно спросил он Притченко.

— Да вы её видели, Иван Митрофанович! Такая смазливая, чёрненькая, из “Логотипа”. Бывает на концертах, вечерах. Ну, всякую там ерунду, светскую хронику! Да и всех остальных вы знаете. “Обозреватель”, “Чистые ключи”, все “Клёвые”, “Ласковые”. Сброд!

— Почему они так? Ведь я им всем помогал, звал на мои пресс-конференции.

— Здесь чувствуется какой-то заговор. Одна рука. Не из губернии, а из Москвы. Не деньги, а приказ. Кто-то вас очень невзлюбил. Боится вашего полёта. Хочет вас подстрелить. Это моё мнение, Иван Митрофанович!

— Нет у меня врагов в Москве. Только поддержка. Как же мне теперь быть? — он слушал гул волны, которая встала из пучины и двигалась к берегу, сокрушая мир, который он строил. В страшных водоворотах гибли любимые начинания, тонули любимые люди. Жена, сын Кирилл, Лера, — их

крутило, било одного об другого. Они старались спастись, но их утягивало в ревущую воронку... — Как же мне быть?

Притченко, видя страдания начальника и не умея ему помочь, говорил торопливо:

— Иван Митрофанович, плюньте на сволочей! Потрещат и умолкнут! И не такое забывают. Это раньше, при Советах, партийное разбирательство, аморальное поведение, понижение в должности. А теперь другие времена, другая мораль. Посмотрите, что себе позволяют артистки эстрады. Снимаются голые, и сами выставляют свои лобки в интернете! Оппозиционных политиков фотографируют скрытой камерой в постели с проститутками, а они от этого становятся ещё популярнее. Не расстраивайтесь, Иван Митрофанович. Наши мужские дела... А эту Паолу мы накажем. В нашей губернии такое предательство не проходит. Говорил вам, народ — предатель. Вас, благодетеля своего, предали!

— Вы не понимаете, Владимир Спартакович! Это удар в самое сердце, — Плотников схватился за грудь, где сердце сжалось от боли. — Моя беззащитная, больная жена, мой наивный, романтический сын, моя ненаглядная Лера! Это я их всех предал! Я, я предатель!

— Ну, хорошо, Иван Митрофанович. Давайте приедем, я позову телекамеру. Вы скажете, что против вас, а значит, и против губернии совершенная провокация. Против всех ваших прогрессивных преобразований, против всех жителей губернии. Эта мерзкая фотография — не более чем фотешоп, подделка. А что касается дачи из ливанского кедра и родосского мрамора, то это не дача Плотникова, а построенный Плотниковым на собственные деньги интернат для отстающих детей. Это ваш личный дар, понимаете? Народ это оценит и про снимок забудет. И жене, и сыну говорите: провокация, фотешоп!

— Фотешоп! — беспомощно повторял Плотников, — Фотешоп!

Из машины Притченко вызвал корреспондента подконтрольной губернатору телекомпании. Вернувшись в город, в фойе администрации Плотников сделал короткое заявление. Стараясь быть строгим, а местами ироничным, он сообщил о провокации, учинённой противниками преобразований, посоветовал на кустарную работу фотографов, не сумевших скрыть подделку. Сообщил, что построил на свои сбережения и передаёт в дар детскому интернату красивый дом на берегу озера. Призвал предпринимателей последовать его примеру. И строго пожурил Паолу Велеш.

— Вы хотите причинить беспокойство другим людям, но как бы вы сами не лишились покоя. Вас может замучить совесть, и вы пропадёте, исчезнете! — Так Плотников, достойно и точно, отразил удар.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Конец дня Плотников провёл в рабочем кабинете и покинул его только под вечер. Было страшно возвращаться домой. Взрывная волна, которую породили тихие круги на воде, должна была докатиться до его богатой, уютной квартиры. Сокрушить стены. Ворваться в гостиную с камином и картиной Поленова в золочёной раме, в кабинет с дубовым столом и бронзовым бюстом Петра Великого, в спальню с образом Богородицы, перед которым молилась жена. Он ожидал увидеть взломанные двери, опрокинутые столы и стулья, осколки и ворохи, которые недавно были дорогими сервизами, нарядными вазами, парадными костюмами. Так выглядели дома и селенья, подвергшиеся ударам цунами.

Но в квартире было тихо. Всё так же на стене золотилась рама, на камине поблескивала стеклянная статуэтка. Дверь в комнату жены была закрыта, и за ней не раздавалось ни звука. Сын ещё не возвращался, пропадая где-то в городе на встрече с друзьями. И у Плотникова возникла спасительная мысль, что жена ничего не знает. Погружена в свою болезнь. Отгородилась от внешнего мира своей болезнью. И всё обойдётся, само собой загладится, позабудется.



С этой мыслью он прошёл в кабинет, убедившись, что бюст царя-преобразователя стоит на месте. Стал стелить себе на диване, готовясь ко сну.

Внезапно дверь кабинета распахнулась и появилась жена. Она была не в своем обычном домашнем халате, а в нарядном платье, которое надевала в торжественных случаях. Волосы её были причёсаны и удерживались гребнем, но одна прядь отвалилась и лезла в глаза. Лицо её, одутловатое, болезненно-серое, утратило обычные свои очертания, дрожало и трепетало, размытое невыносимым страданием. Глаза, блуждающие, полные блеска, метались, словно отыскивали его среди кабинета. Остановились на нём, дрожа от слёзной сверкающей тьмы.

— Ты не привёл её в дом? Почему ты её не привёл? Ты бы заранее меня известил, и я бы ушла, а она заняла моё место! Почему не предупредил заранее?

— Валя! Валя! Ну, что ты! Ну, погоди! — его испугало не её обезумевшее лицо, а это нарядное вечернее платье, словно она готовилась к торжественной встрече. — Валя, я всё объясню!

— Теперь понимаю, почему не хотел пускать меня на дачу! “Потом, потом!” Ты её там принимал! Хотел построить дом, где мог бы её принимать! Подальше от глаз! А мне говорил: “Работа! Столько работы...” Теперь все видят, какая это работа!

— Ну, уверяю тебя! Это фотопшоп! Подделка! Чья-то злая выходка!

Он видел, как она страдает. Её страдание заставляло и его страдать, и он винил её за страдание, которое она ему причиняла. И был себе отвлителен.

— Нет, не подделка! Не лги! Это ложь! Ты весь во лжи! Как я ненавижу твою ложь! — она захлебнулась. В глазах её полыхнула ненависть. Он испугался этой ненависти, которой никогда прежде не было. Но теперь он совершил такое, за что она возненавидела его.

— Конечно, мой дорогой, я старая, больная, уродливая. Зачем я тебе такая? Но разве ты не мог дожждаться моей смерти? Не мог немножко подождать, когда я умру? Я ведь скоро умру!

Ему было невыносимо. Было ужасно жаль её. Было жаль и себя. Сердце его с болью рвалось из груди.

— Я всё, всё тебе отдала! Всё без остатка! У меня не было ничего, кроме тебя и семьи! Я вдохновляла тебя, когда на твою голову обрушивались несчастья, ты терял веру, падал духом. Я возрождала твою веру, убеждала тебя, что ты лучший, сильнейший, честнейший. Ты творец, бескорыстный мечтатель! Ликовала, когда ты получал награды. Мне казалось, это я их получаю. Когда кто-то говорил о тебе плохое слово, я бросалась на него, готова была выпарпать ему глаза! Когда была беременна Кирюшей, и врач говорил, что мне нельзя рожать, это смертельно опасно, я знала, как ты мечтал о сыне, и сделала кесарево сечение.

Он было беспомощен. Не мог к ней приблизиться, не мог обнять, не мог покаяться. Не мог вернуть то прежнее лучезарное время, когда любил её. Не мог сказать, что и теперь любит её, готов передать ей свою свежесть и силу, передать опущенное ему для жизни время, чтобы она воспользовалась этим временем, и болезнь её отступила. Пусть это чёрное чудовище, которое в ней поселилось, переползёт в него, и тело её воскреснет.

— Я любила тебя! Ах, как я любила тебя! Какое это было счастье — любить тебя! Какое было счастье смотреть на мир твоими глазами, думать твоими мыслями, следовать за тобой по пятам! В тот день, когда мы познакомились, меня поразил твой взгляд, обожающий, светлый, чудесный, в котором было столько чистоты, благородства! Ты предатель! Ты предал меня!

— Валя, я всё объясню! — он шагнул к ней, пытаясь обнять. Но она отскочила с необычайной энергией:

— Не приближайся ко мне! От тебя пахнет предательством! От тебя пахнет развратом! Твоя мерзкая любовница, твоя пакостная хитрая дрянь! Будь с ней, а я ухожу! Уезжаю к сестре, сейчас же! Господи, сделай так, чтобы я умерла!

Она зарыдала, её седая отпавшая прядь билась у глаз. Он кинулся к ней, но она выскочила из кабинета, хлопнув дверью.

И он стоял, слыша, как ревет вокруг изуродованное пространство. Чудовищная буря крушила его мирозданье.

Плотников не спал, лёжа на диване с раскрытыми, не мигающими глазами. Слушал, как сердце ухает, не помещаясь в груди, словно его выгналкивают из гнезда.

Дверь в кабинет растворилась, и вошёл сын Кирилл. Свет из гостиной бил ему в спину, лица не было видно, а только тёмный, худой, юношеский силуэт.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Скажи, это правда?

— Что — правда, сын?

— О чём все говорят и пишут.

— Счета за границей? Коррупция? Дорогая квартира в Лондоне?

— Нет, я про женщину.

— Не могу тебе всего объяснить. Ты вырастешь и поймёшь.

— Нет, ты должен мне объяснить.

— Не допрашивай меня! Не смей! — крикнул он с истошным беспомощным стоном, вскакивая с дивана.

— Ты был идеальным для меня человеком, папа. Твои отношения с мамой были для меня примером человеческих отношений. Они помогали мне, сберегали, убеждали, что я всё делаю правильно. Теперь я не знаю, как быть.

— Ты прав, я слишком мало тобой занимался, мало говорил. Всё работа, работа.

— Это неважно, что ты мало со мной говорил. Я видел тебя, чувствовал, слышал, как ты говоришь с другими. Видел, как ты относишься к маме, какие возвышенные, благородные у вас отношения. Ты мне казался самым благородным человеком.

— И что же теперь? Ты увидел во мне подлеца? — Плотников едко, с кашлем засмеялся. — Ты что, от меня отрекаешься?

— Правы те, кто пишет, что я — “золотая молодёжь”. На всем готовом, протекция, деньги, Лондон. Мои сверстники поехали воевать на Донбасс, некоторые уже ранены. А я за твоей спиной. Отец, я больше не вернусь в Оксфорд.

— Это дичь несусветная! Какая “золотая молодёжь”? Ты учишься день и ночь. Приобретаешь знания, которые будут нужны здесь, в России. Ты моя смена. Здесь наступают великие перемены. Россия нуждается в молодых образованных профессионалах! — Он чувствовал беспомощность своих слов, не мог найти нужных, искренних, убедительных слов. — Ведь ты понимаешь, всё, что теперь написано, — это желание меня сломать, ослабить, разрушить. Разрушить моё дело, мои начинания, мою семью! Так разрушают государство!

— Ты сам всё разрушил, отец. Мама уезжает. Она тяжело больна. Она нуждается в поддержке. Я уезжаю с ней.

— Не спеши, всё поправится. Я поговорю с мамой!

— Нет, отец. Я уезжаю. Прости.

Сын повернулся. На мгновение осветилось его лицо, открытый лоб, над которым распушился хохолок, который он, Плотников, так любил целовать.

Сын вышел, затворив дверь. В кабинете стало темно. И не было сил вскочить, остановить сына, прижать к себе его хрупкое юношеское тело.

Плотников лежал, опрокинувшись навзничь. Слышал, как ухает сердце, словно его кинули на наковальню и бьют молотом. Выковывают из сердца подкову или скобу, или гранёный гвоздь.

Утром, разбитый, с ноющим сердцем, Плотников на работе подмечал, как изменилось к нему отношение. Секретарша нервно, с повышенной предупредительностью кидалась выполнять его поручения, словно промедлением или небрежностью боялась усугубить его положение. Министры, хмурясь, с почти суровой деловитостью, хотели подчеркнуть, что отношения с началь-

ником остаются сугубо рабочими и не подвержены внешним влияниям. Старались загрузить Плотникова избытком проблем. Руководитель аппарата, молодой и сметливый, несколько раз весело блеснул глазами, с трудом скрывая своё любопытство. Некоторые служащие, когда Плотников проходил по коридору, начинали шептаться за его спиной, и быстро расходились, если он оборачивался. Было видно, что все обо всём знают, обсуждают скандал.

Он провёл встречу с главами районов, обсуждая виды на урожай. Встретился с главным автоинспектором и выслушал доклад о крупной аварии на федеральной трассе, где фура врезалась в автобус. Принял представителя президентской администрации, и тот выспрашивал, когда намечается пуск трубопрокатного цеха, намекая на возможный приезд президента. И во время всех этих встреч он то и дело взглядывал на свой телефон. Среди многочисленных непринятых звонков он ожидал увидеть лишь один — мучительный и долгожданный — звонок от Леры. И дождался. Затворившись в кабинете, он заговорил:

— Наконец-то! Почему не звонила? Я мучился!

— Это ужасно, Иван! Такая беда!

— Нам нужно повидаться. Давай поужинаем в тихом месте. Я закажу кабинет.

— Да что ты! Теперь это невозможно! За нами следят!

— Давай уедем на дачу. Я пришлю машину.

— Ты с ума сошёл! Всё случилось на этой ужасной даче!

— Хочу тебя видеть. Встретимся далеко от города. В самом пустынном месте. Там, где была усадьба баронессы Остен Сакен. Там нет ничего, только аллея. И запущенный пруд. Согласна?

— Согласна.

— Пришлю за тобой машину.

— Нет, нет, я сама!

Он мчался, волнуясь, предчувствуя мучительную встречу. Усадьба или то, что от неё осталось, находилась в стороне от трассы. К ней вёл просёлочек, который переходил в старую липовую аллею. Тут же было два заросших пруда и поросшие травой буторки, где когда-то был барский дом и церковь. Плотников давно подыскивал богатых предпринимателей, которые взялись бы восстановить усадьбу и превратить её в фешенебельную гостиницу на природе.

Он оставил шофёра с машиной в стороне от аллеи и направился по утоптанной дорожке среди старых лип. Иные чернели дуплами, с поломанными и усохшими вершинами. Другие великолепно возносились, образуя две плотных стены, обступившие дорожку. Солнце едва пробивалось сквозь листву, и на розовой дорожке дрожали бесчисленные мелкие тени и пятна света. Трепетали, переливались, словно дорожку посыпали горстями монет. Плотникову казалось, что аллея беззвучно говорит на своём торопливом языке, что-то силится ему сказать, чему-то научить. Но он не понимает этой древесной речи.

Когда он проходил мимо пруда, из осоки шумно взлетели криквы, взволновали пруд, сверкнули тёмно-синими перьями.

Он ждал Леру, искал слова, с которыми к ней обратиться. Боялся, что не найдёт этих слов. Вслушивался в тихий лепет деревьев, которые, казалось, знали эти слова, но не могли ему передать.

Он увидел её в конце аллеи. Она шла стройная, прямая, не поднимая головы, в строгом платье, которое волновалось при движении её ног. Издалека он обожал её, приближал к себе, чувствовал грудью, как уменьшается между ними расстояние, видел её близкое, округлое, с лёгким выступом скулы лицо, серые глаза под пушистыми бровями, прямой пробор золотистых волос, крохотные бриллианты в маленьких прелестных ушах.

Он обнял её, жадно вдыхая её свежесть, женственность, прижимая ладонь к её гибкой спине, не отпуская губами её мягких волшебных губ. Чувствовал, как любит её, какое несчастье с ними случилось, какая беда ждёт их за пределами этой аллеи, розовой тропинки, бесчисленных вспышек солнца сквозь трепещущую листву.

— Это ужасно! — сказала она, отстраняясь. — Они не дают мне прохода. Подсунули фотографию, подложили в книгу текст. Как могло это случиться?

— Не знаю, какой-то враг, отъявленный негодяй. Та лодка, помнишь? Так быстро промелькнула, оставила серебряную полосу. Там находился фотограф.

— И здесь за нами следят. Я чувствую чужие глаза. Не знаю, откуда. Из-за деревьев, из листвы, из воды. Теперь они следят за каждым нашим шагом, и завтра появятся новые ужасные фотографии.

— Здесь нет никого. Пустынное место.

— Пришла тебе сказать, что уезжаю. Мне невыносимо здесь оставаться. Я уже уволилась из университета. Уеду куда-нибудь, поступлю преподавателем в школу. Если не в город, то в деревню. В деревнях нужны преподаватели.

— Подожди! Я не вынесу! Ты не можешь от меня уехать!

— Мы не вынесем этой слежки, этой молвы, этого ужасного клубка, который вокруг нас наматывается. Мы больше не должны встречаться.

— Ты моя любимая! Ты мне дороже всего! Я разрублю этот клубок! Я найду выход! — он чувствовал, как она ускользает. Ещё здесь, рядом, ещё благоухают её волосы, ещё он видит ложбинку в вырезе платья, ещё может сжать её в объятиях, слыша, как стучит её сердце. Но она ускользала. Её отсекало. Между ними был тончайший разрез — та серебряная полоса на воде, и их уносило друг от друга.

— Я говорила, что никогда не причиню тебе вреда, не доставлю тебе беспокойства. Теперь из-за меня у тебя будут неприятности на работе. Возникнут препятствия в твоей карьере. Я не хочу быть помехой, и поэтому мы расстанемся.

— Всё это вздор, вздор! Это не может быть помехой в карьере. Посмотри на мир. Войны, революции, бесчисленные трагедии. Это занимает людей. Люди хотят спастись, выжить. Другие, как перед концом света, пускаются в безумства. Покупают яхты, дворцы, шампанское за сто тысяч долларов. И всё это пропадёт, канет. И никому до нас с тобой нет дела. Я люблю тебя. Это самая высшая для меня драгоценность!

— Нет, а твоя жена? А твой сын? Твоя семья? Я не стану красть тебя из семьи. Не смогу быть счастливой, если другая женщина будет несчастна. Да и ты не сможешь! Она больна, и ты не можешь её оставить. Ты никогда себе этого не простишь.

— О, Боже, какое несчастье!

— Мой милый, мой любимый, я так тебе благодарна. Я испытала такое высокое чувство. Столько всего прекрасного. И как мы встретились на балу, и ты, к удивлению всех, пригласил меня танцевать, и надо мной закружились хрустальные люстры, как ослепительные солнца. И наш первый ужин на веранде, над прудом, в котором плавали два лебедя, и ты бросал им хлеб, и они приподнимали свои белые крылья. И та восхитительная ночь, когда мы лежали, и в открытое окно смотрели звёзды, разноцветные, мерцающие, и мы видели, как одни исчезают, а другие загораются, и ты сказал, что это небесные часы. И наше последнее свидание, этот дивный ливень, когда берёза была сплошным водопадом, и ты кинулся в дождь и принёс мне красную розу, полную воды. Она и теперь стоит у меня в вазе, и когда она завянет, я её засушу, и она будет со мной всю жизнь.

— Остайся, умоляю тебя! — он смотрел, как трепещут тени на розовой дорожке, как стремятся ему что-то сказать, может быть, те единственные слова, которые её остановят, не позволят разрушить чудо.

Он старался разгадать этот вещей язык листвы, ветра, солнечных вспышек, среди которых мелькнула молчаливая птица и канула. Не мог разгадать. Беспомощно повторял:

— Я люблю тебя!

— Ну, что ж, мой милый, не суждено было сбыться моей мечте. О нашей семье, о наших детях, о нашем счастье. Прощай.

Она притянула к себе его голову и поцеловала, уже отчуждённо, едва коснувшись губами. Повернулась и пошла.

— Постой! — он кинулся вслед. — Остановись!

Она прибавила шаг. Он не отставал от неё. Она побежала. И он бежал следом, не умея догнать. Так они бежали по аллее, среди старых лип, которые видели на своём веку множество свиданий и расставаний, и теперь осыпали их ворохами монет.

Добежали до конца аллеи, где стояла её машина. Она оттолкнула его, села и укатила. Он смотрел вдаль, где она исчезла. Там была синева далёких дубрав, тени облаков и что-то неразлично мерцало.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Головинский пребывал в одном из своих кабинетов, на этот раз в том, что находился в Спасской башне. Внизу размещался роскошный ресторан русской кухни, подавались тройная уха, печёное медвежье мясо, тетерева с брусникой, добытые в окрестных борах. Играли на балалайках бравые музыканты в расшитых рубахах.

А здесь, на высоте курантов, находился кабинет со сводами, расписанный фресками, подобно Грановитой палате. Головинский сидел в кресле, напминавшем трон, на стенах среди золотых нимбов шли волхвы, совершались чудеса, изображались сюжеты назидательных ветхозаветных притч. Головинский сам казался персонажем священных текстов, облачённый в халат и пёструю восточную шапочку, копию той, что красовалась на голове волхва Мельхиора. Время от времени за стеной начинало бархатно рокотать, раздавался приглушённый звон. Это куранты шевелили свои колёса и били в потаённый колокол.

Теперь Головинский вёл беседу со своим пресс-секретарём Луньковым, который сидел в удобном креслице, поменьше и пониже того, в котором восседал Головинский. Так, должно быть, в царских покоях сидели государь и его ближний боярин.

— Итак? Я вас слушаю, Пётр Васильевич.

— Докладываю, Лев Яковлевич. Послание “Логотипа” было прочитано Плотниковым и произвело разрушительное действие. Едва ли не сердечный приступ. Он беспомощно утверждал, что снимок — это фотешоп, подделка. Что дачу он передаёт безвозмездно убогим детям. И что Паола Велеш жестоко поплатится за свою клевету. Она может исчезнуть.

— Вот как? Это опрометчивое заявление. Губернаторы должны подыскивать выражения.

— От него ушли жена и сын. И он не находит себе места. Его покинула любовница Валерия Зазнобина, и это, кажется, свело его с ума. Он пропустил заседание правительства. Встречался с представителем ФСБ и сообщил, что против него проводится спецоперация. Нанёс визит врачу-кардиологу.

— Срочно достаньте его медицинскую карту. Его и его жены. Его кардиограмма — это показатель того, как развивается наша операция “Песчинка”.

— Один лишь крохотный вброс, а эффект сокрушительный!

— Эффект песчинки, сокрушающей гору. Важно выбрать время и место удара. Учитесь, Пётр Васильевич. В спецслужбах такому вас не учили.

В стене мягко зарокотало, невидимые шестерни повернули рычаги, и слышались тягучие, как мёд, звоны. Куранты пробили десять раз.

— Встаём, Пётр Васильевич, пора управлять мировым процессом, — со смехом произнёс Головинский, поднимаясь с трона и сбрасывая с волосатых плеч халат.

Их машина пронеслась по солнечным просторам губернии и достигла увечного, разбитого шоссе с дорожным знаком “Копалкино” и жестяным мятым щитом с надписью “Красный луч”.

— Стоит ли нам сюда забираться? — спросил Луньков.

— Предчувствие подсказывает, что стоит, — ответил Головинский.

Они проехали по унылой улице с обитателями, напоминавшими сонно ползающих жуков. Миновали селенье и по просёлку скатились к реке. Река была тихая, чистая, чудесная, окружена лесами. И казалось странным, что люди, живущие у этой реки, не впитали её свежесть, красоту, благодать.

На берегу дымился костёр. Головинский и Луньков вышли из машины и увидели человека перед бревном, на котором во всю длину лежал чёрный скользкий сом. Кипел котелок, роняя в огонь шипящую пену. Лежал на земле топор. На доске белела порезанная картошка, головка лука, стояла бутылка водки. Человек, сидящий на четвереньках, обернулся. У него было смуглое, законченное лицо, нос с горбинкой, лихой чуб и острые, злые, с шальным блеском глаза.

— Здравствуйте, добрый человек. Никак ушицу варите? — произнёс Головинский с нарочитой народной интонацией, которая, по его мнению, должна была сблизить его и сидящего у костра рыбака. — Бог в помощь!

— Пошёл на хер, — ответил человек и вернулся к своим занятиям. Головинский не обиделся, улыбаясь, стоял, и его волнообразный нос чутко устремился к бревну, на котором лежала рыбина.

Сом был живой, только что из реки. Его тупое усатое рыло отливало солнечной слизью. Он зевал, открывая рот. Вяло шлепал жабрами, в которых вспыхивало красное нутро. Человек взял топор и обухом несколько раз ударил сома в лоб. От ударов голова хлопала, сом вздрагивал, и усы его завивались.

Человек достал острый ножик, ловко полоснул по рыбьему зеленоватому брюху. Оно раскрылось. Человек засунул в рыбе чрево жилистый кулак, сгреб хлопляющую сердцевину и дернул. Вытянул наружу ворох скользких кишок, опутавших лиловую печень, малиновое сердце и языки золотистой икры. Швырнул хлопляющий ком на траву, оглядывая свою окровавленную руку. Ещё раз залез в рыбе нутро и ногтями соскоблил остатки плёнок. Сом ударил хвостом, раскрыл зев, и один его ус свернулся в спираль.

Человек засунул руку в жаберную щель, перебирал пальцами, а потом с силой рванул. Выхватил красный хрустящий ворох, похожий на георгин. Швырнул в реку. То же самое проделал с другой жаберной щелью. Оба комка медленно плыли, и было видно, как вокруг них увивались мальки, хватали тягучие красные волокна.

Человек схватил тряпку, снял с огня котелок и стал поливать кипятком чёрные рыбы бока. Сом, лишённый внутренностей, без сердца и желудка, обливаемый кипятком, слабо раскрывал рот, и усы его сворачивались и развивались. Облив сома кипятком, человек отставил котелок и ножом стал счищать с боков слизь, отирая нож о бревно и оставляя на нём сероватую жижу.

Сом был жив, ошпаренный, исполосованный, открывал тупой рот, вяло поднимал хвост. Человек поддел сома за пустые жабры, снёс к реке. Обмывал, плескал воду в нутро. С чёрной, стеклянно блестящей рыбы стекала розовая вода, и её сносило течением.

Головинский неотрывно смотрел, как рыбак разделяет сома, как ловко движутся его жилистые, красные от крови руки, как умело и последовательно он бьёт топором, взрезает нутро, выламывает жабры. Видимо, зрелище доставляло Головинскому наслаждение. Он что-то обдумывал, прикидывал, глядя на рыбака.

Человек вернулся к костру, уложил сома на бревно и стал резать, кромсать на сочные ломти. Под чёрной кожей было нежное, бело-розовое мясо с круглой косточкой позвонка. Человек собирал ломти и кидал в котелок.

— Чего уставился? — Человек повернулся, наконец, к Головинскому, отирая о траву окровавленный нож.

— Смотрю, как ловко ты нож в рыбу втыкаешь.

— Могу и в тебя воткнуть.

— Зачем тебе в меня нож втыкать? Я тебе денег дам.

— За что это?

— А так, ни за что. На будущее.

— Будущее и после смерти бывает. Я у тебя деньги возьму и сбегу.

— Потратишь, опять придёшь. Пётр Васильевич, будьте добры, сходите в машину, принесите хорошему человеку денег.

Луныков изумился, покачал головой, но пошёл к машине и принёс портмоне Головинского.

— Возьми деньги, — Головинский извлёк пачку красных купюр, протянул человеку. Тот взял. Их руки на мгновение сошлись — грязная, в запёкшейся крови рука рыбака и холёная, с золотым перстнем рука Головинского.

— За кого мне свечку ставить? — насмешливо, пряча деньги, спросил человек.

— Я Головинский Лев Яковлевич.

— Значит, всему голова. А я Сёмка Лебедь. Что же могу сделать для вас такого полезного?

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сёмка Лебедь, бражный, пропахший дымом, с ножом в кармане, с топором за поясом, вернулся в Копалкино и шёл, надменно поглядывая на прохожих, каждый из которых не был достоин того, чтобы с ним поздоровались. Он встретил Анюту по прозвищу “Сладкая”, промышлявшую проституцией на трассе, предлагая себя дальнобойщикам. Анюта была в красном коротком платье с открытой грудью, губы — в яркой помаде, ногти накрашены вызывающим красным лаком, туфли — на высоких сношенных каблуках.

— Анюта, здорово, у тебя такое платье, что любой тормознёт. Почему берёшь? В стране тяжело, санкции, цены на услуги растут.

— Иди к чёрту, Сёмка, — Анюта хотела его обойти, но он не пустил.

— погоди посылать-то. Может, я к тебе с добром.

— После твоего добра люди на костылях ходят.

— Я люблю уважение. Ко мне с уважением, и я с уважением. Ты во мне человека разгляди, душу мою пойми, и я ради тебя не только свинью заколою или дом спалю. Я для тебя человека зарежу, на которого ты укажешь. Я добро помню.

— Иди, пропись, Сёмка, а мне идти нужно.

— Знаю твою нужду. И ни словом не попрекну. А кто попрекнёт, тому рыло начищу. Твоя работа самая честная, потому что ради детей. Твой мужик убёг, оставил тебя с двумя, так пусть ему там башку проломают, чтобы знал. Я тебя уважаю, Анюта, и хочу помочь.

— Чем ты мне можешь, Сёмка, помочь?

— Деньгами. У меня денег много. А что Бог говорит? Надо делиться. Говори, какие у тебя расходы, — Сёмка полез в карман и достал красную кипу денег. Держал перед носом Анюты, и та жадно глядела на деньги. — Давай считать. Младшему твоему Андрюшке ботинки нужны? Пальтишко на осень нужно? Старшенькой Ксюше нынче в школу идти, значит, нужно платье, пальто красивое, шапку. Нужен портфель или какая у них там сумка теперь. Книжки нужны. Правильно я считаю?

— Правильно, Сёма, — ответила Анюта, не спуская глаз с красных, распушённых веером купюр.

— Теперь гостинцы. Они, небось, красную икру ни разу не ели, не знают про такую. Конфеты “Белочка”, “Мишка в сосновом лесу”, “Трюфель” тоже никогда не ели. Правильно говорю?

— Правильно, Сёма.

— Я тебе денег дам, ты им купишь. Мы друг другу помогать должны. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Так?

— Так.

— Ну, и хорошо. Деньги счёт любят. Их заработать надо. Если на халюву, они впрок не пойдут. Иди, Анюта, зарабатывать, — он сунул пачку в карман и пошёл, пьяно улыбаясь.

Анюта зашла домой, поправив на ходу осевший забор. Приподняла верёвку, на которой сушилось бельё. В доме дети за столом рисовали, слонявили цветные карандаши.

— Что вы тут рисуете? — она бегло оглядела неприбранную комнату, горько, с нежностью погладила детей по головам. — Что это у тебя, Андриюшенька?

— Это машина. Её папа ведёт. Она в яму попала, её папа вытаскивает, — ответил сын, шевеля испачканными карандашом губами.

— А у тебя что, Ксюшенька? — она обняла дочь, чувствуя её хрупкие, тёплые плечи.

— У меня папа нам подарки везёт. Это велосипед, это стиральная машина, а это телевизор. Видишь, как много подарков, даже в машину не влезает.

— А папа скоро приедет? — спросил сын.

— Тебе же сказали, — строго ответила Ксюша. — Папа на север уехал. Там много снега. Снег растает, он и приедет.

— А Славка говорит, что у нас папы нету.

— Это у него нету. Его папа в тюрьме сидит. Он на людей нападает, дерётся. Его в тюрьму посадили. А наш папа на север поехал, людей спасает. Он наспасает людей и приедет. Правда, мама?

— Правда, — со вздохом скала Анюта. — Ну, вы пока здесь играйте. В дом никого не пускайте. Я скоро вернусь.

Она вышла, выкатав из сарая старый велосипед и покатила по селу, в красном облегающем платье, мотая голыми коленями, встряхивая светлыми, падающими на лицо волосами.

Она докатила до придорожного магазина, купила конфеты “Белочка”, “Мишка в сосновом бору”, “Алёнушка” и повернула к дому.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Головинский открывал в городе ещё один магазин, торгующий драгоценностями. Магазин назывался “Паола” и размещался в здании на центральном проспекте, неподалёку от администрации. Деревья, ведущие к магазину, были увиты цветными гирляндами, и посетители сначала шли сквозь аметистовый лес с нежно-лиловыми стволами, потом сквозь рубиновую аллею, пульсирующую кровью, потом сквозь голубую, мерцающую таинственной бирюзой рощу. Над входом в магазин по всему фасаду пылало бриллиантовое имя “Паола”. То разгоралось до солнечного ослепительного блеска, то угасало, излучая волшебное свечение.

Витрины, где размещались драгоценности, были занавешены чёрным шёлком. Торговый зал был полон гостей. Головинский в смокинге, радушный, вальяжный, принимал поздравления. Рядом Паола, в вечернем платье с голой спиной, очаровательно улыбалась гостям. Отходя, гости оглядывались, чтобы мельком взглянуть на её чуткую спину. Слуги в бархатных, шитых золотом камзолах, в белых чулках и напудренных париках разносили на подносах шампанское.

Саксофонист Борович, держа бокал, полный золотых пузырьков, беседовал с генералом ФСБ, который дружелюбно чокнулся с опальным музыкантом и голосом, полным всеведения, произнёс:

— Не расстраивайтесь, вам ничего не грозит. Сегодня вас бранят за ваш украинский концерт, а завтра будут посылать на Украину как вестника доброй воли. Власть переменчива, а искусство вечно. Я сам поклонник вашей музыки. Прекрасна ваша “Рапсодия в стиле рок”.

— Ну, теперь я спокоен, если у меня такие поклонники.

— Те небольшие услуги, которые вы нам оказываете, гарантируют вам полную безопасность. Могу я и впредь просить вас о небольших одолжениях?

— Разумеется. Я же не враг России!

Лидер губернских демократов Орхидеев беседовал с управляющим французской фирмы “Жако”, строящей фармацевтические предприятия.

— Не понимаю, господин Фортё, зачем вы вкладываете деньги в эту гиблущую страну? Ваши европейские коллеги обложили Россию санкциями, и надо давить, давить этот бесчеловечный режим! Пусть захлебнётся, удавится! Пусть народ выйдет на улицы и сметёт узурпаторов!



— Но ведь мы производим не авианосцы, а лекарства, в которых так нуждаются ваши люди. Если не будет лекарств, ваши старики и инвалиды просто умрут.

— Пусть умрут старики! Это они своей советской дурью поддерживают режим. Молодые люди, свободные от советской заразы, выйдут на площади и сметут узурпаторов! — Орхидеев слишком страстно возвысил свой голос, так что на него обернулись, и он, улыбаясь, произнёс: — Не правда ли, господин Фортге, наша Паола — “Мисс бриллиант”?

Правозащитник Разумников пил шампанское с местным писателем Акуловым, бородастым, с косматой гривой, похожим на священника:

— Может быть, вам, православному человеку, не совсем приятны наши еврейские лица, но в сталинских расстрельных рвах рядом лежали и раввины, и батюшки. Разве вы не видите, что власть роет новые расстрельные рвы? И мы с вами рядом стоим на краю?

— Прошу вас, не приписывайте мне антисемитские взгляды. Напротив, я очень люблю евреев. Особенно если их правильно приготовить! — писатель сочно захохотал, а правозащитник Разумников отёрнул руку с бокалом.

Эколог Лаврентьев наклонился к уху сенатора, отведя в сторону бокал с шампанским:

— Ну, вы же, я знаю, терпеть не можете Плотникова! Ну, давайте устроим экологическую акцию! Ну, например, вывалим перед его домом грузовик с тухлой рыбой. Это, поверьте, послужит его ослаблению.

Сенатор кивал:

— Понимаю ваш образ. “Рыба с головы гниёт”. Но Плотникова поддерживают там, — сенатор показал пальцем на потолок. — Там ведь тоже своя большая рыба, и у той тоже голова, — они чокнулись и поспешили разойтись.

Антифашист Шамкин не отпускал от себя актрису местного театра, которая всем своим существом тянулась к Головинскому, к его блистающей улыбке, элегантным поклонам, прижатой к груди руке, на которой сверкал бриллиант:

— А я вам говорю, наш город будет прославлен тем, что станет родной русско-фашизма! Эдаким Мюнхеном. Посмотрите на Плотникова! Ему бы усы и косую чёлку — и вылитый Гитлер!

— Ему бы усы и трубку — и вылитый Сталин! Не преувеличивайте, мой друг, не преувеличивайте! — и актриса упорхнула.

Среди гостей то возникал, то пропадал пресс-секретарь Луньков, как и Головинский, в бесподобном смокинге, с бриллиантом на пальце, но поменьше. Он выныривал из каких-то глубин, подобно дельфину. Говорил гостям два-три комплимента, озирался счастливыми, навывкате, глазами и снова нырял в лазурь.

Головинский взмахнул рукой, приложив палец к устам, приглашая гостей замолчать. Все умолкли, повернулись к нему. Статный, величественный, с обольстительным выражением властного лица, он обратился к гостям:

— Вы можете спросить меня, господа, зачем в этой небогатой стране, в этой аскетической провинции я открываю ещё один ювелирный магазин? Кто станет покупать бриллианты, когда нет денег, чтобы купить лекарства или заплатить врачу? Я вам отвечу. Когда бушует кризис, когда сторают состояния, когда в сердце вливается тьма, люди покупают бриллианты. Богатый спешит кушить бриллиантовое кольцо, чтобы вложить в него тающий капитал. Бедняк последние сбережения тратит, чтобы купить крохотный камушек, напоминающий утреннюю росу раннего детства. Потому что бриллиант — это солнце, и это надежда, и это вечная красота. Когда вскрыли одну из пирамид в царстве инков, то в глазницах черепов сверкали бриллианты. Бриллиант соединяет мир живых с миром мёртвых, это камень бессмертия.

Все заворуженно слушали. По лицу Головинского бежала едва различимая волна, струилась от переносицы к кончику носа, превращаясь в пульсирующий пузырьёк света. Этот пузырьёк действовал гипнотически. Люди верили бриллиантовому магнату, обожали, были готовы следовать его наущениям, повиноваться его повелениям.

Паола чувствовала, как ослабло её тело, иссякла воля. Став любовницей Головинского, она была во власти этого жестокого, лукавого и необычайно привлекательного человека.

— Я назвал этот бриллиантовый дом “Паола”. — Головинский повернулся к Паоле, которая испуганно качнулась. — Паола — бриллиант. Вы видите, я не молод, весьма искущён, разочарован. Я видел на своём веку множество красавиц, светских львиц, голливудских звёзд. Мне казалось, моё сердце остыло, душа потускнела. Но вот явилась Паола, и надо мной взошло бриллиантовое солнце. Я стал видеть будущее, осветилось моё прошлое. Я увидел множество моих прошлых грехов и хочу их искупить. Теперь для меня трава зелена, небо голубей. Добро стало отличимым от зла. Я сделал мой выбор, и хочу, чтобы вы это знали.

Головинский хлопнул в ладони. Служитель в напудренном парике вынес маленький серебряный поднос, на котором темнела сафьяновая коробочка. Головинский взял её, осторожно раскрыл. На чёрном бархате, переливаясь солнечными радугами, лежала бриллиантовая роза. Он стиснул пальцами её хрупкий черенок и поднёс Паоле.

— Это мой подарок тебе, дорогая. И никто не скажет, какая роза краше.

Все хлопали. Головинский бережно прикрепил розу на груди у Паолы. А та не смела шевельнуться, обморочно смотрела на пугающее и пленительное лицо Головинского, на ликующих гостей, на радужные переливы бриллиантовой розы.

Головинский всплеснул руками, подобно факиру. Занавес, скрывавший таинственное пространство, упал. Все ахнули. Возникли ослепляющие драгоценностями витрины, застеклённые, устланные бархатом прилавки, в которых сияли золотые браслеты, ожерелья, кольца. Аметисты брызгали нежными фиолетовыми лучами. Изумруды переливались, как зелёная морская волна. Рубины пламенели, как пылающие угли. Искусные ювелиры заключили в платиновую оправу гроздь гранатов. Серебро обрамляло голубую бирюзу. Бриллианты, с бесчисленными гранями, в перстнях, в серьгах, в колье, на крышках золотых часов, на клавишах золотых телефонов вспыхивали, как волшебные звёзды, сливались в колдовские ручьи.

За прилавками стояли обнажённые девушки с очаровательными улыбками. Крохотные бриллианты украшали их нежные соски, мерцали, словно капли, в пупках, трепетали в проколотых губах и ноздрах.

В окнах полыхнул салют. Огромные бриллианты, агаты, сапфиры расцветали в небесах, как сияющие стоцветные солнца. И гремели, бархатно рокотали пушки.

Паола, растерянная, испуганная, не понимала театрального действия, в которое её погрузили. Была ли это насмешка над ней, или каприз пресыщенного фантазёра, или внезапный ошеломляющий поворот судьбы. Ей только что прилюдно сделали предложение, и она своим изумлённым счастливым лицом подтверждала, что это предложение принято. Здесь, среди бриллиантов, драгоценных салютов и рокота пушек состоялась её помолвка с могущественным миллиардером, таинственным и мрачным в глубинах души и ослепительным и прекрасным в своих неутомимых фантазиях. Она боялась его, была изуродована им, вовлечена в неясную, отвратительную ей интригу. И была обласкана им, окружена обожанием, осыпана щедротами, которые приняла. Ей подарили великолепную квартиру в центре города, прямо у озера, чрез которое был перекинут мост. И она, возвращаясь по мосту домой, шла среди золотых отражений, похожих на лампы, что зажигал перед ней ее обожатель.

Её усадили в серебристый “Пежо”, пахнувший сладкими лаками и душистыми кожами. Она, лигуя, носилась среди ампирных особняков, старинных торговых рядов, сверкающих, как хрустальные чаши, супермаркетов и развлекательных центров. И среди этих бесшумных полётов вдруг испытывала ужас, словно вот-вот машина разобьётся в страшном ударе. Она останавливалась, выключала двигатель, слыша, как испуганно стучит сердце.

Среди гостей, сторонясь, прячась за колонны, возникло странное существо в долгополой хламиде, в хлоплющих водорослях и влажных улитках.

Существо было одноглазое, с бородавками, пахло болотной тиной. Кикимора приблизилась к Паоле, тронула её ледяной рукой:

— Умоляю вас, бегите отсюда! Здесь вы погибнете!

— Кто вы? Почему так странно выглядите? — Паола чувствовала ледяное прикосновение.

— Я артистка областного театра. Играла Анну Каренину. В театре мы получаем гроши. Нас нанял Головинский и заставил играть — кого кикимору, кого одноглазое лихо, кого вурдалака. Умоляю, бегите отсюда!

К ним подходил Луньков, сияя восторженными глазами и бриллиантовым перстнем. Махал рукой, прогоняя кикимору, и та поспешно, вся в улитках и личинках жуков-плавунцов, исчезла.

— Поздравляю, прекрасная Паола. Теперь, я уверен, Лев Яковлевич обрёл наконец своё счастье. Такой человек, как он, эстет и художник, нашёл в вас свой идеал. Хочу признаться, что это я посоветовал ему назвать магазин вашим именем. Думаю, мы станем с вами друзьями, — Луньков поклонился. Кланаясь, с головы до ног жадно осмотрел Паолу, и ей показалось, что от этого ненасытного мужского взгляда её не спасло вечернее платье.

Все подошли к Паоле, поздравляли, желали с ней чокнуться.

— Вы прекрасны в этом аметистовом бальном платье, — художник, рисовавший портреты именитых персон губернии, получая за это немалые вознаграждения, приблизился к Паоле с бокалом шампанского. — Если бы вы согласились мне позировать! На моей выставке вы были бы истинным бриллиантом!

Паола кивнула, чокнулась с маэстро, жадно выпила шампанское, словно гасила уголь в груди.

— Дорогая Паола, смею обратиться к вам с просьбой. Ведь Лев Яковлевич не откажется помочь нашему альманаху, не правда ли? Провинциальные писатели нуждаются в том, чтобы их поддерживали. А мы, в свою очередь, готовы написать книгу о Льве Яковлевичу в серию “Жизнь замечательных людей”! — местный беллетрист умоляюще взглянул на Паолу, протягивая бокал. Она улыбнулась, чокнулась, торопливо выпила, проливая шампанское себе на грудь, где красовалась бриллиантовая роза.

Генерал ФСБ щёлкнул каблуками, по-офицерски приподнял локоть, поднося к губам бокал:

— А я на месте Льва Яковлевича назвал бы вашим именем не магазин, а звезду! Звезда Паола, пью за вашу красоту! — генерал опустошил бокал, глядя, как тает шампанское в бокале Паолы, и её глаза, не мигая, смотрят сквозь стекло.

— Когда вы и Лев Яковлевич переедете жить в Европу, не забывайте, что в России остаются ваши друзья, продолжающие борьбу с беспощадным режимом, — правозащитник Разумников поднял бокал и, не чокаясь, выпил. Паола выпила следом, и люстра вдруг ослепительно польхнула и стала снижаться кругами, а девушка за прилавком с бриллиантами в сосках раздвоилась и уже не могла слиться воедино.

— А я ведь сразу заметила, как Лев Яковлевич смотрел на тебя, — Валдайская, журналистка с радио “Свежий ключ”, обняла Паолу за талию. — Смотри, не растеряй своё счастье. Богатые мужчины капризны. Они могут купить любовь за деньги. Не использовать ли тебе приворотное зелье? — она поцеловала Паолу, и та, выпив шампанского, вдруг тихо засмеялась. Ей показалась смешной пластмассовая брошка, украшавшая впающую грудь Валдайской.

— Послушайте, Паола, как вы отнесётесь к тому, что я сыграю сейчас сочинённый в вашу честь Паола-бюз, и мы отправимся вместе на рок-фестиваль в Одессу? Думаю, Лев Яковлевич обеспечит нам первый приз? — Борович влил себе в рот шампанское, и Паоле показалось, что он улетает вдаль, как в перевёрнутом бинокле, а потом, увеличиваясь, возвращается обратно, продолжая держать у губ бокал.

— Я всех вас очень люблю, — захлёбываясь от подступивших рыданий, произнесла Паола. Гости, оставив свои разговоры, повернулись к ней. — И вы меня любите, я вижу, и дарите мне подарки. Моя прекрасная кварти-

ра с видом на озеро, и я люблю, как плавают лодки, а вечером, на мосту мне кажется, что я в Венеции. Какая мне награда, правда? Или моя машина “Пежо”, похожая на космическую ракету, которая несёт меня среди светил и созвездий. Или эта бриллиантовая роза, которой позавидовала бы любая царица. Ведь я заслужила её, не правда ли? Я такая талантливая, такая красивая, так оригинально пишу, посвящаю себя такой возвышенной цели!

Паола покачнулась, словно у неё подломился высокий каблук. Но её подхватил стоящий рядом эколог Лаврентьев, и она устояла.

— И какой же возвышенной цели я себя посвящаю? Убиваю порядочного, достойного человека, разрушая своими писаниями его судьбу, карьеру, быть может, саму жизнь. Из-за моих писаний от него ушла большая жена, и это страшный удар для обоих. От него отвернулся любимый сын, и теперь между отцом и сыном лежит непреодолимая пропасть. Его покинула возлюбленная, очаровательная и милая, не выдержав злобной молвы. Он мечется, лишается сил, валяется из рук дела. Он ранен. Ранен моими писаниями, которые действуют, как отравленная пуля. Я убиваю его! Я убийца!

Луньков больно сжал ей локоть и зашептал в самое ухо:

— Ты что же, сука, себе позволяешь! Хочешь, чтобы тебя живём в могилу зарыли? — Луньков хватал её, мял, она чувствовала его руки у себя на груди, на животе, не в силах сопротивляться. Луньков отступил, церемонно поклонился:

— Прекрасная “Мисс Бриллиант”, вас ждут в тронном зале, где в вашу честь начинается бал.

Он подставил ей локоть. Она бессильно на нём повисла. И уже был слышен медовый голос саксофона. Это Борович играл пленительный “Паола-блюз”.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

“Губернатор Плутников, ох, простите, Блудников, ах, извините, Глупников, ну, что с моей памятью? — Плотников! Наш губернатор имеет столь скверный нрав, что от него сбежала жена, не вынеся домашнего тиранства. Его покинул сын, которому стыдно перед товарищами за самодура-отца, чьё своеволие дорого обходится губернии. С ним рассталась возлюбленная, которая жаловалась подругам на скупость губернатора, не сделавшего ей ни одного подарка. И эта болезненная, доходящая до извращения скупость послужила причиной пожара, который спалил роскошную губернаторскую дачу. Вначале, боясь ревизоров, пожелавших исследовать, на какие деньги построена дача, во что обошлись казне родосский мрамор, эбеновое дерево, золочёная лепнина и картины старых мастеров, купленных на аукционе Сотбис, губернатор подарил дачу детскому дому. Но потом решил её просто сжечь, чтобы она не досталась ни детям, ни ревизорам. Может показаться, что этот чудовищный акт самосожжения напоминает сожжение Москвы Кутузовым, чтобы город не достался французам. Но то был подвиг жертвенного народа, а это акт жестокого эгоизма и безграничной скупости. Ни себе, ни людям. Не превратит ли губернатор перед своим уходом и нашу губернию в выжженную землю? Хочу известить общественность, что в мой адрес поступали угрозы со стороны губернатора, которому не нравятся мои заметки о нём. Паола Велеш”.

Эту заметку перепечатаало множество губернских и столичных изданий. Блогер Клёвый сообщил, что в сгоревшей даче находились домашние кошки и собаки, от которых таким образом хотел избавиться губернатор. Сторожа, начинавшие тушить дом, слышали душераздирающее мяуканье и вой. Блогер Кант сообщил, что беременная возлюбленная Плотникова Валерия Зазнобина избавилась от плода и ушла в монастырь, постригшись под именем “Рафаила”.

Обозреватель телекомпании “Карусель” Ласковий поведал, что Плотникова во время его поездки в Бельгию видели в гей-клубе. И не это ли является истиной причиной того, почему от него ушла жена и сбежала любовница

ца? И не следует ли ожидать, что Плотников, наконец, разрешит гей-парад и даже его возглавит?

Журналист газеты “Обозреватель” обратился к правоохранительным органам с требованием выделить Паоле Велеш охрану, ибо в её адрес со стороны губернатора участились угрозы.

Журналистка Валдайская по радио “Свежий ключ” рассказала, как губернатор приставал к ней, делал сомнительные предложения, а когда ему было отказано, пригрозил увольнением.

Обозреватель Курдюков из интернет-издания “Все грани”, рассказал, что побывал на пепелище, и пожарные, тушившие огонь, в горячем пепле нашли целый арсенал автоматов, ручной пулемёт, несколько пистолетов. Остаётся догадываться, для каких целей губернатор столь грозно вооружился.

Подобных сообщений было множество, столичные острословы сравнивали Плотникова с Нероном, с Синей Бородой, с маркизом де Садом. Предупреждали, что перемещение Плотникова из провинции в столицу дорого обойдётся стране.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Всю ночь у Плотникова болело сердце.

Он испытывал тоскливое одиночество. Его в одночасье оставили самые близкие люди, и он тщетно старался их вернуть. Искал жену у её сестры, но та сухо отвечала, что Валентина Григорьевна отправилась в дальнее село к целителю, а когда вернётся, неизвестно. Кирилл не объявлялся, и Плотников разведал, что он поселился у своего школьного друга, и их видели пьяными в ночном клубе. Лера не отзывалась на телефонные звонки. Он узнал, что она уволилась из университета и уехала в неизвестном направлении.

Ещё недавно он был силён, уверен в себе, исполнен творческих планов, выдерживал давление тяжеловесных проблем, одолевал неурядицы, был достоин своей крепкой фамилии “Плотников”. Но злобные языки надругались над его фамилией, отсекли пуговину, соединяющую его с родовым подспорьем, с работающими плотниками и плотогонами.

Следовало вновь собраться в сгусток энергии и воли, чтобы продолжать вверенное ему дело.

Он проводил совещание районных руководителей, слушая отчёты о стройках, водоводах, дорогах. Слагал из этих отчётов картину губернии, в которой шло непрерывное строительство, неуклонное преобразование, осуществлялась его программа.

Говорил глава района Белавин, с голым черепом, с короткими крепкими пальцами, в которых вертел золочёную ручку. В районе возводился мощный комплекс по производству биодобавок, без которых не обходилась пищевая промышленность и которые за большие деньги покупались за рубежом. Огромные серебряные башни возвышались над лугами и рощами, и казалось, что это монастырь сияет лучистыми куполами.

— Всё на мази, Иван Митрофанович, пуск через месяц. А тут, как на грех, выясняется, что вода пошла с примесью железа. Не годится по химическому составу. Надо бурить новые скважины, а это, как вы понимаете, затраты.

— Затраты заложены в дефектное управление! Почему железо обнаружили только сейчас? Пришлите смету под бурение новых скважин!

Докладывал глава района Шурпилин, худощавый, интеллигентного вида, в белоснежной сорочке и шёлковом галстуке:

— Очень трудно приживаются роботы на животноводческих фермах, Иван Митрофанович. Две фермы перешли на робототехнику, а остальные фермеры упираются, выжидают. Может, их в Голландию отослать? Пусть посмотрят, как компьютеры с коровами совмещаются.

— Ты им не прикажешь роботы на фермах ставить. Частная собственность. А семинар провести можешь. Если хочешь, пригласи голландцев. Мы тебе оплатим семинар.

Узкоглазый, с широкими скулами и желтоватым монгольским лицом глава района Шибаев докладывал об импортозамещении. Оно вводилось на заводе, производящем корабельные винты, после того как Запад отказался поставлять России подобные изделия. Военный флот, ждущий с нетерпением новые корабли и лодки, роптал на промедление. Завод срочно строил новые цеха, требовал под строительство дополнительные земли.

— Дайте нам, Иван Митрофанович, вывести из сельхозоборота эти несчастные десять гектаров. Одно название — пашня. Двадцать лет никто не пашет. Лесом зарастает.

— Непростое дело, сам знаешь. Сельхозугодия под защитой закона. К тому же, я знаю, что эти земли в собственности у какого-то московского спекулянта. Уговори его продать, а я буду думать, как передать участок заводу. Но дело, повторяю, непростое.

Плотников гордился тем, что в губернии работает этот уникальный завод. Гребные винты разных размеров и форм напоминали бронзовые цветы с изящными лепестками. Завод обзавёлся партией импортных высокоточных станков, позволяющих обрабатывать лопасти с предельной точностью, что снижало шумы. И бесшумные лодки двигались в глубине, недоступные для гидрофона противника. Ему нравилось думать, что его губерния с дубравами, речушками, петляющими просёлками присутствует в Мировом океане.

Плотников обратился к главе района Латухе. Большие уши, высокая шея, мягкие пухлые губы придавали ему странное сходство с жирафом.

— Объясните, почему ваше поселение напоминает свалку металлолома, пищевых отходов и обитателей, утративших человеческий облик? Оттуда исходят яды, отравляющие всю губернию. От вас и от Копалкино. Где завод по производству мебели? Где генплан поселения? Где заявка на музыкальную школу?

— Я вам докладывал, Иван Митрофанович, генплан неудачен, не учитывает мнения жителей. Легче построить новый посёлок, чем реконструировать старый. Отсюда причина, почему не выбрано место для завода. И музыкальную школу надо строить с учётом генплана.

— Так почему, скажите на милость, затяжка с генпланом?

Выступали другие главы районов. Производственное совещание превращалось в урок управления, в класс повышения квалификации, в психологический тренинг.

Плотников всматривался в их лица, в выражение глаз, в манеру одеваться и повязывать галстук. Знал их достоинства и слабости, хитрости и способность самоотверженно жертвовать собой. Это была его губернская элита, его гвардия, которую он взращивал, наставлял, шлифовал до блеска их грани. Они управляли районами, где совершались преобразования, воплощалась мечта Плотникова.

— А теперь, уважаемые коллеги, как обычно, “час интеллектуальной подготовки”! — Плотников видел, как тревожно посмотрели на него главы районов, ожидая очередной причуды. Этот “час интеллектуальной подготовки” он ввёл, желая вырвать соратников из ежедневных будней, которые приглушали воображение, иссушали фантазию. Когда в губернию приехал видный управленец из корпорации “Боинг”, Плотников уговорил его выступить перед руководителями районов, чтобы те хоть бегло почувствовали стиль великого управления. Когда в область приехал знаменитый археолог из Эрмитажа, он рассказал главам районов о древних поселениях, городищах, курганах, расположенных на территории области, чтобы строительство заводов не разрушило археологические сокровища древности.

— А теперь, коллеги, я попрошу принести листы бумаги и фломастеры. И вы каждый нарисуете ту или иную картину. Пусть свой последний рисунок вы сделали в детском саду. Вы должны развивать в себе правое полушарие, отвечающее за эмоции и фантазии. Ибо у вас работает только левое, а это лишает вашу фантазию полёта.

— А что рисовать-то, Иван Митрофанович? Я не Айвазовский, — страдальчески произнёс Латуха.

— Нарисуйте то, что вас больше всего тревожит, — Плотников приказал секретарше принести бумагу и цветные фломастеры и оставил районных руководителей наедине со своими правыми полушариями.

В соседнем кабинете Плотников принимал архитектора. Тот познакомил его с проектом памятника в честь древней победы русских над Ордой. Выслушал его взволнованные мысли о Святой Руси, которая и сегодня никуда не исчезла, а является сутью Государства Российского.

— Ракеты защищают страну от ядерного нападения, а молитвы заслоняют Россию Покровом Богородицы. Мой памятник — не мемориал, а духовная крепость.

Плотникову были интересны мысли архитектора, и он обещал внимательно познакомиться с проектом.

Его навестил директор Национального парка, крепкий, загорелый, с упрямым лбом, напоминавшим ядерный жёлудь. Рассказал, что в парке от привезённых зубров родились два зубрёнка. Он приглашал Плотникова приехать и полюбоваться на новорождённых, а заодно принять участие в посадке дубков на месте лесной гари. Один из дубов так и назовут — “Дуб Плотников”.

— А кто-то из заместителей назвал меня “баобабом”. Приеду, посмотрю на зубрят!

Он вернулся в комнату для совещаний, где его поджидали главы районов со своими произведениями. Все произведения напоминали рисунки детей. Каждый наивно отражал свои насущные заботы. Эти неотступные заботы были перенесены из левого полушария в правое, приобретя при этом красочное воплощение.

Белавин нарисовал чёрную буровую установку, которая добралась буром до синего подземного озера, и эта синяя вода щедро омывает башни биокомплекса, похожие на пływущие в море корабли. Шурпилин — толстобокую, с непомерным выменем чёрно-белую корову. Она была опутана проводами с огромным монитором, на котором бежали разноцветные синусоиды. Они изображали режимы кормления, автоматической дойки, состав кормов, время прогулок. Это была роботизированная корова, которую неохотно заводили у себя фермеры.

Шибав нарисовал стоящую на стапели подводную лодку с надписью “Князь Владимир” и золотой пятилепестковый гребной винт, похожий на великолепную женскую брошь. Латуха — фантастический город с небоскрёбами, дворцами и стадионами, и по городу, ростом выше крыш, идёт человек, похожий на огурец с руками, и держит знамя.

— А это кто такой, Латуха? — Плотников подозрительно рассматривал рисунок.

— А это вы, Иван Митрофанович!

Некоторое время все молчали, а потом дружно, вместе с Плотниковым, захохотали.

Плотников отпустил районных руководителей и собирался идти обедать, когда в кабинет вошёл вице-губернатор Притченко. Топтался у порога, бес толково поднимал и опускал руки, что-то пытался сказать. Складка на его лбу, переносице и подбородке порозовела, стала похожа на рубец, соединивший две половины рассечённого лица.

— Что случилось, Владимир Спартакович? — спросил Плотников, в котором ещё звучал недавний хохот.

— Уж не знаю, как сказать, Иван Митрофанович. У меня для вас снова плохие новости. Я — как гонец с проклятой вестью.

— Говорите.

— Сгорел ваш дом, ваша чудесная дача. Ночью, при невыясненных обстоятельствах. Выехала следственная группа. Нашли канистру.

Плотников испуганно замер. Его сердце растолкало ватный кокон и поднялось к горлу, мешая дышать. Он чувствовал беспомощность, обречённость. Его жизнь по чьей-то роковой воле попала в жёлоб, в котором его настигали одно за другим несчастья. Невозможно было вырваться из этого жёлоба, ведущего к катастрофе.

Он представлял свою чудесную дачу, которую построил, мечтая скрываться в ней от изнурительных забот, бесконечных людских толп, приглашая к себе самого любимого, дорогого человека. Всё сгорело, превратилось в пепел. И кровать с пёстрым одеялом и подушками, хранившими аромат её духов. И стеклянная веранда, с которой они смотрели, как бурлят под ветром деревья, и надвигается сизая завеса дождя. И те бокалы, которые чудесно звенели, когда они их сдвигали, и её губы темнели от красного вина. И книги, которые он так и не успел прочитать. И картина Поленова в старомодной золочёной раме. И все его мечтанья, которым придавался, сидя в плетёном кресле под звёздами, глядя, как пересекает их тень ночной птицы. Теперь всего этого нет, а осталось жуткое пепелище, в котором сгорело его прошлое и будущее.

— Это не всё, Иван Митрофанович, — у Притченко на лице была мука, он тяготился тем, что уже сказал, и тем, что ещё предстояло ему сообщить. — Вот распечатка из интернета. Столько пакости! Сколько подлости!

Плотников читал, не испытывая боли от чтения, потому что боль, уже заполонившая всё его существо, не оставляла места для новой боли.

— Я наводил справки. Это дело рук Головинского. Его журналистский пул. Его деньги.

— Но почему? Разве я ему конкурент? Разве он хочет стать губернатором? Я помог ему обосноваться в губернии. Выделил участок под строительство Глобал-Сити. Защищал этот дурацкий проект с бутафорской архитектурой. Считал, что любые инвестиции нам полезны. Почему он начал на меня охоту?

— Не знаю, Иван Митрофанович. Скорее всего, Головинский выполняет чей-то московский заказ. Вас там бояться.

— Им не удастся меня сломать!

Через несколько минут он сделал заявление перед телекамерой. Сказал, что поджог его дачи — преступление, и преступник будет наказан. Травля в печати — технологии тех, кому ненавистны положительные перемены в губернии.

— Особенно хочу предупредить журналистку Паолу Велеш. Зло, которое она совершает, вернётся к ней бумерангом и её уничтожит.

Плотников сделал разящий жест, изображая полёт бумеранга, который вопьётся в Паолу Велеш.

*(Окончание следует)*



ВАДИМ КОВДА



## Я СРАСТАЮСЬ С ЗЕМЛЁЙ И НЕБОМ...

### НАЧАЛО ЗИМЫ

Мы дожили, Богом хранимы,  
до этой блаженной зимы.  
Туманы. Белёдые дымы.  
И вечно туманные мы...

Ветра на своих окаринах  
колдуют... Замёрзла река.  
На низких, бескрайних равнинах  
холмы, луговины, снега.

Как очи спокойные мамы,  
вновь светится чуткая даль.  
Поля, перелески, туманы,  
небес светло-серая сталь...

К ветвям притороченный иней  
шатёр простирает резной  
над этой сторонкой лосиной,  
кабаньей и лисьей страной.

И, вновь обратившись к деталям —  
полям, оврагам, стогам, —

---

*КОВДА Вадим Викторович родился в 1936 году в Москве. Член СП СССР с 1972 года, автор 11 книг стихотворений. Последняя книга вышла в Москве в 2012 году. Живет в Германии в городе Ганновер и в Москве.*

в любви объясняемся далям.  
Они объясняются нам.

А лжи и отчаянья довод  
ветшает, уходит на слом...  
И всё, что ты помнил дурного,  
внезапно помянешь добром.

### СЕВЕРНЫЕ ЛЮДИ

Здесь в суждениях кратки и строги.  
Ну, а души у этих людей —  
продолженье лесов и дороги,  
продолженье небес и полей.

И такую в них чую глубинность,  
что хотел бы постичь, да не смог  
голубую очей голубиность  
и причудливый их говорок.

Вдоль обочин цветут незабудки,  
нежно птица свистит на лету...  
Я люблю их незлобные шутки  
и неброскую их доброту.

Целомудрие жизни безвестной.  
Иногда лишь взлетает, резка,  
страшноватая, дикая песня,  
где мятежность, и боль, и тоска.

### ПРОГУЛКА ВЕТРЕННОЙ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Ветер, ветер на русской равнине  
разгоняет и крутит снега.  
В светло-серой, холодной пустыне  
чёрно-серые мчат облака.

Свет таинственный цедится, брезжит,  
этот сумрачный, вкрадчивый свет.  
Ветра вой, и стенанье, и скрежет —  
мирозданья горячечный бред.

В склепе сердца рождается иней  
и озноб сотрясает, креня...  
И бескрайняя эта пустыня  
до краёв заполняет меня.

И в ночи, в том хаосе свирепом  
крепнет связь между миром и мной.  
Я срастаюсь с землёю и небом,  
со снегами, ветрами и тьмой.

### ВОЗРАСТ

Так вот в чём причина  
тоски непреклонной:  
чем ближе кончина,  
тем небо бездонней.

И поле прелестней,  
и лес — всё роскошней...  
Слеза — неуместней,  
любовь — невозможней.

Как облачко взбито  
Ангелоподобно...  
Я помню обиды  
не очень подробно...

И свет — всё прекрасней,  
и тьма — всё кромешней...  
А боль — ежечасней,  
тоска — безутешней...

\* \* \*

Сколько солнца, неба, моря,  
леса и полей!..  
Сколько подлости и горя  
на земле моей!..

Только я — удел мой жалкий —  
правду умолчал,  
И в словесной перепалке  
землю защищал.

И с врагом в неравном споре  
я не честным был...  
Я и в подлости, и в горе  
Родину любил.

\* \* \*

Дошкандыбал, добрёл, не сломался...  
Всё же хватило упорства и сил.  
Но сломал всё, к чему прикасался,  
Всё, что выиграть мог, — просадил.

Утешаю себя: — Ведь не вечер!!  
— Вечер! Вечер!! — Давно уже ночь...  
Я за всё, что случилось, отвечу...  
И никто не сумеет помочь.

Потерявший и близких, и милых,  
ни на что не желаю пенять...  
Но себя поменять я не в силах...  
И страну не сумел променять...

Что юлить? Ложь — дурная примета...  
Нелюбовь на себя навлеку.  
Я готов защитить всю планету...  
Но себя от себя — не могу.

Так и Родина — страшная сила!  
Пала в грязь — никудышны дела:  
От фашиста весь мир защитила,  
Но себя от себя — не смогла...

\* \* \*

Пень подгнивший — опят полведра,  
мягкий мшаник с брусникою блёсткой.  
У берёз отслоилась кора  
в высоту человеческого роста.  
Скрёб кору здесь, наверно, олень,  
пень точили древесные черви  
сотню лет и сегодняшний день,  
чтоб мои успокоились нервы.  
Я щавель после зайца доел,  
я рябину поднял после птицы  
и счастливую песню запел,  
и в ручье подпевала водица.  
А шмелей — хоботок к хоботку —  
тяжко выдержать тонкому стеблю.  
Как шмели припадают к цветку,  
припадаю к поляне и небу.  
Руки вскинул — всё это люблю!  
Вкруг меня — лишь любимые лица...  
Не могу насладиться — пою!..  
Всё равно не могу насладиться.

## РОМАН СЕНЧИН



## ДОРОГА

### РАССКАЗ

#### 1

Сотрудники трёх министерств выстраивали логистику визита статусной делегации из Москвы, а Сергей Константинович, глава москвичей, взял и спутал все карты.

— Да чего нам эти самолёты-вертолёты! С птичьего полёта всё гладеньким выглядит, ровненьким. По земле надо, господа-товарищи, по земле-матушке. — И, узнав, сколько до стройки, развёл руками: — Ну, и чего ради трёх сотен вёрст с копейками на небо забираться? Дое-едем!

Ему пытались объяснить, что дорога неважная, уйдёт на неё не четыре часа, как считал Сергей Константинович, а все восемь, но он не слушал. Да и попытки были, надо признать, слабые, осторожные — Сергея Константиновича боялись.

Это внешне он выглядел добродушным, говорливым дяденькой, на деле же — строгий, суровый, а порой и безжалостный государственный муж. Не раз многочисленные враги пытались накопать на Сергея Константиновича компромат, свалить с кресла, но не получалось. Честный, живущий на положенную зарплату, не высывающийся без необходимости, зато упорно делающий своё дело человек. Потому, наверное, и пережил в аппарате правительства пять премьеров, многочисленные реорганизации и чистки...

---

*СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1972 году в городе Кызыл Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые публикации в Москве — в журнале “Наш современник”. Автор романов “Минус”, “Нубук”, “Ёлтышевы”, “Информация”, сборников рассказов “Иджим”, “День без числа”, “Абсолютное соло” и др. Живёт в Москве.*

Сергей Константинович много ездил по стране и везде, где бывал, после его пребывания вскипала деятельность, повышались показатели, наращивались темпы. Правда, на время. И в правительстве вздыхали: “Было б у нас двадцать таких — мы б не узнали России”.

В крае приезда этого человека ждали со страхом, но и с надеждой. Знали: если он увидит, что там-то и там-то действительно недостает финансирования, возникают объективные, непреодолимые для региональной власти сложности, то поднимет вопрос в самых высоких московских кабинетах и поможет, пробьёт...

С возведением завода дело было плохо. Оно почти застопорилось в последние месяцы. Строительство велось в рамках частно-государственного партнёрства, поэтому разобраться в том, кто за что отвечает, кто во что вкладывает средства и — главное — когда вкладывает, было очень сложно, а может, и невозможно. Региональная власть, местные органы федеральной власти и частный бизнес постоянно спихивали ответственность друг на друга.

В борьбе за право встретить Сергея Константиновича у трапа самолёта победили региональные — краевые — власти, и теперь тешили себя мыслью, что московский чиновник высшего эшелона будет к ним помягче. Конечно, всплёт, найдёт за что, но не так сильно, как бизнесменам и федералам, которые, сидя здесь, в четырёх тысячах километров от столицы, на всё забили...

Пока первый замгубернатора вёз Сергея Константиновича с его командой из аэропорта на быстром и лёгком “Ауди”, в городе торопливо готовили колонну “Тойот”-внедорожников для похода на стройку. Механики проверяли транспорт, девушки и юноши из администрации загружали багажники водой, едой, тёплыми вещами на всякий случай — в конце мая вечера и ночи случались здесь очень прохладными.

Мелкие начальники администрации дрожали, чтобы ничего важного не забыть, — иногда отсутствие шариковой ручки под рукой может привести к катастрофе, — а губернатор переживал, что по пути Сергей Константинович возьмёт и потребует везти его не сюда, а к кому-либо другому. Конкурентов у губернатора здесь полно...

Нет, довезли благополучно, прямо к серому, циклопического размера зданию бывшего крайкома КПСС, где теперь располагалась администрация края.

Сергей Константинович тяжело — под семьдесят всё же — выбрался из машины, глянул на здание, поморщился:

— Мда, замок Воландеморта какой-то. Что должен чувствовать человек, на него гляючи? Какой подъём духа? Эх, господа-товарищи, в прошлом веке живёте. Повсюду стали в весёлые цвета дома раскрашивать. Гляньте, какая в Хантаха администрация, — лебёдушка! А вы тут...

Замгубернатора кивнул помощнику: “Запиши”. Знал, что Сергей Константинович ничего не говорит просто так.

Губернатор встретил гостя-инспектора на крыльце, пригласил выпить чаю. Тот отказался:

— Ехать надо. Дело к обеду. Пока доберёмся — солнце сядет. А не терпится поглядеть, чего вы там понастроили.

— Может, на вертолёте? — предложил губернатор. — Два часа — и там. Площадка во дворе у нас, вертолётки новые, ребята проверенные...

— Да нет, Алексей Борисыч, — усмехнулся гость, — мы по земле. Поглядим на вашу природу, воздухом целебным надышимся.

Губернатор покивал понимающе-покорно. Спросил:

— Мне с вами?

— Зачем? Ты на крае будь. Рули регионом. Мы сами как-нибудь. Са-ами... Командуй, куда садиться, в какие кареты.

Подкатили к крыльцу четыре огромные чёрные “Тойоты”. Усаживаясь в головной автомобиль, Сергей Константинович заметил:

— А в Хантах на “уазиках-патриотах” ездят. Поддерживают отечественное.

Помощник замгубернатора отметил это в блокноте.

Дорога до поры до времени — до старинного сибирского города, нынешнего мощного промышленного центра — была очень даже ничего. Ровный асфальт, две, а местами и три полосы в одну сторону, разметка, карманы... Сергей Константинович умиротворенно комментировал то, что видел из окна:

— Луга-то какие у вас. Май, а трава по пояс. Косить пора. Весной трава самая сочная... Гляди-ка, на горах снег ещё. Прямо Швейцария. В Женеве так: на горах — снег, а под ними — розы цветут... Благода-ать у вас, господа-товарищи.

После промышленного центра повернули строго на север, и километров через тридцать асфальт вдруг кончился, “Тойоты” затрясло. Дорога сузилась, её обступили хилые, кривоватые лиственницы.

Некоторое время Сергей Константинович терпеливо молчал, видимо, ожидая, что это лишь участок такой, отрезок, который собираются ремонтировать. Но прошло десять, двадцать минут, а дорога становилась лишь хуже. Ямы, колдобины, кочки, лужи размером с озера...

Внедорожник осторожно вползал в такую лужу, медленно плыл по ней, натужно урча и захлебываясь.

— Это что это? — в конце концов не выдержал московский чиновник. — Так и будет, что ли?

— Дожди сильные были, — хрипло пролепетал замгубернатора. — Размыло.

— Да тут не дожди... не в дожде дело. Тут надо на вахтовке ездить. Асфальтом и не пахнет, даже гравием...

— Было... И асфальт был, и гравий... сотни тонн... Всё топь сжирает.

— Зимой-то нормально, — стараясь помочь своему начальству, заговорил водитель, — гладенько по зимнику. А сейчас — конечно. Болота вокруг, зыбуны... Каждый ручеек до реки разливается.

Как раз подъехали к такому разлившемуся ручейку. На присутствие моста ничего не указывало — бурный поток рвался поперек узкой, бугристой возвышенности, которая служила дорогой... “Тойота” приостановилась. Сергей Константинович вопросительно посмотрел на водителя. Тот беззвучно шевелил губами. Молился, что ли... Помолится и вдавит ногой педаль газа... Сергей Константинович невольно зажмурился и сжался...

Добрались тем не менее. Лишь в одном месте замыкающая колонну машина сползла с раскатанного края дороги в глинистую жижу, увязла.

Потерю заметили нескоро, пришлось возвращаться, вытягивать тросами, подбрасывая под колеса наломанные ветки — жидкий лиственничный лапник.

На закате миновали посёлок строителей, уже впотьмах въехали на территорию дирекции, при которой находилась маленькая, но современная гостиница.

Сергей Константинович не шутил, был мрачен, громко и раздражённо сопел, что-то обдумывая. Подчинённые не лезли с разговорами и вопросами, лишь осмелились пригласить на ужин.

— Не хочу, — буркнул тот, — не до ужина тут. Завтра в восемь нуль-нуль — на стройку.

Проверка была доскональнейшей. К полудню директор, инженеры, представители региональной и федеральной властей, партнёры от бизнеса — все валялись с ног от усталости и напряжения. Сергей Константинович задавал сотни вопросов, требовал показать ему тот или иной участок, документы. Все вопросы и требования были по делу, но от этого, а особенно от тона, каким они произносились, отчитывающимся становилось всё тревожнее.

После обеда, который прошёл в напряжённой тишине, собрались в комнате для совещаний. И снова посыпались прямые вопросы Сергея Константиновича, на которые требовались конкретные и прямые ответы. Когда

кто-нибудь начинал мяться или строить лабиринты из складных, но пустых фраз, Сергей Константинович перебивал:

— Значит, по существу вы ничего сказать не можете. — И брал в руки карандаш, заносил его, будто кинжал, над записной книжкой. — Что ж...

— Нет, могу! — испуганно вскрикивал уличённый.

Всем было очевидно, что московский начальник взбешён. Взбешён ещё со вчерашнего вечера чем-то, не совсем касающимся стройки. Но своё бешенство выплёскивает дозировано в таких вот вопросах и угрозах...

Часов около семи вечера вопросы иссякли. Сергей Константинович несколько минут изучал свои записи, а потом, когда казалось, что истомлённые люди скоро начнут уже падать в обморок или биться в истерику, заговорил:

— Дела, господа-товарищи, не ахти. Скажу больше — плачевно обстоят дела. Все сроки сорваны, планы порушены. Распоряжения правительства и самого президента страны не выполняются. Причин я увидел море. Виновные... — Сергей Константинович обвёл сидящих за столом придавливающим взглядом. — Виновные тоже очевидны. Если кто считает, что отмолчался, за чужими спинами спрятался — ошибается. Мы всех увидели. Но... — Снова пауза. — Но корень всех проблем и простоев — в дороге. Да. Я недаром от вертолётов отказался, решил проехать по вашей дороге. Увидел. Уви-идел! Сто пятьдесят километров дорогой назвать нельзя. Это просека какая-то, а не дорога. И нечему удивляться, что завод в таком состоянии — не успели достроить, а он скоро разваливаться начнёт, люди — как военнопленные... Правильно говорят: дороги — это артерии государства. А ваше строительство без дороги — палец гангренозный. Ясно?

Мужчины послушно стали кивать, глядя в стол.

— Вижу, что ясно. — Голос Сергея Константиновича стал чуть мягче. — А если ясно, то даю вам всем — всем вместе! — срок до... Когда у вас тут снег ложится?

— В двадцатых числах октября, — торопливо сообщил замгубернатора; с ним сразу заспорили:

— Да в последние годы позже... В первой декаде ноября...

— Так, — стукнул концом карандаша по столешнице москвич, — даю срок до пятнадцатого октября. Октября! Дорога должна быть. У вас четыре месяца с копейками. И... — Он снова обвёл собравшихся своим знаменитым страшным взглядом. — И без спихивания друг на дружку. Завод строим сообща, и дорогу давайте сообща прокладывать. Ведь это позор просто-напросто...

Сергей Константинович хотел говорить дальше, но осёкся. Знал: чем больше слов, тем меньше их вес. Добавил лишь:

— Пятнадцатого октября или сам приезжаю, или присылаю надёжного человечка, которого не задобрить. Если дороги не будет — секир башка всем. Найдём, кого на ваше место посадить. Дефицита в кадрах у нас нету, поверьте. Ясно, нет?

И снова короткие, испуганные кивки.

#### 4

В душе, а то и шёпотом Сергея Константиновича хоть и ругали, проклинали, обзывали прыщом, но его правоту признавали. Действительно, дорога была нужна. И грузы возить, и продукты, да и потребность в пассажирском сообщении становилась всё насущнее — посёлок строителей постепенно превращался в маленький городок с капитальными домами, в которых селились семейные; уже и несколько коренных жителей появилось... Вертолёты, водный транспорт, зимник теперь не могли восполнить отсутствие нормальной автомобильной трассы.

Через неделю после отъезда высокого чиновника в здании администрации края состоялось масштабное совещание — человек под сотню собралось за овальным столом и на стульях вдоль стен.

— Да, задача поставлена непростая, — начал губернатор, — но жизненно важная. Президент много раз подчёркивал, что необходимо развивать,



комплексно развивать Сибирь и Дальний Восток. А без надёжных путей сообщения такое развитие невозможно. Задача... — губернатор перевёл дух, — сложна вдвойне, потому что у нас, как, надеюсь, все помнят, на носу зимняя универсиада. Все силы брошены на неё. Но и дорога эта нам необходима... Какие будут предложения?

— Асфальт там класть бесполезно, — задумчиво сказал министр транспорта, — болото сожрёт за одну весну.

— Да, асфальт уже был, а теперь и куска не найдёшь, — добавил один из его замов. — Бетон надо. Бетонку.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласился:

— Бетон — самый надёжный вариант. — И тут же добавил, оправдываясь: — Но у меня всё идёт на объекты универсиады. Цемент не успеваем делать. Так что с бетоном пока нереально.

— А сколько надо плит? — спросил губернатор.

— В штуках?

— Ну да, да.

— Хм... — Министр строительства с ухмылкой специалиста, беседующего с профаном, пододвинул к себе бумажку, стал что-то на ней набрасывать. — Расстояние примерно сто пятьдесят километров... Стандартная дорожная плита — три метра длиной, метр семьдесят пять шириной. На эти три метра нужно не меньше четырех плит...

— Всё понятно, — расстроено перебил губернатор, — нужны десятки тысяч штук.

— Пятьдесят тысяч, — уточнил кто-то с дальнего края стола.

— Да... Не потянем. У соседей занимать тоже бесполезно.

Замгубернатора с готовностью тряхнул головой:

— Такое количество, конечно, бесполезно. Но, может, хоть мосты нормальные поставить? А то ехали — все семь мостов под водой.

— Мосты зимой ставят, — заметил министр строительства всё с той же ухмылкой.

— Но надо хоть начать что-то делать, — чуть не плачущим голосом сказал губернатор. — Впереди лето, три относительно сухих месяца. Хоть не всё, но что-то можно предпринять... Господа федералы, представители бизнеса, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Есть идеи?

— Идеи-то есть, — медленно начал член совета директоров одной из частных компаний, участвующей в строительстве, молодой ещё, спортивного вида мужчина. — По крайней мере, одна идея.

— Пожалуйста-пожалуйста!

— В Каровском районе, это соседний со стройкой район, есть такой посёлок — Ирбинский.

— Да, есть, — с готовностью подтвердил губернатор, чтоб показать: он знает все населённые пункты края.

— Так вот, мы навели справки. Там когда-то был леспромхоз крупный, но уже лет пятнадцать его нет, посёлок почти заброшен, а вот дорога... Дорога от этого Ирбинского до ждэ-станции — прекрасная бетонка. Мы заезжали, видели своими глазами. Хоть самолёты сажай.

— Это точно, — сказал министр транспорта. — Для тягачей положили. Лес там был деловой — сосны, как на подбор...

Член совета директоров терпеливо выслушал министра и продолжил:

— И вот у нас такое предложение: демонтировать эту бетонку и перебросить плиты на проблемный участок. От Ирбинского до станции километров восемьдесят, как раз половина покроется... Вот такая, в общем, идея.

Когда бизнесмен говорил, многие согласно покачивали головами. Но перевели взгляд на губернатора и перестали покачивать. Брови губернатора сомкнулись на переносице, лоб разрезали глубокие морщины.

— Идея, конечно, заманчивая, — как-то с трудом произнёс он. — Только ведь такой шум поднимется... Была, мол, дорога и — убрали. Ирбинские все пороги обобщают, ещё и демонстрацию устроят...

— А что эти ирбинские?! — вскричал вдруг осмелевший первый замгубернатора. — Знаю я их. Триста люмпенов. Все нормальные люди оттуда

давно поразъехались, устроили жизнь, а эти... Ни работы, ничего... Посёлок вообще появился из-за леспромхоза. Лес кончился, производство закрылось. Мировая практика — нет работы, нет и поселения. А у нас...

— В Америке вон целый Детройт ликвидируют, — вставил кто-то второстепенный, со стула у стены.

— Вот именно! А мы голову ломаем.

— Ирбинский, конечно, обречён, — сказал министр регионального развития, — пяток лет ещё поагонизирует и — каюк ему. И дорога без ухода развалится. Здесь же появляется перспектива дать плитам вторую жизнь.

После этой реплики больше минуты держалась напряжённая тишина. Все понимали, что решение должен вынести губернатор. А он молчал. Смотрел в бумаги перед собой, словно на них были записаны, как в тесте, варианты правильного ответа...

— Что ж, — наконец поднял глаза губернатор, — доводы весомые. Будем демонтировать и вывозить. Восемь десятков кэмэ покроем. Ещё на двадцать как-нибудь наскребём из краевых резервов. Бизнес, надеюсь, поможет ещё каким-то количеством. Так?.. Авось осилим. — Губернатор повернулся к сидящему справа первому заму. — А вы, Вячеслав Романович, подготовьте ирбинского главу сельсовета или кто у них там главный, участкового, чтоб не допускали всяких выходов.

— Скажу, что дорога в аварийном состоянии, выработала ресурс. Движение там совсем жидкое, обойдётся гравийкой.

— Хорошо... И технику надо собрать. Приехали, сняли, увезли. Без волокиты. Чтоб не успели опомниться... Ладно, — вздохнул губернатор с облегчением, — на этом и порешим. Всем спасибо.

АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ



## ЭПОХА ЕЩЁ НЕ РАЗЪЯТА...

\* \* \*

Блаженны, кто верует, — искренней веры не тронь,  
хотя сомневается здравая мысль и сегодня...  
Нисходит с высоких небес Благодатный огонь  
на светлую Пасху в кувуклию Гроба Господня.  
Волною духовною или телесной рукой, —  
невидимо тем, кто в надежде огня ожидает, —  
и вновь разливается чистое пламя рекой  
и радостных лиц озаряемых не обжигает...

По равновеликим краям материнской земли,  
на волю ветров полагаясь и вышнюю волю,  
порой молодую мы тоже зажгли и сожгли  
страстей и желаний немереных добрую долю.  
Но смысла завидовать нынешней юности нет,  
без точки страница, не время ещё устранишься —  
не молниеносный и не ослепительный свет  
яснее горит и ровней на дорогу струится.

Души не травы и смятенного сердца не рви.  
Кто истинно ведает: вечное — не за горами, —  
поймёт, сколько в ярое пламя добавит любви,  
чтоб и малoverные лицами не обгорали.

---

*РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович родился в 1964 г. в Магнитогорске. Окончил Уральский госуниверситет в Свердловске (1986) и Российскую Академию государственной службы в Москве (1999). Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг стихов, переводов и статей. Живёт в Екатеринбурге.*

## ЗЛАТОУСТ

*Девятого февраля 2013 года в  
Екатеринбурге вновь зазвонил  
1000-пудовый колокол взорванного  
в 1930 году и воссозданного храма  
“Большой Златоуст”.*

Снова звонят на Большом Златоусте —  
нота басовая издалека...  
Словно к истоку приблизилось устье  
сквозь неизменные облака.

Словно и не помышляя о плате,  
в прежнюю время легло колею...  
Бабушку вряд ли узнаю мою  
девочкою в гимназическом платье...

Словно задумано миром и градом,  
чтобы, в библейские святцы вписав  
имя, ко слуху притёртое, рядом  
со Златоустом стоял ДОСААФ.

Словно эпоха ещё не разъята,  
сталью военной не стала руда,  
и не вещает опять холода  
нам краснокожее тело заката.

Словно живём высоко и уютно,  
на ночь листовая бульварный роман...  
Если подымется ветер наутро —  
сонных к чему призовет Иоанн?

## ЛЕТО 2014 ГОДА

Это стылое лето спиши с календарного счёта  
за тяжёлую землю и лёгкую хрипоту.  
Примороженный ветер, как струйка холодного пота,  
опускается медленно по становому хребту.

Разливанные хляби замотаны волглрой рваниной,  
день за днём астрономия недобровольно слепа.  
И не верится в ясное небо над Русской равниной  
и в горящие от реактивного града хлеба.

На восходе боры полыхают, на западе — степи,  
и пока затяжные дожди остужают, кропя,  
золотые стволы и налитые зеленью стебли,  
у раскинутой кроны обугливаются края...

\* \* \*

*“Не пой, красавица, при мне...”*

Не пой, молодая, при мне  
ты песен о старой войне —  
бурьяне, тумане и пыли...  
С почти вековой глубины  
едва различимо слышны  
далёкие боли и были.

Окатыши горьких побед,  
и мы уже таем на нет  
на бруствере тысячелетья,  
поросшие мохом-травой...  
А вслед за Второй мировой  
просматривается Третья.

И, как в неурочный Покров,  
поверх городов и голов  
потомков, безвестно любимых —  
не ангелы, не мертвецы,  
но вечно живые бойцы  
из давних семейных альбомов.

Мол, братья, кончай ночевать:  
не время ещё почивать,  
пролёживать Боговы лавки —  
пора собираться опять  
в небесную русскую рать  
из необратимой отставки...

Бог знает: пора — не пора.  
Опять холодают ветра,  
а думали: лето в кармане...  
Мелодия вроде проста,  
да не удаётся с листа,  
но если душа не пуста,  
мы вместе споём о тумане.

\* \* \*

*Снайперу Свердловского СОБРа  
Екатерине Наговицыной*

Тёзка тёщи моей — мы уже вполовину родные,  
а по виду и вовсе за старшую дочку сойдёшь,  
но майорские звёздочки и кругляши наградные  
не дают по-отечески сетовать на молодёжь.

Доля женщины — ждать: убеждённо, спокойно, упёрто —  
и сказать долгожданному: я постелила — ложись...  
Ты взяла бы любые призы по стрелковому спорту,  
да на полную ставку работаешь: жизнь — или жизнь.

Поднимаешь заздравную не за любовь — за удачу,  
но подмогою случаю — знание горной войны...  
Время снайперу сыщёт всегда боевую задачу,  
не позволит ему разъедающей дух слабине.

Поживём — поглядим, как сойдутся над нами светила  
и нальётся ли будущий день несусветною тьмой.  
Осторожно надеюсь, что ты за столом пошутила,  
намекая, что вслед за семнадцатым — тридцать седьмой.

Упаси нас от гнева, Всевышний, на будничном торге  
и желания ближнему дырку пробить в котелке...  
Орден Мужества — перелицованный русский Георгий —  
на слегка оттопыренном чёрном твоём кительке.

\* \* \*

*Если долго сидеть на берегу реки,  
можно увидеть, как по ней  
проплывёт труп твоего врага...  
Сунь Цзы “Искусство войны”*

Дело не задавалось.  
Времени вопреки  
расположился даос  
на берегу реки.  
Солнце вовсю палило,  
дума была долга,  
и по реке проплыло  
тело его врага...

Та ли у нас забота,  
скрытая тальником,  
если идёт охота  
с пляшущим поплавком,  
а оглядеться зорко  
на комариный зов —  
вновь надувает зорька  
свой снегириный зоб?

То ли варяги-греки  
давние ткани ткнут,  
то ли иные реки  
в нашей земле текут —  
не золотое дело  
в северной стороне  
ждать ледяное тело  
на кровавой волне.

\* \* \*

*Екатерине Полянской*

Так улеглось вековой доской,  
служею прихватило —  
третью судьбу извести в людской  
прадедовой квартиры.

Через расселину лет сквозит  
память о давнем бунте —  
не расслабляйся, мол: сик транзит  
глория мунди...

Что этот город? Ни сват, ни зять —  
призрак, святая перхоть...  
Это нормально: однажды взять  
да переехать.

Много ли нажитого? Легко —  
как погорели...  
А отпускает недалеко —  
до параллели.

Вроде неблагостная страна —  
тын да оградка.  
Вроде и дело-то — сторона...  
Да Петроградка.

\* \* \*

Крепя сетями строп  
стеклянную рубашку,  
походит небоскрёб  
на Мордорскую башню,  
как будто во плоти  
недрёманное око  
готовится взойти  
с туманного востока.

Но прямо за прудом,  
а по мосту — окольно  
на берегу другом  
белеет колокольня,  
и, не обелена  
убийственной судьбою,  
за ней — ещё одна  
свечою голубою.

Сошлись — рекой подать —  
на позвонке державы  
с гордыней благодать  
и Толкиен с Бажовым...  
Упёрты правотой,  
грядой береговою...  
И не разлить водой —  
ни мёртвой, ни живою.

\* \* \*

Ночь, соединяющая с небом  
дымное дыхание своё,  
Усть-Сысольск заваливает снегом,  
Сыктывкар затапливает снегом,  
словно снег рождается из неё,  
словно у невидимой границы,  
обведённой светом фонаря,  
он неприкасаемо хранится  
втуне до святого января,  
а потом струится без остатка  
россыпями первовещества...

Ночи этой летняя изнанка  
тоже незапятнанно чиста,  
но судьбы вершина или комель,  
а порою заметённых кровель —  
догадайся, добрый человек,  
встретить зиму — русскую ли, коми ль —  
в городе встречающихся рек.

\* \* \*

Когда не заново, а опять,  
не по наитию и отточью —  
привыкших поздно ложиться спать  
не удивить новогодней ночью.  
И сколько свежести ни готовь,

неугомонною перекличкой  
согласны опытные: любовь  
переворачивается привычкой...

Воды и времени не рассечь,  
но отмечаем хотя бы чаем  
на пристанях ненарочных встреч —  
и на течении различаем.  
И на отчаяние не трать  
бесперестанно души и тела:  
когда без крови не оторвать —  
не прилучилась, а прикипела.

\* \* \*

Пускает кровь кредитной карте  
живот творящая любовь.  
У выходных на низком старте  
ты в покупательском азарте  
в “Ашане” или “Мегамарте”  
кладёшь в корзину пять хлебов:  
крестьянский с примесью ржаную,  
лаваш, побитый рыжиною,  
багет с надсечкой ножевой,  
и свежвыпеченный белый —  
ещё горячий, пышнотелый,  
и — пользы ради — зерновой.

Оголодаешь на работе,  
такое выдаст голос плоти —  
по естеству, а не со зла...  
А бестелесное украдкой  
опять немеет над загадкой  
ненарочитого числа.

## ЫБ

*Елене Габовой  
и Петру Столповскому*

На стенке дома в селенье Ыб —  
лёгкая стайка летучих рыб,  
как на волне или полотне.  
Клёв невелик при большой луне,  
где бы и взяться плоти плотвиц.  
А может статься, то стая птиц...

Дерево изнемогло во мгле —  
в чёрном тепле на сырой земле,  
но, как на будущее крючки,  
неистребимы его сучки —  
жизни добавка, души припёк  
за прорастание поперёк.

Из потревоженной целины  
не возвращены, но возвращены,  
это они на пыливый взгляд  
против течения плывут-летят,



крыльями связывая следы  
неба, земли и большой воды.

Не на приманку и не в узде —  
только на тонком стальном гвозде  
держатся, чтобы не унесло  
полой рекой поутру село  
в купах черёмух и древних ив  
и его имя чудное — Ыб.

\* \* \*

Иные книги нынелетние,  
нам возводимые в закон,  
напоминают: мы — последние,  
кто пишет русским языком,  
рябые рыбины подлёдные,  
огнеупорные кроты,  
седые птицы перелётные,  
свалившиеся с высоты...

Не коршуны, но и не голуби,  
из-под земли или воды  
мы пробиваемся сквозь проруби  
и потаённые ходы.  
И как дыханье ветряное,  
глотаемое сгоряча,  
нам слово однокоренное,  
понятное без толмача.

## КАРАВАН АБДУЛ КАСЫМА

*Великий визирь Абдул Касым Исмаил,  
который жил в Персии в X веке, никуда  
не выезжал без своей библиотеки,  
состоявшей из 117 тысяч томов...*

Интернет-легенда

Дорожки апельсинового сада  
заря волною нежной окатила.  
Настало утро, и Шахерзада  
дозволенные речи прекратила.  
К тяжёлому движению готовы,  
перетирая палочки полыни,  
отдали сыромятные швартовы  
навьюченные корабли пустыни.

Раскачиваясь медленно и мерно,  
как если бы причисленные к сану,  
они до Нишапура или Мерва  
по древнему ступают Хорасану.  
А после снова в ногу понемногу  
с такой же ношей, медленно и хмуро  
пускаются в обратную дорогу  
в Газни от Мерва или Нишапура.

Наделены терпением верблюда,  
погонщики, усталости не выдав,

пройдут повсюду, тянется докуда  
обширная держава Газневидов —  
единую вобравшие повадку,  
из чёрной грязи поднятые в князи,  
обученные строгому порядку  
мудрёных завитков арабской вязи...

Лишь мёртвый или пьяница не спросит,  
упившись до погибели в кружале:  
— Чей это караван? И что вас носит  
туда-сюда-обратно по державе?  
Сбрела с ума верблюжья вереница,  
хозяин ли в неимоверном раже,  
и что такого ценного хранится  
в усердно сберегаемой поклаже?

— Велением великого визиря, —  
ответит предводитель каравана, —  
в тюках ни разу не перевозили  
мы ничего для тела и кармана:  
ни редкостные финики и фиги,  
ни золота увесистые слитки,  
а только книги, праведные книги —  
мудрейшие пергаменты и свитки.

Наверно, правоверные вовеки  
с тех пор, как землю солнце осветило,  
не ведали крупней библиотеки,  
чем у Абдул Касыма Исмаила.  
Работа или псовая охота —  
за господином следуя в дорогу,  
построенный от алефа до йота,  
мой караван подобен каталогу...

Веками над благословенным краем  
грома гремели, буря голосила.  
Сегодня больше ничего не знаем  
мы про Абдул Касыма Исмаила.  
Знать, предпочёл всевидящий Создатель,  
чтоб он остался в памяти как книжник —  
как почитатель слова и читатель,  
и как библиотекарь-передвижник.

Поток тысячелетия неистов —  
перебираю вроде казначея:  
ещё который из премьер-министров  
в историю вошёл за книгочея?  
И добавляет в утреннюю ласку  
немного лёгкой горечи досада:  
похоже, удивительную сказку  
не досказала нам Шахерезада...

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ



## ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

РАССКАЗ

*Друг мой, прочитав этот рассказ, сказал:  
— Обычная история для нашего времени.  
Ты её в газетах вычитал или в сети?.*

Сёмка стоял у окна и очень волновался. Стекло отделяло от него промозглую осень: мокрый стылый ветер тщетно пытался оторвать от асфальта жухлые листья, бился в рекламные щиты новой России, рылся в тёмных кучевых облаках и гнул зонты редких прохожих. Дождя, можно сказать, не было, просто сырость летела вдоль улиц общим фронтом стальной мороси, наподобие растаявшей метели. Улица выглядела неприглядно и склизко даже в элитном районе, холодом от неё веяло и сквозь стеклопакет. Но всё это и обещало: ребята придут...

А для Сёмки было очень важно, чтобы они пришли, потому что оставаться равным в разношёрстной, но главной компании восьмого “а” и восьмого “б” ему позволяли две возможности: он приносил что-то необычное на потеху друзей в школу, второе — общий пир в его квартире, где несколько компьютеров давали возможность прямо на месте играть в сетевые игры, а забитый всякой иностранно-пищевой требухой холодильник был местом привала. Собственно, и двухэтажная квартира, которую смог выкупить в престижном доме отец Сёмы, бизнесмен Сырцов, предоставляла место не

---

*КОЗЛОВ Сергей Сергеевич родился в 1966 г. в г. Тюмени. Окончил исторический факультет Тюменского государственного педагогического института. По образованию историк. Работал учителем истории, музыкантом, сторожем, текстовиком в рекламном агентстве, директором школы. Играл в группе “Нефть”. Пишет прозу, стихи, публицистику. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы. Живёт в Тюмени.*

только для сетевых игр, но и для перестрелок, тира, “казаков-разбойников”, в конце концов. Но про последнюю игру современные дети почти ничего не знали. В “войнушку” теперь играли в сети и убивали уже не фашистов, как было негласно принято в XX веке, а всех подряд, включая космических пришельцев и даже спецподразделения России, над чем никто не “заморачивался”.

Лето прошло скучно и бездарно. Сначала Сёмку отправили в райцентр к бабушке, где он целыми днями сидел дома, уставившись в тусклый экран ноутбука, потому что появление на местных улицах могло обойтись ему неравным во всех смыслах противостоянием с местными ребятами, и если не синяками, то издевательствами и унижением точно. Жили здесь неприметно, плохо и винули в этом почему-то горожан областного центра. Впрочем, и последние также в некоторых случаях во всех бедах винули Москву. Отец хоть и сделал там ремонт и даже установил кондиционеры, квартира бабушки была маленькой, душной и какой-то “старорежимной”. Последнее слово Сёмка услышал от отца. Он долго ругался с матерью, пытаясь хоть после ремонта вынести оттуда старые комоды и серванты, но та напомнила ему, что это его родовое гнездо, память об отце (дедушке Сёмы, который работал каким-то начальником на железной дороге ещё в эпоху паровозов) и — главное — она здесь хозяйка. Отец вздохнул, махнул рукой и сказал: “Ну, и стереги свою старорежимность”.

Одно непонятно: зачем Сёмку каждый год отправляли к бабушке, словно он должен был помогать ей стеречь эту квартиру. Бабушка была к тому же очень навязчива и пыталась заставить внука хотя бы присмотреться к рядам пыльных старых книг огромной библиотеки. А ещё она играла на стареньком пианино (клавиши которого были не белыми и черными, а жёлтыми и серыми), стараясь попутно рассказывать рассеянному Сёмке о музыкальных произведениях и великих композиторах. И ставила виниловые “старорежимные” пластинки на проигрыватель “Аккорд”, который скрипел, шипел, а только потом понимал, что должна зазвучать какая-нибудь прелюдия, симфония, опера... Впрочем, стоило признаться, некоторые произведения Сёмке всё же нравились, и тогда он, к удовольствию бабушки, сидел рядом с ней на диван и ловил себя на мысли, что испытывает некие не знакомые ему чувства. “Музыка — это то, что нельзя сказать словами”, — поясняла бабушка, и Сёмка пытался понять, что же она говорит, хотя ничего, кроме тревожного томления, из этого не получалось. Долгие годы она работала учителем в музыкальной школе.

— Музыка божественна!.. — повторяла бабушка.

— Почему? — спрашивал Сёма.

— Потому что её дал нам Бог как раз для того, чтобы говорить то, о чём сказать нельзя.

— А что? Бог, ты думаешь, есть?

Бабушка, прежде чем ответить, задумчиво подходила к окну, смотрела в него, словно туда должен был заглянуть Бог, и лишь потом отвечала:

— Присутствие Его ощущается слишком во многом, чтобы этого не замечать... Если, конечно, у тебя открыто духовное зрение...

— Какое?

— Прости, рано тебе об этом. Отвечу проще: если Бога нет, зачем тогда жить?

— Как зачем?! — подпрыгивал Сёма, а вместе с ним иголка на знаменитой “Улетай на крыльях ветра” из оперы “Князь Игорь” русского композитора Бородина (запомнил!), которую, впрочем, он слышал и в хорошей современной обработке.

— Сёма, осторожнее, — умоляла баба Аня, — теперь таких пластинок нет.

— Бабань (так сокращал имя и звание Сёма), теперь всё есть. Вот, сюда иди... — И открывал перед пожилой учительницей просторы неведомого для неё интернета. — Он быстро нашёл не только оригинал, но и обработку и “Половецких плясок” и песни “Улетай на крыльях ветра”. Оценив новую аранжировку, удивлённая бабушка сказала одно слово: “Недурственно”.

Бабушку Сёма любил и, конечно же, понимал, почему его каждый год отправляют к ней на “дополнительное образование”. У вечно занятого отца времени на вечерние чтения “Двух капитанов” вслух да по очереди с ним не хватало. Да и музыкальное образование, как говорил отец, получил он под маминым прессингом. У бабушки Сёма не чувствовал, что его прессуют, у бабушки, в отличие отца и матери, хватало и времени, и — главное — терпения. Впрочем, терпения не хватало у Сёмы...

Зато знаний, полученных у бабушки, хватало, чтобы иногда удивлять свою компанию. Так, при разборе новой игры, что загрузил Сёма, кто-то сказал:

— О, классную музыку написали разработчики!

— Как же, разработчики, украли они её. У Эдварда Грига! Был такой норвежский композитор...

— Ни фига ты, Семён, продвинутый в музыке, — уважительно оценили его знания ребята.

Да, с бабушкой было иногда очень хорошо, как в настоящей семье. Единственное, что было невозможно, — сидеть целый день у экрана “компьютера” и ругать на сленге сетевых напарников по какому-нибудь отряду “Дельта”, которые представляли продвинутого сетевого игрока Семёна Сырцова. Они же, как порой на поверку оказывалось, были взрослыми людьми, которые, в свою очередь, сидели в многочисленных офисах и даже важных чиновничьих конторах. Да, видать, ничему не научились...

А бабушка ещё всегда давала с собой книги. Они вставали на красивую полку в Сёминой комнате и стойко ждали своего часа. Час не наступал — компьютер не отпускал. Времени у Сёмы, как и у отца, не было.

А нужно было ещё вытерпеть целый месяц в Греции, где интересно только первые три дня. Пляжную тоску удавалось хоть как-то разбавлять айпадом. Море, конечно, радовало, но порезвиться было не с кем. То незнакомые русские, то всегда обиженные на русских украинцы, то хоть и дружелюбные, но незнакомые сербы, а то и вообще немцы и французы. Однажды попали на неделю в соседство с японцами... Семён чуть с ума не сошёл от их размеренности и этикета. Дело в том, что отец разумно, с его — отцовской — точки зрения, менял места пребывания, чтоб не сидеть на месте и побольше увидеть, и если Семёну удавалось наконец-то завести друзей, втеряться или сколотить компанию, то уже наступало время переезда “к новым рубежам”, так говорила мама. Кстати, сами греки Семёну нравились, хотя все про них говорили, что они ленивые. В чём проявлялась лень греков, Семён понять не мог. Сколько ни присматривался, они постоянно были чем-то заняты. Разве что магазины работали с большим дневным перерывом, который назывался сиеста. Греки считали это жарким временем, а все остальные — как раз элементом греческой лени.

— Странно, у нас же в морозы бывают активированные дни. — Такое заключение сделал Семён, но никто его не услышал. Видимо, то, что школьники в России в морозные дни не учатся, греков с их жарой никак не извиняло.

Да, конечно, отец, как говорится, старался для семьи: побывали и на Кассандре, и под древним Олимпом, обошли на катере древний Афон, выкупались в лазоревой воде на Ситонии, пожили в Салониках, ну и, под конец, поднялись на Акрополь и потрогали камни вновь отреставрированного Парфенона. Но пусть греки сами изучают свою легендарную историю. Сёме она надоела ещё в пятом классе... Несколько дорогих покупок не компенсировали Сёме полной утраты самостоятельности на целый месяц, да ещё предстояло по возвращении не один день закачивать обновления всех игр. Домашний компьютер уже снился... Он терпеливо и зовуще ждал в комнате.

И вот этот день наступил! Отец с матерью поехали с друзьями на загородную базу, а Сёма предварительно и по умыслу за день до этого покашлял и почихал, демонстрируя, что холодный осенний воздух может развить его начинающееся ОРВИ. Пришлось, правда, заглотив горсть арбидола и запиавать его клюквенным морсом, но это было лёгкой компенсацией за два дня свободы. За день, когда к нему придут друзья.

Родители уехали, предоставив Сёму попечительству соседки тёти Нины. Последняя же была занята больше попечительством своего очередного бойфренда. Потому заглянула один раз утром и спросила:

— Сёмочка, у тебя есть что покушать?

— Есть, мама наготовила перед отъездом, могу даже вас с вашим Мироном (так звали нового друга тёти Нины) накормить.

— Ух ты! А что там?

— Фаршированные перцы, целая тарелка бурито, курица в духовке, отбивные... Ну, и я всегда могу сварить себе пельмени.

— Круто! — оценила тётя Нина. — Тогда давай так: если тебе что-то понадобится — звякнешь мне. А так — выходные мы с Мироном собирались прошвырнуться по магазинам...

— Шоппинг?

— Да так, больше на посмотреть... А вот бурито один... нет... два я бы у тебя попросила. Мне хотя бы не готовить с утра.

— Щас! — Сёма убежал в кухню-гостиную. Откупиться от излишней опеки двумя бурито — это дешево. И почётно. Он сам кормит своего опекуна. Спасибо, мама!

Получив желаемое на отдельной тарелке, тётя Нина повела носом, глазами выразила восторг, снова повторила устаревшее уже слово “круто”, и чмокнув Сёму в щёку, исчезла на лестничной площадке.

— Круто, — с хитрой ухмылкой согласился Сёма, закрывая дверь и побежал к окну: ребята вот-вот должны были появиться.

А прийти должны были пятеро: Валерка (имевший сразу два прозвища: Сила и Лысый; первое — за лидерство в физическом превосходстве и занятии единоборствами, второе — за спортивную стрижку). Это был неразговорчивый, но добрый парень из параллельного класса. Славик — Айти (прозвище подчёркивало его компьютерный гений) — шепутной очкарик, неиссякаемый придумщик, который мечтал писать компьютерные игры. Олег по прозвищу Втащу (так он кричал при любом конфликте, которые очень любил затевать в любой ситуации, по сути — неформальный лидер всей компании), Данил (Зануда) — знаток брендов и созревающий перспективный ловелас, Толик (Чича, потому что Чичерин) — как и Сёмка, сын бизнес-семьи, но ему больше повезло в плане физического развития, и его чаще принимали в компании. Впрочем, дома у Толика все тоже бывали. В шикарном особняке за городом родители отдали сыну целый этаж, где были игровая, тренажёрный зал и, помимо двух ванных комнат, разумеется, спальня.

Проглядывая до последних падающих листьев стылый октябрь, Сёмка с нетерпением ждал друзей (так он считал!) и даже не мог из-за нервного состояния сесть за компьютер, чтобы скоротать время. Точно девчонку на свидание ждал. Зато пришлось постоять у окна и открыть для себя много нового. В природе, в городе, в деталях и в мелочах... Эти открытия даже успели его взволновать, но не настолько, чтобы не воскликнуть английское: “йес!” — когда он увиделдвигающуюся к дому ватагу ребят.

Сёмка ждал пятерых, а шли семеро... Помимо уже перечисленных, в компании присутствовала всегда державшаяся особняком парочка: Махад — резкий, как и все они, кавказец, и Иван (Вано, потому что видели его в постоянной компании с кавказцем) — едкий во всех смыслах парень. Таких, как Вано, боятся даже самые сильные, потому что, защищая свою независимость, они не останутся ни перед чем, пойдут до конца. Такой характер сродни как раз кавказцам, может, потому они с Махадом и сошлись? Так или иначе, но присутствие этой пары в общей группе озадачило и насторожило Сёму, потому как грозило непредсказуемыми последствиями сборища в его доме. Вани и Махад славились в школе как лидеры реальных хулиганских проделок и не раз привлекались разными там органами внутренних дел, и лично директор школы считал их своей головной болью. Однако сам директор в своём кластере был лузером. Все знали, что он подворовывает из школьного бюджета, а его “Ниссан-теана” во дворе школы не раз раздражал вышестоящее руководство. В принципе-то, по меркам нынешнего мира, всё у него было хорошо, кроме главного — он был полный лузер

в педагогике. Лох! В школе быть вызванным к директору называли “сходить в “Камеди-клуб””. Больше и говорить ничего, наверное, не надо. Лузер — он и есть лузер. Старшеклассники записывали его замечания, чтобы потом выставлять в сеть на всеобщее посмеище. Да, собственно, и его выступления перед коллективом радовали “ютуб”.

Но вот вместе со всеми в квартиру Сырцовых шли Ваню и Махад. Как стихийное бедствие.

Сёмка вдруг пожелал, чтоб неожиданно вернулись родители, подумал и о том, что скажет ребятам: “Родки срочно возвращаются”. Но задним умом понимал, что ничего этого не сделает...

Ватага ввалилась шумно.

— Семён, дарова!

— Семён Семёныч...

— Сёмка, краба давай!

— О! Нехило тут буржуинство живёт! — это был как раз Ваню.

— Салам, брат!

Расчёт Семю увести всё в сторону сетевых игр не оправдался с первых минут, ибо Иван с порога запросил:

— Пожрать дашь? Замерзли с Махадом, а тут наши идут к тебе. Есть чё на зуб кинуть?

— Есть, пошли.

Все оказались на кухне, и в мгновение ока исчезли бурито и фаршированные перцы. Про курицу Семю пока подзабыл, как и про то, что хозяину ничего не досталось. Ваня с рулоном бурито в руке, между тем, по-хозяйски осматривал кухонные шкафы. Что называется, как дома.

— Это чё за бутылки?

— Оливковое масло. Мама только на нём готовит, — пояснил Семю.

— Знаю, что круто, но не одобряю, наше подсолнечное, может, и вреднее, но вкуснее.

— Тебе налить? — пошутил Семю про масло, но тут же об этом пожалел.

— А есть что выпить? — тут же подхватил Ваню.

— Алкоголь — враг! — вовремя, казалось бы, встрял Махад.

— Да вы, муслики, только на словах не пьёте. Семю, сказал “а”, наливай “б”, говорю — замерзли! — последнее слово он разбил по слогам, отчеканил.

— Так своего-то у меня нет... Только батина, а он заметит.

— Своего-то у меня нет, — передразнил Ваню, — плохо готовишься к приёму друзей.

— Я ж не бухать звал!

— А мы что — бухать? По рюмке с холоду — милое дело!

И тут он дошёл как раз до отцовского бара:

— Ни фиги себе! Да твой батя и не заметит, что у него тут чего-то опили. Он у тебя что — бухает по-чёрному?

— Он вообще почти не пьёт. Бывает, рюмку с гостями...

Обилие разномарочных и разноёмкостных бутылок могло, конечно, поразить неподготовленное пролетарское воображение Ваню, но, похоже, он вообще впал в ступор. Он крутил бутылки в руках одну за другой. Прошло какое-то время, прежде чем он определился:

— О! Всегда мечтал двадцатипятилетний вискарь попробовать. Тем более — пузырь открыт. Чё там у тебя ещё на закуску, Семю? — Последнюю фразу он сказал так, как будто обращался к равному и старшему товарищу. Это и подкупило Семю.

— Есть ещё курица, — сообщил он.

— Давай курицу! Парни, кто будет по пять капель? — тут он повторил фразу своего отца, которую слышал не раз. — Махад?

— Я сказал — не буду! — резко, почти злобно отрезал кавказец.

— Чурка ты и есть чурка, — такую фразу Махад мог простить только близкому другу.

Впрочем, без ответа её не оставил:

— Валенок сибирский!

— Кто будет, парни? — снова бросил ключ Иван.

— А я, пожалуй, глотну, — решил вдруг Толик. — Вискарь, действительно, достойный. Батя у меня своё пузо таким балует. Побуржуйствуем...

— И я, — поднял руку, как в школе, Данил.

В итоге присоединились ещё Славик и Олег. Налили и Сёме (а как без хозяина?). Отказался только спортсмен Валера. Выпили, вроде, по рюмке, но, казалось, в голове у каждого случился свой взрыв. Курица улетела следом, хотя курицы, как известно, летать не умеют.

— Ну, пойдём нахлобучим кого-нибудь, — потёр руки Славик Айти к вящей радости Сёмы, потому как фраза предполагала сетевую игру. — Самое время пострелять.

— А! Идите, — презрительно напутствовал команду Ваню, — не мужское это дело в игрушечные стрелялки бегать.

Все знали, что дома у Ваню напряг с отцом, который запретил ему всякое игровое общение с компьютером, потому не приняли его слова всерьёз.

— Сёма, кинуха какая-нить свежая есть на DVD? Я бы попялился, пока вы из себя крутых страйкеров корчите.

— Там, — нетерпеливо отмахнулся Сёма на гостиную, — куча дисков, пульты, разберётся.

— Не вопрос, разберусь, — согласился Ваню.

Дальше вроде всё пошло по плану Сёмы. Народ разбрёлся по компьютерным точкам и начал боевые действия. Об успехах или неудачах той или иной группы можно было судить по возгласам и откровенной ругани. У “криворуких” всегда были виноваты сеть и провайдеры.

Про Ваню на какое-то время все забыли. До тех пор, пока он сам не напомнил о себе.

— Э, деточки, — объявился он в комнате с арбалетом наперевес, — вот из чего стрелять надо. А вы за джойстики вцепились, пионэры. — Он так и сказал: “Пионэры”, — повторив за своим отцом. — Чё это? — обратился он к Семёну.

— Арбалет.

— Я понимаю, что не бейсбольная бита. Он стреляет?

— Стреляет, конечно. Отец в клуб специально ходит. Где ты его взял?

— Да стоял себе в углу, скучал. А тут — я. Взводится тяжело, я попробовал.

Почему отец оставил арбалет не в сейфе? Ах да, вернулся вчера из клуба поздно, устал. Бросил там, где мать его кормила. И кино потом они смотрели... Ах, батя-батя...

— Стрелочку-то вот сюда вкладывают?

— Сюда, — хмуро ответил Сёма.

— Ну, что, народ, пойдём поохотимся?! На реальную дичь, — позвал всех Иван.

— В смысле? — оторопел Сёма. — Его, между прочим, приравнивают к реальному оружию.

— А я о чём? — криво ухмыльнулся Ваню, взвешивая в руках арбалет. — Ну-ка, открой окно.

— Зачем?

— Птичку какую стрельну.

— Ваня, это не игрушка.

— Это у вас игрушки, а это, — он прицелился из арбалета в настенные часы, — сила.

— Брось, Ваню. Не до шуток. — Этой помощи очень ждал от Валеры Сёма, и она пришла. Но эффективность её была обратно-пропорциональна тому эффекту, которого Сёма от неё ждал.

— Я не понял, — возмутился Иван, — а чего это все заочковали?! А! — он окинул притихшую компанию взглядом.

Валера презрительно пожал плечами, что в то же время означало: “Делай, что хочешь”. И тогда Ваня подошёл к окну, открыл его и выставил оттуда, как из бойницы. В квартиру подул не только стылым воздухом, но и опасностью.



— Вань, закрой. Не смешно уже, — в последний раз попросил Сёма.

Но его даже не удостоили ответом.

— Блин! Дичи никакой! — досадовал за окном Ваню. — Что такое осень?! Это птицы! Где?! Хоть бы кошка какая!..

— Э, стрелок, давай уже обратно, всю хату выстудил, — позвал друга Махад.

— Подожди! О, гляньте, попик!

Сначала никто не понял, о ком он говорит. И только Сёма увидел в соседнем окне удаляющуюся спину священника в рясе, поверх которой была наброшена курточка.

— Ты дурак, что ли? — встрял Толик. — Это же человек.

— Какой человек?! Это тунеядец! Батя мой так говорит. Пока он в автосервисе круглыми сутками батрачит, эти попоют себе, кадиллом помажут и — “мерседес” в кармане. Твари! — злость в голосе Ваню была нешуточная, но никто и подумать не мог, что он выстрелит. — А что, если я ему в задницу залеплю?! А?!

Никто не верил. И только Махад, который знал своего друга лучше всех, кинулся к нему.

— Стой, дебил!

— А чё, Аллах только рад будет! — повернулся к нему Ваню, и в этот момент палец его скользнул по курку.

Арбалет гукнул, мгновенно спустив натянутую силу тетивы. А под окном, как подкошенный, упал священник.

— Ты чё сделал, урод?! — это Валера.

— Парни, пошёл я домой... — тихо поплыл в сторону Данил.

— Зачётный выстрел, придурок. — Махад посмотрел на друга с ненавистью. — Тунеядец, говоришь? На себя со стороны смотрел?..

— Не, я не подписывался на организованную преступность. — Даже для Втащу такая ситуация была неприемлема.

Славик-Айти молчал и смотрел за окно. Священник лежал неподвижно.

— Дебилы! — это крикнул Валера всем уже из прихожей, он единственный бросился на помощь раненому человеку. Раненому? Никто не знал... Он тербил в руках мобильный телефон, пытаясь вызвать “скорую помощь”.

— Стой! — это Ваню направил арбалет уже на него, предварительно вложив новую стрелу. — Чё, сдать меня хочешь?! Откуда кто узнает, откуда стреляли?

— Арбалет в этом подъезде только у бати... — опустошённо сообщил Сёма.

— Да пошёл ты! Никто тебя сдавать не собирается, а человеку помощь нужна! — Валера даже плюнул себе под ноги, прямо на пол, чтобы высказать Ваню своё презрение.

— Иди, Лысый, может, вместе помолитесь. Ладно, Махад, валим отсюда, — позвал Ваню друга. — Тут щас церковный хор будет.

— Вали, — глухо сказал Махад, — никто не держит.

— Ты чё, брат, и ты меня сдаёшь?

— Тебя в роддоме, видно, сдали.

— Пасть завали, чурек долбаный... — Ваню шмыгнул носом, цыкнул через зубы, сделал ещё какие-то движения, видимо, необходимые ему для самоутверждения или, как он считал, чтобы не потерять лицо. Двинулся боком к двери, будто ожидая нападения. Но никто этого делать не собирался.

Под окном Валера уже склонился над священником. Сёма смотрел туда с ужасом, ожидая хоть какого-то сигнала о том, что человек жив. Валера что-то говорил в телефон, вероятно, врачам “неотложки”.

— Чё мы стоим-то, надо туда, — кивнул за окно Толик.

— Господи, пусть он только будет жив! — в первый раз в жизни взмолился Сёма, голос его дрогнул, а по щекам потекли слёзы.

Но никто его слабости не осудил и не высмеял. Более того, если б он мог внимательно следить за другими, то увидел бы, как подергивалось лицо Славика-Айти. У того тоже напрушивались слёзы.

Они гурьбой выкатились на улицу, обогнули дом, подбежали к Валере.

— Щас “скорая” будет. Стрелу сказали не трогать, — доложил Сила. — Надеюсь, сердце или лёгкое не задеты. Пульс есть...

Стрела торчала чуть наискосок ниже левой лопатки. Семё присел рядом. Он не испытывал ничего, кроме жуткой безысходности. Понимал, что отцу придётся ответить за брошенное как попало оружие. Но виноват в этом будет Семё. А что скажет бабушка?

Рука сама собой потянулась к мобильному телефону.

— Надо отцу позвонить, я его подставил, — пояснил он на вопросительный взгляд Валеры.

— Погоди. Успеешь.

Но Семён не успел. Быстрее всего в этот раз приехала милиция. И как только появилась “неотложка”, суровые, немного грустные сержанты, почти не ругаясь, усадили Семё, Махада, Толю и Валеру в машину. Остальные, получалось, сбегали.

— Да мы ни в чём не виноваты, — пытался робко возразить Толя.

— Там разберёмся.

— Нас только в присутствии педагога допрашивать можно, — напомнил он же.

— А тебя что — уже допрашивают? — сержант был неумолим.

Валера и Махад сели в милицейскую машину молча. Так, словно их уже не раз арестовывали. Растерянного Семё просто ткнули в сиденье рядом с ними.

— Всё нормально, братан, — неожиданно сказал ему Махад.

Толю как самого разговорчивого “упаковали” во второй автомобиль.

Когда машины тронулись, Семёну показалось, что он увидел Ваню, выглядывающего из-за угла. И ещё ему показалось, что он погрозил ему... Как-то погрозил. Кроме того, Семё даже не помнил, захлопнул ли он дверь в квартиру...

Допрашивали их, как на карусели. То по одному, то всех вместе. Педагога, как положено, посадили рядом. Да только откуда он был, этот педагог, и понимал ли вообще, о чём идёт речь? Присутствовал под протокол, да и только. Допрашивали традиционно: то посулами, то угрозами, то рассказывали им, чем грозит всем организация преступной группы, то говорили, что вот твой товарищ даёт на тебя показания и всё уже рассказал, то врвался вдруг начальник отделения и обещал всех отправить куда-то, где раки зимуют, то вкрадчивый следователь обещал, что никто не сядет, выстрел-то, мол, был случайный, скорее всего... Но самое удивительное, что никто из ребят даже не упомянул Ивана-Ваню. Будто его и действительно не было с ними. И это было не по договорённости, не по сговору, как правильнее говорить, и уж тем более не из знания криминальных тонкостей. Просто молчали, и всё.

Ещё в машине Валера успел шепнуть Семё: батю не подставляй, скажи, что в сейф с оружием сами залезли, знал, где ключи, и стой на том. За этот совет Семё был Валере очень благодарен.

А мельница допроса крутилась. Вот уже и вечер поздний наступил, что угадывался где-то там за мутным окном, словно в параллельном мире. Вот уже и сказали, что родители приехали, но никого из них к ребятам не пустят, пока те не расскажут всё, как было.

И тут вдруг явились Славик с отцом. Славик потерянный, отец его грома и молнии мечет.

— Я с ними был, — признался Славик, когда всех снова собрали в одной комнате у следователя.

— Стреляли?

— Так точно. Из винтовки LaRue калибра 7 и 62 миллиметра.

— Чего?

— Штурмовая винтовка “морских котиков”. В игре у меня такая...

И маховик закрутился снова:

— Так, может, это он из арбалета стрелял, и вы его всё это время выгораживали? — это уже к ребятам.

— Нет, не он. Он просто был. Все играли в компьютерные игры, никто не видел, кто стрелял.

“Карусель” крутилась. Педагог уже явно нервничал и дремал. Следующим актом было явление Ваню.

Их снова собрали вместе, и ввели его в комнату. Следовательно вкрадчиво спросил:

— Что вы нам хотите сообщить, молодой человек?

— Я стрелял. Но не специально. Я отвлекся... Так получилось. — Глаза Ивана продолжали гореть непримиримостью к обстоятельствам.

— А все эти ребята помогали тебе целиться? — вскинул бровью оперативник, что привёл его.

— В игры они играли. Игроманы.

— Тогда кто вас отвлек?

— Я уж не помню. Оруж же все, когда в “страйк” режутся.

— До этого вам приходилось держать в руках спортивный арбалет?

— В первый раз.

— А выпили вы перед этим сколько, молодые люди?

— Ничё мы не пили.

— Так вы окно-то специально открыли, чтобы целиться?

— Да, но в человека я стрелять не собирался.

— А в кого, простите?

— Ну... думал... голубя какого...

— Голубя, значит, не жалко?..

Дальше началось длинное и нудное заполнение протокола допроса. Причём, по мере его заполнения то следователь, то дознаватели, то опера задавали всё те же вопросы, пытаясь свести дело к организованной стрельбе по людям.

Ближе к полуночи дверь открылась и в помещение, где рядком сидели ребята, вошёл священник. Тот самый. Это был мужчина лет пятидесяти, крепкого телосложения. Седые волосы хвостиком собраны на затылке. Окладистая ровная борода. Серые глаза. Он окинул всех взглядом и сразу обратился к следователю:

— Здравствуй, Юрий Александрович, отпуская ребят...

— Здравствуйте, батюшка... Стало быть, повезло?

— Да, жизненно важные, как у вас пишут, не задеты, стрела на излёте была. Шок болевой. И всё. Отпускай ребят.

— Батюшка, в храме у себя командовать будешь. А мы уже протоколы оформили почти.

— Порви. Я их прощаю. Что я, зря с самой больницы сюда вприпрыжку бежал?

— У нас ещё государство есть. Вот если оно...

— Юра, мы с тобой сколько вместе прошли? Слышишь меня, майор?

— Так точно, товарищ полковник, но...

— Юра! Не стоит им жизнь калечить. С вашими приводами потом ни в институт, ни в армию.

— Тов... Отец Андрей... Батюшка...

— Не благословляю! Слышал? Рви протоколы...

Ребята смотрели на всё происходящее, как на явление инопланетянина. Сёма вдруг и сразу понял: Бог есть. Точно есть. И Он не только оставил в живых своего служителя, но и послал сюда. Вот о чём говорила бабушка... Бог коснётся. И было от этого касания и светло, и радостно, и как-то вышненно больно... И смысл жизни, и весь мир вдруг открылись подростку в одно мгновение. И, наверное, не одному ему. Потому вдруг неожиданно встал самый рослый и самый сильный Валера. Он подошёл к священнику и, словно выдавливая из себя по слову, через комок в горле, ломающимся голосом сказал:

— Простите нас, батюшка... Простите... — И вдруг зарыдал. Зарыдал, содрогаясь всем телом. — Правда, специально не стреляли...

Никто никогда не видел, чтобы он плакал, а тут он рыдал, не скрываясь. Священник вдруг притянул его по-отечески к себе, прижал. Погладил по коротко остриженной голове.

— Ну, всё... всё...

Глядя на это, заплакал и Сёма. Ему уже давно хотелось, но раз уж рыдал Валера, то куда ему-то!.. Даже Ваню отвернулся в сторону, растирая кулаком глаза, хоть и очень старался не подать виду. Через минуту плакали все.

— Ты это... батюшка... какого тут массовый катарсис устраиваешь...

— Дурак ты, Юра! Я, что ли? Господь посетил... — голос у самого священника тоже, похоже, дрогнул. — Ты ж знаешь, что буквально в старую рану попали. Как в десятку. Так-то я, быть может, на ногах устоял. А тут... Отпусти ты их, Юра. Я тебя как бывший командир прошу. Не верю я, что они специально.

Следователь поднял над столом только что с таким трудом распisanную пачку протоколов и на глазах изумлённых оперативников одним движением порвал её сначала на две, а потом и на четыре части.

— Идите с глаз моих... долой... Все! И ты, отче! Сам же знаешь, безнаказанность хуже наказания.

— Мне отмщение и Аз воздам! — напомнил отец Андрей бывшему сослуживцу.

— Идите! Не рви мне душу!

Потом вышли в дежурку, где толпились бледные и взволнованные родители. Пока обнимались, целовались, объяснялись, никто не заметил: батюшка исчез так же неожиданно, как появился. Потом Валера вдруг подошёл к Ваню и тихо сквозь зубы сказал: “Тунеядец, говоришь?” Ваню только опустил глаза.

Отец Сёмы заглянул в кабинет, откуда вышли ребята, и спросил:

— А батюшка где служит?

— Во Всесвятской, здесь... рядом... — ответил тот самый Юрий Александрович, не поворачивая головы. Он задумчиво смотрел в печальную осеннюю мглу за мутным стеклом.

Потом вышли на улицу. Так и шли — семьями, чуть растянувшись. Были какие-то уже ничего не значащие разговоры и тем более уже ненужные правдоучения.

— Заплатили, поди, попу-то... Точно заплатили, чтоб заяву забрал, — это сквозь зубы сказал отец Ваню, глядя в спины впереди идущих Сырцовых.

Никто, кроме Ваню, его не слышал. И тот вдруг остановился, посмотрел на отца какими-то новыми глазами и попытался что-то сказать:

— Т-ты... А ты?.. Как же?!.. Это же... Эх!.. — и вдруг побежал. Побежал так, словно ему нужно было сдать кросс. Все на минуту замерли.

— Что это с ним? — спросила мать Толи, но никто ей не ответил.

Удивлённый и встревоженный отец Ваню стоял и смотрел до тех пор, пока силуэт сына не растворился в сырой октябрьской тьме.

ЭЛЬВИРА КУКЛИНА



МОЯ РЕЧКА  
ТЕЧЁТ — НАВСЕГДА...

СЕНТЯБРЬ

Этот день ни на что не меняй,  
Ни мгновения не упусти,  
Рощу рыжую, солнце, меня  
Уноси осторожно в горсти.

Воздух плотен и свеж, просто режь  
На ломти — и вдыхай, и глотай!  
Листопадом и облаком — меж —  
Пролетай, мой сентябрь, пролетай...

На серебряной нити-струне  
Пролетай, паучок-пилигрим,  
Пролетай по родной стороне...  
Мы с тобой — над тобой воспарим!

Рядом — кладбище. Память и тлен.  
Только синь в вышине — как во сне.  
Моя роща — в руне до колен,  
Вышей пробы — червонном руне.

---

*КУКЛИНА Эльвира Юрьевна родилась в Нижнем Новгороде в 1966 году. Окончила филологический факультет Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Много лет работала в школе преподавателем русского языка и литературы. В настоящее время — методист Центральной библиотечной системы г. Нижний Новгород.*

Моя речка течёт — навсегда.  
Моя церковь стоит — на века.  
Моя роща шумна, молода.  
И сентябрь. И глаза. И рука.

### В СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

По свежевывытому полу  
Пройду, как дома, босиком.  
Глаза, опущенные долу,  
Синеют сдержанно с икон.

Вот райский сад сияет слева.  
А в нём, предвидя Божий гнев,  
В немом испуге смотрит Ева,  
Ладони к яблоку воздев.

А та, под тёмным покрывалом, —  
Что ей понятно впереди?  
Скорбит над сыном годовалым,  
Прижатым бережно к груди.

Зачем грядущие событья  
Им открывал тревожный взор?  
Зачем ненужный дар наитья  
Завещан женщине с тех пор?

Нас двойка “пик” не беспокоит.  
Забыты сонники теперь,  
Но знает каждая, как ноет  
Душа в предчувствии потерь.

И на земле, не на иконе,  
Порой гнетёт нас тот же страх,  
Как эту — с яблоком в ладони,  
И Ту — с Младенцем на руках.

### ТВОИ РУКИ

Всё, чего ты касалась, ещё не успело истлеть:  
Где-то чашки томятся, из коих мне пить привелось,  
Те кастрюльки, в которых нехитрая пряталась снедь,  
Кем-то прибраны тоже — в хозяйстве сгодятся небось.

Даже мебель, что явно соседи на казнь обрекли,  
Всё жива, хоть на свалку заброшена горькой судьбой.  
По сезону то мёрзнут под снегом, то чахнут в пыли  
Твои венские стулья и столик старинный с резьбой.

Даже сотни открыток — тропических бабочек рой —  
По альбомам забытым свои распластали крыла...  
И хозяйева, на антресоль забираясь порой,  
Всё грозятся их выкинуть, да отвлекают дела...

Твои руки, что мыли кастрюльки и мебель тряпьем  
Протирали усердно, исчезли бесследно во мгле...  
Всё, что было уютом в том доме последнем твоём,  
Растащили, забрали. И дома-то нет на земле.

Но те руки, что кошек кормили и чьих-то детей,  
Те, что ветку сирени держали, как в храме свечу,  
Что давали займы без отдачи — легко, без затей, —  
Эти руки остались. Останутся. Я так хочу.

### МОЙ КОВЧЕГ

Ваш дом, как положено, крепость?  
Ваш флаг — это банковский чек?  
А мой — вот абсурд и нелепость —  
А мой — это Ноев ковчег.

Как в дом мой питомцы попали?  
Приходят, меня не спросят.  
Живут — всякой твари по паре, —  
Тучнея, ветвась, колосась.

Мурлыкают, свищут и лают,  
И просто молчат за стеклом,  
И щедро меня одевают  
Своим неподкупным теплом.

Ещё — прорастают неспешно,  
Готовя зелёный салют.  
Беспечно, бездумно, безгрешно —  
Живут, умирают, живут...

И в роли библейского Ноя  
Я чувствую некую суть:  
То братство наивно-смешное  
И мне не даёт утонуть.

Зияет пучина немая...  
А я всё держусь на плаву  
И, весь свой ковчег обнимая,  
Живу. Умираю. Живу.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ



## ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Роман–биография Валентина Катаева

### Вечная весна

“Вечная весна в одиночной камере”.

Припев Егора Летова подходит как эпитафия Валентину Катаеву, одиночке, сквозь двадцатый век пронесшему постоянную память о камере смертников и называвшему свою жизнь “погоней за вечной весной”...

В 60-м в Париже гадалка-турчанка (сказавшая и про осколочную рану бедра, и про будущую операцию, и про награждение Золотой Звездой) воскликнула:

— Что же вы меня не предупредили? Это же необыкновенный человек. Это — Царь!

“Царь, разумеется, по их терминологии”, — добавляла Эстер, снижая пафос.

Влюбленное повеление жизнью...

Наследник великой литературы. В Катаеве всегда было сочетание власти и легкомыслия, как у человека, по его признанию, с самого начала понимавшего, что он особенный.

Он написал, что “прожил свою жизнь в счастливом дыму”.

Оглянувшись на петли длинной дороги, спросим себя: в счастливом ли?

---

*ШАРГУНОВ Сергей Александрович родился в 1980 году в Москве, в семье священника Александра Шаргунова. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор многих книг прозы. Лауреат премии “Дебют”, премии Правительства Москвы, Горьковской премии, итальянских премий “Аркобалено” и “Москва-Пенне”, дважды финалист премии “Национальный бестселлер”. Главный редактор интернет-сайта “Свободная пресса”.*



Кадильный сладкий дым горестного отпевания матери, чад военных пожаров, зеленовато-желтый туман газовой атаки, дымчатые тифозные видения, бронепоезда и пароходы в угольном дыму, пороховой дым расстрелов, дым кирпичной трубы Магнитки и вересковой сталинской трубки, операционный мираж, пестрый дым литпроцесса с пламенными выпадами критика Дымшица...

Ничто с самого детства и до самого конца не могло заслонить его необычайно зоркий и, конечно, вопреки трагизму — радостно-детский взгляд.

У Катаева была глубокая душа. И таинственная.

Свою тайну он унес с собой.

Обостренно одинокий, закрытый, скрывавший важную часть себя даже от близких, он заглушал страдания бравадой, буффонадой, попойками, показной беспечностью. Но и настоящей литературой.

Поэтому все же дым счастливый.

Жизнь воспринималась им как произведение, а значит, и принималась.

Катаев — весь вызов. Он весь — слишком. Художник-маг, которому завидуют и сейчас, и чей дар не могут оспорить. Баснословно успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару.

В силу этого редкого дара, он был сам по себе, свободный от групп, стоек, общественного мнения.

Спасатель судеб. Устроитель литературы, которая без него была бы другой. Бескорыстно открывавший и опекавший таланты.

Русский человек. Потомок славных родов. Герой войны. До конца дней сохранивший офицерский государственный инстинкт.

Оболганный. Да, так. Слева и справа бормочут нелепые небылицы и однообразные байки, пытаясь представить бóльшим грешником, чем остальные...

Он был грешен, но в отличие от очень многих не разыгрывал святошу.

Отрицание Катаева — унылая стайность, которая передается во времени.

Наслаждение Катаевым — вечная весна.

## Его род

Он всю жизнь писал о себе, располагая подробности биографии, персонажей детства и юности и своей родословной по многим текстам, в том числе сюжетно-приключенческим. У него слишком много отсылок к пережитому, тем труднее отделить достоверность от сочинённого. Кто его родители, его предки? Какого он роду-племени — одессит, до конца жизни сохранивший характерное произношение? “Во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное”...

О Катаевых удалось выяснить немало. Они были выходцами из Новгорода, по преданию происходили от ушкуйников — “вольных людей”, на быстрых лодках-ушкуях добравшихся в далёкую Вятскую землю, “под Камень”, как в старину называли Урал. По всей видимости, предки Катаева знали русских святых — преподобного Трифона Вятского, основавшего Успенский монастырь в Хлынове (Вятке), и блаженного Прокопия. Они, как и дедушка писателя, отец Василий, погребены в этом монастыре.

Первое упоминание в архивах относится к 1615 году: Ондришка Мамонтов сын Катаев. Так что первый установленный предок нашего героя — Мамонт из XVI века. Существование фамилии в столь раннюю эпоху — редкость на Руси, но в Новгороде и Вятке это было делом нередким. Имя Мамонт не имеет отношения к доисторическому зверю, а принадлежит святому мученику Маманту (Маме), погибшему во время гонений на христиан в III веке.

Прямая мужская линия Валентина Петровича напоминает библейскую праведную родословную. Андрей Мамонтович — “посадский человек” в городе Шестакове (превратившемся при Екатерине в село). Его сын Матфей стал иереем в тамошней Благовещенской церкви, родоначальником священнической династии Катаевых. Далее — священник Алексей. Затем — свя-

щенник Иоанн, у которого в браке с Февронией родился Карп. Он тоже стал священником, а после смерти своей матушки Марфы принял постриг, сделавшись перомонахом Мелхиседеком, игуменом Спасского монастыря в городе Орлове. У его сына, священника Иосифа в браке с Евфимией родился Иоанн, тоже ставший священником. От его брака с Еленой родился священник Алексей.

Этот иерей Алексей в конце XVIII века спустился вниз по реке Вятке в город Слободской, где стал служить в центре города в Преображенском соборе. Там и умер “от апоплексического удара” в алтаре “за благовестом к литургии”. Его сын, тоже Алексей, служил, как и он, в Преображенском соборе. За свое пастырское окормление ополченцев, отправлявшихся на войну с Наполеоном, получил бронзовый наперсный крест. Интересно, что в 1831-м с его бани на город перекинулся большой пожар, уничтоживший множество домов. Достояния внимания и линия его матушки Екатерины: её дед — слободской протоиерей Тимофей, отец — иерей Иоанн Лесников, также обладатель бронзового креста за 1812-й год (разбитый параличом в алтаре, он умер на следующий день, в Рождество Христово).

У отца Алексея Катаева было семеро детей. Старший и младший, учась в Вятской духовной семинарии, взяли, как тогда случалось, другую фамилию — Кедровы. Старший протоиерей Александр при этой фамилии остался, и отсюда пошёл духовный род Кедровых с архиереями и новомучениками; младший — протоиерей Василий — вернул себе фамилию Катаев.

А поскольку был он дедушкой писателя, то эта книга могла бы стать жизнеописанием Валентина Петровича Кедрова.

Отец Василий родился 6 января 1820 года на праздник Крещения Господня. Был ближайшим помощником вятского Владыки Аполлоса (Беляева). Он женился на жительнице Слободского Павле Павловне Мышкиной, также происходившей из священнического рода (и, между прочим, родственнице братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых). Отец Василий обучался в Вятской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии, стал инспектором Вятского духовного училища, затем смотрителем Глазовского духовного училища, протоиереем Ижевского оружейного завода. Он был награжден наперсным крестом на орденской ленте за вдохновение глазовских дружин на Севастопольскую кампанию.

Мальчишками Валя Катаев со своим двоюродным братом Сашей, вспоминал писатель в 88 лет, “надевали на шею кресты предков, воображая себя героями-священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством”. Потому что “уже с детства были готовы сражаться за родину”.

В начале 60-х отец Василий с Павлой Павловной и детьми переехал в Вятку, где служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. Он умер 6 марта 1871 года.

Писатель рассказывал житийную историю: дед его шёл через замёрзшую реку Вятку с последним причастием, провалился под лёд, спас дарохранительницу, но вымок в ледяной воде по грудь. И всё же добрался до умирающего, исповедал и причастил, чтобы вернуться к себе тоже умирающим, почти без сознания — “гнилая горячка”. Возможно, он умер от костного туберкулёза — известно, что вятские лекари врачевали ему коленную чашечку калёным железом.

Известный миссионер и проповедник, протоиерей Стефан Кашменский над его гробом произнёс проповедь, опубликованную тогда же “по желанию читателей покойного” в “Вятских епархиальных ведомостях”: “Всюду прилагал он труды к трудам... Он облечён был особым доверием в среде священнослужителей... Усопший брат наш очищал себя долговременными предсмертными страданиями... Было время, когда почивший являлся к болящим и умирающим... Словом и делом помогал нуждающимся...”

У отца Василия было семеро детей (четверо умерли маленькими). Все три его сына учились в Вятской духовной семинарии, но священниками не стали. Старший, Николай, отправился в Московскую духовную академию,

---

\* Даты до февраля 1918 года приведены по юлианскому календарю (старому стилю).

которую и закончил, и переехал в Одессу — преподавателем семинарии. Следом за ним, прихватив с собой мать, в Одессу перебрались братья. Тепло, дешево, море... Николай Васильевич стал статским советником. Получил пять орденов — Станислава и Анны 3-й и 2-й степени и Владимира 4-й. Женился на швейцарке Иде Обри из города Вёве франкоязычного кантона Во, гувернантке, с которой познакомился в Крыму. Она сохраняла евангелически-реформатское вероисповедание 14 лет после брака и, родив уже четверых, через миропомазание была присоединена к Православной Церкви. По-русски её стали звать Зинаида Иммануиловна. Всего детей у них было шестеро.

Младший сын протоиерея Василия Михаил окончил физико-математический факультет императорского Новороссийского университета. Валентин Петрович утверждал, что он был выдающимся математиком. Он поступил на военную службу в 15-ю артиллерийскую бригаду в Санкт-Петербурге. И душевно заболел...

Средний сын, Пётр Катаев, родился 28 мая 1856 года в Глазове. После Вятской семинарии поступил в Новороссийский университет на историческое отделение историко-филологического факультета, которое окончил с серебряной медалью за работу “О византийском влиянии на народное искусство Новороссии”, стал преподавателем одесских учебных заведений (женского епархиального и юнкерского училищ). Он достиг чина надворного советника и трижды награждался орденами за беспорочную службу.

В 1886 году 30-летний Пётр женился на 19-летней Евгении Бачей.

Итак, о предках Валентина Петровича со стороны матери...

Прапрадед писателя Алексей Бачей — полтавский дворянин, казак, полковник Запорожской Сечи. Этот сечевик, по предположению Катаева, возможно, был даже гетманом.

В 1783 году родился Елисей Бачей — прадед. Помещик, владелец имения в местечке Скуляны, на берегу реки Прут в Бессарабской губернии на границе с Румынией, Елисей участвовал в турецкой кампании и войне 1812 года, дослужился до капитана. “По взятии Гамбурга от французов”, он слёг с ранениями и, помещённый для лечения в бюргерскую квартиру занятого города, женился на юной сиделке, дочери пастора Крегера по имени Марихен, которая и стала прабабушкой писателя. На лошадях она отправилась с мужем в далёкую Бессарабию, где, приняв Православие, превратилась в Марию Ивановну.

У них были две дочки и три сына: младший, Иван, дед Валентина Петровича, родился 25 мая 1835 года. Умер Елисей Бачей в 1848 году в шестьдесят пять лет от холеры.

Иван Бачей поступил в гимназию в Одессе, где уже жили два его брата. Шестнадцатилетним юношей он отправился на военную службу, в восемнадцать во время Крымской войны сражался на Кавказе, быстро стал офицером, а в отставку вышел в чине генерал-майора. (Интересно, что прадед и дед Катаева юношами устремлялись на войну так же, как потом и он сам). Годами перемещаясь по всему Кавказу, Иван воевал с горцами. Бился и с турками. Он был кавалером нескольких почётных орденов.

В его послужном списке красноречиво сообщается о “стычках и перестрелках”, например, “при рубке леса и устройстве моста через лиман”, “при истреблении горских запасов сена”, “при нападении пластунов на горский пикет близ лагеря”, “при истреблении пластунами одного небольшого горского аула”, “при отбитии горцами нашего табуна у станицы Сторожевой”, “при нападении партии горцев в 600 человек на сотню казаков Волосинской бригады, высланную в разъезд из станицы Зеленчукской”.

24 апреля 1860 года в Медитопольском уезде Таврической губернии он обвенчался с Марией Егоровной Шевелёвой, дочерью коллежского асессора. У них родилось девять дочерей, две умерли маленькими. И ни одного наследника!

Евгения, пятая, будущая мать писателя, появилась на свет в Одессе 26 ноября 1867 года. Она была талантливой пианисткой (после окончания епархиального училища поступила в училище музыкальное, впоследствии — в Одесскую консерваторию).

С Петром Катаевым её обвенчали в полковой лагерной церкви в Ново-московске Екатеринославской губернии, где Иван Бачей тогда командовал полком.

Детей долго не было...

### Валя и родители

Валя родился в Одессе 16 января 1897 года.

У него было две макушки — примета везения! — словно бы две жизни, холмики долголетия. (А ещё, как считается в народе, отличительный признак пройдох.) У его лирического героя — сквозь всю прозу — тоже две макушки. Сколько раз Катаев бывал на краю гибели! Каждый раз, вспоминая об очередной недовершенной беде, он благодарил эти “волосяные водоворотики”. В своих книгах он, кажется, только и делал, что ощупывал их, — так часто ему чудесно везло.

Одесса была четвёртым по численности населения городом в Российской империи после Петербурга, Москвы и Варшавы. Она торговала со всем Черноморским побережьем и Средиземноморьем. Пёстрая, шумная, многоязычная: библиотеки, читальни, театры, рестораны, обилие журналов и газет, постоянные гастролёры, знаменитый университет. Это был один из первых городов страны, где появились электричество, телефон, трамвай, автомобили, аэропланы.

“Папа часто играл с мамой на рояле в четыре руки... Я постоянно жил в атмосфере искусства. Мама читала мне стихи, придумывала для меня сказки, рисовала в тетрадке разные предметы и зверей, сочиняла к ним весёлые пояснения. Ей хотелось расширить мой детский кругозор... Папа хорошо знал и любил русскую классическую литературу”. В доме пели романсы, народные песни...

“С малых лет отец привил мне вкус к русским классикам... Я помню, как мой отец, блестя выступившими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, пушкинскую “Полтаву” с её нечеловечески прекрасной украинской ночью и как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем”...

Отец был суховато-строг, но порой выпльчив. Разгневавшись, с силой тряс сына за плечи, что тот потом не раз припоминал.

Законспектированные фразы с катаевского вечера 72-го года дают почувствовать больше любых обстоятельных разъяснений: “О родителях. Мама — полтавская девушка. Пушкин, Гоголь. Мама юмористична (отец — меньше)”.

Мама в воспоминаниях Вали была всегда лёгкая, праздничная, смягчающая отца (“Недаром его имя было Пётр, что значит камень”). Он запомнил её женственной, грациозной, светской — дамой в высокой шляпе с орлиным пером, в вуали с чёрными мушками... “Мама называла папу на французский лад Пьером; я думаю, этот “Пьер” пошёл у них от “Войны и мира”, книги, которая в нашей семье считалась священной”.

Отец и мать, камень и вода, в сознании Вали дополняли друг друга. Он успел застать и прочувствовать полноту семьи и навсегда воспринял время начального детства как сказочное. В этом начальном времени смерти не было и быть не могло. “Мама раздевает меня и укладывает в постельку, и, сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы”.

Вале было шесть, когда мама умерла от плеврита. На 2-м христианском кладбище Одессы сохранилось её надгробие с финальной датой 28 марта 1903 года. Ей было тридцать пять. 30 ноября 1902-го она родила второго сына Жёно.

Перед её кончиной Валя видел сон, который сам называл вещим. Ему приснился большой ящик — внутри сидели мама и его двоюродная сестра Лёля. Они возились в ящике, пытаясь выбраться, и мешали друг другу.

(Ольга-Леля, дочь Николая Васильевича Катаева, родилась 10 июня 1886-го и, прожив 18 лет, умерла 11 февраля 1905-го, как сказано в её свидетельстве о смерти, от туберкулёза лёгких.)

Смерть матери нанесла Вале страшную пожизненную травму.

Он снова и снова вспоминал, как она простудилась во время прогулки с ним ранней коварной весной (и ощущал свою вину!), как заболела, как задыхалась и пылала, как таскали её ночью кислородные подушки. “Маме сделали одиннадцать глубоких хирургических проколов, но гноиника так и не нашли, с тех пор слово “одиннадцать” до сих пор имеет для меня зловещий смысл...” Она лежала с закрытыми глазами, а он с надеждой спрашивал отца: “Нельзя ли её оживить?” Всю свою жизнь и уже на её закате Катаев грубо, ярко, метафорично описывал мать в гробу, сравнивая гроб то с коробкой конфет, то с тортом, то покойницу с фарфоровой куклой, словно пытаясь заговорить, вытеснить случившееся, засахарить ту горечь красотой литературы.

По рассказам его жены Эстер он, уже немолодой, иногда запирался в комнате и плакал. “Я вспомнил маму”. “Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дёргать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой.

— Мамочка! — возбуждённо крикнул я, стучась в запёртую дверь ногами. — Мамочка!

Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что её только что похоронили и уже никогда в жизни не будет у меня мамы.

И я, сразу как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь, вошёл в нашу опустевшую квартиру”.

Когда смотришь на фотографию 1910 года с тремя Катаевыми, сердце невольно сжимается. Все трое задумчивые и грустные. В пенсне, с бородой и усами, полный достоинства и некоторой книжной наставительности отец (его принимали за Чехова), к нему прижались два мальчика. Валя — серьёзный, прямой, немного похожий на японского солдата, словно пытается показать свою взрослость; Женя — мелкий, в матроске, жалобно-трогательный. И приходит одно простое слово: “сиротки”.

Сразу после смерти Евгении на выручку пришла её сестра Елизавета Ивановна, которой было тридцать три. Отказавшись от личной жизни, верная обещанию, данному умиравшей, “тётя Лиля” занялась воспитанием мальчиков и хозяйством и поселилась у них. Аскетичный потомок духовного рода хранил верность покойной. Он поступал, как священник, которому по канонам нельзя жениться вторично.

В доме Катаевых не держали ни капли спиртного. “Отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вёл скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложённой за икону. Смиренно крестясь и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника”.

В 1951-м Корней Чуковский записал в дневнике: “Сегодня Валентин Петрович Катаев рассказывал о своём отце: ему тётка в день именин подарила 5 томиков Полонского. И он (В. П.) очень полюбил их. Декламировал для себя “Бэду-проповедника”, “Орёл и змея”. “Тётка”, очевидно, и была Елизавета Ивановна.

Когда мальчики подросли, она, считая “долг исполненным”, уехала в Полтаву к двоюродному брату и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру. “Тётя Лиля” умерла в Полтаве в 1942 году при немцах.

Семья была небогата, постоянно меняли квартиру, при этом часто сдавали комнату или две.

Валя родился на улице Базарной, 4, совсем близко к Александровскому парку, в трёхэтажном доме. Здесь родился его брат, здесь не стало их мамы.

В 1904-м Катаевы переехали с Базарной на Маразлиевскую, в дом 54, тогда доходный дом Крыжановского-Аудерского. На этой улице, по преданию, останавливался во время “одесской ссылки” Пушкин. В доме 40 на Маразлиевской, в 20-м переименованной в Энгельса, располагалось здание ЧК, где нашему герою доведётся ожидать смерти.

Потом переехали на Канатную, с неё — на Уютную, дальше — на Отрадную... В 1912-м Катаевы проживали на улице Успенской. Там располагались Епархиальное женское училище со Свято-Архангело-Михайловским женским монастырем и сиротским приютом. В училище, кроме отца Катаева (он был географом), преподавал и его старший брат Николай Васильевич (а приготовительный класс вела “тётя Лиля”, Пётр Катаев уступил ей и должность делопроизводителя).

Всё семейство Катаевых проживало в сиротском приюте у его заведующего, протоиерея Григория Никифоровича Молдавского, ожидая, когда будет готов дом Общества квартировладельцев на Пироговской улице. Пётр Катаев был в попечительском совете приюта.

В соседнем здании на Успенской улице находилась Стурдзовская община милосердных сестёр — богадельня. Сестры милосердия ухаживали за смертельно заболевшей мамой Вали.

Было время, когда на лето семья обосновалась на пригородном хуторе. Этот сюжет совсем не случайно возник у Катаева в романе “Хуторок в степи” (летом 15-го в “Одесском вестнике” у него вышел цикл “Стихов с хуторка”).

С 1913-го Катаевы проживали в новеньком многокорпусном доме в стиле модерн на Пироговской, 3, в квартире 56 на 4-м этаже.

...Июльское пекло, стеклянный воздух, задыхаясь, читаю табличку на доме: “У цьому будинку з 1996 по 1998 р. мешкав громадський діяч, заступник міського голови Ігор Миколайович Свобода, який був викрадений і загинув від рук найманих убивць”. Свобода, украденная и умерщвленная, летопись девяностых. Перейдя улицу, сворачиваю во двор старого трёхэтажного обшарпанного дома — привет из другой эпохи. Ветхие пояса ажурных балконов. Раздавленные ягоды алычи, развешенное белье, разлеглись рыжая и черная кошки.

Меня оглядывает крупная старуха в мятом выцветшем платье, сидящая на колоде под широким платаном.

— Скажите, а здесь Катаев родился?

— Да вон тута, — она показывает на льдистые тусклые окна. — В моей квартире. А мне шо? Да я в ней полвека живу. Ой, да шо в ней такого? Помню, приходил старичок. Походил, побродил, понохал. Я внутрь не пустила. Здесь стоял, где вы стоите. Почём знаю, кто такой. Говорит: “Я тут жил”. Потом вроде сказали: писатель тут жил. Да он уж помер, когда сказали.

## Детство

Отец всё время учительствовал, тётя тоже, вдобавок занималась маленьким Женей. Валя был днями напролёт предоставлен самому себе, слонялся по городу, водился с хулиганской компанией.

В сущности, он с самого детства попал в “историю”.

Когда ему было не больше двух лет, дотянувшись до плиты, опрокинул на себя казанок с кипящим свиным салом. Каким-то образом всё вылилось мимо головы, на одежду, и одна лишь капля попала на горло, оставив на всю жизнь отметину.

Эксперименты, физические и химические опыты — удовольствие, в котором он не мог себе отказать. Раз, достав из отцовского комода “брикет” пороха, вбежал на кухню, отодвинул кастрюлю с борщом и бросил порох в конфорку. “Сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка”. А может быть, это был не борщ, а лапша, если судить по стихотворению “Бенгальский огонь”, где шалости мальчика переплетаются с акциями террористов 1905-го:

*К плите. С порошком. Горюхась. Не дыша.  
— Глядите, глядите, как ухнет! —  
И вверх из кастрюль полетела лапша  
В дыму погибающей кухни.*

*Но веку шёл пятый, и он перерос  
Террор, угрожающий плитам:  
Не в кухню щепотку — он в город понёс  
Компактный пакет с динамитом.*

Ещё случай: взяв у одноклассника бутылочку с нефтью, он стал нагревать её дома на своей лабораторной спиртовой горелке, раздался “громкий выстрел”, и жирная вонючая жидкость покрыла всё вокруг, включая обои и одеяла.

В этих эпизодах будничным психоаналитик мог бы усмотреть подсознательное желание разрушить окружающий мир и даже самоуничтожиться, но, похоже, здесь было нечто обратное — самоутверждение, упоение своей неврединностью на фоне пожаров, перераставшее в любование ими. Пожары воспринимались, как праздничные салюты. Он пробовал реальность на прочность, пытался разъять, но через это хотел постичь её на пике, в экстремуме, спровоцировать на яростные всплески, чтобы восхититься во всей красочной полноте. Ребёнком он возился с огнеопасными элементами, а позднее в своей литературе возился с резким цветом и острыми темами, так утверждая именно жизнелюбие. С каждым благополучно завершившимся “опытом” жизнь все более казалась ему ярким сновидением.

Он был бесцеремонен. На Рождество высыпал на ёлку два фунта нафталина, изображая снег. Резал для “домашних спектаклей” тётины простыни, так что все заканчивалось скандалом...

Он на всю жизнь сохранил дружбу с верным соратником по проделкам Женькой по прозвищу Дубастый, жившим с ним по соседству. Евгений Ермалович Запорожченко, моряк, после революции обитал то в Загребе, то в Ницце, вернулся на родину только после Второй мировой войны (участник французского Сопротивления), бывал у Катаева в Переделкине, с душой встречал его в Одессе...

Несложно предположить автобиографизм рассказа “Весенний звон” (начало 1914-го): “Главнейшее наше занятие — это азартные игры: бумажки, спички, “ушки” и... разбой, потому что по временам нам кажется, что мы разбойники: бьём из рогаток стёкла, дразним местного постового городского Индюком и крадём яблоки в мелочной лавке Каратинского. Разбоем в основном мы занимаемся поздней осенью, почти каждый день, и заключается это занятие в том, что после обеда мы всей ватагой, или, как у нас называется, “гопотой”, идём к морю, лазим по пустым дачам, до тошноты курим дрянные папиросы “Медуза” — три копейки двадцать шгук — и усиленно ищем подходящую жертву. От подходящей жертвы требуется, чтобы она была слабее нас и молчала, когда её будут брать в плен и пытаться”.

Возможно, дичь и дурь происходили не от уличного нахальства, а от повышенной нервности (изнанка нежности, а он был и сам от природы неженка, и тосковал по невосполнимой материнской ласке). Он пренебрегал учёбой. Гимназия была ему скучна не просто из-за прелести разбойной ватаги, а и из-за чего-то совсем обратного, одинокого, “несоциального” — лиричности, мечтательности... Это затаённое, то есть собственно художественное, пробудилось в нём очень рано.

Катаев таким и прожил — со слезящимся нежным нутром, запрятанным в грубый панцирь. Он был закрытым и при этом любил быть в центре внимания (между прочим, если ты застенчив, но оказываешься в центре, многие психологические сложности снимаются).

Мы не раз столкнёмся с самым разным Катаевым — цинизм напоказ, увлечённое вспоможение людям вплоть до изменения их судеб, авантюризм и трудоспособность, бешеная энергия и любовь к спокойствию.

...Валя помнил себя с самых малых лет.

Года в три мать возила его в Екатеринослав (ныне Днепрпетровск) к её родителям. Он видел бабушку Марию Егоровну, “толстую, красивую, как пожилая королева”, и деда Ивана Елисеевича, отставного генерал-майора, “с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя”, подарившего ему игрушечного коня — Лимончика. И навсегда запомнил, как его тормошили, целовали и подбрасывали к потолку бабушка и “все незамужние екатеринославские тётки” с восторженным южным фамильным восклицанием: “Ах, какая прелесть!”

За коричневой ширмой у них в Одессе, переезжая с ними с квартиру на квартиру, жила бабушка Павла Павловна, мать отца. Читая её описание, я сразу узнал свою вятскую бабушку! “У неё было маленькое скуластое лицо с бесшумно жевавшими губами... носик пуговкой. Чем-то она напоминала старую-престарую китайку”. С годами становилась придирчивой, скупой, пыталась следить, кто сколько съел за столом. Мальчиков смешила её “чуждая скороговорка”.

Павла Павловна умерла 2 февраля 1908 года “от старческой немощи”.

Какое-то время в их доме жил “дядя Миша”, младший брат отца. Как мы уже упоминали, он тронулся умом в Петербурге. В рапорте начальнику артиллерии 8-го армейского корпуса в апреле 1890 года сообщалось о том, что “признаки расстройства психической деятельности” поручика начались ещё годом ранее, “что заставило его поместить в отделение душевнобольных С-Петербургского Николаевского госпиталя”. А теперь поручик Катаев “выстрелил в часового из окна своей квартиры, когда же 19 апреля подполковник Вечинкин с несколькими нижними чинами прибыл для арестования и отправления на гауптвахту, оказал вооруженное сопротивление. Против Катаева возбуждено обвинение в неповиновении, вооружённом сопротивлении распоряжению начальника и покушении на убийство человека. Содержась под арестом на гауптвахте, вёл себя, как совершенно умалишённый”. Михаил Васильевич был уволен из армейских рядов “по болезни” и ещё несколько лет жил в Петербурге. По утверждению Валентина Петровича, он женился на “простой, неграмотной крестьянке” из Николаева, бросил её, попал в сумасшедший дом в Одессе, оттуда к брату. Маленький Валя очень боялся дяди, который с добрым мычанием пытался схватить его худыми руками. “Иногда у дяди Миши начинался припадок буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати”. Умер он в 1901-м у них в доме.

11 ноября 1904 года в 56 лет от “прогрессивного паралича” умер “дядя Коля”, Николай Васильевич. “Когда его увозили в больницу, он вскакивал с носилок, страшный, бородатый, в длинной рубахе и, хохоча на всю улицу, пел сам себе “со святыми упокой” и дирижировал воображаемым хором”.

Похоронив мужа, Ида Обрист (она же Зинаида Катаева) переехала к сыну Василию в Петербург, где в скором времени скончалась.

Василий родился 7 января 1882 года. Катаев вспоминал, как он в “военно-медицинской офицерской шинели” кормил с ложки невыносимым рыбьим жиром его, Женю и своего родного брата Сашу (“примерный” Женя единственный был согласен и аж облизывался)... Из Новороссийского университета Василий Катаев перевёлся в Военно-медицинскую академию в Петербург. Был военным врачом на фронте в Галиции. Во время гражданской войны вернулся в Одессу и работал в госпитале. Он погиб в августе 1920-го в Одессе. Жена Василия, потомственная дворянка из Петербурга, дипломированная акушерка Надежда Нивинская осталась в Петрограде и там дожила до 1948 года.

Александр, у которого, по наблюдению писателя, “даже уши побелели от омерзения” к рыбьему жиру, родился 17 октября 1895 года. По стопам брата он пошёл в Военно-медицинскую академию, не закончил её, но связал всю свою жизнь с медициной. Военврач первого ранга, полковник медицинской службы, он прошёл Великую Отечественную войну (Черноморский флот), с 46-го года жил в Симферополе, потом переехал в Одессу. Умер он 22 апреля 1963 года в 67 лет и похоронен в Одессе, в могиле отца. О нём и о судьбах его братьев и сестёр — последняя катаевская повесть “Сухой лиман”.

Скажем и о двух двоюродных сёстрах Валентина Петровича...



Надежда родилась 8 июня 1880-го. В 1900-м она вышла замуж за уроженца Одессы, потомственного дворянина, военного медика Павла Николаевича Виноградова, выпускника Военно-медицинской академии, переведённого во Владивосток во время русско-японской войны, а затем в Петербург. Его не стало в 1924-м (как вспоминал Катаев — врач-рентгенолог умер от онкологии). Их сын Антон (между прочим, Антон Павлович!) в 20-е годы перебрался в Финляндию (“по ту сторону щели”, как сформулировал Катаев). Жизнь Надежды оборвал 37-й, о чём ещё будет сказано подробнее.

Зинаида родилась 24 марта 1884-го. В голодной Одессе она приютила у себя Петра Васильевича Катаева. Занималась шитьём на дому. Тихо прожила шестьдесят пять лет до самой смерти в 49-м году.

Валя и Жёня Катаевы были похожи, но только внешне.

“Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я — отрицательным”. Отношение старшего брата к младшему с его рождения до его смерти оставалось неизменным — заботливо-жалостливым. “Я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название *наш кувака*”.

“Смерть ходила за ним по пятам”. Интересно наблюдение литератора Сергея Белякова о том, что, если губительные ситуации лишь убеждали Катаева в чувстве своей защищённости и добавляли ему жизнелюбия, то несчастья, происходившие с Евгением, каждый раз почему-то указывали на какую-то роковую обречённость, и это ощущали оба.

Отец вывозил сыновей на побережье Чёрного моря, далеко за пределы города. Будаки, Днестровский лиман... Наслаждение этим отдыхом Катаев потом красочно передал в книге “Белеет парус одинокий”.

Вале было восемь, когда первая волна смуты захлестнула страну, густо пенясь и в Одессе. Из окон он видел казачьи разъезды, огромную толпу с хоругвями... А на горизонте дымил мятежный броненосец “Потемкин”.

В девять лет он поступил в Одесскую пятую гимназию (туда же поступил и брат). Валя учился слабо и без вдохновения, на уроки, по его признанию, “плёлся”. В подростковом возрасте он остался на второй год и постоянно переживал “постыдные переэкзаменовки”.

Но и с тех же девяти лет начал писать стихи.

У Катаевых была библиотека с двадцатитомной “Историей государства Российского” Карамзина, полными собраниями сочинений классиков, энциклопедиями, словарями. Одним из первых писателей, кто произвел на Валю огромное впечатление, стал Гоголь, чьи персонажи сходились к детской постельке сквозь жар болезни:

*(Зовёт меня по имени...  
А может быть, в бреду?)  
— Отец, отец, спаси меня!  
Ты не отец — колдун!  
— Христос, храни!  
— До Бога ли,  
Когда рука в крови?  
.....  
— Зачем давали Гоголя,  
Зачем читали “Вий”?*

Но даже описание изнурительной скарлатины в повести “Отец” даёт представление об уюте домашней обстановки: “Вечером у его постели на стуле горел стакан крепкой малины. Лампада наполняла угол сусальным жаром образов. Громадная тень пальмовой ветки легко и сладко лежала на полутёмном потолке. Позади (он не видел, но знал), за письменным столом сидел, исправляя тетрадки, отец”.

Пётр Васильевич подарил сыновьям маленькую паровую машину — наглядное пособие по физике, и микроскоп.

Валя, как и все одесские мальчишки, балдел от циркового представления — французской борьбы (когда соперника кладут на лопатки) и “дяди Вани”, Ивана Лебедева, предводителя турниров. Любил и театр (самый любимый — Одесский городской), где отец ёрзал рядом, поскольку очень беспокоился за нравственность сына.

Знакомо ли вам умственное взросление уже годам к девяти? Случай в самом деле нередкий. Так бывает, и особенно часто в “книжных семьях”, где постоянно ведутся разговоры о литературе и политике. Катаев оказался сызмальства литературно и граждански развит, с амбициями публичного автора, и точно так же очень рано начал влюбляться.

То, что он писатель, понял рано. “Когда, например, мне было девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотипному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем”. Но ещё раньше, совсем крохой, накалякав нечто густое на бумаге, он с ошибками, кривыми печатными буквами написал первую в жизни поэтическую строку: “Какой хороший этот лес, и как прекрасно в этой дали”.

Хорошо и прекрасно. Два холмика макушки. Тёмный лес, который не тяготит, а манит нескончаемой далью.

В 1910 году Пётр Васильевич отправился на лето с сыновьями в долгое путешествие — на пароходе через Турцию и Грецию в Италию (осмотр знаменитых развалин, зданий и музеев, до Неаполя плыли с остановками в Катании и Мессине), а оттуда на поезде в Швейцарию. Маршрут путешествия был разработан давно (“в то время, когда ещё была жива мама”).

В другой раз побывали в Киеве в “паломнической поездке”: “Папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город — источник православной веры”.

### Первые публикации

В 1910-м в 13 лет он впервые напечатался со стихотворением “Осень” в газете “Одесский вестник”, и мы приведём его целиком. Надо сказать, когда я прочитал своему семилетнему сыну несколько стихотворений Катаева разных лет, впечатление на ребёнка произвела именно “Осень” — слушал завороченно и с сопричастной усмешкой. Может быть, дело в ребячливом наиве. Такое ощущение, что стихотворение для детей, а значит, поучительная банальность как бы и оправдана (несмотря на тоскливые картины природы, всё легко и бодро).

*Холодом дышит природа немая,  
С воем врывается ветер в трубу,  
Жёлтые листья он крутит, играя,  
Пусто и скучно в саду.*

*Море шумит на широком просторе,  
Бешено волны седые кипят,  
И над холодной кипящей пучиной  
Белые чайки тоскливо кричат.*

*Крик их мешается с рёвом стихии,  
Скалы унылое эхо вторят,  
Серым туманом окутаны горы,  
Дачи пустые уныло молчат.*

В день, когда стихотворение было напечатано, Катаев в гимназию не плёлся, а бежал. Газетную страницу он прилепил к стеклянной двери класса, “и вся гимназия бегала смотрела на стихи, которые написал Валька”.

Он “получил страшный нагоняй от директора” — подписываться своим именем гимназисту было не положено.

Во множестве советских изданий и библиографий Катаева указывалось место его дебюта и ранних публикаций — “Одесский вестник”. Удивительно, ведь это орган губернского отдела “Союза русского народа”: достаточно открыть любой выпуск газеты, в том числе, прочитав любой текст, соседствующий с любым стихотворением Вали, чтобы натолкнуться на грубую риторику, которую ещё называют “жидоедской”. К примеру, следом за стихами “Из великопостных мотивов” (“Я к Тебе прибегаю, Христос”) следовало листовочное “Самооборона от евреев”.

В другой раз он именно бежал в гимназию в конце того же 1910-го. Бежал из-за дождя и потрясения, а мимо бежали газетчики, крича: “Смерть Льва Толстого!” Валя только что прочитал “Войну и мир” и был очарован этим романом. И вдруг — газетчики... “Ужас охватил мою душу. Мне показалось, что в мире произошла какая-то непоправимая катастрофа”.

За два года в “Одесском вестнике” было опубликовано более двадцати пяти стихотворений Катаева. Одни из первых напечатанных: “Стамбул” — впечатление от морского путешествия и “Рим”, в сущности, тоже впечатление от города, но с сюжетом из жизни Нерона. После “Осени” он стал публиковаться в “Южной мысли”, “Одесском листке”, “Пробуждении”, “Лукоморье”. За стихами последовала проза.

Первые его вещи в основном были благостны, сводились к морали, но при этом всегда не без озорства, а порой и с недетской дерзостью. В 1912 году отдельными брошюрами он выпустил два рассказа: “Пробуждение” и “Тёмная личность”. В “Пробуждении” изображён молодой человек, бывший революционер по фамилии Расколин, после злоключений отправившийся к тётке в Одессу. “Припомнилась ему смутная пора 1905 года. Только что окончив университет, он, ещё не разочарованный горьким опытом, ещё полный нравственных и физических сил, вступил на житейский путь. И вот, увлечённый какими-то фантастическими идеями, под влиянием дурной среды, он с револьвером в руке стоит на баррикаде. Затем, как какой-то кошмар, вспомнил он арест, суд и, наконец, ссылку”. (Впоследствии Катаев авантюрно изобразил себя-ребёнка, родных и знакомых соучастниками революционного дела 1905 года, что, конечно, было далеко от реальности). Расколин, встретив на станции старинного приятеля, не доехал до Одессы, а отправился к нему на южный хутор, где познакомился с его восемнадцатилетней сестрой, “белокурой хорошенькой Танюшей”. Расколин провёл на хуторе последнюю неделю поста, помогал красить яйца, пошёл со всеми на церковную службу: “Когда в его ушах звенел напев Пасхальный, он понял, что он любит Татьяну, что любит сильно, страстно, как может любить человек, полный сил, полный веры в Бога и людей”. А ещё через неделю из Одессы он прислал девушке письмо, объясняясь в чувстве и окончательно отрекаясь от революции: “Ты, конечно, помнишь миг, когда мы возвращались из церкви и когда ударили колокола? Так знай же, что я с той поры переродился, с той поры я проклял, нет, я не проклял, а забыл и забыл навеки бурную, полную волнений и тревог жизнь. Я полюбил домашний очаг и тихую трудовую жизнь, я полюбил тебя, Таня!”

В сатирическом рассказе “Тёмная личность” главный герой — наглый и артистичный Сашка, которому автор явно симпатизирует. (Не ранний ли прообраз Остапа Бендера?) “Это был “тип”, один из таких типов, которые, попадая в водоворот столичной жизни, не пропадают, не теряются в нём и каким-то чудом находят себе средства к существованию среди тысяч подобных себе безработных. Уж это был его талант”. Плут обманом, лестью и шантажом сумел оставить с носом Куприна и Аверченко, навестив их в питейских квартирах, и в итоге зацепился за “жирный кусок жизни”. Да и не мечтал ли перебраться в столицу юный рассказчик?

Оба писателя изображены крайне насмешливо. Куприн у него — “человечек с пьяненьким баском” (уже тут у Катаева включается мастерство изображать, хоть бы шаржированно, но яркими безжалостными мазками): “Он ясно увидел лицо Александра Ивановича, оно было круглое, узенькие серые

глаза были окружены опухолью и мешочками; во рту торчала потухшая папироса, а круглый толстый подбородок обрамлён реденькой, неопределённого цвета бородкой, которая казалась выщипанной и не столько похожей на бородку, сколько на щёку неделю не брившегося актёра. Маленький фиолетово-красный нос дополнял портрет известного писателя. Он сидел перед столиком, представлявшим оригинальное зрелище: он сплошь был уставлен целой батареей бутылок самой разнообразной величины и формы. На полу валялось несколько пустых пивных бутылок. Перед писателем стоял колоссальный жбан, из которого он изредка потягивал, тщетно стараясь раскурить полчаса тому назад потухшую папиросу”.

Если верить поздней катаевской беллетристике, тринадцатилетний Валя видел Куприна в 1910-м (“толстячок с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами”), когда тот сел в аэроплан с “волжским богатырем” Иваном Заикиным: полетав на глазах у публики, они чуть не разбились и совершили аварийную посадку.

В том же подростковом рассказе “Тёмная личность” Аркадий Аверченко торгуется с издателем “Сатирикона” Корнфельдом по поводу аванса за эпиграмму на лидера “Союза русского народа” (союзники):

— Ах, Моисей Генохович, но ведь аванс не под какого-нибудь Меньшикова — ведь аванс под самого Пуришкевича, а? Под самого Владимира Митро...

— А! Ай ему в рот палкой, не говорите мне этого проклятого с... с... союзника!”\*

(На самом деле, Корнфельда звали Михаил Германович.)

Как правило ранние рассказы Катаева — живые, построенные на цепке деталей, с тонким юмором, ещё и всегда слегка дидактичны. Набожен герой “Весеннего звона”. “Каждый день утром и вечером я хожу в церковь”, — рассказывает он о своей Страстной седмице. Ошибочно приревновав к девочке, в которую влюбился, знакомого мальчика, Витьку, он заложил мнимого соперника его матери, и из-за мук совести начал гореть, как от температуры, чтобы в пасхальный день исповедоваться при встрече:

— Прости меня.

— За что?

— За то, что я на тебя наюдил.

— А ты разве юдил?

— Юдил, что ты курил”.

Детски-назидательный дух первых вещей подтверждает и “Стихотворение в прозе” 1913 года, перекликающееся с поздними катаевскими знаменитыми сказками и историями для детей (“Жемчужина”, “Пень”). Это история победы весны над зимой и отдельного бессмысленного упорствования одного сугроба: “Лишь один на дне врага, лишь один сугроб угрюмый — от метелей злых остаток — не растаял под лучами благодатного светила”. Заканчивается всё, конечно же, триумфом солнца: “И сугроб холодный таял. Он не мог томиться дольше под горячими лучами... И сугроба в жаркий полдень под ракетами не стало, а на этом месте выросло кустику маленьких фиалок”.

Несомненно, катаевская проза росла из его поэзии, и хотя он потом её забросил и возвращался к ней редко, так и не издав при жизни книгу стихов, сильнейшая поэтичность сделалась неистребимой сутью его прозы.

В газеты и журналы он тянул с собой брата, возможно, пытаясь пристрастить к писательству, что спустя годы удалось. “Женька, идём в редакцию!” — кричал Валя. “Я ревел, — вспоминал Петров, — предполагая: он водил меня потому, что ему одному идти было страшно”.

Катаев исписывал стихами и прозой тетради и даже свободные страницы учебников. Он много писал о природе — море, луна и месяц, хрустальный хор светлячков, весна и ветер, но и о любви, влюблённости, страсти,

---

\* К слову, упомянутый Михаил Меньшиков (1859–1918), публицист, один из идеологов русских националистов, был расстрелян вблизи озера Валдай. Владимир Пуришкевич (1870–1920) умер от сыпного тифа в Новороссийске. Аркадий Аверченко (1881–1925) и Михаил Корнфельд (1884–1973) умерли в эмиграции.

а часто — обо всём сразу, смешивая пейзаж и образ спутницы, порой доходя до игрового экстаза:

*Как пьявки, губы, и взгляд, как жало,  
Горячий шёпот — как шелест роз.  
Тоска и радость мне сердце сжала.  
Люблю улыбки твоей наркоз.*

Вале казалось не только естественно, но и интересно быть патриотом. Горячим. Как славное Чёрное море. Хоть бы и с перехлёстом. Этот ранний патриотизм был сродни раннему эротизму. Причины были везде и во всём — от пушечного ядра на Николаевском бульваре до военных наперсных крестов в шкафу: сплетение родовых корней, домашняя атмосфера, сердечные порывы.

В балагане на Куликовом Поле он смотрел представление, посвящённое Порт-Артуру, и “страдал за унижение России”, проигравшей японцам. Сделанный из папье-маше длинный броненосец “Петропавловск”, полотнище Андреевского флага на матче... “В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я ещё тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом”.

...Город, возникший вокруг крепости, возведённой под руководством освободителя южных земель от турков полководца Суворова\*, устроителя Новоросси светлейшего князя Потёмкина Таврического... Одесса адмирала-испанца де Рибаса, француза-градоначальника герцога Ришелье и его преемника графа Лонжерона. Город, где столько раз была война и менялись власти. Город горящего майским вечером 2014-го вместе с людьми Дома Профсоюзов на том самом Куликовом Поле, которое Катаев попросту называл Кулички и напротив которого жила его семья, переехавшая на Канатную...

“Сухой, сильный степной ветер нёс через Куликово Поле тучи чёрной пыли...” — наблюдал он, и ему приходили в голову зловещие образы бойни.

В 1912 году, в столетие Отечественной войны Катаев выступил в гимназии, где проходило торжественное литературно-художественное утро, со стихотворением:

*Война недолго продолжалась.  
В России скоро не осталось  
Ни одного врага, и вот —  
Вздыхнул свободнее народ.*

*Настали святки. Все ликуют.  
Несётся колокольный звон.  
Победу русский торжествует.  
Погиб, погиб Наполеон...*

*Пока в России дух народный  
Огнём пылающим горит,  
Её никто не победит! —*

На последних строчках он “выбросил вперёд руку со сжатым кулаком”.

---

\* В 1969 году в Одессе “патриотические литераторы” предложили переименовать Де-рибасовскую улицу в Суворовскую. Местный писатель Аркадий Львов жаловался: он обратился к Катаеву с просьбой поднять свой голос против новой волны мракобесной кампании по борьбе с космополитизмом”, а тот “отказался наотрез”. “Он вспомнил, что в четырнадцатом году, когда началась война с кайзером, Малую Арнаутскую переименовали в Суворовскую, а затем, после Октябрьской революции, в угаре безоглядного отрицания своего прошлого, название упразднили. И вообще — это были слова, сказанные, что называется, под занавес: пусть лучше Суворов, чем кто-нибудь другой, считается основателем Одессы”. “Признаюсь, я был потрясён, — Львов решил масштабировать незначительный разговор. — Мне и в голову не приходило, что стольный мастер, один из лучших прозаиков России, запросто, через душевные кульбиты свои в заповедных сферах отечественной истории, побратается с квасными патриотами из презренной провинции!”

Он помнил пересказанную ему бабушкой со слов прабабушки историю про артиллерийского прапорщика Щёголева, героя Севастопольской кампании, отбившего английский десант и спасшего Одессу. “Бабушка вытирала платочком слёзы восторга, и я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как Щёголев”.

А бывало и так... В 1911-м Катаев, которому ещё не исполнилось пятнадцати, выступил “Одесским вестником” со стихотворным обращением “Пора” (“Посвящается всем монархическим организациям”):

*Волнуется русское море,  
Клокочет и стонет оно.  
В том стоне мне слышится горе:  
“Давно, пора уж давно!”  
Да, братья, пора уж настала,  
От сна ты, Россия, проснись.  
Довольно веков ты дремала,  
Пора же теперь, оглянись!  
Ты видишь: на западе финны  
Свой точат коварно кинжал,  
А там, на востоке, равнины, —  
Китайский мятеж обуял.  
И племя Иуды не дремлет,  
Шатает основы твои,  
Народному стону не внемлет  
И чтит лишь законы свои.  
Так что ж! Неужели же силы,  
Чтоб снять этот тягостный гнёт,  
Чтоб сгнули все юдофилы,  
Россия в себе не найдёт?  
Чтоб это тяжёлое время  
Нам гордо ногами попать  
И снова, как в прежнее время,  
Трёхцветное знамя поднять!*

“Одесский вестник” явно опечатался: вместо “равнины” набрано “равнины”, — вероятно, от полноты чувств. Эти стихи занятно диссонируют с биографией самого Катаева, не раз впоследствии в прозе и в жизни показывавшего себя “юдофилом”.

В 1912-м “Одесский вестник” помещает торжественные стихи Катаева “Привет Союзу русского народа в день шестилетия его”:

*Привет тебе, привет,  
Привет, Союз родимый:  
Ты твёрдою рукой  
Поток неудержимый,  
Поток народных смут  
Сдержал. И тяжкий путь  
Готовила судьба  
Сынам твоим бесстрашным,  
Но твёрдо ты стоял  
Пред натиском ужасным,  
Храня в душе священный идеал.*

\* \* \*

*Шесть лет прошло.  
Рассеял ветер тучи,  
И засиял Российский небосклон,*

*Зарю новою и чудной озарён.  
Взошла для нас заря,  
Настало пробужденье.  
И пусть же русский дух —  
Могучее стремленье —  
Гнёт вражеский в мгновение сломит  
И знамя русское высоко водрузит.*

\* \* \*

*Взошла для нас заря...  
Колени преклоните  
И в любящей душе  
Молитву сотворите:  
“Храни Господь Россию и Царя”.*

В 1913 году это стихотворение вышло почти в том же виде, стихотворец убрал лишь эпитет “чудный” про зарю и переменял сроки: “Семь лет прошло”. Стих гуляет по интернету в варианте, где написано “преклоня” и “сотворяя”, и, таким образом, в последней строфе пропущено сказуемое, но это не рано пробудившийся катаевский “мовизм” — “пищу, как хочу”, — а опечатка того, кто небрежно переписал стихи из архива.

Когда в романе “Разбитая жизнь” он пишет: “Генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету “Русская речь”, — хочется поинтересоваться: уж не со стихами ли юного Вали? Например, теми, что вышли 14 апреля 1913 года на мелованной бумаге в пасхальном вкладыше в газету:

*На устах — слова привета.  
Перезвон колоколов...  
Сколько жизни! Сколько света!  
Сколько солнца и цветов!..*

До этого 30 января 1913 года в “Русской речи” появилась статья “Школьные учебники”, подписанная “В. К-в” (с большой вероятностью, за авторством 16-летнего Катаева — он признавал, что подписывался так!), где со знанием дела бойко критиковалось гимназическое образование и, в частности, хрестоматии для чтения по русскому языку и учебники по русской литературе. “В некоторые хрестоматии для учеников младших и средних классов ныне уже включены как образцы для изучения отрывки из Максима Горького, Тана, Якубовича и других представителей современной оппозиционной литературы, — беспокоился автор. — В истории литературы ещё ярче выступает это оппозиционное начало; в популярной для учеников форме проводится идея о “прогрессивных задачах” в нашей литературе и в обществе, а то, что явно противоречит этой идее, либо совершенно исключается, либо освещается как “материал реакционный”, не заслуживающий внимания”. Автора огорчало осмеяние знаменитой “Переписки с друзьями” Гоголя, замалчивание славянофилов и то, что “памятный роман” Достоевского “Бесы” противопоставляется “русскому свободомыслию”.

Между тем, влечение и почтение к Союзу русского народа могло быть следствием семейного воспитания. Как рассказывал поэт и одессит по происхождению Семён Липкин, отец писателя был известен на весь город своими взглядами, близкими к “черносотенным”. Это не удивительно — подобные взгляды имели силу в Одессе, где (единственный случай в истории монархического движения) в 1913-м черносотенцы одержали убедительную победу на выборах в Думу, а их лидер Борис Пеликан был городским головой до февраля 1917-го.

Интересно, что в повести “Белеет парус одинокий” Катаев в точности передаёт внешность, манеры и психологический типаж отца, вдовца, воспи-

тывающего двух мальчиков при помощи их тётки, но рисует его “прогрессивным педагогом”, укрывающим то матроса с “Потёмкина”, то евреев-соседей, и даже бросает грудью навстречу проклятым громилам, которые принимают его лупить. Ну, а впрочем, многие русские националисты защищали гримимых (например, Василий Шульгин).

Катаев, уже старик, однажды в Переделкине разоткровенничался с писательницей Инной Гофф и вспомнил одесский погром: выставили икону на окно и прятали у себя семью соседа, ремесленника. Его дочка была в соломенных шляпках. “Как флаконы”, — улыбнулся Валентин Петрович.

### Девочки Катаева

Первое свидание он, пятнадцатилетний, назначил знакомой четырнадцатилетней девочке. И когда оно состоялось, не знал, что делать. Сводило с ума само сладкое слово “свидание”...

“Валька бегал за всеми девочками в Отраде”, — вспоминала одна из его одесских подружек Инна Шамраевская. Имена тех, кому он посвящал стихи, известны: Тася Запорожченко, Мара и Мила Буратовичи, Люля Шамраевская, и, конечно, Ирен Алексинская (о ней отдельный сказ).

“Вечной влюблённости я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблён”, — признавался Катаев. И он же: “Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла”.

Самые ранние известные рукописи Катаева — стихотворные записи в альбом Тасе (Наталье) Запорожченко 1912 года (она была сестрой его товарища Женьки по кличке “Дубастый”, жили они по соседству):

*Я гущу в эти вешние дни...  
Милый друг, успокой же меня...*

Или:

*Был я мал и глуп, когда впервые  
Написал сюда шестнадцать строк...  
Мне смеялись глазки голубые  
И звенел весёлый голосок...*

В будущем Наталья, как и её брат, будет гостить у него в Переделкине.

Но вот сопровождаемые автопортретами и рисунками стихи в альбомах сестёр Мары и Милы (Тамары и Милицы). Обеим он признавался в любви. Одно стихотворение так и называлось “Маре Булатович от влюблённого поэта!!!”, а в другом, посвящённом Миле, сообщалось:

*Я не смогу Вас позабыть:  
Довольно Вас хоть раз увидеть,  
Чтобы безумно полюбить  
Или безумно ненавидеть!*

*Про Вас пишу немного, Мила:  
“Клянусь я разумом осла,  
Клянусь слезами крокодила,  
Что Мила чёртовски мила”.*

Все это похоже на чепуху, подростково-кавалерскую забаву, да и в старости Катаев отмахивался: “Это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: “Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи”, — но и замечал: “Некоторые мои романчики проходили в очень тяжёлой форме, даже с мучениями ревности”.

Вероятно, достаточно серьёзным было его отношение к девушке с “сиреневым именем” Ирен.



В 1913 году, когда Катаевы переехали на Пироговскую, 3, Валя познакомился с четырьмя сестрами Алексинскими. Одна, Инна, отпала — старше его, другие, близняшки Шура и Мура — слишком малы, осталась — Ирина, она же — Ирен.

Ирина Константиновна Алексинская родилась 5 мая 1900 года. Отец — генерал-майор артиллерии, мать — любительница музыки и поэзии. Болезненная девочка, в отличие от сестёр, получила домашнее образование, рисовала, писала стихи, играла на рояле — в доме создалось что-то вроде салона или “кружка поклонников”. Шура вспоминала, что Катаев “влюбился в сестру с первого взгляда”. Так это или не так, однако о ней им написано больше, чем о ком-либо другом...

Она — прототип подлой Ирен Заря-Заряницкой в “Зимнем ветре” и милейшей Миньоны в “Юношеском романе”. И главное: ей посвящены совсем не шаловливые юношеские стихи.

А была ли любовь?

Вот, например, сохранившийся отрывок из письма: “Дорогая Ирен! Страшная и жестокая вещь любовь! Она неслышно и легко подходит, ласково целует глаза, обманывает, волнует, мучит и никогда не уходит, не отомстив за себя. Я не знаю, что со мной делается...”

Или он обманывался и обманывал её, как осознал под конец жизни, а по-настоящему любил другую?

На фотографиях Ирен часто прижимает к себе кошек, в её круглом личике с большими глазами тоже есть что-то задумчиво-кошачье, и Катаев писал о её “кошачьем язычке” (в голодные годы она станет лепить из глины и раскрашивать кошек и диковинных монстриков, которых сестрицы продавали “на толчке”. На последней карточке 1928 года, где Ирен, уже лежащая, с лицом, как череп, белая кошка поверх одеяла внимательно щурится в объектив). Рождённая в мае, она считала сирень своим цветком. “За то, что май тебя крестил и дал сиреневое имя...” — писал Катаев, а в другом стихотворении объяснялся так:

*Твоё сиреневое имя  
В душе, как тайну, берегу.  
Иду тропинками глухими,  
Твое сиреневое имя  
Пишу под ветками сквозными  
Дрожащим стеком на снегу...*

В её записной книжке было немало его стихотворных посвящений (некоторые печатались в одесских газетах и даже столичных журналах), но она писала и сама. Вот, к примеру, стихотворение “Поэту — от девочки с сиреневым именем”: адресат назван “возлюбленным”, но как будто бы для размера, такое впечатление, что мог бы называться и “влюблённым”:

*Из сиреновой душистой неги  
Я сплету причудливый букет  
И тебе его в окошко брошу —  
Получай, возлюбленный поэт!  
Отряхнись скорей от сонной лени  
И, вдыхая запах, — вспоминай:  
Это та — чьё имя из сирени  
Сплёл тебе для счастья звонкий май.*

Читая эти стихи, вспоминаешь катаевское наблюдение — в ней было много снисходительного и повелительного — от отца. Губы для выговора, а не для поцелуя...

Уйдя на фронт Первой мировой, Катаев как раз и попал под протекцию её отца (служил в его артиллерийской бригаде) и неустанно слал ей письма, несколько раз наведываясь в Одессу с разрешения генерала. В это же время в журнале “Театр и кино” (1916 год) появляется его сти-

хотворение “К ногам Люли Шамраевской” (и ей тоже он слал письма из “действующей армии”).

В 1916–1917 годах он учился в Одесском пехотном училище и снова мог постоянно видеться с Ирен, потом было очередное отбытие на фронт, ранение, возвращение... Они порвали в конце 1918 начале 1919 года, и большой вопрос, что их связывало, кроме строчек и рифм (“Когда впивая влажными губами // мой поцелуй, ты вздрогнешь, как лоза...” — сулил он).

Что их развело?

Прежняя социальная иерархия обвалилась. В 1919-м Одессу взяли красные... Потом откатили. В 20-м вернулись окончательно. Приходилось приравниваться.

А не был ли этот роман с самого начала выдуманным? Для Ирен — “лишний поклонник”, для Валентина — романтика странствующего рыцаря. Всё-таки, видимо, чувство было, ведь была же тоска несовпадения, вспоминает же он ночное объяснение, после чего, отвергнутый, до рассвета просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху:

*И ныло от тоски всё существо моё,  
Тоска была подобна чёрной глыбе,  
И если бы вы поняли её,  
То разлюбить меня, я знаю, не смогли бы.*

Или она предпочла ему другого? Он вспоминал про её “серьёзный роман” с его гимназическим товарищем, затем бежавшим за границу...

Ирина умерла от туберкулёза, прикованной к постели, 13 октября 1927 года. При последней встрече в начале 20-х она отдала Валентину часть его фронтовых писем.

В 1960-м Александра и Мария Алексинские вернули Катаеву другие письма. У этого была предыстория — Катаев свёл с Ирен счёты в “Зимнем ветре”, где всех назвал по именам, и внешность бывшей пассии выписал с абсолютной точностью. Петя Бачей влюблён в Ирен, дочь генерала, барышню с “крупно вьющимися волосами бронзового оттенка” и “серовато-лиловыми глазами”, которая “возрастом старше сестёр-двойняшек, но младше красавицы Инны”. Её отец расстрелян (в действительности же эвакуировался), и она исполнена злобы: “Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздёрнуть на первой осине”. Она стреляет в Петю из дамского револьвера, но мимо, а он — и, кажется мне, совсем не по идеологическим причинам, — “несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул её по щекам, приговаривая:

— Ах ты дрянь, ах ты генеральская тварь...

Она тонко завывала от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Чёрная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней...”

Страстный вымысел уязвлённого мужчины.

Коротко о генерале Алексинском. Во время Первой мировой Константин Гаврилович — командующий 64-й артиллерийской бригадой. Участник Белого движения на Юге России. На май 1920 года — в Югославии.

В июне 1961-го Катаев, прославленный прозаик, отвечал в Одессу оскорблённым Алексинским, принося извинения и заверяя в прежней любви, но как бы даже насмешливо: “Дорогие “сёстры А”! Вы неправы, обвиняя меня в том, что я вывел в своём романе “Зимний ветер” вашу семью. Это недоразумение, основанное на деталях... Ваши имена не столь самобытны, чтобы служить прямым указанием на семью... Вы должны понять, что у писательства есть свои великие законы, которые очень трудно перешагнуть”.

Катаев не раз указывал на несбывшуюся несчастную любовь, которую не мог забыть и которая переплавлялась в литературу.

Но об Ирен ли речь? Или это другая потаённая любовь? Или это соби- рательная “горечь прежних любовных неудач”?

В “Юношеском романе” он писал, что в Миньону (Ирен) был влюблён, “поверхностно, как бы буднично”, а “безнадёжно и горько” любил некую Ганзю.

Кто же такая Ганзя? В жизни её звали Зоя Корбул\*. Родная сестра Зоиного мужа подтвердила, что Катаев нарисовал её точно: глаза “карие, какие часто встречаются у молдаванок”, волосы “тёмно-каштановые с еле заметным золотистым отливом”, невысокая — “неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, двоймовочкам”. Но любил он её не за внешность. Он никак не мог описать её прекрасную неуловимость. Неосуществлённое, связанное с ней, какое-то обещание счастья томило его всю жизнь.

(Не о ней ли упоминавшийся рассказ семнадцатилетнего Катаева “Весенний звон”? “— Ах да! — развязно восклицаю я. — Христос воскрес! Я и забыл... Всё хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться”. Спустя полстолетия тот же автор напишет: “— Христос воскрес, — сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней... — Воистину, — ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться? — Приходится, — сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом”).

Зоя Ивановна Корбул родилась 6 августа 1898 года в имении своих родителей недалеко от Днестра. По семейному преданию, их род брал начало от римского полководца Кобуллона. Катаев придумал фамилию Траян неслучайно: Марк Ульпий Траян — блестящий римский полководец. “Судьба привела меня, наконец, к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой”. Зоя училась в одесской частной гимназии О. С. Белен-де-Баллю. Он тянулся к девушке и молчал. Молчал годами. В 1915-м Зоя поступила на историко-филологический факультет одесских Высших женских курсов. “Хотя она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и её милого равнодушия”. Катаев описал и её жениха, а потом мужа Сергея Стефанского, дворянина, офицера, спортсмена “с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя”. Зоя обвенчалась с ним в 1919-м. Через месяц был крещён их новорожденный сын, а в начале 20-го, с приходом красных, они уехали в Константинополь (“маленькая гордая римлянка-изгнанница”). В Одессе умер их первый и последний ребенок, оставленный на руках у Зоинной матери, и был убит Зоин брат-белогвардеец, которого Катаев запомнил “застенчивым гимназистом”.

В 1963-м, уже после смерти Сергея Стефанского, они встретились в Лос-Анджелесе. “Америка была для меня последней надеждой ещё хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности”. Через несколько лет он снова прилетел в Лос-Анджелес и пришёл к ней. А вот запись из 60-х на обороте визитки, присланной им Зое: “С Новым годом. Неужели у Вас нет потребностей написать мне?”

Зоя и Валентин умерли в один год — он в апреле, она в августе...

А как быть с “маленькой голодной царицей”, поджавшей “сизые от купания губы”? В “Траве забвенья” она, выросшая, превращается в Клавдию Зарембу, жестокую большевичку. Только вот она ли?

Как трудно разгадать этот повторяющийся на фоне гражданской войны тревожный образ “девушки из совпартшколы”, которая в его прозе то с болезненной тоской, то с ледяной решимостью сдаёт чекистам возлюбленного офицера — почти как Ирен из “Зимнего ветра”, выдохнувшая: “Убейте его, он изменник”.

Но неизбывное правило: если у Катаева повторяется некий образ, значит, во-первых, кто-то был, а во-вторых, кто-то зацепил.

По его признанию, втайне он был влюблён в сестру друга Юрия Олеси — Ванду, хотя и видел её мимоходом. И продолжал, со слов Олеси:

---

\* Журналист Константин Васильев исследовал её судьбу в статье “Римлянка-изгнанница” (журнал “Одесса”, № 2, 1997).

“В предсмертном бреду она часто произносила моё имя, даже звала меня к себе” (Ванда умерла в 1919-м от тифа).

А в будущем ждала любовь к сестре другого приятеля — Михаила Булгакова...

...Однажды в 1919 году одесская гимназистка заметила высокого молодого человека, бредущего по бульвару в красной феске и с букетом фиалок в петлице... Их познакомили.

*И там, вдалеке, у фонтана,  
Где дышится всем так легко,  
Впервые увидел вас, Анна  
Сергеевна Коваленко.*

Они поженятся в Москве в 24-м...

“Может быть, эта любовь — как и всё в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда”.

*Их очень много. Их — избыток.  
Их больше, чем душевных сил —  
Прелестных и полузабытых,  
Кого он думал, что любил.*

*Они его почти не помнят,  
И он почти не помнит их,  
Но, Боже! — сколько тёмных комнат  
И поцелуев неживых.*

*Какая мука дни и годы  
Носить постыдный жар в крови  
И быть невольником свободы,  
Не став невольником любви.*

## Наследники

В 1914-м — судьбоносном для России, вступившей в войну, — он познакомился с Буниным, ежегодно бывавшим в Одессе.

В этом месте сразу хотелось бы сказать о двух главных бунинских наследниках. Это Владимир Набоков и Валентин Катаев.

Идея, казалось бы, лежит на поверхности, но как мало и слабо она осмыслена в литературоведении...

Оба не просто были знакомы с Буниным и смиренно представляли ему на суд первые тексты, но и совпадали с ним в главном — верховенстве красок над остальным, внимании к детали, переживании брэнности бытия. Особый прищур: жадное всматривание в яркую жизнь на контрасте с тревожным ожиданием неизбежной черноты.

“Бунин учил меня видеть, слышать, нюхать, осязать”, — писал Катаев. Ученик наследовал учителю вплоть до мелочей: если у Ивана Алексеевича кончик сигареты краснел во тьме земляничной, у Валентина Петровича — ягодой малины.

В марте 1921-го юный Набоков отправил Бунину письмо с признанием в любви, и его жена Вера Муромцева сообщила в дневнике: “Книга Яну от Сирина. Мне понравилась надпись: “Великому мастеру от прилежного ученика”, он не боится быть учеником Яна, и, видимо, даже считает это достоинством”. “Дорогой учитель Иван Алексеевич”, — обращался Катаев в письмах к Бунину.

Набоков полагал, что нашёл родственного художника: Бунин острее других чувствовал разрушительную силу времени и был способен управиться с ней через искусство. Поздний Катаев твердил о своём открытии: времени не существует. Бунин: “Я не признаю деления литературы на стихи и прозу”. Набоков: “Поэзия включает всё творческое сочинительство; я никогда не мог уловить никакой родовой разницы между поэзией и художественной прозой”.

Катаев, по выражению Николая Асеева, “свои стихи превратил в прозу”, но и пошёл дальше, ломая жанры, не только свободно перемешивая прозу и поэзию, но и раскавычивая чужие строфы: “Я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды...”

“Я думаю, что, не будь меня, не было бы и Сирина”, — сказал Бунин о Набокове. “Бунин читал “Парус” вслух, восклицая — ну, кто ещё так может? — сказала Муромцева в 60-м катаевской жене Эстер. — Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева — дети” (то же учительское отношение: прекрасный текст, но автор — всё равно мальчик).

Набоков, отрицавший советскую литературу, сделал исключение для сюжета “12 стульев”, придуманного Катаевым (и Олешу похвалил в интервью рядом с Петровым и Ильфом, то есть “южнорусскую литературу”).

То, что Набоков не называл именно Катаева, но хвалил тех, кто рядом (“тепло!” — как в жмурках), можно объяснить соперничеством. То же самое писатель Анатолий Гладилин находил и у Катаева: “По густоте сравнений и метафор, по красочности и точности деталей он не уступал Набокову. Набокова, кстати сказать, Катаев не любил, но, думаю, это была “нелюбовь-ревность”, как не терпит сильный волк-вожак сильного волка-соперника в своей стае, на своей территории... Других соперников он себе не видел”.

А вот противоположное, но подтверждающее всю ту же мысль свидетельство сотрудника “Нового мира” Алексея Кондратовича из дневника 1969 года: “Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе: “Набоков, конечно, великий, величайший писатель”.

А по воспоминанию критика Сергея Чупринина, в 1971-м на совещании молодых литераторов после чьей-то реплики: “Валентин Петрович, согласитесь, вы же лучше всех пишете?” — скучающий мэтр оживился: “Нет, я второй. Писатель номер один — запомните! — и по складам: — На-бо-ков”.

Интересно, что 18 апреля 1974 года в “Правде”, в статье, посвящённой постановлению ЦК КПСС “О литературно-художественной критике”, литературовед Александр Дымшиц призывал к порядку: “Сближение советского писателя В. Катаева с декадентским зарубежным литератором эмигрантом Набоковым, безусловно, не ответственно”.

И Катаев, и Набоков повели эстетизм своего учителя дальше, оригинальными траекториями, на разных половинах земного шара.

Раньше, по юношеской дури, мне казалось, что Катаев — это Набоков для бедных: упрощённый, с отсечением неблагонадёжных мыслей, необходимостью потрафлять цензуре и пропаганде, некоторой журналистской поверхностностью, рассчитанной на “широкие массы”, с задиристой китчевостью, когда посреди собственной прозы можно сверкать строчками, вырванными из чужого стихотворения, труднодоступного советскому человеку.

Теперь я думаю по-другому.

Набоков — неподвижное бездонное озеро, Катаев — море, всегда наморщенное ветром.

Катаева от Набокова отличало присутствие в прозе ветра, который можно назвать “демократизмом”.

Биографии разные. Разный пульс. Катаев — это причастность к истории, вовлечённость в события, и действительно, удел сообщаться с тьмой читателей, завоевывая их. Набоковское присутствие в истории — судьба его отца-кадета. Катаева же история закрутила лично: войны, раны, стройки, необычайная близость власти и постоянная вероятность гибели — это вам не лекции читать с кафедры. Отсюда — косой ветер, который прорывался сквозь снобизм великолепной отделки, отсюда фирменные пробелы между кусками прозы и просто фразами: на этих пустых пространствах ветрено. Ветер морщит строчки.

## Бунин

Катаев сознавался: уже сочиняя стихи и даже печатаясь, он о Бунине ещё не знал. Но однажды в редакции “Одесских новостей” журналист Герцо-Виноградский, писавший фельетоны под псевдонимом “Лоэнгрин”, посо-

ветовал показать стихи Александру Фёдорову, после чего мальчик сообразил, что это отец его товарища Витьки, хваставшего, что “батька писатель”. Это тот самый Витька из “Весеннего звона”, на которого “наюдил” рассказчик (“— А кто твой папа? — Писатель”). Именно этот Витька потом чудом избежит расстрела в ЧК и станет героем “Вертера”. По другой версии, с Фёдоровым Валю познакомил собственный отец, знавший писателя и у него бывавший.

Так или иначе, Катаев посещал Фёдорова, благоговейно выслушивая советы и стихи.

Александр Митрофанович Фёдоров — признанный в столицах художник, прозаик, поэт, драматург, любимый ученик Майкова, к тому времени автор многотомного собрания сочинений, теперь забытый, но для Вали — важный человек на жизненном пути, первый настоящий писатель. Владелец роскошной дачи, собиравшей именитых гостей. Автор нашумевшего романа “Камни”, где ещё в 1910 году предсказывались революция, гибель царской семьи (семья помещика Лигина) и крах всей прежней России.

Фёдоров ошеломил Валу стихами Бунина... В “Грасском дневнике” любовница Бунина Галина Кузнецова приводила его слова: “Да, помню, как он первый раз пришел. Вошёл ко мне на балкон, представился: “Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам”. И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно”.

Бунин не отверг. Тетрадка заинтересовала...

Листая стихи юноши, учитель даже переделал одно из них, высокопарное:

*А в кувшине осенние цветы,  
Их спас поэт от раннего ненастья,  
И вот они — остатки красоты —  
Живут в мечтах утраченного счастья.*

Он перечеркнул строфу карандашом и набросал на полях другое четверостишие со скупыми деталями:

*А на столе осенние цветы.  
Их спас поэт в саду от ранней смерти.  
Этюдики. Помятые холсты.  
И чья-то шляпа на мольберте.*

“И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, — усмеялся Катаев в 60-е, — показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты”. После этой встречи он следовал полученным советам: “Бежит собака, пишите о собаке”, — старался описать всё вокруг, во всём, самом будничном, находя поэзию, и всюду горделиво показывал тетрадку с бунинской правкой.

У Фёдорова, где Бунин царил над кружком “реалистического толка”, Валя наблюдал шуточные состязания по меткости художественных образов (“что на что похоже”). Но одновременно почитывал столь отвратительные Бунину футуристические сборники (“Пощёчина общественному вкусу”, “Дохлая луна”, “Засахаре кры...”, “Садок судей”), с запозданием дошедшие до Одессы. Тем более что знакомые молодые поэты начали выпускать свои (“Шёлковые фонари”, “Серебряные трубы”, “Авто в облаках”).

Катаев любил Блока, но никак не мог принять модернистскую вычурность и “заумь”. “Мои сверстники вообще были страшными снобами. А я любил Никитина, Кольцова, ценил их. У нас дома этих поэтов знали наизусть и цитировали. Среди сверстников-леваков я был, по сути, одинок”.

В начале августа 1914-го Катаев обращался в письме с покаянной искренностью, как духовный сын к наставнику: “Многоуважаемый Иван Алексеевич! Ввиду того, что на этих днях я выезжаю из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий, очень прошу назначить мне обещанный “осенний” день и час, дабы я мог с вами проститься и узнать ваше мнение о моих последних 5-6 вещах, в которых нет ни одного слова лжи. Из рекомендован-

ных вами книг ни одной не прочёл по причине лени. Хотя надеюсь наверстать потерянное после окончания кампании... Уважающий Вас Валентин Катаев. Простите за беспокойство!”

Им ещё предстояли послевоенные встречи среди другой войны — гражданской.

Отныне и навек Бунин отпечатался на всей катаевской литературе... Бунинской эстетикой был проникнут пейзажный цикл, публиковавшийся с марта по август 1915-го в журнале “Весь мир” и “Одесском листке”.

*А дни текут унылой чередой,  
И каждый день вокруг одно и то же:  
Баштаны, степь, к полудню — пыль и зной.  
Пошли нам дождь, пошли нам тучи, Боже!*

Это из стихотворения с подзаголовком “Посвящается Ив. Бунину”.

А в “Южной мысли” от 10 апреля 1916-го уже проступила тонкая ирония — имя учителя шло через запятую с нелюбезным ему символистом:

*А дома — чай и добровольный плен.  
Сонет, набросанный в тетрадке накануне,  
Так, начерно... Задумчивый Верлен,  
Певучий Блок да одинокий Бунин...*

Впрочем, ирония ли это или нежелание принимать разделения настоящей литературы на направления? Ведь и Олеша, своими вкусами похожий на Катаева, вспоминал: “Восхищение наше Буниным или Александром Блоком было чистым...”

Кстати, с Буниным Олешу познакомил Катаев: “Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое — я и Катаев; поскольку мы куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг... И вдруг подошёл третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.

— Познакомься, Юра, — сказал Катаев и затем добавил, характеризую меня тому, с кем знакомил: — Это тот поэт, о котором я вам говорил.

Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это”.

В 1915-м Олеша посвятил другу стихотворение “В степи”, по собственному и Катаева определению написанное “под Бунина”:

*Иду в степи под золотым закатом...  
Как хорошо здесь! Весь простор — румян,  
И всё в огне, а по далёким хатам  
Ползёт, дымясь, сиреневый туман...*

Но другу предстоял другой огонь — артиллерии, и другой туман — газовой атаки...

## Первая война

Итак, уже в августе 1914-го Катаев собирался ехать на войну с санитарным поездом.

Осенью с другими гимназистами он убирал хлеб в солдатских семьях, оставшихся без хозяев. Составлял поэтический альманах в пользу раненых (и под присланным стихотворением впервые увидел имя Олеси).

Зимой, в конце 1915 года, провалив экзамены, добровольцем (или как тогда говорили — охотником) ушёл воевать.

“Выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один вы-

ход”, — признавался Катаев. И всё же: “Хотел я себя представить молодым патриотом... И, если будет угодно Богу, умереть за веру, царя и отечество”.

Война жадно забирала молодых. В письме Бунину от 14 марта 1916 года Александр Фёдоров, сообщая о сыне Вите, подлежавшем призыву, добавлял: “Лучшие его товарищи также пошли на это крестное страдание. Помнишь ты поэта Катаева? Он пошёл из седьмого класса гимназии охотником в артиллерию. Теперь сражается”.

В повести “Отец” лирический герой Петя Синайский отправляется в канцелярию воинского начальства с бьющимся сердцем и выстраданной заготовленной фразой: “Полковник, в то время, когда тысячи людей умирают на войне за родину, я не могу оставаться в тылу. Прошу немедленно отправить меня добровольцем на фронт!”

В конце 70-х Катаев вспоминал, как вылезал из землянки и прогуливался вдоль старых, “кутузовских” берёз, обвешанных солдатскими котелками: “И мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за её целостность, за её славу, за Чёрное море, за Кавказ... Всё вокруг меня дышало русской историей”.

Как сказано выше, его взял под свою опеку отец Ирен, генерал-майор Алексинский. Из “Послужного списка” следует, что вольноопределяющийся I-го разряда вступил в службу в I батарею 64 артиллерийской бригады I (14) января 1916 года.

Валентин начал службу в лесу под небольшим, разбитым снарядами белорусским городом Сморгонь младшим чином на артиллерийской батарее — канониром, затем получил нашивки бомбардира, затем — младшего фейерверкера, через год был произведён в прапорщики. В письме Александру Фёдорову (с припиской “Если Бунин в Одессе — Привет”), который вскоре сам отправился на войну корреспондентом, он писал: “С самого моего приезда на фронт попал в такие переплёты, что не дай Боже!”

У солдат сложилась поговорка: “Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал”. Впервые за время долгого отступления русских армий немцы были остановлены именно здесь и сдерживались более двух лет. В боях под Сморгонью принимал участие штабс-капитан 16-го Менгрельского гренадерского полка Михаил Зоценко.

Катаев не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, поселился с солдатами, испытав все тяготы их быта.

Он не забывал и литературу — стихи, рассказы, очерки, пылкие письма с лирическими отступлениями. Позиционное ведение боевых действий этому способствовало. Хотя опасность подстерегала повсюду, и смерти случались там и тут. Однажды он прохаживался с обнажённым “бебутом” (чем-то вроде длинного кинжала). Взобрался на вершину бугра, чтобы лучше видеть волшебный снежный пейзаж, и тут засвистели над головой немецкие пули. Канонир кубарем скатился вниз. “Это было моё боевое крещение”.

Ирен и её сёстры отдали ему не все письма (соответственно, не все оказались собраны и переосмыслены в “Юношеском романе”). Кое-что обнаружено в архиве Одессы. Например, вот это: карандашом, быстрым почерком: “22 января 1916 года. Действующая армия. Когда я получил Ваше маленькое славное письмо, ей-богу, был рад, как ребёнок. Получил я его вечером. В окопе очень темно, и поэтому прочитал я его кое-как. Насилу дождался утра. Утром пошёл бродить подальше от землянок, чтобы остаться с Вашим письмом наедине. Подождите, лучше стихами...”

*Мне было странно, что война,  
Что каждый день — возможность смерти,  
Когда на свете ты одна  
Да ломкий почерк на конверте...*

Сейчас мы на передовых позициях, а я со своим взводом за версту от немцев. Летают пули, над головой рвутся гранаты. Пустяки, привык. Буду хлопотать об отпуске на Пасху в Одессу...”



При содействии генеральской дочки он провёл пасхальную неделю дома. И снова был фронт, где он не мог ни на минуту отлучиться от орудия без разрешения, и был рад, когда получал приказ от начальства отправиться куда-нибудь по делу, — тогда он шёл, весело размахивая руками, то и дело вглядываясь и внюхиваясь в душистое письмо барышни...

Корреспонденции с фронта, иногда в виде “писем к И. А.” Катаев публиковал в газете “Южная мысль”. Он старался передать фронтовой быт в мельчайших подробностях, не забывая делать акцент на положительных сведениях. “Наша техническая подготовка — безукоризненна”. За пять верст от позиции — лавочка, солдаты шествуют оттуда “счастливые, нагруженные сахаром, булками, салом”. “Против лавочки — баня. Возле неё постоянно — группы землячков со свёртками белья подмышками”. Отдельно отмечал он “деятельность экономических лавок, питательных пунктов и санитарных поездов В. М. Пуришкевича” — “их значение очень велико”.

Катаев наперекор аду в каждом тексте упражнялся в изобразительности — много описаний природы, а звуки войны художественно поданы: пальба, как будто “кто-то хлопает дверью или выбивает ковры”, “вдалеке постукивает пулемёт, словно кто рубит котлеты”, “ружейная стрельба, издали похожая на шум осеннего моря”.

“По вечерам у нас — музыка и танцы. Играют на гармонике, скрипке и... лавровом листике”. Это солдат “засунул в рот лавровый лист и извлекает из себя тонкие, жалобные звуки”. “Землячки” научились красить белые рубахи в “великолепный защитный цвет”: их бросают в котел с кипящей водой “с сочной болотной травой, берёзовыми листьями и т. д.”. Служба и причастие — “как-то странно: орудие и возле него алтарь, икона и священник с крестом”. Огромный сибиряк Горбунов стирает бельё за обучение грамоте. Херсонский моряк Колыхаев учится писать письма “благоверной и благочестивой жене”. Катаев читает вслух классику: “Что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой”. Общаться по душам было не с кем: симпатизируя солдатам, он тем не менее чувствовал себя чужим. “Наша землянка похожа на погреб... Теснота ужасная, кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, который зимует в норе... Я всё боюсь, чтобы нас не открыли с аэростата и не стерли с лица земли... Хочется женской ласки...”

“И представляешь себе так живо провинциальную гимназистку с толстыми русыми косами и голубыми глазами...”

А вот — о ранении орудийного наводчика. “Оттого, что серый день глядит скупо в маленькое окошечко, на веках у раненого лежит зеленоватый свет. У фельдшера в руках таз с окровавленной водой. Живот у Стародубца забинтован. Возле двери — молоденький офицер, начальник Стародубца. Он смотрит на него большими, умоляющими глазами и говорит взволнованно и тревожно:

— Стародубец... Стародубец... Стародубец...

Словно хочет разбудить его...”

В старости Катаев напишет о том, что не могла пропустить цензура: наводчика погубил разрыв своего же бракованного снаряда, и вокруг шушукались об измене.

Он хвалился тем, что его батарею доверили охранять авиационный отряд. “Аппарат “Илья Муромец”! Ведь это наша национальная гордость”. Ему довелось увидеть “аппарат” в действии: “Прямо у меня над головой, в зените: чёрная распластанная птица, похожая на крест.

— “Муромец”!

Какой огромный! Как спокойно и быстро идёт”.

Из другого сообщения про “будни”: “Осколки гранат срезают стройные, кружевные сучья берёз, которые валятся с макушек к моим ногам... Сперва жутко. Потом... тоже жутко... Попадаю сапогом в лужу крови”.

Та война нашла место в его прозе разных лет. Вот, например, рассказ “Под Сморгонью” 39-го: “Несколько сот десятипудовых снарядов превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками, клумбами и дорожками, в совершенно чёрное, волнистое, вспаханное поле”.

В корреспонденциях Катаева из циклов “Наши будни” и “Письма оттуда” — отвага и душевность батарейцев с их подлинными биографиями и фамилиями. Фронтовые стихи выходили в петроградском журнале “Весь мир”:

*Ночной пожар зловеющий отблеск льёт.  
И в шуме боя, чёткий и печальный,  
Стучит, как швейная машинка, пулемёт  
И строчит саван погребальный.*

Несмотря на всё горе, Катаева не оставлял патриотический настрой, так что Фёдоров воодушевленно писал ему весной 1916-го: “С волнением читали мы последнее Ваше письмо. Да, чувствуется, слава Богу, что теперь мы будем давить немцев и, Бог даст, раздавим их”.

Война обострила в Катаеве ощущение единственности: постоянно испытывая страх смерти и даже ужас, он, тем не менее, был уверен в своей неуязвимости, заговорённости, подозревал себя в бессмертии; ему казалось, что это он накликнул войну, как-то таинственно ответственен за эту бойню. Впоследствии он повторял, что на войне потерял веру.

Именно в его военных рассказах и зарисовках возник мотив, который не отсутствует его никогда: трагичность реальности, словно людскими судьбами жонглирует адский клоун. В коротком фронтовом рассказе “Земляки” 1916 года в избе с больными и ранеными солдатами один из них с ежовой головой хвастается, как его любят бабы, и сочно описывает доставшуюся ему в отпуске солдатку, истосковавшуюся по мужчине, и тут оказывается, что один из раненых, тифозный и обмотанный бинтами, — её муж. “Испить бы, — прошептал обмотанный”, — которому не до ревности, ведь он едва жив.

Вспоминая кровавую картину, Катаев повторял: “Осадок остался на всю жизнь”, — и спустя десятилетия мог застонать. “Кажется, что я весь, с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть”.

22 мая 1916 года русские ринулись в наступление на Юго-Западном фронте — знаменитый Брусиловский прорыв, после которого стратегическая инициатива перешла к “союзникам”. Вражеские удары под Сморгонью, на Западном фронте стали злее.

В ночь на 20 июня немцы выпустили отравляющие газы в сторону русских позиций. В “Южной мысли”, в очерке “Удушливые газы”, Катаев писал: “Все имеют нелепый, смешной вид и похожи на водолазов. Крутят головами и таращат друг на друга большие от очков глаза. Тишина, в виски стучит. В дверь начинает входить редкий-редкий зеленовато-жёлтый туман.

Мысль-молния:

— Газ... Это — газ”.

А вот уже приходится спасать солдата по прозвищу “Старик”, намочив в чайнике изношенную портянку и набросив ему на лицо. Батарея палит, все задыхаются, теряя сознание и рассудок.

Ровно через месяц противник повторил газовую атаку. Тогда отравился газами Михаил Зоценко, получив порок сердца.

Катаев вспоминал, как, будучи дневальным, бросился в блиндаж, и пока будил батарейцев, наглотался фосгена: “Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в лёгких кинжальная боль. В висках оглушительный шум... Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного... Я делаю усилие, стараюсь улыбнуться, дать понять, что я жив ещё, и в тот же миг лечу в пропасть небытия”.

Его доставили в лазарет. К счастью, лёгкие не пострадали, были зады бронхи.

“Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казённой камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете”.

От фосгена голос Катаева навсегда приобрел надтреснутую хрипотцу.

С августа по ноябрь 1916-го Катаев с артиллерийской бригадой пробыл на румынском фронте. Сначала были запутанные странствия: их погрузили в эшелон на станции Столбцы. Прибыли в Буковину, убеждённые, что их направят в Брусилловский прорыв. Форсированный марш до Галиции. Недавно занятые русскими города Черновцы, Коломыя. Неожиданно бригаду развернули и эшеленом привезли в родную ему Новороссию, запахло близостью дома и моря: Жмеринка, Раздельная... Потом Тирасполь. Город Рени на берегу Дуная. Оттуда (так устроила Ирен) Катаева на пять суток командировали в Одессу. 14 августа Румыния, вдохновлённая успехами генерала Брусилова, объявила войну Австро-Венгрии, и Катаев устремился обратно — догонять свою бригаду. После двухдневного путешествия на барже по Дунаю прибыл в город Чернаводэ. И, наконец, поездом — в город Меджидие. И далее — к самой границе с Болгарией, в Южную Добруджу, где развернулись военные действия. “Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев-славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах...”

Отравив чудовищными сценами, война пробудила в нём поэтику беспощадности: “Сербы дерутся как львы!.. Пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!”

Вскоре бригада, где находился Катаев, попала в окружение к немецкой армии Августа фон Макензена (германского генерал-фельдмаршала, дожившего до 95 лет и обласканного Гитлером). У немцев было значительное превосходство в силах. В очерке “Из Румынии” Катаев писал: “Этот ад продолжается двое суток, и мы в течение их не отдали ни одной пяди земли, хотя неприятеля было вчетверо больше нас... Сейчас, стоит лишь мне зажмурить глаза, я отчётливо представляю себе поле, широко видимое сквозь стекла “цейса”, и отовсюду, из-за каждого бугра, из-за каждой неровности местности — идущие густой чёрной массой неприятельские колонны”. И всё же пришлось поспешно отходить...

Наши войска закрепились на Траяновом валу между городами Меджидие и Констанцей. Катаев был телефонистом при офицере-наблюдателе. Под непрерывным обстрелом он десятки раз полз из окопчика вдоль телефонного шнура, чтобы соединить концы провода.

Новое отступление. Катаев не смог догнать свою батарею с телефонистом-напарником. Они скитались одиннадцать дней. Тогда в октябре 1916-го Добруджа была потеряна... В портовом городе Браила на реке Дунай в кабинете генерала Алексинского (главного начальника снабжения Румынского фронта) он доложил военному начальству обо всех подробностях бегства. По его воспоминаниям, за “мужество при обороне” Траянова вала он был представлен к солдатскому Георгию четвёртой степени. Догнав свою батарею, он попал в новый кошмар — разрывались новейшие тяжёлые снаряды-“крякалки”, накатывала пехота неприятеля. Катаев самовольно заменил раненого наводчика и принялся из трёхдвоймовки бить по немецким цепям. Тогда же он был контужен. И вновь — отступление.

Писатель Марк Ефетов вспоминал о гимназии, где какое-то время его учителем был отец Вали Катаева, уже известного благодаря местной прессе “героя сражений”, которыми “мальчишки бредили”. Когда “герой сражений” вернулся с фронта, Марик был счастлив пожать ему руку и с ним поговорить.

В декабре 1916-го Катаев был откомандирован в Одесское пехотное училище (просил Ирен “похатайствовать” об этом перед отцом). Он понимал, что лишается возможности стать артиллерийским офицером и сделается пехотным прапорщиком, но война замучила, требовалась передышка.

7 декабря его приняли на сокращённый четырёхмесячный курс. О заставшей в училище Февральской революции — “Барабан” с подзаголовком “Записки юнкера, революционный рассказ”\*. Это же училище в 1917-м столь же ускоренным выпуском закончил Лев Славин, через несколько лет вошедший в одесский “Коллектив поэтов”, а впоследствии — советский драматург и сценарист, всю жизнь друживший с Катаевым.

---

\* Опубликовано в журнале “Весь мир” в августе 1917-го.

Описывая нахлынувшую революцию, Катаев говорил: “Было сумбурно и весело”. Начальник училища собрал их и прочёл два манифеста — об отречении Николая и Михаила. “Мы были так взволнованны, что никто не спал. Офицеры не знали, как им быть”. Мгновенная перемена произошла со вчерашними верными слугами престола, которые стали всех называть “товарищи”. И вот — Валя с барабаном шагает впереди батальона: “...мы влились в бесконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек”. Он был опьянен до головокружения уличным шествием, словно языческим хороводом, и тогда же написал “Сонет свободе” в одесском журнале “Бомба”:

*Идти — и чувствовать, что за тобой народ,  
Что каждый — друг и преданный товарищ,  
Что мы идём сквозь чад и дым пожарниц  
К чему-то тихому и светлому вперёд.  
Идём вперёд, вперёд. И “Марсельеза”  
Гремит в ушах, как вольный лязг железа.*

Но он же вскоре в той же “Бомбе” пародировал изготовление “революционного рассказа” (напророчив себе то, чему придётся отдавать дань почти всю жизнь):

*В 140 строчек “баррикад”  
Влить строчек 10 “Марсельезы”.  
Взболтать. Прибавить “грустный взгляд”,  
По вкусу “грохот ми ральезы”\*,*

*15 строчек про “неё” —  
Курсистку, 8 — про студента,  
13 строчек — про “него”,  
“Свободного интеллигента”.*

*Затем “толпу”, “плакаты”, “мглу”  
В “победу над врагом” вмешайте,  
На керосинку!.. — И к столу  
В горячем виде подавайте!*

В день Февральской революции в Одессе произошли оползни — Катаев вспоминал, что единственным поврежденным зданием было их училище: трещина расколола бюст государя императора.

1 апреля 1917 года “отправился по назначению”, то есть вновь на войну. Опять на “румфронт”.

Постоянные перемещения: 9 апреля прибыл из штаба Одесского военного округа и зачислен в списки 46-го пехотного запасного полка младшим офицером 3-й роты, 6 июня назначен командиром очередной № 196 роты пополнения и убыл с ней в распоряжение командира 5-го запасного полка...

Дальнейшее не напечатано на машинке, а уже вписано от руки...

28 июня 1917 года прибыл и зачислен в списки 57 пехотного Модлинского полка младшим офицером в 7 роту. 11 июля 1917 года ранен. Его ранило в предгорье Карпат в “керенском” наступлении — последнем для России в Первой мировой. “Через три-четыре часа после начала сражения это был совершенный ад. Мне повезло, ранило одним из первых. Я был офицером связи по координации пехотной и артиллерийской деятельности. Дивизия понесла страшные потери”.

Сначала он потерял сознание от взрыва и, очнувшись, решил, что пронесло, но потом увидел почерневший от крови карман бриджей. Расстегнувшись, ужаснулся виду своей пробитой осколком ляжки и обилию крови...

А вот стихи того же 1917-го под названием “Ранение”:

---

\* То есть пулемёта.

*От взрыва пахнет жжёным гребнем.  
Лежу в крови. К земле приник.  
Протяжно за далёким гребнем  
Несётся стоголосый крик.*

*Несут. И вдалеке от боя  
Уж я предчувствую вдали  
Тебя, и небо голубое,  
И в тихом море корабли.*

“Я неоднократно видел след этого ранения, — вспоминает его сын. — Две давно уже заживших, но навсегда оставшихся глубокими “вмятины” от влетевшего и вылетевшего осколка в верхней части правого бедра в опасной близости от детородного органа. Рассказывая о своём ранении и показывая его, отец вовсе не драматизировал ситуацию, то есть относился к происшедшему с полным спокойствием, словно бы верил в свою неуязвимость”.

Внучка Катаева Тина рассказала мне, что в 60-м в Париже по настоянию жены Эстер он дал руку погадать турчанке. Та, к их удивлению, сразу упомянула ранение, в точности указав ту треть бедра, которую прошил осколок, и добавила, что видит на его груди золотую звезду. До Героя Соцтруда оставались ещё долгие годы... По словам Тины, когда дед это пересказывал, у него было лукаво-задумчивое и даже блудливое лицо.

Здесь же приведем ещё одно предсказание. В 1955-м в Шанхае на рынке “Храм мэра города” он вытянул у старой китайки гадательную палочку, к которой прилагалась свёрнутая бумажка, где было написано: “Феникс поёт перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках”.

“Керенское” наступление, поначалу успешное, захлебнулось из-за массового нежелания воевать. Возвращаясь с фронта, Катаев наблюдал разложение и бунт солдат. Он отмечал работу “солдатского телеграфа”, передававшего недовольство войной и властью. В “Юношеском романе” другой вольноопределяющийся чеканит по поводу настроений серошинельных “мужиков”: “Е..ли они Государственную Думу!” (интересно, что слово с точками стоит и в советском издании, этому писателю было позволено больше других. К примеру — писать о “нимфетках”, отсылая к “Лолите”, в “Алмазном венце”).

В повести “Зимний ветер” Петю Бачея, в котором хорошо узнаваем автор, после ранения (совпадающего с катаевским) на станции Яссы чуть не расстреляли корниловцы. Он бросился из лазарета к коменданту, требуя поскорее отправить в тыл, чем вызвал у того бешенство, да ещё и силло прокричал в толпе солдат: “Нас почему-то держат здесь, и мы, того и гляди, попадём к немцам в плен”. Ночью Бачея арестовали, заперли, но на рассвете толпа солдат освободила своих товарищей, а заодно и его.

На мой вопрос, действительно ли у Катаева случился конфликт с военным начальством, и он попал в переделку, его сын Павел ответил: “В данном случае почти уверен, что что-то было, — запомнил ощущение большой опасности, может быть, смертельной”.

К тому времени Катаеву осточертело воевать, а за шумную “антивоенную” речь и в самом деле могли “коцнуть”.

Но вполне вероятно, что он едва избежал не корниловской расправы, а солдатского самосуда, ведь, как сказано в другом месте: “Всякий раз, когда Пете приходилось пробираться сквозь толпу среди настроженных, пронзительных солдатских глаз, которые с грубым недоверием провожали не по времени нарядного офицера, он чувствовал себя хуже, чем если бы ему пришлось идти через весь город голым”, а возлюбленная героя сообщает ему о своём отце-генерале: “Полное разложение. Солдатня совсем взбесилась... Вытащили из вагона и чуть не растерзали. Он насилу вырвался”.

В 1942 году по дороге в эвакуацию Катаев со свойственной ему откровенностью и показной самоиронией рассказал попутчику — литературоведу Валерию Кирпотину — о том, как пытался спастись во время Первой мировой (нашёл время для рассказа!).

“Хоть бы заболеть”, — постоянно тенькало у него в голове. И вот холодной предосенней ночью он решил искупаться в ручье. Долго купался и лежал в студёной воде. И хоть бы что — на следующий день чувствовал себя необыкновенно окрепшим и бодрым”.

Пересказ Кирпотина переключается с эпизодом из “Юношеского романа”, когда двойник автора, Саша Пчёлкин, леденит себя в ночной воде лимана, надеясь на воспаление лёгких: “Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души”.

Раненный в бедро, Катаев вновь оказался в Одессе, где пролежал в госпитале до ноября. Там он не забывал писать, например, любовные “Три сонета” Ирен Алексинской и рассказ о фронте “Ночью”, отправленный в журнал “Весь мир”, но запрещённый цензурой Временного правительства: “Красота, красота!.. Неужели же и эту дрянь, вот всё это — эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость — через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет её как-нибудь там... “Четырнадцатый год”... что ли! Какая ложь!”

Ему был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и был демобилизован прапорщиком.

После ранения приказом по IV армии от 5 сентября 1917 года № 5247 он был награждён орденом Святой Анны IV степени (“Анна за храбрость” — шашка с красной лентой темляка, которую называли “кляквой”) и обрёл личное дворянство, не передающееся по наследству.

Двух солдатских Георгиевских крестов, которые он упоминал в “Послужном списке”, нет, но не факт, что Катаев присочинил (Анна всяко намного круче): нарастала смута, что-то вписывали от руки, что-то из бумаг могло утратиться, наконец, представить к Георгию — не всегда означало его дать...

Спустя шестьдесят лет Катаев вспоминал ощущение “измены, трусости и обмана” поздней осенью 1917-го: “Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна конгузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее, мне было грустно. Я нанял извозчика и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерibasовской и Екатерининской, возле дома Вагнера кушил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги...” В те дни, когда большевики брали Зимний, а вместе с ним и всю власть, и вели переговоры с Германией “о мире”, Катаев чувствовал “унижение от демобилизации и горечь военного поражения”. “Даже любовь меня не радовала”, — добавлял он.

Осенью 17-го он стрелялся на дуэли.

По утверждению одесского исследователя Феликса Каменецкого, это была последняя в городе дуэль, а вызвал на неё Катаева поэт (будущий эмигрант) Александр Соколовский за “оскорбление женщины”.

Стрелялись на пистолетах ранним утром на Ланжероне. До первой крови. Якобы третьим выстрелом Катаев был легко ранен. И дуэлянты отправились обмывать событие. Следов ранения, если оно и было, не осталось, по крайней мере, сын Катаева ничего такого не видел. Но вот следы самой дуэли есть в разных текстах. У поэта Леонида Ласка из объединения “Бронзовый гонг” (враждебного катаевской “Зелёной лампе”) в их журнале “Бомба” вышла серия эпиграмм “Бескровная дуэль”, где к Катаеву он обращался так: “...Плети венки стихов твоей Прекрасной Даме, / Выдумывай бескровные дуэли для рекламы...” А в беллетризованных мемуарах “Чёрный погон” одессита Георгия Шенгели читаем: “Сашок Красовский в прошлом году с Отлетаевым нарочно дуэль сочинили, чтобы прославиться. И хотя и стрелялись — всё равно никто не поверил”.

Павел Катаев рассказывает: “Всё было устроено как перформанс (выражаясь по-теперешнему), так я понял со слов отца”.

А может быть, Катаев просто не мог потерять лицо и отвергнуть вызов, брошенный Соколовским?

Игра игрой, но, как знать, уклонись пуля на миллиметр, вся история жизни Валентина Петровича обрушилась бы тогда, осенью 17-го на Ланжероне, где он лежал бы неживой у самого Чёрного моря.

*(Продолжение следует)*

АНДРЕЙ ФУРСОВ

## РУСОФОБИЯ — ПСИХОИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ЗАПАДА

### I

Конференция на тему “Русофобия” в нашей ситуации запоздала как минимум на четверть века. Я говорю “в нашей”, имея в виду следующее. Последние три-четыре года наглядно продемонстрировали всем – кто не слеп, тот видит, – что Запад останется врагом России независимо от того, какой у нас будет строй, вот и американские военные уже заговорили о том, что отношения США и России останутся конфронтационными даже после ухода Путина. Ну, а министр обороны Германии, мать семи детей, 22 июня 2015 года сделала заявление о том, что с Россией нужно вести дела с позиции силы. Дата заявления выбрана, по-видимому, не случайно. Госпожа министр забыла, чем закончилась попытка её соплеменника и создателя первого варианта объединённой Европы начать 22 июня 1941 года разговор с Россией с позиции силы. Забыла красный флаг над рейхстагом?

Повторю, конференция запоздала, но лучше поздно, чем никогда, хотя потеря времени, темпа, как сказали бы шахматисты, налицо. Ясность всегда нужна, особенно нужна ясность по поводу исторических противников, а по-просту говоря – врагов. Ослабление и подчинение России, стирание идентичности русских как державообразующего народа с целью установления контроля над русскими ресурсами и пространством (значение и ценность последнего возрастает по мере роста угрозы геоклиматической катастрофы) – давняя цель правящих групп Запада. В систематическом виде эта цель была сформулирована в последней трети XVI века в католической (Габсбурги) и протестантской (Англия, Джон Ди) версиях.

Стремление подчинить огромную территорию, разрушить контролирующее её государство и покорить, сломить государствообразующий народ обособивалось якобы враждебным по отношению к европейцам характером государства и народа России, их агрессивностью – мнимыми, разумеется: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. Особый акцент при этом делался на

---

*ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета; директор Института системно-стратегического анализа; зав. отделом ИНИОН РАН; автор 400 публикаций, включая 11 монографий; член Союза писателей России.*

конфессиональную инаковость русских – их Православие. Вплоть до 1820-х годов акцентирование инаковости русских по отношению к западноевропейцам носило преимущественно религиозный характер, хотя имела место и национальная, а точнее, этническая составляющая. С 1820-х годов ситуация изменилась: на первый план в информационно-психологической (психоисторической) войне против России вышла этноисторическая, национально-культурная и государственно-политическая составляющие, то есть оформляется русофобия в строгом смысле слова. Собственно, можно сказать, что с выходом этих составляющих, то есть русофобии, на первый план и начинается всерьёз психоисторическая война Запада против России. Это – качественный сдвиг, однако, прежде чем говорить о нём, следует определить, что имеется в виду под терминами “психоисторическая война” и “русофобия”.

## II

Психоисторическая война – это комплекс систематических, целенаправленных и долгосрочных действий, цель которых – установление контроля над психосферой общества-мишени, прежде всего, над психосферой его властной и интеллектуальной элиты с постепенным выходом за рамки первичных целевых групп воздействия и последующим стиранием атакуемой психосферы и замещением её своей.

Основные сферы (“фронты”) ведения психоисторической войны – образование, обществоведческая наука, СМИ (последние точнее называть СМРАД – средства массовой рекламы, агитации и дезинформации), рассчитанные на слабоумных, пускающих слюни восторга от лицемерия салонных дебилов, которые обсуждают то, о чём якобы “все говорят”, а по вечерам ещё и “типа шутят”.

Транснациональные СМРАД с формальной государственной привязкой стремятся представить Россию, существующий в ней властный режим, его главного персонификатора чуть ли не врагом человечества № 1. Ясно, что уже в конце XX века журналистика (как обычная, так и телевизионная) деградировала, изжив себя, и из профессии превратилась в занятие; ясно также, что западный обыватель равнодушен и верит своим СМРАД; ясно, что “пятая колонна” в РФ исполняет свой стриптиз, прежде всего, для внешнего потребителя, отрабатывая чужеземные сребреники, загранпоездки, награды; ясно, что спорить с ними бессмысленно. И, тем не менее, хочется спросить: если с 1991 года по наши дни по миру прокатилось больше войн, чем в 1945-1950–1991 годы, если все они так или иначе были организованы Западом, то при чём здесь Россия?

За всеми липовыми обвинениями западной верхушки в адрес России скрывается, если счистить шелуху, страх перед единственной незападной страной, которая не просто не легла под капиталистический Запад в качестве колонии или полуколонии, не только успешно сопротивлялась ему, но в течение четырёх столетий наносила ему поражения, а в XX веке создала альтернативную капитализму мировую систему – системный антикапитализм. Русские – не Запад, но в то же время европейцы (другие европейцы) создали альтернативную западной европейскую же культуру, основанную на русских ценностях. Кто-то верно заметил, что если героев западных писателей первого ряда (Бальзак, Диккенс, Золя) волнуют деньги и карьера, то героев русских писателей первого ряда (Толстой, Достоевский) занимает смысл жизни, вопросы нравственности. Россия – это другая христианская Европа, нежели Запад, другая Европа, распространившаяся на всю Северную Евразию и живущая по своим правилам, и уже тем самым неприятная Западу – и неприемлемая. Отсюда – агрессивная русофобия как важнейшее оружие психоисторической войны против России.

Основные уровни ведения психоисторической войны – информационный, концептуальный, метафизический (смысловой). На информационном – простейшем – уровне происходит искажение фактов; концептуальный уровень – это интерпретация и пакетирование информации (“фактов”, которые в случае ложной интерпретации превращаются в фальшь-факты) определённым образом, навязывающим объекту воздействия выгодное субъекту видение; метафизический (смысловой) уровень – это высший пилотаж психоисторической войны, здесь происходит главное: уничтожение смыслов, характерных для



объекта воздействия (“мишени”) и подмена их чужими с целью лишить “мишень” её метафизики и воли к сопротивлению.

Одной из линий, проходящей сквозь все три уровня, является создание негативного образа “мишени” и — программа-максимум — внедрение его в доминирующие группы общества-мишени (автофобия, ненависть к своему, к самим себе — приязнь к чужому). Их стараются приучить к мысли, что они якобы почти свои, почти европейцы/американцы в глазах Запада; надо только чуть-чуть постараться и избавиться от “почти” — если не возненавидеть, то презирать свою страну и сдать её Западу, превратившись в нечто вроде старост при оккупационном режиме. Конкретный пример автофобии — русофобия. Русофобия как идея — это неприязнь (вплоть до ненависти) к русским как к таковым, к русскости как историческому типу и опыту, к его носителям — их идентичности, истории, ценностям, психотипу, образу мысли, жизнебыту. Русофобия как практика — это комплекс действий (информационных, экономических, политических и других), имеющих своей целью принижение и подавление русскости как психоисторического комплекса. Русофобия как стратегия — это стремление установить контроль над русскими как особой этно-исторической державообразующей целостностью с последующим уничтожением, стиранием их из истории, растворением в других народах.

Не редкость и практическая реализация русофобии. В широком масштабе крайние формы этого продемонстрировали нацисты во время Великой Отечественной войны; в наши дни симпатизирующие нацистам власти стран Прибалтики и Украины с молчаливого согласия, если не одобрения, Евросоюза и США реализуют русофобию в виде дискриминации русских в этих странах. На уровне пропаганды оголтелая русофобия характеризует действия представителей политической и медийной сфер Запада в последние несколько лет. По своему накалу это превосходит антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду времён холодной войны; тогда если и затрагивали русских, то косвенно, более или менее завуалированно, — удары наносились по коммунизму, по советской системе, по коммунистической идеологии.

Впрочем, кукловоды и их служба прекрасно отдавали себе отчёт: борьба ведётся хоть и против советской, но России. Открыто и ясно об этом в конце 1990-х годов высказался Збигнев Бжезинский в интервью парижскому журналу *Le nouvel observateur*. На вопрос о борьбе Запада и, в частности, США с коммунизмом Бжезинский ответил в том смысле, что не надо себя обманывать: мы (Запад) “боролись не с коммунизмом, а с Россией, как бы она ни называлась”. Показательно, что этот подход своих хозяев чётко усвоил один из “прорабов перестройки” А. Н. Яковлев: в одном из последних интервью он заявил, что перестройкой её агенты ломали не только Советский Союз, но всю тысячелетнюю модель русской истории. В обоих случаях (Бжезинский и Яковлев) мы имеем дело с русофобией в её практической реализации.

Здесь важно отметить, что советофобия есть всего лишь скрытая, завуалированная форма русофобии. И сколько бы ни пытались иные хулители советского прошлого обосновать свою позицию исконно русским патриотизмом, Православием, величием Российской империи, которую как нечто положительное противопоставляют Советскому Союзу (МФБ-комплекс: монархизм, феврализм, белогвардейщина как позитив отечественной истории), неприятием сталинизма и т. п., реально их хула носит русофобский характер. СССР — это во многих отношениях цивилизационный пик русского развития: это реальный русский модерн; это реальное развитие; это мировая фаза русской истории; наконец, это единственная в истории социальная система, в основе которой центральная русская ценность — социальная справедливость.

Враги России, русофобы, как за рубежом, так и в самой РФ, прекрасно это понимают: советофобская кампания, очернение советского прошлого, советских достижений, советских побед — это удар по России, по русскому “короткому XX веку” (1917–1991), доказавшему историческую состоятельность, победительность русскости именно в её советской форме. Не случайно значительную роль в развитии русофобии на Западе и, в частности, в США сыграло советологическое экспертное сообщество. Немало его представителей работало в разное время в различных администрациях США. Среди этих людей хватало людей из Восточной Европы или их потомков — поляки, чехи, евреи, украинцы, румыны и т. д. Как правило, все они, будь то Збигнев Бжезинский или Пола Добрянски (дочь бандеровцы-руссофоба, подвизавшаяся

в администрации Буша-младшего), Вулфовиц или Перл – имя им легион – ненавидели СССР именно как могучую форму исторической России. Отпечаток этой ненависти лёг на советологические штудии – не на все, разумеется, немало было серьёзных и интересных работ, а среди выходцев из Западной Европы далеко не все были ненавистниками СССР/России. Но... тенденция, однако.

С разрушением СССР советологи, казалось, останутся без работы, но они быстро перекавалифицировались из “кремленологов”, в специалистов по постсоветскому Кремлю. А ненависть осталась, причём теперь её не надо было прятать в антикоммунистические одежды. С каждой новой администрацией после Буша-старшего таких экспертов в истеблишменте становилось всё больше, росла их активность, достигшая максимума во время антипутинской истерии; многие “косяки” верхушки США в отношении России следует отнести на счёт той картины, которую рисовал русофобский сегмент экспертного сообщества. Проблема, однако, в том, что у нас к этой русофобской публике до сих пор относятся всерьёз, как к учёным, тогда как на самом деле перед нами рядовые и офицеры информационной войны (независимо от национальности – будь то Фиона Хилл или Лилия Шевцова), и вступать с ними в чисто научные дискуссии с целью поиска истины, по меньшей мере, глупо. Цель врага – не поиск истины, а нанесение ущерба России: в данном случае, на научно-информационном фронте психоисторической войны. И если раньше русофобы рядились в тогу антикоммунистов, то сегодня на них наряд “критиков путинского режима” и борцов за “истинную демократию в России”. Что это за “демократия”, мы видели в 1993-м, 1996-м и 1998 годах. Демократия с лицом ельциногайдарочубайса? Спасибо, не надо. Русофобия меняет лишь форму, суть остаётся прежней: она практически не изменилась с 1820-х годов.

### III

Именно в это десятилетие стартовала русофобия как базовое оружие западных верхушек в психоисторической войне “против России, как бы она ни называлась”. Время “запуска” русофобии выбрано было не случайно: именно тогда Россия стала смертельным врагом трёх сил, организовавших Французскую революцию 1789–1799 годов (или активно способствовавших её возникновению и развитию) и начавших строить свой новый мировой порядок сразу же после завершения реализации её “экспортного варианта” – наполеоновских войн.

Во-первых, это Великобритания, боровшаяся за гегемонию в мировой капиталистической системе с Францией и одержавшая над ней победу силами, прежде всего, России. Именно из-за победы над Наполеоном, превратившей её в сильнейшую континентальную державу, Россия стала в глазах британцев противником №1.

Во-вторых, это относительно новый европейский финансовый капитал, поднявшийся как таковой именно в ходе Французской революции и наполеоновских войн и во многом благодаря этим явлениям. Речь идёт, прежде всего, о Ротшильдах, уже в 1818 году продиктовавших свою волю крупнейшим западноевропейским державам (Австрии, Пруссии, Франции), но не России. Как и масоны и иллюминаты, Ротшильды (в финансовых интересах) сразу же после разгрома Наполеона заговорили о чём-то похожем на мировое правительство, и 1818 год стал наглядной демонстрацией их претензий. Ротшильдов поддержали и другие банкиры – британские и швейцарские. Однако на пути реализации этих планов оказалась Россия – сначала Александра I, а затем Николая I, причём планов не только политических, но и экономических: русские цари не позволяли западному финансовому капиталу разгуляться в России, ограничивали его.

Именно в 1820–1840-е годы начинается противостояние Ротшильдов – ударной силы западного (главным образом, еврейского) капитала и Романовых, то есть тогдашней России, её властного режима. Показательно, что когда эмиссары Александра II и Александра III пытались договориться с Ротшильдами о мире (то есть о том, чтобы те перестали спонсировать антиправительственное движение в России в 1870–1890-е годы), им было отвечено, что с Романовыми мир для Ротшильдов невозможен. Надо ли говорить, что Ротшильды – главные союзники (и спонсоры) британской короны и определённой части британского истеблишмента (причём не только еврейского)? Надо ли гово-

речь, что в своей вражде к России они совпали с Великобританией как государством?

В-третьих, конец XVIII—первая половина XIX века — период резкой активизации европейского масонства, этой исторически первой формы закрытых наднациональных структур мирового согласования и управления. “Эпоха революций” (Э. Хобсбаум) 1789—1848 годов в значительной степени была эпохой масонских революций — в том смысле, что проходили они под масонскими лозунгами: “Свобода, равенство, братство!” Масоны составляли руководящее ядро сил, направлявших и руководивших революциями, то есть были субъектом, использовавшим реальные структурные противоречия Старого порядка, превратив их в системные. Масонские структуры выступали скрытой формой политической организации буржуазии и обеспечивали — по “братской линии” — оргформы сговора и компромисса с частью аристократии; наконец, масоны (или их ставленники) часто оказывались во главе послереволюционных государств — произошло огосударствление масонства как комплекса закрытых наднациональных структур мирового согласования и управления.

Именно в “эпоху революций” резко усилилась практически беспрепятственная экспансия масонства в Европе — опять же, за исключением России. Здесь, несмотря на рост числа масонских лож, они столкнулись с властью русского самодержавия. Надо ли говорить, что русское самодержавие (особенно в правление Николая I) стало смертельным врагом масонства, прочно обосновавшегося у руля ряда европейских государств? Надо ли говорить о том, что практически все континентальные европейские ложи контролировались британцами — британскими островными ложами, тесно связанными и с британским истеблишментом, и с “высокими финансами”? Надо ли говорить, что в своей вражде к России они совпали с ними, образовав единый антироссийский союз, эдакого русофобствующего Змея-Горыныча о трёх головах?

Каждая “голова” в борьбе с Россией преследовала свои цели. Великобритания стремилась резко ослабить Россию, следуя традиционному курсу не допустить возникновение/существование континентального гегемона, тем более способного в силу своего местоположения бросить ей вызов на Востоке. Финансисты стремились поставить Россию, её власть под финансовый контроль, чтобы делать свои мегахешеты. Масоны стремились к уничтожению самодержавия и замене его подконтрольной “братским” европейским ложам республикой, которая будет заведомо слабее самодержавной монархии. Так оно и вышло после февральского переворота 1917 года, в котором интересы западного Горыныча совпали с интересами определённых групп в России, которые Запад использовал главным образом втёмную. Однако февраль 1917 года стал результатом длительного, почти векового пути, на который противники России — союз государства Великобритания и наднациональных экономических и политических сил Запада — вступили в 1820-е годы, при этом для подрыва России все участники союза использовали друг друга: Великобритания — финансистов и масонов, финансисты — масонов и Великобританию, масоны — Великобританию и финансовый капитал.

По сути, эти участники представляли собой не сумму, а целое, единую политико-экономическую систему, оформившуюся в значительной степени для борьбы с Россией, в ходе борьбы с Россией и для дележа плодов победы этой борьбы. Победа, о которой идёт речь, требовала войны — победы над победителем Наполеона. Подготовка к такой войне, в свою очередь, предполагала психоисторическую, прежде всего, информационную обработку властных и интеллектуальных элит как в Европе, так и в самой России. Средством такой обработки и стала сконструированная и запущенная в 1820-е годы русофобия. За 1830—1840-е годы русофобия морально, информационно и политически подготовила целое поколение европейцев к войне; причём русофобию стали демонстрировать европейцы принципиально разных политических взглядов: квазилибералы (Дизраэли), архиконсерваторы (архиепископ Парижский), ультрареволюционеры (Маркс). Урок 25-летия, предшествовавшего первой общезападной войне против России — Крымской — прост: информационная война, при прочих равных, всегда является подготовкой к обычной войне (даже если последняя по каким-то причинам и не состоится — это уже другой вопрос).

#### IV

Именно в 1820–1830-е годы русофобия начинает проникать в саму Россию и распространяться среди определённой части властных и интеллектуальных элит. В основе русофобии части самих русских элит лежал тот факт, что с XVIII века они жили по потребностям не столько российской “системы работ” (К. Маркс), то есть по таким потребностям, которые могли быть удовлетворены уровнем развития русского хозяйства, а по потребностям верхов буржуазизирующегося Запада. А ведь там система работ была совершенно иной; благодаря природно-климатическим условиям, прежде всего, Гольфстриму, продуктивность сельского хозяйства, а следовательно, совокупный общественный продукт Запада значительно превышал российский. Это не говоря о том, что в XVIII–XIX веках западные верхушки грабили колонии и полукolonии, сажали на наркоиглу целые народы и, таким образом, резко увеличивали своё богатство.

Жизнь 20–25% господствующего сословия России в соответствии с западными потребностями требовала усиления эксплуатации населения. За одно лишь правление Екатерины II она выросла в 3–3,5 раза, а впереди ещё был XIX век, который М. О. Меншиков назвал “столетием постепенного и в конце тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России”. *“Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, – писал Михаил Осипович, – которые так обычны на Западе (подчёркнуто мной. – А. Ф.; но не обычны в России. – А. Ф.), мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но, как Индия, необходимые его запасы. Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению, и всё это для того, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти ногой в ногу с Европой”*. То есть речь идёт об изъятии не только прибавочного, но и части необходимого продукта как цены за жизнь части верхушки (и её услуги) по стандартам буржуазного Запада.

Психологическим оправданием этого становилось презрительное отношение части русского “образованного общества” к народу, к русским, как к “дикарям”, “азиатам” и т. п. Вот на эту почву и легла русофобия, уже в 1860–1870-е годы доросшая до смердяковщины с её сожалением о том, что “умная нация”, то есть французы, не завоевала “глупую нацию”, то есть русских. Важно, что объектом русофобии был не только русский народ, русская культура и т. д., но – во многих случаях – и русская государственность, самодержавная власть. Дело в том, что самодержавный центроверх в своих интересах отчасти ограничивал эксплуататорские аппетиты русской верхушки, а потому тоже становился объектом русофобской критики как “азиатская деспотия”, “система произвола” и т. п. В таком подходе часть российской верхушки и российского капитала в своей русофобии совпадала с западными противниками России – как государствами (Великобритания, Франция), так и надгосударственными организациями (масонство). Для русофобов характерна неприязнь, ненависть как к русскому народу, так и к русской власти – и чем эта власть сильнее, чем самостоятельней по отношению к Западу, чем больше учитывает интересы народа, социального целого, тем больше ненависть, тем яростнее русофобия. Одним из главных мотивов ненависти антисоветчиков к советской власти было то, что они воспринимали её как власть простонародья или, как минимум, как власть, которая худо-бедно защищала его интересы, не позволяя разгуляться потенциальным хищникам. Откровенный оскал последних обозначился в 1990-е годы и позже, найдя в последние годы своё выражение в терминах типа “ватники”, “анчоусы”, “портянки” и т. п. Таким образом, русофобия – явление не только, а возможно, и не столько социокультурное, цивилизационное, сколько классовое. То есть цивилизационное по форме, классовое (и геополитическое) по содержанию. Об этом нужно всегда помнить.

#### V

С XIX века наднациональный проект верхушек коллективного Запада “русофобия” прошёл несколько стадий в своём развитии. То, что мы видим сегодня, – логическое развитие русофобии, вызванное тем, что РФ после периода ельцинщины и невнятных “нулевых” начала демонстрировать во внешней

политике наличие своих геополитических и геоэкономических интересов, наличия чего-то похожего на государственный суверенитет, по крайней мере, во внешней политике (хотя в действиях РФ в Крыму, на Украине и особенно в Сирии, конечно же, реализуются интересы и крупного нефтегазового бизнеса). За время поздней горбачёвщины и ельцинщины (1989–1999) Запад настолько отвык от подобного поведения России, что в своё время даже умеренно-жесткая речь В. В. Путина в Мюнхене вызвала бешеную реакцию (чего стоит лишь название статьи из “Лос-Анджелес таймс” по этому поводу: “Вошь, которая зарычала”). Что же говорить об их реакции на поведение РФ в сирийском и украинском кризисах?

Нынешняя русофобская кампания на Западе имеет все признаки подготовки к новой общезападной войне против России, и она обязательно начнётся, если враг почувствует слабость и возможность нанести удар, за которым не последует возмездие. Развёрнутая кампания русофобии имеет целью сделать нас максимально слабыми (заставить опустить глаза, как сказал бы Тацит) и убедить население Запада в моральном праве Запада начать войну против России как агрессора, носителя ретроградных ценностей, помехе “нормальному” (то есть дегенеративно-западному) развитию и т. п.

В самом общем плане для того, чтобы не допустить войны и тем более поражения, если её всё же развяжут, чтобы опрокинуть и победить супостата, необходимо быть сильными. И надо готовиться быстро: темп планирования и подготовки в любой войне, тем более в информационной, имеет решающее значение. Конкретно, необходимо эффективно противостоять русофобии, подавляя её как внутри страны, атакуя “пятую колонну”, так и за её пределами – на мировом уровне. Борьба с русофобией как психоисторическим оружием должна вестись на всех уровнях психоисторической войны, с учётом всех её аспектов, таких как:

- 1) конкретно-информационный;
- 2) юридический;
- 3) медийный;
- 4) научно-концептуальный;
- 5) образовательный.

В конкретно-информационном плане необходимо отслеживание, инвентаризация и каталогизация русофобских

- идей;
- действий;
- организаций;
- лиц;
- связей организаций и лиц с определёнными политико-экономическими структурами (основное внимание – финансам, спецслужбам, НКО). Здесь важны и нужны различные инфоцентры – как институциональные, так и сетевые; как те, что работают в режиме тотального автоматического слежения, так и центры, действующие в режиме свободного поиска, свободно переходящие из режима активного ожидания в режим активного противодействия и наоборот.

В юридическом плане необходимо постоянное правовое давление, преследование русофобских организаций и лиц – так, как это делают соответствующие еврейские организации по отношению к юдофобам. Есть “знаменитая” 282-я статья, которую в народе окрестили “русской”. Надо сделать её антируссофобской.

В медийном плане необходимо постоянное разоблачение русофобии и русофобов (индивидуальных и коллективных), вскрытие стоящих за ними политико-экономических интересов и сил, создание вокруг них обстановки моральной нетерпимости. В научно-концептуальном плане необходима разработка проблем истории русофобии, теории и методов противодействия ей. Это должно найти отражение и в образовательных программах. И здесь опять же есть чему поучиться у евреев, научные структуры которых разрабатывают такие темы, как история семитизма, холокост. Нам нужны разработки истории русофобии, и при этом нужно помнить, что главные жертвы (в абсолютном измерении) холокоста в широком цивилизационном смысле – русские, славяне.

Всё это, однако, конкретика, а, как говорил В. И. Ленин, тот, кто берётся за решение общих вопросов без предварительного решения частных, тот на каждом шагу будет наткаться на эти нерешённые вопросы. Конкретные

меры борьбы с русофобией рискуют остаться полумерами без реализации ряда общих дел. Например, борьба с русофобией предполагает борьбу за реальный суверенитет – и наоборот. У нас если и можно говорить о восстановлении суверенитета, то пока лишь по линии внешней политики. Однако без приведения в соответствие с внешним курсом внутренний реальный суверенитет недостижим. Суверенитет в экономической, научной и, пожалуй, самое главное, в образовательной сфере – вот необходимые условия обеспечения реального суверенитета, который, помимо прочего, представляет собой мощнейший удар по русофобии.

Далее. Действенная борьба с русофобией требует от власти (“режима”) дистанцироваться от горбачёвщины и ельцинщины и дать им чёткую политико-правовую и морально-историческую оценку. Для русофобского сегмента властной верхушки, родившейся с печатью предательства, капитуляции и социального разрушения (включая разграбление страны и разрушения её военного и научно-образовательного потенциала), это будет серьёзный удар.

Борьба Запада и “пятой колонны” с Россией и русскостью, то есть практическая русофобия развивается и по линии внедрения в нашу жизнь не просто не русских норм и ценностей, но таких ценностей и норм, которые прямо противоположны русскому социально-духовному коду. Я имею в виду рекламу и апологию потребления как цели и смысла жизни, эгоизма – социального и индивидуального, – космополитизма, карьеризма (под маской так называемой “конкурентоспособности”) и т. п. Борьба и на этом фронте – хотя и косвенное, но, тем не менее, весьма важное противостояние русофобии.

Россия со всей очевидностью вступила в угрожаемый период, русофобские информационно-пропагандистские атаки достигли такого накала, после которого за “метафизикой” весьма вероятно последует “физика” – Большая Охота на Россию. Наша задача – не допустить этой Охоты, а в случае её старта – превратить охотника в дичь, а сам старт сделать финалом – не нашим, естественно.

**МИХАИЛ ДЕЛЯГИН**

*директор Института проблем глобализации, д.э.н.*

## ЕВРОПА: ТРАГЕДИЯ ИНТЕГРАЦИИ

### **Чем ценен европейский опыт**

Символическому падению Берлинской стены исполнилось заметно более четверти века – вот уже скоро две трети того времени, которое Моисей водил евреев по пустыне. Представляется, что это вполне достойный срок для подведения хотя бы предварительных итогов евроинтеграции – притом, что они представляются уже вполне бесспорными.

Опыт европейской интеграции важен, в частности, и потому, что Европейский Союз по-прежнему остаётся, наряду с США и Китаем, одним из трёх мировых экономических “центров силы”. Этому положению совершенно не мешает его сохраняющаяся политическая подчинённость США. Более того, мы видим в ходе нарастающих по масштабам военных операций и организации переворота с последующим развязыванием гражданской войны на Украине, как страны ЕС (и даже далеко не всегда “в шкуре” НАТО) всё более выпячиваются перед американцами в ходе их военных, политических, информационных и экономических агрессивий.

Для российского общества исключительно важно и то, что Европейский Союз, несмотря на введённые им санкции и демонстрацию откровенно неадекватной враждебности и агрессивности по отношению к нашей стране, всё ещё остаётся крупнейшим торговым партнёром России. Соответственно, необходимо сохранять уверенность в том, что с ним можно будет поддерживать коммерческое сотрудничество и в отдалённой перспективе (хотя грузоперевозки начали переориентироваться на занятую работой, а не нравоучениями Юго-Восточную Азию задолго до украинской катастрофы).

Ещё более важна культурно-идеологическая составляющая интереса к Европе и её опыту. Ведь именно в нашем обществе, причём в самых широких и разнообразных его слоях, всё ещё жива идея Европы как средоточия, квинт-эссенции цивилизованности и демократичности, как высшего выражения “свободы, равенства и братства”. Россия с 1987 года, вот уже более четверти века живёт в условиях национальной катастрофы, именуемой “либеральными рыночными реформами”. В условиях ещё более быстрой, чем в развитых странах, варваризации мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы нашему стремлению к цивилизованности и культуре было на что опереться не только в прошлом, в становящихся всё более туманными и мифологизированными воспоминаниях о Советском Союзе, но хотя бы и в настоящем, в современной Европе, и мы всё более остро тревожимся о том, что вместо ещё недавно

казавшихся незыблемыми европейских ценностей всё чаще пытаемся опереться на воздух.

Европа со времён Древнего Рима и Карла Великого пережила целый ряд интересных интеграционных проектов, и значение нынешнего Евросоюза – не столько в его актуальности, сколько в сравнительной гуманности: не будем забывать, что прошлый общеевропейский проект реализовывался Гитлером, а позапрошлый – Наполеоном, отказавшимся от активной политической деятельности лишь после физической гибели большинства пригодных к военной службе французских мужчин.

Поэтому Европа необходима России в том числе и как символ и прививка гуманности, даже полностью растоптанной её собственной повседневной политической практикой. И её все более очевидная неспособность и, более того, откровенное нежелание выполнять эту функцию также требуют углублённого изучения, так как представляются наиболее концентрированными и наиболее яркими признаками выражения угрозы, нависшей в наше время над человеческой цивилизацией.

### Экономическое сближение провалилось

Уже с середины “нулевых” годов не вызывает практически никаких сомнений то, что **европейская интеграция и расширение Европейского Союза способствовали не преодолению, но, напротив, усугублению его внутренних проблем.**

Таблица 1

#### Сравнительная динамика развития стран Евросоюза

Страна	1980	1985	1988	1992	1995	2000	2005	2010	2014	2015
Франция	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Люксембург	135,3	122,6	136,3	158,7	181,2	199,5	223,6	243,2	257,3	258,8
Дания	103,8	118,0	120,5	117,7	125,1	128,8	131,5	133,8	136,4	140,5
Швеция	120,4	124,6	124,2	123,5	102,9	119,4	113,1	116,4	126,8	128,0
Нидерланды	101,3	96,1	95,4	95,3	103,2	110,4	114,0	119,4	115,1	115,5
Австрия	80,9	88,6	95,1	99,8	107,7	103,1	102,6	106,8	112,8	114,6
Ирландия	47,9	58,8	56,8	62,3	68,8	112,7	140,8	113,7	112,7	114,4
Финляндия	87,7	115,1	122,7	92,0	95,2	104,2	107,6	109,3	111,2	111,7
Германия	81,6	82,4	86,8	103,4	110,6	98,6	92,8	95,9	104,0	105,6
Бельгия	94,4	83,4	86,3	91,2	100,8	97,7	99,9	103,1	103,9	104,4
Великобритания	73,4	81,7	82,8	78,2	73,0	109,0	106,6	87,3	97,3	101,2
Италия	63,6	77,7	84,7	91,1	71,4	83,4	85,4	82,3	78,3	78,2
Испания	45,8	45,3	51,3	63,4	54,3	62,0	71,7	70,5	66,4	67,1
Мальта	нд	нд	нд	нд	36,7	45,6	42,1	49,0	53,6	54,9
Словения	нд	нд	нд	38,8	38,4	44,1	50,3	55,6	53,4	53,7
Кипр	31,6	43,3	40,8	44,8	50,2	56,6	62,8	65,1	52,8	52,1
Греция	42,4	44,8	39,1	42,8	44,2	50,2	60,0	62,4	49,2	50,1
Португалия	25,0	26,4	29,7	43,2	41,6	49,3	50,3	51,0	47,9	48,3
Эстония	нд	нд	нд	нд	9,2	17,5	28,5	34,7	43,6	45,0
Чехия	35,6	44,4	32,0	12,9	20,1	24,5	35,2	44,9	41,8	43,3
Словакия	нд	нд	нд	нд	13,1	16,3	24,6	38,2	40,7	41,7
Литва	нд	нд	нд	нд	нд	14,1	21,1	28,1	36,3	37,9
Латвия	нд	нд	нд	2,3	7,1	14,0	19,6	27,0	35,6	36,9
Польша	12,1	18,7	9,9	9,4	12,9	19,2	22,0	29,1	31,6	33,7
Хорватия	нд	нд	нд	10,3	17,8	21,1	28,7	32,5	30,0	30,6
Венгрия	16,1	20,0	15,2	14,8	15,8	19,5	30,2	30,1	29,0	29,4
Румыния	15,5	20,5	14,0	3,4	5,6	7,2	12,8	18,2	22,4	23,8
Болгария	23,0	30,9	29,0	4,0	5,8	6,8	10,4	15,1	16,9	17,6

(ВВП на душу населения, выраженный в долларах, по отношению к уровню Франции. Для 2015 года приведены прогнозируемые данные)



Ключевая проблема Европейского Союза заключалась и заключается в глубочайшей внутренней дифференциации, связанной не только с уровнем развития экономики входящих в него стран, но и с внутренней культурной разнородностью. Носители разных культур, даже таких близких, как французская и немецкая, по-разному реагируют на одни и те же воздействия, что существенно затрудняет унификацию управления. Что же говорить о странах Средиземноморья! Ситуация кардинально усугубилась в 2004 году, когда единая Европа расширилась, по сути дела, за пределы своих культурных границ, однако в силу налагаемых политкорректностью ограничений этот вызов не только не нашёл должного управленческого ответа, но даже не был осознан. *(Хотя высокопоставленный представитель Европейской Комиссии и заявлял автору данной книги, что “у нас нет никаких проблем с Болгарией и Румынией, потому что мы не верим никакой информации, которая исходит из этих стран”).*

Динамика подтягивания экономики южных и восточноевропейских стран к уровню экономики развитых стран-членов Евросоюза производит глубокое и неоднозначное впечатление.

Дифференциация членов Европейского Союза остаётся весьма значительной и связана отнюдь не только с принятием новых членов, невозможность “подтягивания” которых до уровня развитых стран стала в последние годы уже совершенно очевидной. Так, с 1988-го по 1992 годы расширения Европейского Союза не происходило, но его внутренняя разнородность увеличивалась в силу специфики его собственного развития: темпы экономического роста более развитых страны в целом были выше, чем в менее развитых.

Насколько можно судить, в периоды благополучного развития, не связанные с внутренними и внешними шоками, наблюдается более заметное увеличение степени дифференциации Европейского Союза, так как отсутствие потрясений позволяет развитым странам реализовать свои преимущества во внутриевропейской конкуренции, несмотря на обязательства развивать экономику новых членов.

Потрясения же ложатся основным грузом на наиболее развитые страны, “локомотивы” европейской интеграции, сокращая их отрыв от остальных и тем самым снижая внутреннюю дифференциацию (как после кризиса 1997–1999 годов) или, по крайней мере, замедляя её нарастание (как после кризиса 2008–2009 годов).

Это представляется весьма неутешительным для будущего объединенной Европы выводом, так как наглядно демонстрирует её проблематичность: без поддерживающих её общность шоков она неминуемо разделится в самой себе.

Не менее знаменательная картина складывается и при наблюдении за странами бывшего социалистического лагеря. Несмотря на значительные темпы подтягивания к общеевропейскому уровню развития, рубеж в половину французского уровня по ВВП на душу населения среди них пересекла лишь Словения, причем ещё в 2005 году. Отставание остальных стран этой группы, хотя в целом и сокращается, остаётся качественным, а не количественным. Эти страны по-прежнему не столько “Европа”, сколько “Восточная Европа” в традиционном понимании этих терминов.

Насколько можно понять, достаточно устойчивое сохранение отставания стран Восточной Европы обусловлено самой моделью европейской интеграции. Более того: **глубокая внутренняя дифференциация Европейского Союза, хотя и постепенно снижается, является его фундаментальной особенностью и в обозримом будущем будет носить качественный, а не количественный характер.**

### **Колониализм – новая сущность Евросоюза**

С годами крепнет уверенность в том, что сохранение разрыва в уровне развития и хроническая потребность новых членов Европейского Союза в помощи являются не только не случайными, но и предопределёнными самой экономической моделью европейской интеграции.

Ориентация стран Европейского Союза прежде всего на внутренний рынок, но ни в коем случае не преимущественно на экспорт за его пределы, жёстко навязываемая всем его новым членам, представляется естественным

следствием рационального стремления к устойчивому развитию, защищённому от внешних шоков. Строго говоря, в этой части она вполне разумно воспроизводит экономические модели Советского Союза и Китая. Однако для новых членов данное условие оборачивается требованием переориентации внешней торговли на внутренний рынок Европейского Союза, на котором для их национального производства (даже когда оно соответствует европейским стандартам, разрабатывавшимся в том числе и для обеспечения нетарифного протекционизма), как правило, просто не было и не будет места.

Это создавало большие проблемы для всех присоединившихся к Европейскому Союзу стран. Ставшая притчей во языцех Греция, например, в рамках евроинтеграции была вынуждена существенно ограничить производство своих экспортных продуктов – вина, табака, оливок и даже хлопка, попросту не нужных объединённой Европе. По сути, из базовых отраслей экономики ей позволили развивать одно лишь судостроение, которое, однако, вскоре не выдержало глобальной конкуренции.

Для бывших социалистических стран вступление в Европейский Союз способствовало ограничению, а то и прямому разрыву торговых связей, прежде всего с Россией, с которой они были объединены в рамках прежней, социалистической модели интеграции.

Поскольку высокотехнологичная продукция новых членов, как правило, была неконкурентоспособна на внутреннем рынке Европейского Союза, их европейская ориентация объективно способствовала быстрой и беспощадной деиндустриализации этих стран. “Гиперконкуренция” со стороны европейских фирм вела к массовой безработице и утрате рабочей силой квалификации, вытеснению населения в сектора с высокой самоэксплуатацией. Это, прежде всего, мелкая торговля, перевозимый либералами малый бизнес и сельское хозяйство.

Другим следствием стала широкомасштабная миграция населения в развитые страны Европейского Союза, в которых она существенно “испортила” рынок труда. Наконец, не следует забывать и того, что чрезмерное “измельчение” бизнеса объективно снижает национальную конкурентоспособность, в частности, технологический уровень страны.

Экономики Восточной Европы (в первую очередь, банковские системы, оставшиеся слабыми), за малым исключением, практически полностью перешли под контроль глобальных корпораций “старой” Европы, которые сохранили промышленность, как правило, только там, где имелась высококвалифицированная рабочая сила. Стоит отметить, что некоторое относительное улучшение экономических показателей новых членов Европейского Союза произошло за счёт переноса в них значительного числа экологически вредных производств.

В странах со сравнительно малоквалифицированной рабочей силой (Румынии, Болгарии, странах Прибалтики) ещё на этапе подготовки к вступлению в Европейский Союз была организована подлинная промышленная катастрофа, благодаря чему квалифицированные и активные работники при открытии границ просто бежали на Запад (так, в 2007–2008 годах из Румынии уехало 2–3 млн человек). Это создавало в странах – новых членах Европейского Союза дефицит рабочей силы и повышало стоимость оставшейся, что во многом лишало эти страны преимуществ дешевизны квалифицированного труда. Подготовка же специалистов из-за закрытия соответствующих производств и отказа от массового создания новых почти прекратилась.

Сохранённая промышленность в значительной степени занимается простой сборкой продукции корпораций “старой” Европы, в том числе ориентированной на экспорт на ёмкие рынки России и (до 2014 года) Украины.

В результате в странах Восточной Европы прошла масштабная и почти всеобъемлющая деиндустриализация и возникла двухсекторная экономика, характерная для колоний, пусть даже и новой эпохи.

Представляется принципиально важным, что западный капитал, как правило, не создавал новые, но использовал уже существующие в Восточной Европе и созданные до него ресурсы, придавая осуществляемой в ходе евроинтеграции модернизации преимущественно “рефлексивный” характер.

В рамках созданной модели добавленная стоимость выводится из стран – новых членов Европейского Союза в страны базирования глобальных корпораций, что обуславливает парадоксальное сочетание экспортной ориентации

с хроническим дефицитом текущего платёжного баланса (во многом за счёт высоких инвестиционных доходов). В частности, в Румынии 85% инвестиционного импорта идёт на обеспечение производства экспортной продукции.

Президент Чехии Клаус в своё время был вынужден признать, что вступление его страны в Европейский Союз превратило её в “объект выкачивания денег”. Это касается всех стран Восточной Европы: их сальдо текущих операций платёжного баланса ещё до начала кризиса 2008–2009 годов (что принципиально) было намного хуже, чем в 1990 году, последнем году существования социалистической системы. В Болгарии оно снизилось с –8,1% ВВП в 1990 до –25,2% ВВП в последнем предкризисном 2007 году, в Чехии – с 0,00 до –4,4% ВВП, в Венгрии – с +1,1 до –7,3% ВВП, в Польше с +4,9 до –6,2% ВВП, в Румынии с –4,6 до –13,4% ВВП; за 1992–2007 годы оно снизилось в Словении с +5,7 до –4,0% ВВП, Литве с +5,3 до –14,5% ВВП, в Латвии с +12,3 до –22,4% ВВП; за 1993–2008 годы в Эстонии с +1,2 до –15,1% ВВП, в Словакии с –4,9 до –5,3% ВВП – и это, как мы видим, наименьшее ухудшение данного показателя!

Отрицательное сальдо текущего платёжного баланса некоторое время может поддерживаться притоком иностранных инвестиций, однако при хроническом характере означает “жизнь в долг” с высокой зависимостью от внешних шоков и рисками девальваций либо, если они невозможны (например, из-за вступления в зону евро), ухудшения социальной защиты.

Когда эти “скрытые резервы” исчерпываются, то есть, грубо говоря, в стране заканчиваются финансовые ресурсы, которые из неё можно вывести, платёжный баланс относительно нормализуется, но это состояние обескровленности практически исключает возможность нормального развития.

Принципиально важно, что структурные фонды Евросоюза обуславливают выделение средств на развитие весьма жёсткими условиями, которым сложно соответствовать. Так, в 2007 году Румыния могла получить из этих фондов 2 млрд евро, но на практике смогла использовать лишь 400 млн из фонда рыболовства. В то же время её взнос в бюджет Евросоюза составил 1,1 млрд евро (1,8% ВВП), то есть Румыния стала не бенефициаром, а донором Европейского Союза, причём возникли вполне обоснованные опасения закрепления этого положения на длительное время. Другой пример – Латвия, которая смогла начать использовать средства, выделенные Евросоюзом на модернизацию сети её автомобильных дорог, лишь в 2013 году.

Во всей Восточной Европе мы видели массовую скупку активов, в ходе которой западные корпорации стали хозяевами не только банковских систем, но и практически всей экономики, а через неё – и всей политики стран Восточной Европы. Показателен провал попытки выработать стратегию социально-экономического развития Румынии: совершенно неожиданно для её европейски ориентированного руководства оказалось, что будущее страны в решающей степени определяется не национальными властями, но корпорациями “старой” Европы и решениями Еврокомиссии, на которые власти Румынии не могут оказать реального влияния. Соответственно, никакая национальная стратегия развития в рамках Европейского Союза невозможна по определению, по крайней мере, для его новых, относительно слабых членов.

Развитие страны (в том числе в рамках “Восточного партнёрства”) действуют (возможно, бессознательно) по принципу “Возьмите наши стандарты, а мы возьмём ваши ресурсы и уничтожим то, чем вы можете конкурировать с нами”. В целом это всё меньше напоминает декларируемое справедливое и равное сотрудничество и всё больше – жестокую неокOLONIALную эксплуатацию.

### **Неспособность управлять даже собой**

Глубокая и неустраняемая внутренняя дифференциация Европейского Союза оборачивается серьёзным различием даже самых насущных интересов его членов, которое, в свою очередь, превращает практически все значимые решения, принимаемые в его рамках, в плоды сложнейших многоуровневых компромиссов.

Вступление в силу Лиссабонского договора облегчило этот процесс, но одновременно обострило внутреннюю напряжённость в Европейском Союзе, создав угрозу того, что некоторые страны часто будут оказываться в меньшинстве, а малые страны станут заметно менее значимыми.

Однако принцип многоуровневого компромисса как основного инструмента выработки решений сохранился, и, соответственно, корректировать их после принятия по-прежнему остаётся исключительно сложным делом, что обуславливает поразительную негибкость позиции Европейского Союза. Поскольку она вырабатывается без участия не входящих в объединённую Европу стран (в том числе и России), эта позиция, как правило, оказывается негибкой за их счёт, – в частности, за счёт нашей страны.

При этом высокое влияние США на политическую элиту целого ряда стран Европейского Союза (часто доходящее до прямого управления ими, как марионетками, в случаях с Польшей, Прибалтикой и Болгарией) позволяет им оказывать колоссальное влияние и на процесс принятия решений, когда они регулярно добиваются от Европейского Союза действий, выгодных США и невыгодных ЕС.

Важную роль в этом играет и интеллектуальная несамостоятельность, зависимость европейского политического класса от США и их глобальных аналитических структур, а также страх ответственности, что стало привычным для последних поколений европейской политической “элиты”. Они традиционно делегируют принятие значимых решений США, получая от них умеренные дивиденды (в основном, частного характера) и перекладывая на них перед своими избирателями и национальными элитами как их, так и свои собственные ошибки.

Единственным моментом, когда руководители Европы почти освободились от стратегической зависимости от США, представляется нападение на Ирак в 2003 году. Оно осуществлялось с таким грубым пренебрежением европейскими ценностями (от соблюдения процедур принятия решений до простого человеческого здравого смысла), что руководители континентальной Европы, выражая публичное несогласие с ним (или, как минимум, сомнение в его правомерности), вплотную подошли к преодолению своей зависимости от США. И, ощутив, что при продолжении этой линии им поневоле придётся начать самостоятельно принимать определяющие будущее их стран решения и нести ответственность за последствия их реализации, перепугались и панически вернулись “под крыло” американской администрации. Процесс этого возвращения получил юмористическое (для наблюдавших процесс с близкого расстояния) наименование “трансатлантического ренессанса”.

### **Отмирание бюрократической морали**

Непреодолимая и не снижающаяся со временем культурная и хозяйственная разнородность Европейского Союза объективно обуславливает, как это было и в Советском Союзе, необходимость исключительно высокой идеологизации системы управления, так как именно идеологизация создаёт систему сверхценностей, ради которых можно жертвовать текущими материальными и иными интересами.

Однако с другой стороны, идеологизация неминуемо чревата весьма существенным снижением качества управленческих решений, как мы также видели на примере Советского Союза.

Кроме того, в настоящее время основа этой идеологизации – традиционно провозглашаемые европейские ценности и расширение сферы их применения, то есть расширение Европейского Союза – сталкивается с двумя фундаментальными и, по всей видимости, принципиально непреодолимыми вызовами.

Прежде всего, противоречие между формальным политическим равноправием членов Европейского Союза и различным уровнем их не только социально-экономического, но и культурно-цивилизационного развития ослаблено Лиссабонским договором, прежде всего, за счёт равноправия. Надежды же на быстрое “подтягивание” новых членов к лидерам оказались ещё более беспочвенными, чем аналогичные надежды советской “цивилизации”. Таким образом, Европейский Союз ради повышения эффективности управления сделал весьма значительный шаг назад от равноправия. Представляется значительно менее важным, но также существенным, что при этом никакого значимого повышения управленческой Европейским Союзом не произошло.

Второй вызов декларируемым европейским ценностям заключается во всеобщем понимании того, что к настоящему времени глобальный экономический кризис пусть и не сразу, но всё-таки остановил существенное рас-

ширение как Европейского Союза, так и еврозоны. С одной стороны, у наиболее развитых стран Европы больше нет ресурсов для расширения своего влияния. С другой – неразвитые европейские страны, являющиеся потенциальными кандидатами на членство в Европейском Союзе, из-за кардинального ухудшения экономической конъюнктуры больше не могут выполнять стандартные требования евробюрократии даже в их весьма смягчённом варианте. Исключения последних лет: вступление Хорватии в Европейский Союз, а Эстонии и Латвии – в еврозону своей незначительностью лишь подтверждают это правило. Это шаги, предпринятые Европейским Союзом и еврозоной для демонстрации продолжения успешного расширения и углубления евроинтеграции в то самое время, когда её потенциальные ресурсы уже практически полностью исчерпаны. Вероятное присоединение к Европейскому Союзу незначительных в экономическом плане Албании и Черногории (которая уже де-факто находится в еврозоне) лишь подтвердит эту тенденцию.

В этой ситуации важным паллиативом, позволившим на время замаскировать стратегическую исчерпанность европейской интеграции, стало “Восточное партнёрство”, обеспечившее, помимо прочего, ещё более надёжную привязку к евробюрократии административных и коммерческих элит стран-соседей, а также комплексную расчистку их юридического пространства для дальнейшей экспансии европейского бизнеса.

Таким образом, Европейский Союз, этот экспансионистский по самой своей природе и объективно направленный на неуклонное расширение проект, из экстенсивного поневоле становится интенсивным, и это на наших глазах начинает болезненно трансформировать весь его облик. Не стоит забывать, сколько прожил другой интеграционный – советский – проект после того, как под давлением внешних обстоятельств был вынужден отказаться от территориальной экспансии и, соответственно, от экстенсивного расширения.

Проблема перехода от интенсивного к экстенсивному развитию носит не только управленческий, но и принципиальный, ценностный характер. Ведь отказ от насаждения своих ценностей, от их неограниченной экспансии, вне зависимости от причин такого отказа, сам собой, автоматически ставит перед всеми их носителями (а далеко не только перед одними их пропагандистами) вопрос о справедливости и, соответственно, фундаментальной обоснованности этих ценностей. А сама возможность постановки подобного вопроса уже подрывает их, а с ними – не только внешнюю эффективность, но и саму идентичность их носителей. Как только кто-то отказывается (повторюсь, по любой причине) от неограниченной экспансии, от повсеместного насаждения своих ценностей, он тем самым автоматически признаёт их неуниверсальность, локальность, что в современном глобализованном мире является, по сути дела, синонимом их неполноценности.

Помимо этого, крайне болезненной проблемой Европейского Союза является удивительная слабость европейской самоидентификации, даже на уровне элит, если, конечно, ориентироваться на их реальное поведение и, в первую очередь, на принимаемые ими стратегические решения. При этом рост значення регионов в рамках концепции “Европы регионов”, равно как и усиление действия общеевропейских (вроде Партии европейских левых) и глобальных сил (среди которых, в первую очередь, надо отметить политический ислам) разрушает далеко не только национальные бюрократии и национальные идентичности, как это планировалось идеологами “новой Европы”, но и саму европейскую целостность, существующую в основном в виде отдалённой и расплывчатой мечты.

Весьма значима для руководства Европейского Союза, – возможно, в том числе и из-за его исключительно высокой идеологизации, – и проблема морали. Переписывание истории, насаждение демократии в новых “крестовых походах” в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии (в форме агрессивного исламского фундаментализма) и Украине (в форме откровенного архаичного нацизма) при предельно циничной толерантности к её “дефициту” (по официальной формулировке) в Латвии и Эстонии, глубоко аморально. Всё это противоречит европейским ценностям в том виде, в каком мы привыкли их признавать.

Всей своей историей и всем своим поведением Европейский Союз с исчерпывающей убедительностью демонстрирует, что аморальность (и тем более аморальность, возведённая в принцип и превращённая в новую, хотя пока ещё и не европейскую в полной мере, но, безусловно, уже давно евробюрократи-

ческую форму морали) неминуемо подрывает жизнеспособность как отдельных людей, так и сообществ наций.

### **Зачем Европа России?**

Никакие “общечеловеческие” и гуманитарные иллюзии в отношении Европейского Союза в настоящее время, когда он вполне открыто и официально объявил нам пока холодную войну, введя экономические санкции (второй пакет которых был принят немедленно после вторых Минских соглашений, чем Европейский Союз весьма наглядно и убедительно “наказал” Россию за попытку прекратить развязанное и поощряемое европейцами кровопролитие на Украине), больше не имеют права на существование.

Как ни жаль, современный символ гуманистической цивилизации – Европа практически полностью утратила творческий дух по отношению к глобальным процессам, страдает провинциализмом и догматизмом в предельно острой и опасной для окружающих форме. Насколько можно судить, это не позволит ей, при всём её колоссальном накопленном культурном багаже и богатстве, не только вести сколь-нибудь успешную глобальную экспансию, но и даже и просто стать самостоятельным субъектом мирового развития.

Как это ни прискорбно, в настоящее время Европа представляет собой не более чем пассивный, управляемый внешними эгоистичными силами и уверенно клонящийся к упадку, хотя всё ещё и очень обеспеченный и достаточно мощный регион.

Для России Европейский Союз, насколько можно судить, в настоящее время представляет собой, прежде всего, по-прежнему ёмкий рынок, весьма полезный культурный феномен, источник весьма разнообразного набора частично пригодных для заимствования форм и принципов существования и одновременно зловещее предупреждение о недопустимости слепого копирования даже лучших из них.

Современная Европа для нас, как бы это ни было прискорбно, выродилась в не более чем предмет и инструмент потребления. Да, самого разнообразного, включая эмоциональное и интеллектуальное. И, конечно, её разложение отнюдь не повод для озлобления и какого бы то ни было самоограничения этого потребления.

Просто не нужно ждать, что она решит за вас ваши проблемы и откроет перед вами дверь в лучший мир.

Блага, которые действительно способна предоставить нынешняя Европа, связаны с обеспечением индивидуального комфорта в самом широком смысле этого слова – от материального потребления и приобщения к безусловным культурным ценностям до бизнеса, личной безопасности, здравоохранения и доступа к всё ещё сравнительно качественному (при всём неуклонном снижении его уровня), а главное – признаваемому самой Европой – образованию.

Этим и надо по мере возможности пользоваться.

А вот поиск союзников и учителей, коллективных и личных норм поведения, смыслов, ценностей, принципов или, упаси Боже, мировоззрения, целостной жизненной философии – это не к Европе, как бы ни старались её многочисленные поклонники и пропагандисты нас в этом убедить.

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

## ВИЗАНТИЙСКАЯ МОЗАИКА

*К 1150-летию русской государственности*

*История засорена обломками государств, которые пытались совместить различные этнические, лингвистические либо религиозные группы в пределах одной верховной власти.*

Артур Шлезингер-младший

Нация и Государство – вот коренной вопрос, который в первую очередь встаёт в раздумьях о византийском опыте. Сама история поставила поистине бесценный эксперимент длиной в тысячу лет, призванный его разрешить.

Но, собственно, в чём данный вопрос состоит?

Я хочу предложить его в такой постановке, которая больше всего должна бы волновать русское общество после распада Советского Союза. А именно: сохранимся ли мы, русские, как нация, сохранив при этом своё государство? Не повторим ли мы злую и печальную историю ромеев, потерявших и государство, и судьбу? Отжили ли мы уже как этнос отмеренный нам исторический век и готовимся сойти со сцены или у нас есть ещё шанс продлить своё существование, не попав притом под чуждое владычество так, как это произошло со многими народами Византийской империи?

Историк и историософ Лев Гумилёв полагал, будто весь процесс от зарождения до гибели этноса (он называл почему-то этот процесс этногенезом) занимает в среднем 1200–1400 лет. Этот период он объявил нормой. Однако, присмотревшись, мы легко убедимся, что на самом деле судьбы народов гораздо более разнообразны и часто не укладываются в приведённую схему.

Прежде всего, обращают на себя внимание этносы, мелькнувшие, как метеор, по небосклону истории и мгновенно погасшие, этносы-эфмериды, этносы-однодневки (по историческим меркам, разумеется, то есть жившие, в лучшем случае, несколько столетий). Но с другой стороны, мы можем наблюдать этносы, чей срок жизни в несколько раз длиннее того периода “этногенеза”, что отпустил им Гумилёв. Принимая эти факты к рассмотрению, мы должны, конечно, иметь в виду, что этнос, вопреки учению Гумилёва, это не поведенческий стереотип, а биологическое сообщество, связанное общим происхождением, имеющее общую генетику и общую “семейную историю”.

Гибель этноса, совершающаяся подчас очень быстро, на памяти одного поколения (так погибли, например, хазары, или могикане, или тасманийцы), не бывает случайной, она, как правило, есть следствие накопившихся этно-

политических ошибок. Неважно, сознательно они совершались или нет. Эти ошибки порой настолько наглядны и разительны, что мы вправе говорить в таких случаях об этносах-самоубийцах, добровольно устремившихся навстречу собственной гибели.

Напротив, есть этносы, чьё историческое существование исчисляется многими тысячелетиями (к примеру, китайцы, индоарии, евреи, древние египтяне), хотя и они порой вставали на грань жизни и смерти и подвергались угрозе исчезновения. Мы вправе предположить, что некогда эти этносы-долгожители сумели нащупать во тьме грядущего верный путь, сумели разгадать секреты выживания. Сумели открыть, быть может, стихийно законы науки этнополитики. Наградой за что и стала исключительно долгая жизнь, устремлённая в будущее.

Что же будет с нами, с русскими?

Весь XX век русскую нацию ломали, поработали и уничтожали разные народы, используя при этом, увы, огромную социальную энергию восставших русских масс, отдавших предпочтение классовой солидарности перед солидарностью национальной. Результат вполне закономерен: утратив и пока не восстановив свою элиту, мы стоим на пороге вымирания и деградации.

Мы, русские, находимся сейчас в положении неустойчивого равновесия, пройдя в истории путь не короткий и не длинный — как раз такой, чтобы либо умереть, исчезнуть, либо учесть чужой и свой опыт, составить верный рецепт выживания и долгожительства и жить дальше. Разделим мы участь хазар или аваров (это их наши летописи ставят в отрицательный пример: “погибоша, аки обре”) или сумеем, в очередной раз перелицевавшись, продлить нашу историю ещё на пару-тройку тысячелетий — вот вопрос сродни гамлетовскому “быть или не быть?”

Хочется верить, что мы ответим: “Быть!”

Но мало просто ответить. Надо приложить усилия в нужном направлении, чтобы утвердить этот ответ в реальности. А для этого надо знать, где оно, это направление. Необходима хотя бы краткая летопись роковых этнополитических ошибок и гениальных этнополитических достижений.

В этой летописи Византии принадлежит особое место ввиду того, что Россию многие считают преемницей империи ромеев. Находятся и такие, что ставят нам эту империю в пример, считают её вечным образцом для подражания.

Я стою на позициях прямо противоположных. А почему — постараюсь объяснить.

Для этого необходимо погрузиться в историю. И постичь, как и почему возникла, жила и погибла Византия.

## Что Второй Рим унаследовал от Первого

*Свободой Рим возрос,  
а рабством погублён.*

А. С. Пушкин

Очень важно понять: никто и никогда специально не создавал Византию. Это лишь обрубок сгнившей Римской империи. Когда Рим уже шёл ко дну, Восточная Римская империя (именно её мы традиционно называем Византией) отделилась от него и потому спаслась. Это был способ уцелеть, сохранить старое, а вовсе не создать новое. Хотя в дальнейшем не прекращались попытки создать это новое, но ничего прочного так и не получилось: империю всё время трясло, как в лихорадке, а спасало (до поры) каждый раз какое-нибудь чудо — счастливое стечение обстоятельств.

Будучи относительно богатой и удачливой страной, Византия протянула, догнивая, более тысячи лет, но весь этот срок её терзали внешние нашествия и внутренние неурядицы. Она то распадалась, то вновь собиралась, всё сокращаясь в границах и возможностях, лишь временами отнимая у ещё более слабой Западной империи части её имения, но затем опять их теряя, пока не потеряла всё без остатка, включая столицу и имя.

Тысяча лет агонии — так и только так следует характеризовать её бытие.

О какой гнилости говорю я, ругаясь за столь суровый приговор? Какие болезни получил Второй Рим в наследство от Первого?



Если говорить упрощенно, Византия унаследовала общество, лишённое естественной иерархии, национальной и социальной. И ещё усугубила в своём кратком существовании оба эти недостатка.

Рим периода республики был иерархичным. “Сенат и народ правят Римом” — в этом слогане было отражено мудрое государственное устройство. Аристократическая олигархия (элита) вела страну по пути побед и успехов, а единокровный ей, плоть от плоти, народ имел твёрдые гарантии того, что она обеспечивает этот путь и благо народа. Относительно небольшое количество рабов обслуживало все слои общества.

Мину под это правильное устройство подложило рабовладение, неуклонно расширявшееся вследствие военных побед и изменявшее социальные и национальные пропорции государства. Абсолютное большинство рабов были инородцами, представителями этносов, побеждённых римским оружием.

Уже в I в. н. э. вольноотпущенников в Риме было так много, что Тацит заметил: “Если обособить вольноотпущенников, то станет очевидной малочисленность свободнорождённых” (Анналы, XIII, 27). Императоры, ведя вечную борьбу с аристократией, охотно опирались на этот слой, национально, как правило, чуждый и даже враждебный (представители побеждённых и порабощённых народов, как-никак!) римскому этносу. В этой борьбе императоры находили союзника и в римских плебейх. Недаром, когда после убийства Каллигулы Сенат хотел восстановить республику, именно римский народ не позволил этого сделать. Ведь народу всё равно, люди какой этничности управляют делами в государстве и “угнетают” его: пролетарии не имеют не только Отечества, как заметил Маркс, но и национальности. Лишь бы не своя родная, хорошо знакомая и ненавидимая всей душой аристократия! Вот как смотрели на дело простые римляне.

Впрочем, что такое были к тому времени “простые римляне”?

Как известно, до Гая Мария, полководца “из простых”, римского гражданства не имели не только иноплеменные представители побеждённых народов, но даже италийцы, за исключением собственно римлян — коренных жителей Лациума. Благодаря чему римляне и оставались римлянами и могли вести осмысленную внутреннюю и внешнюю политику, подчинённую истинно национальным интересам.

Все подданные империи, вполне понятно, стремились к обретению римского гражданства и даже готовы были воевать за это. И первая гражданская война в Риме произошла именно из-за этой проблемы. Рывавшийся к диктаторской власти Марий, решив опереться на жаждавших полноправия италийцев, щедро подарил им римское гражданство, чем, собственно, и вызвал гражданскую войну, поскольку Рим восстал против этого самоуправства, не желая делиться своим исключительным положением. С огромными обоюдными человеческими потерями разгромив популиста и приняв от Сената полномочия диктатора, аристократ Корнелий Сулла не решился, однако, отобрать у италийцев раз подаренные им права, понимая, что в этом случае он не закончит гражданскую войну никогда. Так был дан необратимый ход истории Рима в дурном направлении. Гибель Римской республики была предreshена.

Кто такие были теперь римляне? Этническое наполнение этого слова-символа непоправимо изменилось и продолжало изменяться всё сильнее с каждым десятилетием, особенно с установлением власти императоров, для которых национальная принадлежность их подданных не имела принципиального значения, как им казалось, в отличие от их количества.

Юлий Цезарь и Октавиан Август ещё мыслили и вели себя как римляне, но очень скоро всё изменилось. Преемник Каллигулы Клавдий I, умерший в 54 году, охотно предоставлял права римского гражданства уже не италийцам, но вообще любым иноплеменникам, в частности, грекам и варварам, за что его клеймили в стихах Сенеки. Но голос философа был бессилён что-либо изменить. При его воспитаннике Нероне, умершем в 68 году, в Риме чужеземцев уже было больше, чем коренных римлян, и Сенеке оставалось лишь сетовать: “Взгляни на многочисленное население, которое едва помещается в зданиях этого громадного города; большая часть этой толпы не имеет отечества, а собрались эти люди сюда из разных мест и вообще со всего света” (Утешительное письмо к Гельвеции, 6, 2).

Процесс шёл крещендо. Вскоре он затронул уже не только плебейские, но и аристократические круги римского общества: Веспасиан в 73 году ввёл

в состав Сената и всадничества жителей Италии и провинций. Во время правления Антонинов от Траяна до Коммода (91–192) “для провинциалов широко распахнулись двери Рима” — пишет Елена Фёдорова, автор книги “Императорский Рим в лицах”. Адриан стал брать в легионы не только римских граждан, но и жителей провинций, чем способствовал варваризации армии. Наконец, в 212 году император Каракалла (сам полусириец-полуфиникиянин, убивший собственного брата Гету и свою жену) издал эдикт, которым права римского гражданства получило практически всё свободное население Римской империи.

Пали последние рубежи, произошёл качественный скачок, сменился — ни много ни мало — субъект истории. На смену бывшей римской нации времён республики пришло римское согражданство.

Рим окончательно перестал быть Римом, а римляне — римлянами. Римом стало некому гордиться, Рим стало некому любить, некому защищать, ведь вся эта масса “римских граждан”, за исключением уже немногочисленных и не сохранивших свою породу потомков жителей Лациума, была связана с гордым именем лишь номинально. Для абсолютного большинства подданных Рим ассоциировался с насилием, войной, угнетением, с вековой борьбой их собственных этносов *против* Рима... Что же им было любить, защищать, чем гордиться? Попользоваться благами римского гражданства — это за милую душу, но умирать за Рим?!

Одновременно с размыванием этнической основы Рима, закономерно шла его культурная деградация. Это коснулось главного: веры, языка, искусства.

В столице ойкумены утвердилось множество иноземных культов, особенно восточных, так что в IV в. Рим заслужил имя “Храм всего мира” (Аммиан Марцеллин, XVII, 4, 13). Но историк Тацит дал этому более жесткую и верную характеристику: “...в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и негодное и где оно находит приверженцев” (Анналы, XV, 44). В условиях бесконтрольного наплыва инородцев истинным римлянам было невозможно сберечь религию отцов — признак скорой исторической гибели.

Последние великие произведения римской литературы относятся к рубежу нашей эры; это неудивительно, поскольку вскоре латынь перестала быть национальным языком истинных римлян. Этот язык умер заживо, он перестал жить живой жизнью породившего его народа, превратившись в чисто служебное средство межнационального общения. Из латыни, образно говоря, вынули душу (то же самое сегодня происходит с русским языком, так что много объяснять здесь не приходится).

Хуже того. Как подметил Г. Кнабе в монографии “Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима”, в памятниках III в. встречаются документы, составленные на языках давно покорённых и, казалось бы, полностью романизованных племён, которые спустя века вновь стали предпочитать язык предков имперскому языку. Можно по одному этому факту судить о том, насколько ослаб римский этнос!

В этнически смешанном обществе сам собою выродился художественный вкус, а с ним зримо упало великое античное искусство архитектуры и скульптуры, особенно скульптурного портрета, в нём начинают доминировать явно дегенеративные типажи... Но разве скульпторы виноваты в том, что, начиная с Валентиниана III, портреты римских императоров напоминают тупые морды бандитов с низкими лобиками, мощными челюстями и жёсткими складками губ?

Слом национальной, этнической иерархии сопровождался в императорском Риме доламыванием социальных перегородок. Процесс затронул и сам институт императоров, в результате чего на римском троне стали возникать фигуры, чуждые традиционному римскому обществу. Попросту сказать, инородцы и маргиналы.

Первый неримлянин во главе империи — император Траян — родился не в Риме, а в городе Италика в Испании. Но с ним Риму, можно сказать, ещё повезло. Траяну довелось бороться с поднявшимися варварами (впервые после Карфагена и Митридата); он разгромил даков и парфян, усмирил Месопотамию и Армению. Однако успех был непрочен. Траян умер в ходе волнений в Вавилонии, Месопотамии, Сирии, Палестине, Египте, Кирене, на Кипре и в Парфии. Его преемнику Адриану пришлось отпустить с миром Парфию и Армению, сняв дань с Месопотамии.

Впрочем, могли ли императоры-неримляне (Адриан, кстати, первый император, на греческий образец не бривший бороду, не зря в юности его прозыва-

ли “гречонком”), опиравшиеся на неримское “римское” население, противостоять возросшей активности вражеского варварского мира? Что для них был Рим? Римские интересы? Пусть на эти вопросы читатель ответит себе сам, ознакомившись с кратким перечнем этно-социальных девиантов в императорском звании.

Убив в 193-м году Пертинакса, преторианцы впервые выставили императорский трон на торги. Началась междоусобица. Дидий Юлиан (купивший трон богач) был убит, и власть захватил Септимий Север, родом ливиец. Он на всю жизнь сохранил африканский акцент (его сестра так и не выучила латынь). Римляне считали его варваром. Его жена – финикиянка Юлия Домна – родила чудовище: Каракаллу. Он был “первым римским императором, на которого легла печать явной варваризации” (Е. Фёдорова). Он водился с германцами, подражая им в одежде, и даже надевал парик блондина, расчёсанный по-германски, но при этом поклонялся богине Изиде. Его убил и наследовал трон Макрин – бывший раб, варвар и простой воин. Рим неостановимо катился в пропасть. На смену Макрину пришёл внучатый племянник Юлии Домны из Финикии, жрец финикийского бога солнца Гелиогабал. Это был человек дегенеративного вида, он носил варварскую пышную одежду, золотые украшения, плясал перед алтарём с финикиянками, а римская знать безучастно смотрела на это, как на спектакль в театре.

Это, конечно, уже был не Рим. Но что-то ещё теплилось: Гелиогабала убили, тело выбросили в Тибр, а Сенат запретил память о нём.

Не помогло. Хотя в марте 235 года династия Северов, открывшая варварам путь к римскому престолу, сошла с арены истории, но на трон тут же сел Максимин Фракиец, пастух, воин-силач, “подлинный варвар” без всякого интеллекта. После его убийства на трон претендовал Канелиан, опиравшийся на мавров и карфагенян. В 244 году на трон вступил Филипп Араб (как характерны эти прозвища-этнонимы!), при котором Рим отметил в 247 году своё 1000-летие.

Это знаменательно: путь империи к закату зримо выразился в данном факте. Власть варваров над мировой державой становилась все возможнее и неизбежнее.

Не стало Центра, не стало государствообразующего этноса – римлян. Некому и незачем стало все держать, сопротивляться разложению и внешней экспансии\*. “К IV веку большинство римлян уже разучилось уважать достойные деяния предков” (Е. Фёдорова). Ничего удивительного: это были уже не их предки. Невероятно, но факт: когда в 410 году Рим пал после третьей осады Алариха, это событие не нашло достойного отражения в литературе. Всем уже было всё равно, “новые римляне” уже не видели особой разницы между собою и варварским миром и готовы были слиться с ним в одно целое. Что и произошло в 476 году, когда варвар из племени скиров Одоакр во главе пёстрой смеси племён овладел Римом, но не ушёл, разграбив его, а остался править Италией...

Такого финала следовало ожидать, ибо ещё при Галлиене (260–268) империя стала сама собой разваливаться на куски: власть над Востоком захватил Оденат, в Греции объявил себя императором Валент, восточное побережье Адриатики оказалось под властью Авреола, Египет захватил Эмилиан, а Галлия провозгласила императором Постума. Удивляться тут нечему. Пока Галлиен развлекался, при нём за восемь лет сменилось 30 (!) тиранов: “Эти люди, набросившиеся на императорскую власть из разных частей мира, были настолько малоизвестны, что даже учёнейшие мужи не смогли ни много разузнать, ни поведать о них” (Авторы жизнеописаний августов, Тридцать тиранов, 1). Галлиен был убит в 268 году, на его место сел иллириец Клавдий II. Аврелиан (270–275) ненадолго восстановил единство империи оружием, но при этом, вослед Гелиогабалу, возвысил культ единого бога солнца...

Все они правили недолго, никто не протянул и десяти лет. Наконец, в 284 году сын вольноотпущенника, иллириец или далматинец Диокл стал Диоклетианом. Он правил 20 лет, заимствовал восточные обычаи, требуя повиновения себе, как богу и господину. Отчасти эту роль с ним делил его зять и соправитель-цезарь Галерий. Именно при Диоклетиане произошёл раздел на Западную и Восточную Римскую империи, что послужило началом феномена Византии.

---

\* Со временем распад, разложение и многовековое запустение некогда великой страны, потерявшей своего создателя и хозяина, привели даже к появлению диких волков в папских садах Ватикана (XV век).

Итак, Византию породил Рим, а отделили – урвали для себя – августи-правители, чем спасли её от участи Западной империи. В борьбе с готами и гуннами (основной опасностью того времени) Восточная империя поплатилась лишь временными потерями. Но при этом Византия – Второй Рим – унаследовала, впитала в себя всё, чем был гнусен Первый Рим эпохи упадка. Из этого упадка она и произошла, с него началась.

### Без хозяина

*...Всяк суций в ней язык...*

А.С. Пушкин

Никакой “византийской нации” не было никогда. Было византийское согражданство. И была страна, разноплеменным согражданам которой временно было выгоднее и безопаснее жить вместе, чем порознь. Они платили огромные налоги (а куда денешься?), содержа наёмные войска и откупаясь золотом и шелками\* от нашествия врагов.

Какой народ создал эту страну, Византию? Такого народа не было и нет.

Византия доживала и доживывала остатки двух великих империй. Во-первых, Александра Македонского, породившей некогда феномен “эллинизма” на этих территориях, а во-вторых – непосредственно Римской, о чём сказано выше. Но к моменту, когда Византия начала самостоятельный путь в истории, ни эллинов, ни римлян в их настоящем значении уже давно не существовало. Словом “эллины”, кстати, в христианской Византии было принято обозначать язычников.

Какие же скрепы удерживали эту страну от распада в течение тысячи лет? Среди них мы не найдём главной – единого государствообразующего народа. Византия изначально не имела этнического стержня. Нам иногда подсказывают: это, мол, были греки. Но это неправда. Греки занимали лишь небольшой сегмент в народонаселении Византии и никогда, покорённые и порабождённые римлянами ещё в 146 году до н. э., даже не пытались её создавать. Они только научились в ней выживать, используя центральное положение в географии страны и прикрываясь со всех сторон другими народами, но не более того.

Даже и сам-то изначальный Византий, мегарская колония, не был цельно-греческим. При его основании (около 658 г. до н. э.) коренное население (аргосские пеласги) было недорийским и вело распри с колонизаторами – дорийской аристократией. Затем из Египта явились лелеги, потом добавились ионяне... Покорённые дорийцами, они все попали под власть Коринфа, но со временем Мегара отделилась и Византий зажил независимой жизнью.

Достаточно взглянуть на карту этносов “Большой Византии” IV–V вв., чтобы убедиться в том, что так называемые “греки” занимают весьма малую часть этого лоскутного одеяла. Правда, в этой части находилась столица империи – Константинополь, но и её население было этнически неоднородным. А всего в Римской империи (так она себя называла) компактно проживали, не поленись перечислить только крупные народы, даки, фракийцы, иллирийцы, македонцы, греки, лидийцы, фригийцы, исавры, галаты, армяне, арамеи, сирийцы, арабы, ливийцы, евреи и копты. Конкуренция за власть и влияние, за роль государствообразующего этноса между многими из них была постоянной. Конкуренция не была здоровой, она не укрепляла, а, наоборот, расшатывала страну. Различия в быту, морали, культуре и т. п. между этническими регионами были настолько велики, что существовали даже специальные кодексы для провинций (иудейской, персидской, греческой и т. д.) применительно к местному обычному праву.

В будущем к этим народам добавятся и иные: болгары (сложносоставной тюрко-славяно-фракийский этнос), готы, лангобарды, славяне и др., не считая малые племена, диаспоры и дисперсно проживающие этносы, имя коим легион. Вся эта пёстрая смесь именовала себя не греками и не эллинами, а только “ромеями” (“римлянами”), подчеркивая этим, что речь идёт не о нации, а о согражданстве.

\* В VI в. при Юстиниане секрет шёлка стал казённой монополией, и главный мировой рынок этого продукта переместился в Константинополь. А шёлк стоил дорого: ещё в III в., к примеру, 1 фунт китайского шёлка уходил за 1 фунт золота.

В кругу византологов XIX века сложилось мнение о “византизме” как данности, выражающей некую духовную общность Второго Рима. Авторитетный специалист Ф. Успенский писал по этому поводу: “Как выражение политических, культурных и этнографических особенностей, характеризующих Восточную Римскую империю, византизм проявляется в следующих конкретных признаках: 1) в постепенной отмене господствовавшего латинского языка и замене его греческим; этот процесс начинается в VI в. и завершается в VII и VIII в.; 2) в борьбе национальностей из-за политического преобладания; эта борьба знаменуется появлением на престоле и в высшей военной и гражданской администрации представителей разных этнографических элементов, вошедших в состав империи; 3) в памятниках искусства; так, монеты с VII в. представляют новый тип в изображениях головы, указывающий на появление новой расы; 4) в литературной производительности, характеризующейся выработкой оригинального мировоззрения под влиянием эллинских и восточных философских идей, преобладанием мистики и узкого консерватизма; наконец, 5) в забвении преданий классического периода, на место которых выступают восточные, по преимуществу иранские”<sup>\*</sup>.

Но существовала ли на самом деле эта духовная общность, покрывавшая якобы собою имперское пространство? В этом приходится усомниться. Уже и в формулировке Успенского заложена мысль о противоречиях между эллинистическим, римским и различными восточными (еврейскими, персидскими, сирийскими, финикийскими, арабскими) влияниями, о политическом противостоянии византийских этносов. Эту мысль хочется конкретизировать.

Что правда, то правда: эллинистическая культура, ещё в IV веке до н. э. распространявшаяся на этих землях с приходом Александра Македонского, служила некоторой общей основой для взаимопонимания названных народов. Римское согражданство добавило к этой основе также некоторое сознание общности. Но лишь до поры до времени. Как, впрочем, и остальные две скрепы империи: язык и христианская вера. Других скреп не было, да и эти были далеко не надёжны.

Для начала о языке. Обратим внимание на яркий и характерный факт: Византия вообще не дала образцов высокой литературы во всех основных её родах – поэзии, прозе и драматургии<sup>\*\*</sup>. Говоря о сколько-нибудь выдающихся памятниках византийской словесности, имеют в виду лишь житийную литературу, ораторское искусство, памятники юридической и исторической мысли, эпистолярное наследие. Но не собственно литературу, где особых достижений не отмечено. Точно так же, как и Рим, по сути, прекратил литературное творчество после Вергилия и Овидия.

Причина этого одна и та же. Латинский язык с течением времени потерял значение национального языка латинян и превратился в служебный язык межнационального общения множества народов Римской империи; точно то же произошло и с греческим. Да ведь он и не был изначально соприроден огромному большинству населения Восточной Римской империи, хотя и не совсем чужд благодаря походу Александра. Вытеснив (за долгие пятьсот лет!) совсем уж чужеродную латынь, греческий язык так и не стал, не мог стать родным для всех народов Византии. Один чужой язык сменился другим чужим языком, только и всего. А что же можно создать на служебном языке, который не является органическим порождением тела и души народа, который не связан тысячами незримых нитей с самыми глубинными его корнями? Только служебную же литературу, преследующую вполне практические, далёкие от чистого искусства цели. В многонациональном имперском сообществе по-другому и быть не могло.

Интересно, что латынь, преобразовавшись вначале в вульгарную латынь (язык межнационального общения почти всей Европы), в дальнейшем эволюционировала в пределах Италии и вернула-таки себе значение национального языка – итальянского для итальянцев, что немедленно дало себя знать в великолепных достижениях итальянской литературы уже в раннем Средневековье. Да и в других странах к моменту гибели Второго Рима уже существ-

\* Ф. Успенский. Византия. – Энциклопедический словарь. Т. VI. Венцано – Винона. СПб, Брокгауз и Ефрон, 1892. С. 251–260.

\*\* Ср.: “Византийская литература бедна жанрами, которые сейчас называются беллетристическими”. Полякова С. В. Из истории византийской любовной прозы. /Византийская любовная проза. М.-Л., “Наука”, 1965. С. 113.

вовала Большая Литература на национальных языках. Но в Византии ничего подобного не произошло: здесь некого поставить в один ряд с Петраркой, Данте, Боккаччо, Чосером, Вийоном, куртуазной поэзией Прованса и Бургундии, Эразмом Роттердамским, Себастьяном Брандтом и др. Это красноречивое немощствование входит в общий счёт, по которому византийцы расплачивались за бремя империи.

Своеобразной реакцией собственно греческого этноса на присвоение его национального языка всем населением Византии и на низведение этого языка до уровня служебного явилось возникновение так называемых социолектов: по сути, двух разных греческих языков – языка простонародья (и инородцев) и языка рафинированной интеллигенции. Это разделение сопровождало постепенный переход от старогреческого к новогреческому языку и сохранилось до наших дней. Общеупотребительный, расхожий язык оказался отделён от языка образованных слоёв населения, нарушилось живое единство не только национального языка, но и народной души и судьбы греков. Литературное бесплодие – прямой результат этого уродливого явления. А оно, в свою очередь, прямой результат уродливого общественного устройства.

Так обстоит дело с языковой скрепой империи. Не лучше было и с религиозной: перипетии вероисповедного бытия Византии поистине драматичны, полны ужасных и отвратительных подробностей. “Великая христианская империя”, как нам её представляют, никогда не жила устойчивой, благополучной, уверенной в своей истинности духовной жизнью, но напротив, всё время содрогалась в конвульсиях борений, порой кровавых. Лично я всегда с сокрушением сердечным думаю о том, из каких недостойных рук мы получили светоч христианства.

Можно для примера вспомнить про чудовищный погром и зверства, которые иудеи учинили в 614 году христианам, воспользовавшись взятием Иерусалима войсками персидского шахиншаха Хосрова II. Ответный погром и выселение евреев из Иерусалима произошли после возвращения их в лоно Византии в 630 году (последовал и эдикт о насильственном крещении иудеев, увы, не последний).

Но и в самом Константинополе хватало поводов для распрей. Это касается как довольно длительного периода сосуществования христианства и язычества со спорадическими “одержаниями верха” то одним, то другим (чего стоит только тезис Юстиниана Великого: “Язычников не должно быть на земле!”), так и систематического возникновения поистине соблазнительных и сокрушительных толков и ересей. Моря крови и слёз пролились из-за таких вещей, как арианство, несторианство, павликианство\*, монофизитство, богумильство, монофелитская уния\*\* и др., включая страшные сто лет иконоборчества и разделение церквей в 1054 году. Понятное дело, все эти уродства и отклонения чётко и определённо базировались на почве национальных различий, находивших себе выход в различиях религиозных.

Измученное внутренними вероисповедными неурядицами византийское Православие, в конце концов, сдалось на милость победителя и согласилось на унию с Римской Церковью (Лионский собор 1274), просуществовав всего лишь двести двадцать лет после разделения церквей\*\*\*... Сие, как заметил Успенский, не только не принесло “ожидаемых выгод, но напротив, сопровождалось прямым ущербом для империи”. Последние 180 лет своего существо-

---

\* Многовековая борьба с павликианством при Василии Македоняnine вылилась в настоящую гражданскую войну, когда василевс чуть не утратил власть над всей Малой Азией.

\*\* Монофелитствующие василевсы немало позверствовали над православными. К примеру, старику Максиму Исповеднику отрезали язык и руку, были и массовые расправы. Монофелитство была осуждено при Константине Погонате на VI Вселенском соборе (680), но лишь тогда, когда приверженные унии местности уже перешли к арабам и уния потеряла смысл. Филиппик (Вардан) из знатного армянского рода анафематствовал решения VI Вселенского собора и провозгласил монофелитство государственной религией, но Армения к тому времени уже почти вся отложилась, и преемник Вардана пресёк его не имеющие перспектив инициативы.

\*\*\* Датировка церковного раскола условна: Византия никогда не признавала формулу *filioque* – об исхождении Святого Духа “от Отца и Сына”, принятую Западной Церковью, и Константинопольский собор отлучил Папу Римского от церкви как еретика именно за эту формулу ещё в 867 году. Условна и дата унии, ибо о ней мечтал и готовил её ещё Мануил Комнин в 1160-е годы. А второй раз уния с Римом была подписана в 1439 году, незадолго до окончательного его падения.

вания Византия провела под приглядом римских пап, которые, однако, пальцем не пошевелили, чтобы спасти её от турецкого ятагана. Жертва оказалась напрасной. Духовная смерть (новая, ещё более полная уния) недаром преварила физический конец империи. Нравственная гниль, как трупные пятна, давно проступала на её теле.

В 394 году Феодосий Великий, родом из Испании, провозгласил христианство единственной религией всей Римской империи. С тех пор многое можно припомнить относительно болезней религиозного роста Византии: взять хотя бы драки ревнителей христианства с не вполне христианизированными жителями Константинополя при Иоанне Златоусте! Как пишет один из лучших современных византологов С. Б. Дашков: “Вообще история Византии, особенно ранней, богата волнениями именно на религиозной почве. К началу V в. Константинополь насчитывал от трехсот до пятисот тысяч жителей, и почти половина из них были христиане. Различия в направлениях веры, недовольство существующими порядками, религиозная нетерпимость и борьба на этом фоне столичных политических группировок приводили к тому, что богословские разногласия часто выливались в настоящие побоища, результатами которых пользовались демагоги”\*. С Юстиниана Второго (669–711), массово сжигавшего еретиков, особенно армянских монофизитов, берёт своё начало этот милый обычай. Михаил Первый, умерший в 844 году, вообще объявил смертную казнь всем еретикам без разбора.

Но это всё были пустяки и цветочки по сравнению с тем, что началось в VIII–IX вв. Избавляя читателей от массы несимпатичных подробностей, кратко остановлюсь на истории иконоборчества – наиболее яркой странице “духовных исканий” Византии.

Истоки иконоборчества лежат в сосуществовании в ареале Византии трех авраамических религий, из которых две – иудаизм и мусульманство – отвергают всякое идолопоклонство. Под запрет попадают, естественно, любые изображения богов, неважно, языческих или нет. Влияние этой идеи, опирающейся на прямой запрет “сотворять кумиры”, содержащийся в обязательном и для христиан декалоге Моисея, охватило не только византийские диоцезы, непосредственно населённые мусульманами и евреями или граничащие с мусульманами – арабами и персами, – но и проникло глубоко во все слои византийского общества.

Дело не ограничивается тем, что императоры стремились устранить провоцирующий, раздражающий момент в отношениях с иудейским и мусульманским миром, уничтожить все преграды, камни преткновения, мешающие укрепить там своё влияние. Ревность о “правильном христианстве” расколола византийское общество сверху донизу. При этом фактор многонациональности проявился весьма чётко и напрямую сказался на церковном расколе (как сказался и на русском расколе, если принять во внимание фактор мордовского происхождения патриарха Никона и греческого – братьев Лихудов).

Ещё император Филиппик (армянин по имени Вардан), которого называли “сарацински мудрствующим”, намеревался в 713 году издать закон против почитания икон, но не успел. Впервые почитание икон было официально запрещено в 730 году императором Львом III Исавром\*\* (были уничтожены многие тысячи икон, фресок, мозаик, статуй и алтарей), впоследствии иконоборчество было активно поддержано Львом IV Хазаром, наконец, оно, после временной отмены, снова было возобновлено в 813 году Львом V Армянином. Не имея возможности подробно анализировать здесь этническую базу конфликта, я призываю читателя обратить внимание на прозвища-этнонимы главных акторов иконоборчества – они о многом говорят. Как прямо пишет Дашков о Льве Исавре, в утверждении иконоборчества свою роль сыграло, “прежде всего, его восточное происхождение (иерархи Малой Азии ещё в 724 году открыто выступили против почитания икон, которого, кстати, христианство первых веков не знало)... Противники Льва III упрекали его ещё и в “сарацинолюбии” – чрезмерном увлечении арабской культурой – и вни-

\* Дашков С. Б. Императоры Византии. М., “Красная площадь”, 1996. С. 28–29.

\*\* Исавры – воинственный народ Малой Азии, языковая принадлежность их не известна; Лев Гумилёв считал их потомками киликийских пиратов. Они были завоеваны Римом в войне с Персией, частично переселены во Фракию. Исаврийская династия правила в Константинополе с 717 по 802 годы, основные эпизоды иконоборчества развернулись при ней.

мании к доводам мусульман и иудеев против "идолов", что не помешало ему в 723 году издать эдикт о насильственном крещении иудеев и монтианстов.

Традиция иконописи вообще сформировалась в христианстве довольно поздно, только к VI веку (хотя первым иконописцем принято считать евангелиста Луку, родом грека, написавшего портрет Божьей Матери), и уже в ранние века вызывала протест у таких видных богословов, как Евсевий Кесарийский, Епифаний Кипрский, Севир Антиохийский и многих других. Однако государственный запрет на иконопочитание привёл к разделению византийского согражданства на иконодулов и иконокластов, по стране покатались восстания, в Греции и на островах Эгейского моря поднявшееся население провозгласило своего императора, годом позже восстала Равенна, против Льва Исавра выступил Римский Папа Григорий II, Латеранский собор 731 года осудил иконоборчество, в ответ на что Лев перевёл римские епархии на своей территории под юрисдикцию Константинопольского Патриарха...

Лев Исавр умер, успев женить своего сына Константина Копронима ("Говноименного") на дочери хазарского кагана. Дальнейшие гонения на иконы связаны с этим персонажем (созванный им в 754 году собор объявил еретиками всех "древо- и костепоклонников"). Копроним разрушил множество столичных и провинциальных монастырей, отобрал у них земли, расстриг и отдал в руки палачей тысячи "мраконосителей" (монахов). Однако иконоборческое духовенство, а оно также было значительным, император не трогал. Не преследовал он и многочисленные ереси, к примеру, павликианство. "Последующие массовые кровавые расправы с ними православных монархов, вне всякого сомнения, затмили все казни иконодулов при Копрониме" (Дашков).

Его сын Лев Хазар правил недолго (возможно, был отравлен), но успел в 780 году осудить и сослать многих влиятельных иконопочитателей, а свою жену Ирину, им покровительствовавшую, выслал из дворца за обнаруженные в её спальне две иконы.

Ирина была природной гречанкой из Афин; овдовев, она немедленно занялась восстановлением иконопочитания и провела с этой целью в 787 году Седьмой вселенский собор с участием папских легатов. Уступив на время, под давлением войск стратига Армениака (армянина), престол своему сыну Константину VI, она затем устроила переворот, ослепила (!) сына и вернула себе всю полноту власти, но была свергнута логофетом Никифором (арабом) и кончила свои дни в изгнании на Лесбосе.

Сменив на троне погибших в войнах Никифора, его сына Ставракия и куропалата Рангаве (славянина), к власти в 813 году пришёл Лев V Армянин, который поручил учёному богослову Иоанну Грамматику детально разобрать вопрос об иконопочитании. Грамматик всё взвесил и сделал вывод: поклоняться иконам нельзя. Собор 815 года приговорил: запретить "несогласное с преданием или, ещё вернее, бесполезное производство икон и поклонение им", восстановленное "благодаря женской простоте".

Пришедший на смену Льву Михаил II Травл (фригиец, грубый и невежественный) запретил все дебаты по поводу икон вообще. Поднявший против него восстание Фома Славянин, напротив, был сторонником иконопочитания, но потерпел поражение и после пыток был казнен. Сын Михаила, Феофил, стал последним иконоборческим императором, жестоко преследовал иконопочитателей.

Вдова Феофила, пафлагонянка Феодора восстановила иконопочитание; Патриарх Мефодий в 843 году окончательно отлучил иконоборцев от Церкви.

Эта победа, как подчёркивает Успенский, "знаменует собой преобладание славянских и эллинских элементов над азиатскими". Ведь все императоры-иконоборцы были таковы: исавр, хазарин, армяне, фригиец. За ними стоял соответствующий этнический духовный опыт и предпочтения. А за ними, в свою очередь, — межэтнические противоречия, определяющие обычно всё и вся.

Так закончилось самое знаменитое церковное "нестроение". Впрочем... та же Феодора незамедлительно обратила свой взор на еретиков, в первую очередь, павликиан (ими, в основном, были сирийцы и армяне, то есть опять-таки люди Востока). "В области их поселений на востоке страны отправались с карательными экспедициями три военачальника... Павликиан жгли, топили, прибывали к столбам. Во имя Православия погибло до ста тысяч человек..." (Дашков). Инквизиторы Германии, Испании и Нидерландов не скоро приблизились к этому рекорду, достигнутому по меркам истории мгновенно.



Не погружаясь в пересказ дальнейших превратностей, могу лишь уверить читателя, что этнический фактор всегда проявлялся здесь в своём решающем значении. К примеру, монофизитство находило поддержку у армян, сирийцев и коптов, богумильство — у болгар и т. д. и т. п. Ведь национальное своеобразие всегда и непременно выражает себя через религию.

Проявлялся этнический фактор и во внутренних распрях. Иногда возникает такое впечатление, что противоестественное постоянное проживание бок о бок разноплеменных масс заряжало всё общество мощнейшим зарядом нетерпимости и агрессии, который только ждал повода, чтобы проявиться взрывом. Как пример можно привести крупнейшее в истории Византии восстание “Ника”, которое началось со схваток венетов и праситов (враждующих “димов” — спортивно-политических партий; обратим внимание, что название одной из них есть этноним), но вылилось в неуправляемый погром города, в ходе которого пострадали и варварская дружина, пытавшаяся навести порядок. Константинополь был сожжён и заполнен трупами, мятежная толпа попыталась сместить Юстиниана и посадить на трон его племянника Ипатия, но была раздавлена ворвавшимися с двух сторон служилыми варварскими отрядами Велизария и Мунда... Подобные вспышки агрессии, сопровождавшиеся анархией и погромами, только при Юстиниане повторялись ещё дважды. При Фоке или Иоанне Кантакузине (но не только) вражда партий обрела характер гражданской войны.

Не случайно столичный гарнизон формировался василевсами, как правило, из наёмников-неэллинов: армян, фракийцев, варваров и прочих. Чувство этнической инаковости дополнительно консолидировало этих воинов в чужеродной среде горожан, сплачивая их вокруг своего нанимателя, василевса. Хотя и жители столицы, и наёмники были все в равной мере согражданами Византии.

Итак, всё сказанное помогает осознать очевидное: отсутствие национальной скрепы у Византийской империи не могло быть компенсировано наличием скреп-симулякров: языка и религии. Первичное, изначальное не подменяется вторичным, производным. У Второго Рима не было народа-хозяина, этот факт нельзя ни отменить, ни прикрыть каким-либо флером...

Дом без хозяина непрочен и преисполнен скверн.

## Злато и булат

*Метались смятенные народы...*

А. С. Пушкин

Можно задаться вопросом: как же при всех этих внутренних противоречиях, раздорах и нестроениях Византия умудрялась выживать в недружественном окружении и протянула все же целых тысячу сто двадцать три года (если считать от переноса столицы из Рима в Константинополь в 330 году). Почему её никто так долго не мог уничтожить, разорвать, как разорвали Западную Римскую империю?

На это есть несколько ответов.

Во-первых, Византию всё же неоднократно и не без успеха разрывали, отдирая каждый раз небольшие куски. Своего максимального размера, как в VI веке, она в дальнейшей своей судьбе уже никогда не достигала. К середине XI века она сократилась практически до Балкан и части Малой Азии, а накануне своего окончательного падения и вовсе не имела ничего, кроме столицы.

Во-вторых, Византии долгое время попросту везло. Её географическое положение позволяло ей, играя на противоречиях могущественных соседей (готов и гуннов, славян и аваров, персов и арабов, русских и болгар\*, турок и монголов и т. д.), нейтрализовать за счёт этого непосредственные угрозы своему существованию. Византийцы были искусными дипломатами.

В-третьих... Но тут надо обратиться к военной истории Ромейской империи, которая заслуживает самого пристального внимания. Характерные особенности имперского бытия проявляются в ней очень выпукло.

---

\* Только чудовищный и неоднократный погром Болгарского царства, учинённый русским князем Святославом, позволил Ромейской империи привести болгар, претендовавших на первенство в ней, к покорности, а там и ликвидировать независимое Болгарское царство, включив его в 1018 году в свой состав. Важнейшую в своей истории военную и геополитическую задачу ромеи решили русскими руками и русской кровью.

Византия была относительно слаба в военном отношении. Она вполне соответствует поговорке “молодец против овец, а против молодца — сам овца”. Когда Византия оказывалась лицом к лицу с настоящей силой, с истинными воинами, её тут же ждала либо постыдная капитуляция (как перед князем Олегом в 907 году), либо полный разгром (крестоносцы — в 1204 году, турки-османы — в 1453-м). Поражение, которое нанёс в 971 году наш князь Святослав *вдесятеро* превосходящим силам ромеев, красноречиво иллюстрирует этот тезис. В чём тут было дело?

Все началось издавна. “По той причине, что граждане постепенно превращались в закрепощённых налогоплательщиков, Константин [Великий] был вынужден брать в армию всё большее и большее число варваров. В римской армии было много скифов, готов и германцев, а при дворе Константина особым влиянием пользовались франки; он был первым императором, который стал делать варваров консулами” (Е. Фёдорова). Вскоре в армии уже было множество отрядов, где служили инородцы, каждый отряд по отдельности: батавы, герулы, кельты, петуланты и проч. Брали инородцев и просто в ряды солдат в разных гарнизонах, даже готов (их пришлось всех перебить, когда готы и аланы подошли к Константинополю в 378 году).

Дальше — больше. Начиная с Юстиниана Первого, умершего в 565 году, армия Византии уже была полностью наёмной, притом состояла в основном из варварских формирований (готы, гунны, гепиды, даже славяне и пр.). У его главного полководца, великого Велизария, была, к примеру, во время сицилийской кампании 535 года армия, состоявшая из 7,5 тыс. наёмников-федератов и 4 тыс. личной (!) дружины.

Племена варваров-наёмников, так называемые “федераты” поставляли Константинополю воинов определённой национальности за жалование, имея племенных командиров-вождей из своей среды. Такие отряды чуть что поднимали мятежи, если бывали затронуты их национальные интересы, например, возникала возможность поставить василевсом своего человека. Всегда не прочь разбить и разграбить врага послабее, они не очень-то упирались, когда дело становилось слишком жарким. Как таких вести в смертный бой? Никогда Византия не могла навести порядок железной рукой, нагнать на все окрестные народы ужас, как это умел делать Рим. Никогда никого не могла победить окончательно, как римляне Карфаген, Грецию, Митридата и т. д. Она не могла себе позволить войну не на жизнь, а на смерть, потому что наёмники так не воюют, и никогда не добивала, не додавливала отражённого врага.

К чему это вело? К примеру, взяв в 540 году Равенну — столицу державы остготов, — Юстиниан увёл основные войска, так и не раздавив, не поставив на колени противника. Остготы собрались с силами, избрали королём Тотилу, и за пять лет византийцы лишились в Италии всех своих завоеваний, Рима в том числе. Пришлось заново снаряжать невиданную по тем временам армию в 30 тыс. человек, чтобы с большими жертвами вернуть себе чудовищно обезлюдившую Италию. . .

Чужая провоцирующая слабость Ромейской империи, её гнилость, неготовность идти до конца, вечно враждебные соседи непрерывно испытывали и кусали её со всех сторон. И — что делать! — Византия, негодная к настоящей войне, предпочитала откупаться или подкупать офицеров противника. Не способным служить в армии и сражаться за свою жизнь и благополучие “гражданам всех сословий оставалось лишь нести на собственных плечах тяжкое бремя налогов, увеличивавшихся год от года” (Дашков). Контроль государства над деятельностью любого производителя или торговца был неслыханно жёстким. Такова была заслуженно жалкая участь “сограждан”, результат многонационального устройства государства. Ну, а “сограждане”, чьи спины были вечно согнуты непосильным бременем податей, пожираемых чужеродной военщиной, мечтали распрявиться и платили “родному государству” всегдашней готовностью к мятежам и переворотам. . .

При этом получался порочный круг: откупаясь на время от одних врагов, ромеи порождали у других надежды на такое же лёгкое благополучие. Вырваться из круга было невозможно. Император Маврикий, умерший в 585 году, попытался снизить плату наёмникам, но малоазийские войска подняли бунт, а когда он к тому же отказался выкупить пленников у авар, фракийская армия возмутилась и привела на трон Фоку, а Маврикий с сыновьями был убит.

Пытаясь залить пожар вечной войны не кровью, а золотом, Византия от рождения до смерти своей работала на эту самую войну, бесславно и бесплодно истощая внутренние производительные силы. . . Наиболее яркий пример – правление Юстиниана Великого, считающееся успешным. К его началу в 527 году враги уже были везде: на западе империи – королевства остготов и вандалов, на востоке – сасанидский Иран, на севере – авары, болгары, славяне, в том числе анты, на юге – кочевые арабские племена. За 38 лет правления Юстиниан воевал со всеми, отбивался успешно (благо был свой гениальный полководец Велизарий), но никого не победил и всех врагов оставил в жуткое наследство преемникам. Беспощадно выжимая из населения деньги, он обращал их на армию и подкупы противника. После его смерти государство осталось обескровленным и нищим, с подорванными силами, недосчитывающим многих тысяч убитых сограждан.

Идею Византии выразил однажды василевс Константин Багрянородный, считавший, что государство ромеев противостоит всему остальному миру – миру варваров, в борьбе с которым хороши все средства: золото, обман или оружие. Традиционно предпочтение отдавалось первым двум.

Правда, однажды порочная система была сломана. Это сделал император-армянин Ираклий Первый (575–641) перед лицом смертельной персидской угрозы. В 614 году персы покорили уже всю Сирию, Финикию, Армению, Каппадокию, Палестину, Галатию и Пафлагонию. В 618 году пала Александрия, был взят весь Египет, в Византии начался голод и мор. Тогда Ираклий, выжав деньги даже из церкви, купил мир с аварами. Потом он набрал войска только из греков и армян, не взяв с собой варваров-федератов, и перестроил армию на новый образец. Она отличалась “не только умением, но ещё и высоким духом, твёрдой дисциплиной и, так как состояла почти вся из коренного населения Византии, патриотизмом” (Дашков). Результат: полный разгром персов, овладение их сокровищами. Византия получила огромную контрибуцию, мир и вернула земли\*.

Опыт Ираклия был развит Юстинианом вторым, его праправнуком, который по образцу древних римлян стал формировать, во-первых, боевые пограничные соединения из местных крестьян (существовали несколько столетий), а во-вторых, стал после 705 года переходить к формированию ополчения из местных граждан. Принцип фемных войск из крестьян-стратиотов (вместо принципа наёмных войск) со временем стал основой византийской армии и, наряду с греческим огнём, изобретённым в 673 году сирийским архитектором Каллиником, позволил на несколько столетий отсрочить роковой конец империи.

Фемный строй окончательно сложился при Константине Пятом (718–775), когда “стратиотское ополчение стало основной силой армии, мощь и многочисленность которой позволили василевсу вести победоносные войны” (Дашков). Хотя военные победы его отца, Льва Исавра, навсегда остановившего экспансию арабов в Европу, и его самого, надолго сокрушившего болгар, были “уравновешены” жестоким иконоборчеством, ввергшим империю в смуту на сто лет.

Никифор Первый установил своего рода рекрутчину, связав землевладение с воинской службой и круговой порукой. Это также сильно укрепило армию. Никифор второй освободил от налога тяжёлых конников – катафрактов – и даже их слуг и вообще заботился о стратиотах. Ряд выдающихся побед византийцев, в частности, уничтожение независимости болгар, был плодом такой верной политики.

Впрочем, длился этот период не так уж долго, лет четыреста, а система наёмничества никогда никуда не исчезала. Так, в 912 году несколько сот русских дружинников участвовали в походе логофета Имерия на Крит, захваченный арабами. Со временем усиление динатов-землевладельцев (протофеодалов) стало разорять и расслаивать сословие стратиотов, подрывая основу имперского войска. К середине X века всё больше стратиотов нищало и переставало выступать ратников, армия из народной стала превращаться в рыцарскую. А новоявленные феодалы самоорганизовывались в систему васальной зависимости, ослабляя позиции центральной власти. Иностранные

---

\* Но вскоре все эти земли (да заодно и ослабленный ромеями сасанидский Иран, и Месопотамия) перешли под власть арабов-мусульман, которых радостно встречали не только самаритяне и иудеи, но и монофизиты, ведь раскол среди христиан на несториан, монофизитов и ортодоксов Ромейской империи достиг апогея! Изменил Ираклию и наместник Армении Давид Сааруни. . . Колосс на глиняных ногах – Византия – снова начал разрушаться.

наёмники вновь начинают играть в армии всё более и более заметную роль.

Константин Дука начал экономить на армии, хорошо содержа уже только наёмную рыцарскую гвардию (из Англии после битвы при Гастингсе как раз бежала масса англосаксов, пополнившая ряды гвардейцев и потеснившая русско-варяжскую “этерию”). И Роману Диогену досталась армия в жалком виде, которая не могла ни сдержать турок на Востоке, ни противодействовать норманнам в Италии. Чрезвычайными усилиями Роман собрал стотысячное войско, но в 1071 году под Манцикертом был разгромлен мусульманами и сам попал в плен, отчасти из-за предательства знати, недовольной его политикой. Кончилось это гражданской войной, сдачей и варварским ослеплением Романа, умершего затем от сепсиса.

Пасынок Романа Михаил VII довёл страну до голода и не платил армии. В результате на имперских землях стали возникать независимые государства, начался распад страны. Появились узурпаторы, против которых Константинополь стал нанимать... турок! И вот уже в 1077 году на бывших ромейских землях Малой Азии возник Иконийский (Румский) султанат.

К началу 1090-х годов положение стало настолько тяжёлым, что Алексей Комнин обратился с отчаянным письмом к западным государствам, умоляя прийти на помощь гибнущей от печенегов и турок (про норманнов он умолчал) Ромейской империи, которая уже была не в состоянии себя защитить сама. Соблазняя христианских правителей рассказами о религиозных сокровищах и “о бесчисленных богатствах и драгоценностях”, накопленных в Константинополе вообще и в храме Св. Софии в частности, он писал: “Мы отдаёмся в ваши руки; мы предпочитаем быть под властью латинян, чем под игом язычников... Мы не можем положиться на те войска, которые у нас остаются, так как и они могут быть соблазнены надеждой общего расхищения”.

Император знал, о чём говорил. Ведь это он сам руководил осадой Константинополя и брал его в 1081 году, возглавляя мятеж, и был свидетелем того, как при первой возможности всё мятежное войско бросилось грабить город: “Это была смешанная толпа фракийцев, македонцев, ромеев, варваров. По отношению к соплеменникам они вели себя хуже врагов...” (Иоанн Зонара).

Хронист ошибся: они не были соплеменниками – всего лишь согражданами. И вели себя именно по логике согражданства, когда никто никому не брат. Точно так же после падения Константинополя в 1204 году окрестные крестьяне, скупая за бесценку всё подряд у вырвавшихся из кромешного ада горожан, злорадствовали: “Слава Богу, наконец-то и мы обогатились!”.

Уже при Алексее Первом Комнине ромейское войско было мало боеспособным: катафракты малочисленны, стратиотское ополчение почти ликвидировано, наёмники ненадёжны. Теперь вопрос стоял только о том, кто и когда первым нанесёт Константинополю смертельный удар, кому достанется главный приз. Но в 1095 году был объявлен первый Крестовый поход, и это спасло Византию, поскольку крестоносцы на Востоке нуждались в её поддержке и за это присягали василевсам на верность, участвовали в совместных боевых действиях против “неверных”. Смерть империи оказалась отсрочена. Однако ссора Иоанна Комнина с венецианцами заложила мину замедленного действия под это благополучие...

Комнины, как встарь, начали активно вербовать на военную службу иностранцев. Путешествующий еврей Вениамин из Тудели, наблюдатель с острым умом, писал о ромейской армии Мануила Комнина: “Для войны с турецким султаном они нанимают людей из различных народов, так как у них нет военного мужества: они подобны женщинам, у которых отсутствует сила военного сопротивления”.

Скажу в этой связи снова и снова, что удивление вызывает та счастливая судьба, которая позволила Византии так долго продержаться, балансируя на лезвии бритвы, ибо внутреннего ресурса, какой даётся национальным единством, племенной спайкой, у неё не было никогда. Политические, дипломатические маневры, обман и подкуп действовали долго и успешно, но рано или поздно должен был настать момент истины.

В 1176 году такой час настал, когда огромная (и многонациональная) армия, с трудом собранная Мануилом Комниным, вся полегла в горном ущелье под стрелами и мечами персов и сельджуков. Дальнейшая гибель державы стала лишь вопросом времени. Устроив в ходе очередного мятежа погром квартала, где жили католики из западных стран, византийцы нажили себе врага там, где раньше искали защиту. Теперь уже, к примеру, Фридрих Бар-

баросса не считал зазорным с боем брать византийские города, продвигаясь на Восток.

А впереди был 1204 год, взятие крестоносцами и венецианцами Константинополя, создание ими своей собственной Латинской империи с центром в бывшей ромейской столице... По сути, настоящий крах Византии произошёл именно в этом году, дальнейшее доживание сокращающейся, как шагреновая кожа, страны было просто медленным умиранием и тотальной капитуляцией. Ничто не могло спасти изжившую себя, промотавшуюся и растлившуюся наследницу величайшей мировой империи.

На этом можно было бы и остановить свой рассказ, если бы не одно “но”. В результате указанных событий Ромейская империя перестала существовать в 1204 году, а в 1205 году вокруг греческого города Никеи сложилось небольшое, зато монархическое греческое государство со своим “императором” Фёдором Ласкарисом. Наёмников в никейской армии было очень мало, а её основу составили греческие вотчинники-прониары, получавшие (как потом русские помещики) в управление надельные земли на условиях обязательной службы.

И случилось чудо. Греки, несмотря на ничтожные силы, остановили продвижение латинян, подняли народную войну, а вскоре превратили свою страну в сильнейшее греческое государство Малой Азии. Они обратили в бегство превосходящие силы сельджуков, обеспечив мир с ними на тридцать лет. А вскоре и сказочно разбогатели, ведя мудрую экономическую политику. Уже в середине 1230-х годов Иоанн III Дука стал выдавливать католиков с Балкан, овладел Фракией, выстроил сильный флот. Латинская империя крестоносцев неуклонно сокращалась, а Никейская – росла. В 1261 никейский император Михаил Палеолог взял Константинополь и восстановил Византийскую империю (хоть и в скромных масштабах).

Так было наглядно явлено превосходство национального государства над многонациональной империей.

Увы, превратившись, силою вещей, вновь в многонациональную империю, какой и были когда-то, византийцы обрекли себя на повторную, на сей раз уже необратимую гибель. Вновь вместо соплеменников (основы всякой здоровой, жизнеспособной нации) возникло согражданство – национальный симулякр. Первым симптомом неизбежной гибели стала уния 1274 года, следующим – отдача Михаилом VIII своих дочерей за татарских правителей Абагу и Ногаю, новым – отлучение всех (!!!) жителей Византии от Церкви за разврат Патриархом Афанасием, далее – союз Иоанна Кантакузина с турками в гражданской войне с Иоанном Палеологом, признание последним сюзеренитета султана Мурада I в 1373 году... В 1439 году в Риме был подписан текст очередной унии, и василевс ромеев коленапреклонённо облобызал руку Папы, но это уже не помогло...

Ну, а окончательно гибель состоялась в ходе турецкого штурма 1453 года (от более раннего падения Византию, как всегда, спас только счастливый случай: “железный хромец” Тимур разгромил и взял в плен султана Баязида).

К тому моменту от империи оставалась, не считая нескольких островов и обезлюдившей Мореи\*, одна только запустевшая столица, где проживало всего 35–50 тыс. человек.

## Кровавый калейдоскоп

*И высились, и падали цари...*

А. С. Пушкин

Ромейская империя от первого до последнего дня управлялась императорами. Постичь историю византийских династий значит постичь историю Византии.

Недаром говорят в народе: “Каков поп, таков и приход”, “Рыба гниёт с головы”... Историю византийских императоров, претендентов и узурпаторов, их борьбы за власть, восхождений на престол и падений нельзя читать без дрожи омерзения. На страницах этой истории справляют свой триумф невежество, алчность, коварство, похоть, предательство, жестокость, бесстыжая демагогия и прочие пороки всех сортов. Жизнь двора, вообще высших кругов

\* Т. н. “Трапезундская империя”, практически независимая от Византии, отделённая от Константинополя Иконийским султанатом и являющаяся подданной Османов, в счёт идти не может.

общества соответствовала сему. А жизнь всей страны просто-таки стояла на том\*, порождая и поддерживая саму систему до последнего дня, до могилы.

Почему?

Некогда республиканская идея вознесла Первый Рим на высоту господства над миром. Её падение, начавшееся ещё в конце старой эры, достигло своего дна во Втором Риме, найдя самое совершенное воплощение в идее священного и богохранимого самодержавия. В наследство от императорского Рима эпохи упадка Ромейской империи досталась своеобразная “демократическая монархия” в самом худшем виде: система выборных императоров. То есть строй, противостоящий принципам не столько аристократии или республики, сколько меритократии, в результате чего кто только и как только не возносился на верх государства!

Династический принцип передачи власти по наследству оформился лишь в последние часы Византии. Когда, как отмечают историки, “под впечатлением событий, имевших место после брака Зои с Романом III, среди знати склонность захватывать корону превратилась в настоящую эпидемию” (Герцберг). Таков был закономерный конец института выборных императоров — “демократической монархии”. В борьбе за трон претенденты не раз приводили на родину внешнего врага или делали её заложницей своих распрей\*\*.

Но до этого в ней господствовали позднеримские порядки, когда в результате действия “социальных лифтов” на троне мог оказаться любой. Как писал по этому поводу в XIII веке Никита Хониат: “Были люди, которые вчера или, словом сказать, недавно грызли жёлуди и ещё жевали во рту понтийскую свинину [то есть дешёвое мясо дельфинов], а теперь совершенно открыто изъевляя свои виды и претензии на царское достоинство, устремляя на него свои бесстыжие глаза, и употребляли в качестве сватов или, лучше, сводников продажных и раболепствующих чреву общественных крикунов... О знаменитая римская держава, предмет завистливого удивления и благоговейного почтения всех народов, — кто не овладевал тобою насильно? Кто не бесчестил тебя нагло? Кого ты не заключала в свои объятия, с кем не разделяла ложа, кому не отдавалась и кого затем не покрывала венцом, не украшала диадемою и не обувала затем в красные сандалии?”

Воля простонародья проявлялась в этом очень часто. Более того: перед нами своего рода “византийская мечта”. Характерно пишет Константин Багрянородный в оправдание возвышения своего родоначальника, Василия Македонянина: “Случилось такое по мольбам людей вельможных и простого народа, а также войска и военачальников, и всех жителей всех земель, и всех городов державы. Ибо все они молились, чтобы пришёл к власти человек, вкусивший низкой судьбы, который бы знал, как мнут бока беднякам сильные мира сего, как безо всякого на то права обируют их, как восстают смиренные и попадают в рабство к своим соплеменникам, а всего этого хватало в царствие Михаила” (благотетелю Михаилу, возвысившему Василия, кстати, отрубили руки и зарезали его при кровавом воцарении деда писателя).

Таких вот “вкусивших низкой судьбы” немало в истории византийских династий.

Не менее часто трон делался залогом национальных отношений в империи. Исавийская, Сирийская, Македонская, Армянская, Фракийская, Иллирийская династии сменяли друг друга, временами открывая дорогу к власти арабам, грекам, славянам... Одноплеменная избраннику знать, соответственно, каждый раз “перетягивала одеяло” на себя.

Здесь мне прилично умолкнуть, и пусть за меня доскажет простой перечень восточно-римских василевсов и претендентов на престол. Да пошлёт небо выдержку читателям при этом отвратительном чтении!

Аркадий, сын Феодосия Великого, умер сам. Вестгот Гайна поднял в 399 году мятеж, был разбит, ему отрезали голову. Феодосий II умер сам. Маркиан, простой воин, был неграмотен и необразован, его отравили. Лев I,

\* Хронист X века Лев Диакон так заклеил это свойство ромеев: “Тогда было в обычае проявлять чрезмерную радость по время переворотов — людей прельщали надежды на призрачную славу, почётные звания и раздачи денег”.

\*\* Яркий пример: стремясь помешать захвату власти Романом Лакапином, военачальник Лев Фока во время ожесточённой войны с болгарями бросил своё войско и помчался к Константинополю. Сам он был разбит и ослеплён, а царь болгар Симеон, разгромив брошенное на произвол судьбы войско ромеев и дойдя в 912 году до Константинополя, добился независимости своего царства и объявления себя кесарем.

фракиец, в молодости был мясником. Посажен на трон варваром патрикием Аспаром. Умер сам. В 475 году произошёл мятеж вдовы Льва I Верины и её брата Василиска. Василиск, узурпатор, был разбит и умер голодом в крепости. В 479 году восстал Маркиан, зять Льва I. Он был пострижен в монахи и заточён. В 480 году магистр Илл взбунтовал сирийские легионы, Леонтий Сириец был провозглашён императором, в 482 году восстание перекинулось в Египет, но в 484 году Илл и Леонтий были разбиты, их головы на пиках выставлены на ипподроме. Однако разбивший их остгот Теодорих, консул того года, взбунтовался сам, его уговорили идти на Рим. Лев II, по слухам, был отравлен своим отцом Зином. Зинон Исаврянин то ли умер от эпилепсии, то ли был похоронен мертвецки пьяным, несмотря на его крики. Анастасий Дикор, иллириец, умер сам. В 493 году Лонгин, брат Зинона, пытался, опираясь на исавров, осуществить переворот, но был разбит и пострижен в монахи. В 513 году произошло крупнейшее восстание Виталиана, заручившегося поддержкой болгар и славян, а также федератов придунайских областей. Он объявил себя защитником православной веры против императора-монофизита Анастасия, но был разбит в 515 году, а в 520-м погиб после покушения на него. Юстин I, сын бедных иллирийских крестьян, умер сам. Юстиниан I Великий, племянник Юстина, иллириец, возможно славянин, тоже умер сам. Феодора, вдова Юстиниана, родилась в Сирии, отец её – смотритель медведей в цирке, сестра – проститутка, сама Феодора – гимнастка и мим, также торговала собой (о её распутстве ярко написал Прокопий Кесарийский). Ради неё Юстиниан уговорил царствующего дядю издать указ, разрешавший сенаторам заключать браки с бывшими актрисами и проститутками. Детей от Юстиниана у неё не было, умерла сама. Простой воин Стоца поднял войско и в 545 году был убит в бою. Ипатий, племянник Юстиниана, насильно посаженный на трон обезумевшей толпой, был обезглавлен. Юстин был «превентивно» обезглавлен двоюродным братом Юстином II, который вдвоём с супругой в припадке исступления ещё и попирал отрезанную голову ногами. Юстин II, племянник Юстиниана, от военных и прочих неудач повредился умом, а потом обезножел, но умер сам. София, двоюродная сестра и жена Юстина II, посадила на трон пасынка Тиверия, которого домогалась без успеха. Была низложена и умерла сама под домашним арестом. Тиверий II, фракиец, умер сам. Маврикий, зять Тиверия, армянин. Он вывел из-под власти персов и поселил на Крите 10 тысяч армян (вот критяне были рады!). Был убит в ходе мятежа фракийских войск вместе с пятью сыновьями, головы всех были отрезаны и выставлены на позор. Фока, фракийский сотник низкого происхождения, низкорослый, рыжий, с густой бородой и обезображенным шрамом лицом, был посажен на трон мятежной армией фракийцев. В ходе нового мятежа южных провинций от Египта до Карфагена ему отрубили руку и голову, тело сожгли. Ираклий I, кападокийский армянин, умер сам. Константин III, сын Ираклия, правил всего сто дней, возможно, был отравлен мачехой. Ираклеон, сын Ираклия от Мартины, племянницы. Ему отрезали нос, и он умер в ссылке, возможно, был убит. Констант II перенёс, покинув Константинополь и ограбив Рим, столицу империи в Сиракузы, на Сицилию. Он был оглушён шайкой в бане и захлебнулся. Валентин Аршакуни правил как регент от лица Константа II, опираясь на армянскую знать и был растерзан восставшими горожанами. После смерти Константа II в Сиракузах провозглашён императором армянин Мизизий, но переворот не удался, он был казнён. Константин IV умер сам. Ираклий и Тиверий, младшие братья-близнецы Константина IV. Малоазиатские войска потребовали их равного участия в правлении по примеру Св. Троицы. Тогда кесарь их помиловал, но в 681 году, когда они сами потребовали того же, отрезал им носы и лишил титулов. Юстиниан II Ринотмет, праправнук Ираклия, в 695 году после военных неудач был смещён полководцем Леонтием, ему отрезали нос и сослали в Херсонес Таврический. Заключив союз с хазарским каганом и женившись на его сестре, Ринотмет, избегая предательства и убийства, бежал к болгарам и летом 705 года привёл войско болгар и славян под стены Константинополя. Он вернул себе трон, дал титул кесаря болгарскому хану Тервелю, жестоко расправился с врагами, но в ходе мятежа Филиппика-Вардана был обезглавлен, его голову носили на пике и отослали в Рим...

Вот такая благодать эта Византия.  
Свою горькую судьбу она выслужила сама.

## Эпилог

– Россия должна стать, как Византия, – говорят нам порой “доброжелатели”.

– Не дай Бог! – отвечаю я.

Отчего погибла Византия?

Византия погибла от собственной многонациональности и мультикультурности. Вот прямой и непреложный ответ на вопрос об уроках этой империи для нас, русских. Это совершенно ясно и понятно.

Рецепт долголетия этноса, в общем, достаточно прост и хорошо известен: 1) эндогамные браки; 2) жёсткое семейно-брачно-сексуальное законодательство с запретом на все девиации; 3) своя племенная (национальная) религия; 4) своя племенная власть даже под оккупацией, даже на чужбине, в гетто, в плену; 5) вообще своя племенная элита всех видов – от административной и воинской до интеллектуальной и художественной. Плюс ещё несколько пунктов, о которых здесь не стоит распространяться.

Ничего этого не было у сограждан Ромейской империи. Византийцы никогда не были ни этносом, ни, соответственно, нацией – и стать ею не смогли, так и оставшись всего лишь согражданством с вытекающими из этого факта последствиями: внутренней нестабильностью и слабой защищённостью перед лицом внешних угроз.

Спору нет, Византия была многим хороша, особенно с точки зрения малых и средних этносов\*. Но век её был лишь 1123 года. Если мы и впрямь – как она, то нам уже пора собираться в гроб. Поскольку наша государственность, если считать с 862 года – от Рюрика, – насчитывает 1150 лет.

Есть единственный способ избежать этого: преобразоваться в русское национальное государство. Только так мы сможем продлить своё существование, по крайней мере, на столетия, а если действовать с умом, то и на тысячелетия.

Ставка на империю – гибельна. Ибо тогда нужно смириться со смертью нации, а с нею, неизбежно, – и государства. Но если умирать прежде времени неохота, то надо ставить на русский народ, возрождать его к новой жизни. Нам нужно не российское согражданство, а полноценная русская нация. Только она сможет спасти страну от распада и гибели.

Иного не дано.

Византийский опыт приветствуют и проповедуют, главным образом, православные клерикалы, и то не все, а те, что ставят религиозное единство выше национального. Не понимая при этом, что только второе способно дать основу для первого. И забывая, чем в действительности была религиозная жизнь Византии.

Легко видеть, что история русского этноса и история России, к счастью, не имеют ничего общего с историей Византии. У нас есть главное, существеннейшее отличие: государствообразующий народ – русские. Поэтому любые попытки проводить параллель и выводить для нас некий императив из византийского опыта, брать пример с Византии – несостоятельны и вредны для нас. А вот оценивать угрозы и вызовы, стоящие перед нами, с точки зрения плачевного византийского опыта можно и нужно. Я постарался сделать это, как умел. *Sapienti sat.*

Что такое двенадцать веков?! Государство-“долгожитель” с таким возрастом – это пустяк. А вот этносы-долгожители (индоарии, китайцы, евреи живут гораздо дольше) – возрастом в разы больше – это предмет для размышлений, зависти, изучения и перенимания опыта. Какая нам радость, если русские исчезнут, утратят или сменяют идентичность, а государство с именем “Россия” будет процветать?

Пример евреев учит: этнос, если он сохраняет себя в веках, рано или поздно сможет восстановить, вернуть даже свою утраченную государственность. Вот стоит же себе Израиль! Но никогда и никакой Византии мы уже не увидим, поскольку некому её возрождать: нет тех ромеев (нынешние греки – не ромеи, а уж тем более не эллины!).

Итак, ясно поймём и скажем себе: нам нужен русский этнос, а русский этнос – долгожитель, поддерживающий своё государство. Противопоставлять русских и Россию, как это порой, увы, делается, – ложный, ошибочный путь.

Но приоритеты должны быть расставлены чётко и бескомпромиссно: вначале – русская нация, а русское государство – потом.

Телега не должна ехать впереди лошади.

---

\* Не случайно наиболее активно пропагандируют византийский опыт в России сегодня такие историки, как А. Малер, В. Махнач и др.



НИКОЛАЙ ПЛИСКО

## АВАНТЮРА-44

*К истории Варшавского восстания 1944 года*

### 12. Немцы опомнились и наступают

Ситуация в городе довольно быстро стала меняться в пользу германской армии. Варшавянам пришлось оставлять квартал за кварталом.

5 августа наместник в Польше доктор Франк послал следующую телеграмму в Берлин: “Город Варшава в большей части объят пламенем. Сожжение домов является самым верным средством, чтобы отнять у повстанцев убежище. После этого восстания и его ликвидации Варшава будет предана заслуженной судьбе своего полного уничтожения”.

6 августа германская разведка сообщала в штаб группы армий “Центр”: “Стойкое удержание восставшими занятых опорных пунктов, блокирование здания комендатуры и других частей города, перекрытие транспортного сообщения через город требуют и сегодня энергичных наступательных мер...”

Вопреки сопротивлению, имеющему место в центре города, в окрестностях дирекции Восточной дороги – угол Курт-Люкштрассе – Фелдхерр Альце – район стадиона вермахта (где почти исключительно проживает рабочее население) стоит полное спокойствие и можно свободно ходить по улицам.

По сообщению доверенного лица: вождь восставших заявил, что сделать шаг назад теперь невозможно. Теперь немцы, даже если восстание будет прекращено, в качестве возмездия уничтожат весь город со всем населением. С этим должно быть связано проходившее сегодня на площади Гжибовского народное собрание, которое очевидно должно было служить для нового подогрева масс. При этом у охраны находившегося неподалёку концентрационного лагеря требовали сдаться.

...По другим данным, в здании рынка на площади Мировского хранятся большие количества консервов, которые ежедневно выдаются. Склад хорошо охраняется. Обеспечение населения продовольствием плохое, есть только хлеб. Окраины города немного снабжает продовольствием сельское население.

...Движение сопротивления состоит из различных групп, добровольно подчиняющихся командованию АК. Командование АК обещает населению скорое освобождение и помощь союзников. Эти обещания встречаются неверием и издёвками.

В Праге (восточный район Варшавы. – **Прим. ред.**) создаётся впечатление, что осадное положение на неё не распространяется. Продолжается, хотя и ограниченное, движение по улицам. Царит полное спокойствие”.

На следующий день – 7 августа – немецкая служба радиоперехвата, подслушав переговоры между поляком и его командиром, выяснила следующее:

\* Окончание. Начало в №12 за 2015 год.

“Настроение повстанцев в связи с обстоятельством, что большевики без интереса отнеслись к восстанию, плохое. В связи с налётами авиации и использованием танков, а также радикальными акциями немцев по очистке, население находится в подавленном состоянии. Оно боится украинских добровольцев. Замечено, что большая часть населения симпатизирует немцам”. В тот же день информатор сообщил немцам, что в ночь на 7.08 на Варшаву было сброшено 15 парашютов с вооружением и боеприпасами.

8 августа руководство восстанием отправило отчаянную радиограмму в Лондон с просьбой передать её текст через Москву командующему фронтом Рокоссовскому. Радиограмма с этой просьбой была подписана *Лавина* – одним из псевдонимов Бур-Коморовского.

“С 1 августа 1944 года веду бои с немцами в Варшаве с участием всего населения и всех вооружённых отрядов Армии Крайовой, и тех, которые присоединились к боям: Рабочая милиция, Армия Людова, Польская Армия Людова и другие. Ведём тяжёлые бои. Немцы, готовя пути отхода, жгут город и уничтожают население. Сейчас мы сдерживаем крупные немецкие бронетанковые силы и пехоту, однако ощущаем недостаток боеприпасов и тяжёлого оружия, нам необходима быстрая помощь войск маршала. В моём штабе находится советский офицер, капитан Калугин, сообщите для него данные радиосвязи для того, чтобы он мог связаться с Вами и таким путём дать мне возможность согласовать действия.

*Нурт*, командующий округом Варшава\*”.

К 9 августа немцам удалось разъединить повстанческий район. В сентябре в руках повстанцев оставался лишь центр города. Немцам удалось выйти на берег Вислы и отрезать связь повстанцев с Прагой.

Германская разведка в эти дни сообщала своему командованию: “Настроение повстанцев крайне плохое. Причиной этого является недостаточное снабжение продовольствием и вооружением, а также плохое командование. Критикуется также и то, что бандиты, никогда не бывшие военнослужащими, носят офицерские знаки различия.

Повстанцы вербуются преимущественно из лиц в возрасте до 25 лет, в то время как люди старшего возраста с большим жизненным опытом почти совсем отсутствуют. Интеллигенция большей частью уже сбежала”.

В течение этого времени боевой настрой повстанческих сил постепенно снижался. Бойцы голодали, получая на обед только похлёбку из варёного зерна. Раненые в госпиталях умирали, не дождавшись операций. Немцы бомбили ежедневно с утра до вечера. К концу августа моральный дух повстанцев и мирных граждан поддерживала только надежда на советскую помощь.

### 13. Разрушение Варшавы

Прошло три недели со дня начала восстания. Немцы методично наступали. Штаб генерала Бур-Коморовского переместился с фабрики Камлера на Старе Място. Проливные дожди первых дней сменились безветренной и сухой погодой.

Город горел, над ним постоянно стояла пелена густого сизого дыма. Не умолкали взрывы бомб и снарядов, вой “штукасов”, треск пулёмётных очередей. Пожары гасить было нечем – трубы водопроводов полностью пересохли.

Восстание, начало которого казалось таким успешным, застопорилось. Не овладев полностью городом, повстанцы были обескуражены приказом командования перейти к обороне. Это удивило даже немцев и коменданта Варшавы генерала войск СС Эриха фон дер Бах-Залевского.

Уничтожение города уже началось. Как и еврейское гетто в 1943 году, его уничтожали систематически – дом за домом. Жгли и взрывали. Однако повстанцы сопротивлялись с невиданной яростью. Они покидали дом, объятый пламенем, но как только пожар затихал, возвращались обратно в развалины.

Когда повстанцы перешли к обороне, немецкое командование в городе вздохнуло с облегчением. Теперь ликвидация мятежа – вопрос лишь времени. Лишь бы русские не начали наступления...

Но генерал Гудериан заверил Берлин – на фронт брошены все резервы, подтянуты свежие танковые части, пехотные соединения. Усилена авиация.

\* Нурт – один из псевдонимов полковника А. Хрущеца.

А русским надо ещё привести в порядок свои войска, полностью обескровленные после такого длительного и тяжёлого наступления. Но, пока они с этим справятся, восстание будет уже подавлено.

Штурмовые немецкие части разрушали Варшаву на части, изолировали отдельные узлы сопротивления и уничтожали их один за другим. Уже 8 августа немцы заняли район Воля, а потом отрезали Старе Място от остального города – врезались клином до самой Вислы. Теперь бои шли на Гжибовской улице. В руках у немцев был мост Понятовского, они атаковали Маршалковскую, Крулевскую, Вспульную. Против повстанцев стали применять тяжёлую осадную артиллерию.

В течение трёх первых дней осады Старого Мяста из тысячи домов было разрушено и сгорело больше семисот зданий.

И в тот момент, когда советские солдаты приостановились, чтобы набраться сил, политики из эмигрантского правительства в Лондоне распространили подлый и ядовитый слухок – русские не хотят брать Варшаву... Это была такая же грязная клевета, как и затеянная полтора года назад катынская провокация. Впоследствии председатель Рады единства народной Пужак голословно обвинял советское командование в преднамеренной приостановке наступления в связи с началом восстания в Варшаве.

14 августа Бур-Коморовский направил в Лондон, в штаб Верховного главнокомандующего, следующую радиogramму: “С момента вступления советских войск на польскую территорию в январе 1944 года части АК устанавливали связь с советскими командирами для согласования действий. Так было на Воляни и Виленкине, в восточной Малопольше, Белостокском и Любельском воеводствах. Все контакты закончились печальным опытом, поскольку после использования нашей помощи на поле боя, командиры всех частей и подразделений АК были арестованы, и части разоружены советской армией.

После такого опыта мы не старались заранее установить связь из Варшавы с советским командованием, ожидая проявления их доброй воли. Как только 3 августа в штаб АК прибыл советский капитан Калугин, он был принят и размещён в штабе командующего восстанием.

Через посредничество капитана Калугина 7 августа были переданы советскому командованию потребности АК в оружии и цели в Варшаве для бомбардировки с воздуха.

Кроме того, командующий восстанием в Варшаве направил через Лондон радиogramму маршалу Рокоссовскому с предложением согласования действий и оказания Варшаве помощи, к сожалению, до сегодняшнего дня как телеграмма капитана Калугина, так и командующего восстанием остались без ответа.

*Лавина”.*

Трудно найти более фальшивое послание генерала Коморовского. Здесь всё ложь.

В конце августа – начале сентября восставшие оказались в критической ситуации. Бур-Коморовский уже обдумывал планы капитуляции, а возможное сотрудничество с Войском Польским называл “предательством”. Но не прекращал выпрашивать помощь оружием и боеприпасами, продовольствием у Красной Армии. Когда же советские самолёты её сбрасывали, аковцы распространяли слухи, что это посылки англичан.

#### **14. Миколайчик в Москве**

Если проанализировать действия польских политиков в Лондоне и Варшаве в тот период, то сразу становится ясно – все их телодвижения направлены лишь к одной цели: показать Кремлю, что подлинные хозяева в Польше они.

Именно эту мысль польская делегация эмигрантов во главе с Миколайчиком и пыталась сразу же внушить принявшему их 31 июля наркому иностранных дел СССР В. Молотову.

Встреча произошла в Москве, в здании МИДа, находившегося в то время в здании бывшей городской гимназии, на углу Лубянки и Кузнецкого моста.

Миколайчик вошёл в кабинет Молотова твёрдым, решительным шагом, явно подчеркивая свой премьерский статус. Он был одет в довольно поношенный тёмный костюм, который показывал, что его обладатель не заботится о своём внешнем имидже, а главное для него – дело, только дело. В этом он явно старался подражать Черчиллю.

Польский премьер сразу же взял деловой тон. Он начал с усиленной просьбы о свидании со Сталиным. И подчеркнул: польское правительство осуществляет сейчас накопление сил для содействия в решающий момент советским войскам в их борьбе с немцами. Ведь у них общий враг — немецкий фашизм. Доверительным тоном поляк сообщил советскому министру иностранных дел, что ещё в октябре прошлого года все вооружённые силы Польши получили приказ о том, чтобы они вели борьбу совместно с советскими вооружёнными силами. Наверно, пан Молотов имеет сведения о том, что это уже осуществляется?

Это было одновременно и враньё, и проверка: “А что знают русские?”

Но ожидаемого впечатления эта речь на советского министра не произвела. Проверка не удалась. Молотов ответил, что у него есть сведения противоположного характера. Советский министр не стал уточнять, что ему давно известны приказы по Армии Крайовой, изданные Ровецким и Коморовским, о борьбе с Красной Армией и партизанами, и что они говорят совершенно о другом.

Кажется, именно в тот момент Миколайчик понял, что “заболтать” советского министра ему будет нелегко. Но тем не менее, он продолжал свою пафосную речь. Он говорил о том, что у польского правительства имеется план, предусматривающий мобилизацию всех сил на борьбу с немцами. В этот решающий момент важно найти общий язык между советским и польским правительствами, чтобы заложить основы дружественного сотрудничества между Польшей и Советским Союзом в будущем. Он лично уверен, что за ним пойдёт почти всё население Польши. Он, Миколайчик, представляет те политические партии Польши, которые хотели бы сотрудничать с Советским Союзом и вести борьбу с теми партиями, которые не особенно желают сотрудничать с Советским Союзом.

Молотов спокойно ответил, что он не совсем понимает то, что говорит Миколайчик. Хотя по-русски Миколайчик говорил вполне понятно.

Дело не в этом. В польском правительстве представлены разные партии, включая и такие, враждебность которых никто не может оспаривать.

Миколайчик решительно заявил, что таких партий в польском правительстве нет. Все четыре партии, представленные в правительстве, хотят сотрудничать с Советским Союзом.

Стало ясно, что такова выработанная в Лондоне точка зрения и Миколайчик от неё не отступит. Да и альтернативы у него не было. Поэтому Молотов заметил, что тогда лучше оставить этот вопрос.

Получив лёгкий щелчок по носу и секунду поколебавшись, Миколайчик зашёл с другой стороны. Он рассыпался в уверениях о том, что между советским и польским правительствами нет больше разногласий. Он, Миколайчик, хотел бы переговорить с Советским правительством обо всех делах и убедить Советское правительство в искренности намерений польского правительства.

Молотов вполне резонно ответил, что лучше переговорить с Польским Национальным Комитетом. Этот комитет был недавно образован в Люблине, на территории, уже освобождённой советскими войсками от фашистов. В Лондоне это прекрасно знали.

Это было поворотным моментом в беседе. И Миколайчик решительно заявил, что, как он думает, ему всё же лучше переговорить с Советским правительством, героические армии которого бьют немцев. Советское правительство представляет мощь своей страны, которая будет руководить Европой. Это была прямая и очень грубая лесть, но такие примитивные приёмы на Молотова не действовали.

Вообще-то весь пыл и выпренность речи Миколайчика, вся его поза напомнили Молотову когда-то виденное выступление одного провинциального трагика из группы бродячих актёров, давно, ещё до революции. Тот на сцене держался уверенно и говорил очень правильные, кем-то написанные, слова. А потом молодой Молотов встретил его в тракторе, где трагик, окончив свою роль, жадно пил водку...

Но, соблюдая дипломатический протокол, советский министр всё же поставил поляка на место, ответив, что, как ему кажется, Миколайчику лучше иметь дело с Польским Комитетом Национального Освобождения, который хорошо знаком с положением в Польше. Это повторное предложение на дипломатическом языке ясно говорило, что предложения поляка-эмигранта советское правительство не устраивают.

И, как бы в утешение, Молотов добавил, что маршал Сталин сообщил Черчиллю о возможности его встречи с Миколайчиком, и это остаётся в силе. И он передаст товарищу Сталину просьбу Миколайчика о приёме. Возможно, что Сталин примет Миколайчика в самое ближайшее время, в среду или четверг. Словно ребёнка погладили по головке и дали конфетку.

Казалось, тема встречи завершена, но Миколайчик не хотел уступать. В ответ на замечание Молотова о том, что Польский Комитет знает положение в Польше, он решительно заявил, что польские делегаты, прибывшие в Лондон, хорошо знают положение в стране.

И опять Молотов с лёгкой иронией ответил, что в самой Польше больше информации, чем у польских делегатов, прибывших из Лондона.

— Да, безусловно, — внезапно согласился Миколайчик и вдруг заговорил совершенно невпопад о том, что генерал Табор может вылететь из Лондона в любое время и сообщить о положении в Польше.

И добавил:

— Польское правительство обдумывало план генерального восстания в Варшаве и хотело бы просить Советское правительство о бомбардировке аэродромов около Варшавы (о том, что восстание давно уже спланировано и начнётся через полсутки, Миколайчик не сказал ни слова).

— Что ж, — ответил Молотов, — до Варшавы осталось всего лишь около 10 километров, — и спросил, имеются ли у Миколайчика ещё какие-либо вопросы.

Нет, нет, вопросов у Миколайчика больше не было, и он готов ответить на вопросы Молотова.

Молотов, которому уже стало всё ясно, спросил, какие пожелания имеются у Миколайчика, которые он, Молотов, мог бы передать маршалу Сталину.

И снова Миколайчик настойчиво повторил то, ради чего он и приехал в Москву: он просит господина Молотова передать маршалу Сталину, что он, Миколайчик, является выразителем настроений всего польского народа. Именно так — только он, и никто больше!..

Спокойно выслушав это заявление, сделанное несколько в повышенных тонах, Молотов лишь повторил, что он уже высказал своё мнение: лучше было бы Миколайчику встретиться с Польским Комитетом Национального Освобождения.

Заехав на несколько минут в своё посольство, Миколайчик сразу же направился в английскую миссию. Там его уже ждал английский посол в СССР А. Керр. Совещание двух политиков длилось недолго — подобная ситуация была предварительно обговорена ещё в Англии, и даже предусмотрена. Посол вызвал шифровальщика, и в Лондон ушла срочная радиограмма...

2 августа 1944 года в 01 час. 10 мин. в Генеральный штаб Красной Армии из английской военной миссии в Москве поступило срочное сообщение для информации Советского Генштаба:

“1. Польское правительство в Лондоне получило следующие телеграммы от командующего Польской нелегальной армией (Армия Крайова):

Телеграмма № 1 — “Мы начали бои в Варшаве в 17.00 1 августа. Пришлите крайне необходимые боеприпасы и противотанковое оружие. Сбрасывать на освещённые участки на улицах и площадях: Фильтры Огруд Саский Аллея Войска Польского Бельведерская”. (Было передано именно так, без знаков препинания.)

Телеграмма № 2 — “Поскольку мы начали открытые бои за Варшаву, мы просим, чтобы русские помогли нам немедленной атакой извне.

2. Просьба о доставке в Варшаву боеприпасов и противотанкового оружия направлена властям союзников в Италии для немедленного исполнения, если возможно”.

Британская военная миссия”.

## 15. Важные переговоры у Сталина

3 августа 1944 года Сталин принял Миколайчика в Кремле. На эту встречу польский премьер привёл с собой членов эмигрантского кабинета министров: Грабского, Ромера и Мнишека.

Встреча состоялась в кремлёвском кабинете Сталина — знакомом всему миру по фотографиям и кадрам кинохроники.

Миколайчик начал с комплиментов. Он уже с порога пафосно заявил, что очень рад тому, что принят маршалом Сталиным в то время, когда героические советские армии громят гитлеровские войска и освобождают территорию Польши. Прозвучало это так, словно вся война проходила лишь в интересах освобождения его страны.

И само вступление было не из лучших. Лесть, к тому же довольно топорная, никогда не действовала на Сталина. Скорее – наоборот, он сразу же настораживался.

Тем не менее, он ответил весьма вежливо и нейтрально:

– Международная обстановка сложилась так, что советское правительство считает своим долгом помочь освобождению Польши.

Но Миколайчик не унялся. Он продолжал:

– Если бы не Советский Союз, то Польша долго бы ещё была под гнётом Германии...

– Да, – согласился Сталин. – Красная Армия действительно ускоряет освобождение Польши.

Почувствовав в ответе – коротком и определённом – известную холодность, Миколайчик решил зайти с другой стороны. Он вдруг вспомнил, что сам он из крестьян (очевидно намекая, что Сталин по сословию тоже крестьянин) и хочет предстать перед Сталиным не как дипломат, а как деятель, вышедший из крестьян, который сам достиг того положения, которое он занимает сейчас. У него нет особых амбиций, кроме стремления служить своей родине. В своё время он как председатель Союза крестьянской молодёжи участвовал в славянских съездах, на которых присутствовали поляки, болгары и чехословаки и на которых обсуждался вопрос о том, как славянские народы должны отгородить себя от немецкой экспансии.

Как житель западных областей Польши, он хорошо знает немцев, их злые намерения, их стремление уничтожить славянские народы. И он приехал сюда, чтобы обсудить с маршалом Сталиным все вопросы. Самое главное – обсудить совместные действия против немцев теперь и в дальнейшем с тем, чтобы германцы никогда не могли начать новой войны.

И подчеркнул особо: он приехал почти в годовщину советско-польского договора, который был заключен Сикорским 30 июля 1941 года и который не был расторгнут...

Отговорив всю эту цветистую преамбулу, Миколайчик перешёл к деловой части. Он не был уверен, что Сталин посвятит ему достаточно времени и, свернув красовиты, заговорил о деле, стараясь выражаться кратко и определённо.

Да, совместные действия против немцев – это и есть то главное, ради чего они прибыл в Москву. Но не менее важным, хотя и не столь актуальным, является вопрос об администрации в Польше. Хотя Миколайчик намеренно и не акцентировал этой проблемы, но волновала она его очень. С этим были связаны его долгосрочные политические планы.

Ну, и вопрос о советско-польской границе. Как на это дело смотрит маршал Сталин? И затем, в конце уже, как бы мимоходом, Миколайчик сообщил маршалу Сталину, что 1 августа польская подпольная армия начала открытую борьбу против немцев в Варшаве. Так что он, премьер-министр законного польского правительства, хотел бы возможно скорее въехать в Варшаву и создать там правительство, которое опиралось бы на четыре партии, представленные в нынешнем польском правительстве в Лондоне, и на польскую рабочую партию, то есть на коммунистов. Это был явный поклон в сторону Советского Союза.

И выразил уверенность в том, что после освобождения Польши в стране состоятся выборы на демократической основе, будет принята новая Конституция, избран президент республики и будут одобрены новые границы Польши... и т. д.

Миколайчик замолчал и в напряжении стал ожидать ответа Сталина. Так же молча и с напряжением замерли за столом члены польской делегации.

Сталин заговорил, медленно и чётко произнося короткие фразы, отчего они звучали особенно весомо:

– Поставленные вами вопросы имеют большое политическое и практическое значение. Но в своих вопросах вы обходите существование Польского Комитета Национального Освобождения, с которым советское правительство заключило договор об администрации. Можно ли закрывать глаза на этот факт?..

Конечно, советское правительство хотело бы, чтобы в польском правительстве были представлены демократические партии. Но этот вопрос должны решать сами поляки. Советское правительство не будет вмешиваться в это дело. Если интересно знать мнение советского правительства, то могу сказать, что оно было бы радо, если бы все демократические партии в Польше образовали блок. Советское правительство поддержало бы этот блок...

— Но в польском правительстве представлены четыре партии, — поторопился ответить Миколайчик, — и все эти партии — демократические. В 1939 году, во время пребывания деятелей этих партий во Франции, сейм был распущен, и было решено, что президент республики должен был подписать заявление о том, что он отказывается от своих прав. И я бы хотел, чтобы в правительстве, которое будет создано в Варшаве, участвовали эти четыре партии...

— Тогда нужно уговориться, — заметил Сталин, — о чём будет идти речь. Если вы желаете говорить о той силе, которая народилась в Польше в виде Польского Комитета Национального Освобождения, то нужно обсудить вопрос о взаимоотношениях польского правительства в Лондоне и ПКНО.

Миколайчик растерянно заявил, что он готов обсудить эти вопросы. Польский эмигрантский премьер явно не ожидал такого поворота беседы.

А Сталин продолжал:

— Черчилль писал мне, что вы хотите приехать в Москву, и спрашивал, согласен ли я принять вас. При этом Черчилль заявил, что он считает, что главная цель поездки Миколайчика в Москву состоит в объединении поляков, и выразил надежду, что он, Сталин, поможет полякам в этом деле.

Я согласился это сделать. И, по моему мнению, речь может идти о взаимоотношениях между двумя силами, имеющими отношение к Польше. Этот вопрос трудно обойти.

Секунду помолчав, Миколайчик ответил с деланным энтузиазмом:

— Польское правительство готово пойти на то, чтобы договориться с ПКНО и с теми, кто вёл борьбу в Польше в течение пяти лет оккупации. Но как маршал Сталин представляет себе границы Польши?

Это было именно то, что казалось самым важным лондонским полякам. Сталин спокойно ответил:

— Советское правительство считает, что восточная граница Польши должна идти по линии Керзона, западная — по реке Одер с оставлением города Штеттина у поляков, а района Кенигсберга с городом Кенигсберг — у русских.

— Следовательно, Львов и Вильно останутся в составе Советского Союза?! — воскликнул Миколайчик.

Помолчав с секунду, Сталин спокойно констатировал:

— Согласно ленинской идеологии, все народы равноправны. И я не хочу обижать ни литовцев, ни украинцев, ни поляков...

— Но ведь потеря Львова и Вильно будет обидой для польского народа, — заблажил Миколайчик. — Польский народ этого не поймёт, так как он считает, что Польша не должна понести ущерба, хотя бы потому, что в Польше не было ни одного Квислинга...

— Если слушать такого рода обвинения, то можно совсем запутаться. Линия Керзона придумана не поляками и не русскими. Она появилась в результате арбитражного решения, вынесенного союзниками в Париже. Русские не участвовали в разработке линии Керзона. И я должен при этом сказать, что мало найдётся русских, которые согласятся на то, чтобы Белосток отошёл к Польше, как это получается по линии Керзона.

Миколайчик сделал последнюю попытку спасти положение. Он уже всё понял, но — попытался...

— Я уверен, что если бы товарищ Сталин сделал великодушный жест, то он получил бы благодарность польского народа и нашёл бы союзника в нём...

Но такие дешёвые словесные приёмы, годные лишь для польского сейма, в Кремле явно не проходили. Сталин ещё раз спокойно и по-деловому объяснил поляку то, что тот и сам прекрасно знал. Дипломатия...

— Львов окружён украинскими сёлами. Советское правительство не может обидеть украинцев. Нужно учитывать, что в Красной Армии много украинцев и что все они неплохо дерутся с немцами. Украинцы не потерпят того, чтобы советское правительство отдало Львов полякам...

Молчавший всё это время Грабский почувствовал, что пора прийти шефу на помощь. Он солидно откашлялся и с важным видом заявил:

— Со Львовом у поляков связано очень много исторических и других традций...

Сталин лишь улыбнулся:

— А как же быть с украинцами?

— Но у украинцев есть Киев, — небрежно бросил Грабский.

— Верно, — ответил Сталин. — А у поляков имеются Краков и Варшава.

И продолжил:

— В первый раз поляки и русские шли вместе при Грюнвальде, когда они разбили немцев. Потом у поляков с русскими были ссоры. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, был министр иностранных дел Ордин-Нащокин, который предлагал заключить с поляками союз. За это его прогнали. Теперь нужен поворот. Война многому научила наши народы.

— Да, это верно, — согласился Грабский со вздохом.

Встреча продолжалась два с половиной часа.

Запись этой исторической беседы (приведённая здесь с сокращениями), сделанная переводчиком Сталина В. Павловым, человеком, отличавшимся просто феноменальной памятью, попала в руки историков сравнительно недавно. До этого все писавшие по данному вопросу пользовались записью, сделанной польской стороной и направленной, естественно, в английский МИД.

## **16. Сталин: “Мы признаём равенство прав славянских народов”**

Следующая беседа Миколайчика и членов польской делегации со Сталиным состоялась 9 августа 1944 года.

Теперь надо было уже напрямую говорить о варшавском восстании. Но начал Миколайчик не с этого. Он заговорил о своей недавней встрече с представителями ПКНО, о последовавшей затем беседе с В. Молотовым и о своём желании как можно быстрее попасть в Лондон, чтобы доложить своим коллегам подробности переговоров. Сам он, де, не имеет полномочий, чтобы довести их до конца. Однако уверен, что лондонское польское правительство будет сотрудничать с Комитетом, ибо у польского правительства имеется стремление сделать это.

— Да, это было бы очень хорошо, — заметил Сталин.

— Я понимаю, — продолжал Миколайчик, — что маршал Сталин хотел бы, чтобы польское правительство было демократичным...

— Да, это правильно, — снова кратко прокомментировал Сталин.

Чтобы закрепить успех, как ему казалось, очень удачного вступления в беседу, Миколайчик заявил:

— Из Конституции польское правительство выбросило все антидемократические параграфы...

Сталин удивлённо поднял брови и тут же преподал польскому премьеру небольшой политический урок:

— А разве можно выбрасывать из Конституции параграфы? Конституцию можно принять или отклонить...

Миколайчик не сразу нашёлся, что ответить...

Вскоре он понял, что его попытка свести все вопросы к политическим дискуссиям провалились. И он круто изменил тему беседы.

— Я хотел бы просить маршала Сталина оказать помощь полякам, борющимся в Варшаве.

— О какой же помощи идёт речь? — спросил Сталин.

— Речь идёт о помощи оружием. Дело в том, что немцы сейчас не так сильны, чтобы выбросить поляков из тех районов Варшавы, которые они занимают. Поляки нуждаются в оружии для того, чтобы продержаться.

Продолжая спокойно прохаживаться по своей привычке по просторному кабинету и попыхивая трубкой, Сталин произнёс:

— Всё это начинание с восстанием польской подпольной армии в Варшаве — дело нереальное. Так я считаю. У восставших нет оружия, в то время как немцы только в районе Праги имеют три танковые дивизии, не считая пехоты. Немцы просто перебьют всех поляков. Просто жалко этих поляков...



Советские войска форсировали Вислу в районе её слияния с рекой Пилицей и заняли на другом берегу Вислы плацдарм 30 километров длиной и 25 километров глубиной. Вначале дела шли хорошо, но немцы перебросили в район нашего плацдарма две танковые дивизии. Советские войска, конечно, преодолеют сопротивление немцев и возьмут Варшаву, но это потребует времени...

Оружия нам не жалко. Мы можем предоставить полякам оружие, как пулемёты, так и противотанковую артиллерию, но встаёт вопрос, как это сделать. Тяжёлые орудия нельзя сбросить с самолётов. Кроме того, нет уверенности в том, что это оружие не попадёт в руки немцев, если оно будет сбрасываться над районами города. Имеются ли в городе места, где можно сбросить оружие?..

Миколайчик не знал подлинного положения вещей в Варшаве, тем более мест расположения повстанческих сил. Но он с полной уверенностью ответил Сталину:

— Такие места есть, только сейчас я затрудняюсь их назвать. В штабе командующего польскими войсками в Варшаве имеется советский капитан Калугин. (Тогда именно впервые прозвучала эта фамилия. Только откуда Миколайчик, находившийся всё это время в Москве, прибывший туда ещё до начала восстания, знал об этом человеке?). Он хотел бы связаться с маршалом Рокоссовским для того, чтобы дать ему необходимые сведения. Я лишь знаю только, что имеется место, где оружие, если оно будет сброшено, не может попасть в руки немцев.

Всё это говорило о том, что действия Миколайчика, его запросы были спланированы ещё в Лондоне, до начала восстания, и он приехал в Москву, надеясь легко реализовать выработанные совместно с англичанами планы, навязать их Сталину.

Сталин с некоторым сомнением в голосе спросил:

— Можно ли этому верить?

— Да, — горячо подтвердил Миколайчик, — этому можно верить... И тут же добавил, что речь идёт о сбрасывании польским войскам в Варшаве ручных гранат, противотанковой артиллерии и боеприпасов.

— Что ж, — резюмировал Сталин, — сбросить оружие легко, так как наши войска находятся близко от Варшавы.

— Я был бы очень благодарен, — тут же вставил Миколайчик, — если бы маршал Сталин дал приказ Рокоссовскому это сделать.

— Но для этого надо иметь позывные сигналы и шифры, — заметил Сталин. — Я, конечно, постараюсь сделать всё возможное. Лучше всего было бы, если бы сбросить в распоряжение польских войск советского офицера для связи.

Стремясь закрепить успех, Миколайчик тут же поспешно проговорил:

— В самое кратчайшее время я представлю все необходимые для этого данные.

— Тогда я сделаю всё возможное, — заключил Сталин.

Основное было сказано, и теперь Миколайчик решил произнести несколько обязательных, необходимых для политика фраз общего значения. Он заявил, что, прощаясь с маршалом Сталиным, хотел бы выразить уверенность в том, что между Польшей и Советским Союзом будут установлены доверие и дружба. Это были обычные политесные слова, за которыми не было ничего. Но Сталин ответил на это вполне серьёзно и обдуманно. Медленно прохаживаясь по кабинету, и попыхивая своей трубкой, он спокойно проговорил:

— Основой нашей политики является союз с Польшей. Необходимо, чтобы поляки поверили, что руководители нынешней России не те, что были при царском правительстве. Руководители тогдашней России хотели покорить Польшу. наших политиков часто смешивают с царскими политиками. Это неправильно. У нас нет политики покорения каких-либо славянских народов. В этом смысле мы против славянофильства, которое предполагает, что Россия должна быть во главе славянских народов и что эти славянские народы должны быть подчинены России. Мы признаем равенство прав славянских народов. Если польские руководители поймут, что советские руководители хотят установить дружбу между польскими и советскими народами и повернуть в этом смысле историю, то это будет хорошо.

И продолжал:

– Стремясь к союзу с Польшей, советское правительство исходит из того, что, как бы ни ограничивали Германию, она всё равно регенерируется и встанет на ноги. Германии после франко-прусской войны в 1870 году потребовалось 40 с небольшим лет, чтобы в 1914 году совершить новое нападение. В 1939 году Германия снова совершила нападение, причём промежуток времени, который ей понадобился для того, чтобы подготовиться к этому, сократился до 25 лет.

Мы считаем, что Германия снова может регенерироваться после нынешней войны в течение 20–25 лет.

Эти слова взволновали Миколайчика. Он явно не думал ещё в этом направлении, и его поразили широта и масштабность стратегических взглядов Сталина. Он взволнованно произнёс:

– Я хорошо знаю немцев. Нужно, во-первых, сильнее бомбить немецкие города, заводы, и нужно, чтобы Германия была разбита на германской земле. После окончания войны нужно прервать все экономические пути, по которым идёт германская экспансия в европейские страны. Надо оккупировать Германию на длительный срок.

– Но всё-таки Германия может подняться. На этот случай нужно держать наготове меч, и этим мечом должен быть союз между Польшей и СССР и войска в распоряжении той международной организации по поддержанию мира, которая будет создана.

Но к обсуждению подобных вопросов Миколайчик был не готов. Поэтому он заявил, видимо, желая польстить Сталину:

– Перед отъездом из Лондона я читал показания пленных немцев. Один немецкий офицер заявил в своих показаниях, что Германия найдёт себе спасение в коммунистическом строе...

Сталин усмехнулся и неожиданно ответил, отбросив всякий дипломатический протокол:

– Германии коммунизм подходит так же, как корове седло...

Миколайчику оставалось только поблагодарить Сталина за гостеприимство и сказать, что он считает для себя большой честью быть принятым товарищем Сталиным.

Члены польской делегации молча откланялись, ни один из них не пророл ни слова. Да и что они могли сказать?

## **17. Реакция союзников: “Русских разбить невозможно!..”**

Сообщение об этой встрече было направлено в Лондон через английскую миссию лишь 30 августа. Интересно отметить, как с дипломатической вежливостью, тактично, даже с подчёркнутой любезностью вёл переговоры Сталин. Совсем не так выглядело в то время поведение Черчилля. Он вскоре прибыл в Москву и после переговоров со Сталиным принял Миколайчика.

Эта беседа носила характер разговора строгого учителя с провинившимся школьником. И после неё польский премьер вышел из кабинета Черчилля на полусогнутых от унижения ногах. Но оправился он довольно быстро и даже позднее включил текст состоявшегося разговора, а скорее – монолога Черчилля в свои мемуары.

Черчилль буквально кричал на поляка: “Недавно я беседовал с вашим генералом Андерсом, и мне кажется, что он тешит себя надеждой, что после разгрома Германии союзники затем разобьют Россию. Это сумасшествие. Русских разбить невозможно!..”

В вашем упорстве вы не видите того, чем рискуете... Мы сообщим всему миру, каково ваше безрассудство. Вы стремитесь развязать войну, в которой погибнет 25 млн человек... Вы не правительство, вы ослеплённые люди, которые хотят уничтожить Европу.

Я не буду заниматься вашими делами. Думайте о них сами, если вы хотите оставить на произвол судьбы ваш народ. У вас нет чувства ответственности перед вашей Родиной. Вы безразличны к её мучениям. У вас на уме только низменные собственные интересы...

Ваша аргументация является, попросту говоря, преступной попыткой сорвать соглашение между союзниками с помощью “либерум вето”. Это трусость с вашей стороны. Если вы хотите завоевать Россию, то действуйте самостоятельно. Вас следует посадить в больницу для умалишённых...”

Какое прекрасное определение для всех польских политиков, совершенно невременное!

Именно с этого момента англичане начали усиленное лоббирование помощи восставшим со стороны советской армии.

Из британской военной миссии поступило письмо в Генеральный штаб Красной Армии. Оно 14 августа 1944 года было передано зам. начальника Генштаба А. Антоновым И. Сталину и наркому иностранных дел В. Молотову. Англичане больше всего интересовались, какие меры приняты советским Генеральным штабом и что он намерен предпринять по поводу их информации.

В тот же день (14.8.44) подключились и американцы. Посол Гарриман был особенно активен. В отличие от кадрового английского разведчика А. Керра, бывшего лишь чиновником и выполнявшего указания своего начальства, у Гарримана имелись в Польше давние и очень важные интересы.

Финансовый магнат Гарриман создал концерн, который приобрёл в Польше две угольные шахты, две шахты по добыче цинковой руды, цинкоплавильный завод и другие предприятия. Кроме того, он фактически овладел крупнейшим химическим заводом в Польше, крупным фарфоровым заводом и предприятиями бельгийского горнопромышленного общества, продолжавшего номинально считаться собственником ряда польских горнодобывающих предприятий.

Естественно, что всё происходящее в стране затрагивало финансовые интересы Гарримана, а уж возможный приход к власти левого правительства, связанного с Москвой, грозил ему полной потерей вложенных в Польшу капиталов. Поэтому он был очень активен.

У. Гарриман писал наркому иностранных дел СССР В. Молотову, сообщая, что ВВС США, стартуя из Англии, намерены частью самолётов атаковать немецкие позиции, а другие в это время сбросят груз варшавским повстанцам, а затем они последуют на базу в Советском Союзе. Посол писал, что, как ему сообщили, британские бомбардировщики недавно сбросили ночью на Варшаву небольшое количество боеприпасов при полёте из Италии. Однако дальность полётов из Италии в Варшаву и дальность возвращения делают этот род операции весьма трудным, а количество сброшенного весьма малым.

Поэтому англо-американским командованием было решено, что самое эффективное содействие можно оказать дневными челночными полётами американских бомбардировщиков на советские базы.

Американский посол писал:

“Правительство США очень желает, чтобы эта попытка была предпринята, несмотря на её риск и трудности, и я прошу немедленного её одобрения, чтобы операция могла быть проведена завтра утром, если позволят условия.

Искренне Ваш У. Гарриман”.

Ответ последовал сразу же, о чём свидетельствует письмо Вышинского от 15 августа. Состоялась встреча и беседа американского и английского послов с А. Вышинским. Очень вежливо, согласно дипломатическому протоколу, замнаркома иностранных дел СССР А. Вышинский перечислил все просьбы, содержащиеся в письме американского посла Гарримана, и ответил: по поручению народного комиссара, сообщаю, что Советское правительство не может пойти на это.

Выступление в Варшаве, в которое вовлечено варшавское население, является чисто авантюрным делом, и Советское правительство не может к нему приложить свою руку.

Маршал И. В. Сталин ещё 5 августа сообщил г-ну У. Черчиллю, что нельзя себе представить, как могут взять Варшаву несколько польских отрядов так называемой Крайовой Армии, у которой нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков, в то время как немцы выставили на оборону Варшавы четыре танковых дивизии.

Послал своё письмо и английский посол А. Керр, адресовав его уже наркому В. Молотову. И это был уже неприкрытый нажим.

Оказалось, что, когда они беседовали с Вышинским, в английское посольство пришла телеграмма от министра иностранных дел Великобритании А. Идена.

Господин министр сообщал, что 13 августа 28 британских самолётов из порта Бари (Италия) сбросили грузы на Варшаву. Намечены и последующие

подобные операции. Однако, подчёркивал министр, эти перелёты со средиземноморского театра могут производиться лишь за счёт операций по поддержке союзных десантов на юге Франции, и ввиду большого расстояния, которое должны покрывать самолёты, объём помощи варшавянам является малым по сравнению с затраченными усилиями.

И опять просьба — садиться американским самолётам на советских базах ВВС.

Отказ Сталина был не просто отказом — позиция Кремля была обоснованной. В те дни советские аэродромы в Полтаве, Миргороде и Пирятине, предоставлявшиеся американцам для челночных операций ранее, стали объектом нескольких массированных налётов немецкой авиации и были практически полностью уничтожены. Их восстановление закончилось, и то не полностью, лишь к 10 сентября, после чего они снова были предоставлены американской стороне. Этот известный в истории войны факт в Польше почему-то замалчивается.

### **18. Американская помощь: полёты “в один конец”**

Американские самолёты, стартовавшие 13 августа из Бари, достигли Варшавы и сбросили повстанцам обещанный груз. Четырёхмоторные тяжёлые бомбардировщики типа “Либерейтор” с экипажем в 8 человек выполнили опасное задание. Один из самолётов этой авиагруппы был подбит немецкой зенитной артиллерией и упал на территории, уже занятой советскими войсками.

По плану американского командования в ночь с 13 на 14 августа предполагались операции для поддержки ожидавшегося десанта союзников в Южной Франции. Однако совершенно неожиданно Черчилль, который тогда находился в Неаполе, лично приказал выделить 40–50 “Либерейторов” и послать их на Варшаву. Он заявил якобы, что эта операция даже важнее, чем поддержка вторжения в Южную Францию.

Дело в том, что польский партизанский штаб имел радиосвязь с союзным командованием в Италии, и Черчилль, будучи в Неаполе, получил просьбу полков о помощи. Он приказал в течение трёх ночей послать в общей сложности свыше 100 тяжёлых самолётов с тем, чтобы каждый сбросил на парашютах около 3 тонн оружия, боеприпасов и продовольствия для польских партизан.

Среди лётчиков, отправленных на задание, был и экипаж под командованием капитана Ван Эйсена — пилота из Южно-Африканского Союза. Задание было — сбросить груз на парашютах с незначительной высоты в 450–500 футов (135–150 метров) на объекты, точно обозначенные на плане Варшавы.

Это было классическим самоубийством. По всем авиационным нормам “Либерейторам” полагалось бомбить с высоты не ниже 5000 метров, а не летать над вражеской зенитной обороной на высоте 100–150 метров. При таких условиях их почти неизбежно должны были сбить мелкокалиберные автоматические зенитки.

Получив такой приказ, экипаж понял, что их отправляют в “один конец”, а радист, лейтенант Остин, перед полётом раздарил кое-какие свои вещи, считая, что он уже не вернётся. Протестовать вслух против этого неправильного задания экипаж не мог — это запрещала военная дисциплина, и за это они попали бы в военно-полевой суд.

Дальше произошло то, что и должно было произойти. Во время первого же захода на цель немецкие зенитки открыли ураганный огонь. Оба бортовых стрелка были убиты в первый же момент, два мотора самолёта загорелись. А высота была, как и приказано, всего 150 метров. Первый пилот резко отвернул и направил самолёт точно на восток, на территорию, занятую советскими войсками. Над Вислой загорелся третий мотор. Протянув ещё немного, экипаж стал выбрасываться на парашютах. Им повезло — они оказались уже на освобождённой советскими войсками территории. Но из экипажа уцелели только пять человек.

18 августа посол Великобритании отправил наркому иностранных дел СССР письмо по поводу информированности правительства Великобритании о начале восстания в Варшаве. При этом посол Керр сделал ловкий дипломатический вольт: он не стал пересказывать позицию своего правительства, отвечая на прямо поставленный вопрос советской стороны — было ли английское правительство заранее предупреждено о восстании в Варшаве, — а предпочёл отправить Молотову копию телеграммы из Лондона.

Перечислив все планировавшиеся польским эмигрантским правительством действия по организации вооружённой борьбы, а там было особо подчеркнуто – специальным пунктом! – что на решение польского командующего о начале восстания, несомненно, повлияло продвижение Советской Армии непосредственно в район Варшавы и тот факт, что немцы начали эвакуацию из Варшавы.

## 19. Положение в Варшаве

22 сентября генерал-лейтенант Телегин докладывал в Главное политуправление Красной Армии:

“Передаю о положении в Варшаве. Первое: ввиду трудности поддержания связи и больших потерь, понесённых частями, высаженными на плацдарме, сегодня дан приказ об отводе их с западного берега на восточный. Из состава второго батальона 6-го пехотного полка переправились на восточный берег 162 человека, из них 11 офицеров, и в том числе – раненый командир батальона. Оставшиеся на западном берегу отдельные группы до вечера ещё продолжали неорганизованный бой и с наступлением темноты должны быть отведены.

Два батальона восьмого пехотного полка, понеся большие потери, разрозненными группами продолжали драться в подвалах домов восточной части квартала 458.

9-й пехотный полк в восточной части квартала 516 продолжает тяжёлые бои, отражая непрерывные атаки противника. Связь с ним поддерживается по радио. В течение суток на восточный берег из состава полка переправились сорок человек. В ночь на 22.9.44 подразделением 9-го пехотного полка переправлено на лодках питание для рации, боеприпасы и продовольствие.

Второе: новых данных об изменении районов, занимаемых повстанцами, за истекшие сутки не поступило. С районом № 1 поддерживается устойчивая радиосвязь через вторую пехотную дивизию, и по их заявкам организован арт-огонь по батареям противника. По радиодонесению повстанцев, ими за 21.9.44 уничтожено 129 немцев, что даёт основание полагать об устойчивости положения в районе № 1 и усилении нажима немцев.

В ночь на 21 и на 22.9.44 произведён массовый сброс в район № 1 оружия, боеприпасов и продовольствия. Часть грузов попадает в отдельные отряды и не учитывается, ибо, как я раньше докладывал, каждая организация старается самостоятельно обеспечить себя оружием и продовольствием.

Третье: по рассказу Вл. Ягайло (псевдоним “Круль” – офицер пропаганды в Армии Людовой), за пределами повстанческих очагов в гор. Варшава происходят большие распри среди различных политических группировок, а главным образом – между сторонниками капитуляции и лондонцами, стоящими за продолжение восстания, и сторонниками Люблинского правительства.

Сегодня в квартале № 516 сосредоточилось свыше тысячи человек, преимущественно женщин и детей, ищущих спасения в переправе на восточный берег. Нами отдан приказ Берлингу принять меры к переброске их на нашу сторону.

О том, что между политическими организациями различной ориентировки за Вислой идут серьёзные распри, подтверждается донесением нашего человека из района Ченстохова. Он пишет: “В районе Ченстохова между АК и АЛ большие противоречия. АК пропагандирует, что у Красной Армии нет сил для наступления и она не в состоянии освободить польское население от немецкого ига. Может освободить Польшу только Англия с помощью АК. Они говорят, что между СССР и Англией – большие противоречия.

Помещики, зажиточные крестьяне поддерживают АК, рабочий класс и беднейшее крестьянство поддерживает АЛ.

Среди рядовых солдат АК распространялась версия, что целью восстания является изгнание немцев из Варшавы и позже вместе с частями Красной Армии гнать немцев из Польши. Перед восстанием в обращении генерала Бура указывалось, что о восстании знает Москва. Впоследствии все участники восстания убедились, что это мероприятие исходит только из Лондона и что Москва этого не одобряет. Первые дни восстания рядовые участники АК высказывали недовольство восстанием, позднее недовольство стали проявлять и офицеры.

Один из них (“Парцеж”) заявил, что “несмотря на то, что до 20 августа в Варшаву на помощь восставшим подходили аковцы из разных мест, дезертирство участников АК приняло большие размеры. Немцы применяют танки и артиллерию, а мы же, кроме винтовок, ничего не имеем. Имевшаяся в первые дни восстания мелкокалиберная артиллерия разбита.

Если к моменту восстания в АК в Варшаве насчитывалось до 5000 человек, то сейчас, по его заявлению, осталось не более тысячи. Остальные убиты, ранены или дезертировали. Большое количество солдат высказывает намерение перейти на сторону польской армии генерала Берлинга, но нет человека, который возглавил бы это дело.

Дальнейшая активизация повстанцев возможна лишь при условии снабжения их оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами”.

## **20. Попытки Войска Польского**

16 сентября 1944 года части 1-й польской армии под командованием генерала Берлинга начали переправу на западный берег Вислы. Они пытались соединиться с повстанцами, удерживавшими недалеко от берега южное и северное предместья Варшавы. Всего с 16 по 20 сентября в город переправилось шесть усиленных пехотных батальонов. Однако из-за того, что немцы держали Вислу под шквальным огнём, танки и орудия переправить на другой берег не удалось. Плохо подготовленная операция потерпела неудачу. К 23 сентября польские части, понеся большие потери, были вынуждены отступить.

Изолированность очагов восстания внутри города, отсутствие между ними координации действий и полная их пассивность позволили противнику свободно маневрировать и полностью использовать свои силы для действий против подразделений и частей 3-й польской дивизии.

Сразу же после форсирования Вислы передовыми отрядами 3-й польской дивизии противник снял большую часть своих сил, действовавших против других групп повстанцев, и перебросил их в район действий восточной группы с целью локализовать успех передовых отрядов 3-й польской дивизии и не допустить их соединения с повстанцами, а также продвижения в центр города в направлении Мокотув.

Причиной неудач польских войск стал очень медленный темп и слабая организация форсирования Вислы. Успех, достигнутый передовым отрядом на 16 сентября 1944 года, не был развит главными силами дивизии, и переправа их через Вислу затянулась на 2-3 суток.

Медленная переправа небольших по численности подразделений на различных участках привела к отсутствию взаимной поддержки переправившихся групп. Слабые передовые отряды, почти не имевшие с собой артиллерии, не могли самостоятельно удержать захваченные кварталы и, тем более, успешно бороться с контрнаступающим противником, который значительно быстрее увеличивал свои силы, перебрасывая их с других участков города, где действия повстанцев были в это время пассивны.

Части и подразделения 3-й дивизии не имели достаточной подготовки к ведению уличных боев в условиях крупного города. В первый же день после форсирования мелкие группы пехоты стали укрываться в подвалах и вести оборонительный бой. Огневая поддержка таких групп с восточного берега Вислы была крайне затруднительна.

Кроме того, на ходе боёв сказалась и слабая организация управления переправившимися подразделениями со стороны штаба 3-й польской дивизии, командиров полков и батальонов.

Но и силы противника, направленные против польских частей, были значительны. К исходу 19 сентября немцы ввели в бой из своих резервов значительные части, а также 50 танков и самоходных орудий. Одновременно противник сосредоточил в юго-западной части Варшавы большое количество артиллерии и минометов.

Если в начале операции отмечалось действие только 12 артиллерийских батарей, то к 20 сентября их количество возросло до 40. К ним прибавились и миномётные группы.

Польская пехота дралась самоотверженно, но из-за отсутствия полковой и дивизионной артиллерии была не в состоянии противостоять превосходящим силам пехоты, тяжёлым танкам и самоходным орудиям противника.

Проанализировав произошедшее, советское командование сделало серьёзные выводы по итогам неудавшейся операции. 30 сентября за подписью И. Сталина вышел приказ Ставки Верховного Главнокомандования об освобождении генерал-лейтенанта Берлинга от командования 1-й польской армией. Место Берлинга занял его начальник штаба – генерал-майор Корчиц.

## 21. Агония восстания

6 сентября 1944 года делегат польского эмигрантского правительства Я. Янковский и командующий АК генерал Т. Коморовский выслали в Лондон из Варшавы паническую радиограмму, адресованную премьер-министру Миколайчику и главному вождю, генералу К. Соснковскому:

*“...подавление восстания в Варшаве имеет не столько военные аспекты, сколько политические. Чем раньше мы и союзники это поймём, тем больше это поможет при розыгрыше политических вопросов. Совершенно понятно, что после поражения восстания в Варшаве власть во всей стране перейдёт в руки коммунистов”.*

Ответ из Лондона пришёл на следующий день. Там поняли отчаянное положение Бура, и 7 сентября польское эмигрантское правительство даёт ему санкцию на прекращение борьбы и капитуляцию, подчёркивая, что “любое принятое ими решение оно отстоит перед миром”.

В тот же день делегация Польского Красного Креста во главе с графиней М. Тарновской направилась на переговоры в штаб фон дем Баха.

Видимо, эти предварительные переговоры имели какой-то успех, поскольку через несколько дней к эсэсовскому генералу отправился сам Бур-Коморовский. Рандеву устраивал уже знакомый Буру по прежним переговорам сотрудник Абвера майор Христиансен.

Об этой встрече в Польше тщательно молчат, её не упоминают в своих выступлениях ни польские публицисты, ни учёные, занимающиеся данным вопросом. Словно и не было такой встречи польского генерала-коллаборациониста с высокопоставленным эсэсовцем.

Но сам Бах-Залевский подробно рассказал о ней, давая показания на Нюрнбергском процессе. Материалы процесса опубликованы в Польше, но их стыдливо замалчивают.

Вот что сообщил эсэсовский генерал, получивший Рыцарский крест за подавление Варшавского восстания:

“Мы вели чисто товарищеские беседы. Кроме того, обсуждали его личные надобности и потребности группы его офицеров, связанные с их местом жительства, питанием и удобствами.

Я говорил ему, что имею славянскую кровь, что девичья фамилия моей матери Шиманская, и тогда совместно с Коморовским мы установили, что мои и его предки получили шляхетский титул от короля Яна III Собеского”.

Во время этих переговоров немцы предложили не ограничиваться капитуляцией в Варшаве, а полностью прекратить сопротивление на всей территории Польши. Коморовский с этим не согласился, он понимал, что люди, желающие активно бороться с оккупантами, его просто не поймут и не послушают.

Однако польский генерал подчеркнул, что “немецкое военное руководство не будет иметь со стороны Армии Крайовой особых трудностей”. Это означало, что аковцы с этого момента становятся для гитлеровцев не опасными.

Вернувшись в своё укрытие, Бур-Коморовский разослал специальную секретную радиограмму о прекращении “расконспирации перед Красной Армией и уходе в подполье”.

Он явно и активно готовился к вооруженной борьбе с наступающей Красной Армией, поскольку одновременно было дано распоряжение об уходе руководства АК в подполье, создании тайных складов оружия и боеприпасов, оформлении подпольных организаций.

Поступило и задание для Польского корпуса безопасности: в случае занятия Красной Армией и Войском Польским Варшавы проводить террористические акции в отношении офицерского состава Польской армии и руководителей Национального комитета.

Именно тогда Крайова Рада Министров приняла решение о капитуляции. На одном из своих заседаний она постановила ответственность за поражение Варшавского восстания возложить главным образом на Советский Союз.

Каким же было в те дни положение в Варшаве?

Об этом хорошо говорится в донесении от 15 сентября члена Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта К. Телегина Главному политическому управлению Красной Армии:

“... Положение восставших тяжёлое — нет продовольствия, воды, боеприпасов. Без помощи извне повстанцы продержаться долго не могут. Наличие в этих районах очагов, удерживаемых восставшими, подтверждается нашим наблюдением. Ночью хорошо слышны пулемётная и винтовочная стрельба, взрывы и наблюдаются пожары.

11 сентября советская авиация сбросила над Варшавой листовки, написанные по-русски. В них говорилось:

*“Героическим бойцам Варшавы! Подходя непосредственно к Варшаве, мы имеем возможность оказать вам помощь. С этой целью, начиная с сегодняшнего дня, наши самолёты будут доставлять вам продовольствие, оружие и боеприпасы. В 15 часов вы должны растянуть на одной из крыш или площадей три белые простыни.*

*Маршал Советского Союза Рокоссовский”.*

В ночь на 14 сентября и в ночь на 15 сентября нами была организована заброска в эти очаги боеприпасов, вооружения и продовольствия. Всего сделано 644 самолётовылета У-2, которыми сброшены 45 тонн продовольствия, 6020 ручных гранат с запалами, 295 тысяч винтпатронов, 497 автоматов, 596 080 патронов ТТ, 60 50-мм миномётов и к ним 7000 мин.

Повстанцы в этих районах выкладывали указанные им сигналы, сброшенные днём вымпелом со штурмовиков, однако подтверждения живым человеком или другим способом в получении сброшенного груза не имеем.

Сегодня утром из района Варшавы от южного моста переплыло к нам 22 человека вооружённых повстанцев, которые сообщили, что вчера противник крупными силами повёл наступление на этот район и оттеснил повстанцев от берега Вислы, таким образом, они утратили возможность непосредственной связи с нами.

Во всех районах, удерживаемых восставшими, по данным лиц, прибывающих к нам, общее количество восставших и помогающих им насчитывается 40—50 тысяч, но вооружённых тысяч 15, которые примерно распадаются пополам на Армию Людову и Армию Крайову. Данные нуждаются в перепроверке”.

В дальнейшем состоялся и второй разговор Телегина с Политуправлением. Речь снова шла о положении дел в Варшаве. В разговоре, в частности, отмечалось:

“Сегодня на правый берег Вислы переправлен один батальон первой польской армии, который очистил квартал № 71 от немцев и прочно удерживает его вместе с повстанцами.

Сегодня ночью продолжили сбрасывать грузы. В район № 1 сброшено: ружей ПТР — 68, автоматов — 439, патронов ПТР — 4960, патронов маузер — 1500, патронов ТТ — 442000, патронов парабеллум — 15000, сухарей — 940 кг.

В район № 3 сброшено: винтовочных патронов — 915000, маузеров — 24000, сухарей — 8925 кг.

Повстанцы выкладывали сигналы, подтверждающие приём сброшенных грузов. Имеются данные, подтверждающие враждебную линию генерала Бурра к представителям Польской Рабочей партии, Армии Людовой и корпусу безопасности. Так, например, перешедшие на нашу сторону 11.9.44 две девушки, посланные ЦК Польской рабочей партии, заявили, что их посылали без согласования с генералом Буром, который не разрешил бы им перейти на нашу сторону. Второй факт — перешедший 10.9.44 подпоручик Маркевич из корпуса безопасности тоже показал, что генерал Бур не разрешает кому бы то ни было входить в связь с нами. По заявлению Маркевича, Бур приказал корпусу безопасности занять наиболее опасный участок, находящийся непрерывно под сильным воздействием немцев, и сменить там отряды Армии Крайовой, желая, видимо, сохранить своих приверженцев.

Лётчики, сбрасывавшие сегодня груз в районе № 1, доложили, что на многих улицах были выложены сигналы с просьбой сбрасывать продовольствие, боеприпасы и оружие, что также, надо полагать, является стремлением каждой группы получить эти грузы независимо от Бура.

По ряду показаний устанавливается, что всеми ресурсами в этом районе, а также, видимо, и в других распоряжается Бур и под угрозой оставления



голодными и без боеприпасов заставляет повстанцев – сторонников Люблина – подчиняться его приказам.

Лондонское руководство в Варшаве постоянно разъясняет повстанцам, что восстание было согласовано с английским и советским правительствами, которые-де санкционировали восстание, обещая необходимую помощь. Подобные разъяснения подтверждаются и многими жителями Праги. Полагал бы необходимым листовками разъяснять повстанцам истинное положение дел и хотел бы получить совет по характеру этих листовок”.

18 сентября, Телегин докладывал в ГПУ КА о действиях форсировавших Вислу частей, о новом большом сбросе оружия, боеприпасов и продовольствия повстанцам. Он также привёл сообщение английского радио (17.9. в 20.00): “Генерал Бур сообщает, что он установил полный контакт со штабом маршала Рокоссовского”.

Это же английское радио на следующий день в 8.30 передало: “Генерал Бур сообщает, что его действия теперь координированы с действиями маршала Рокоссовского. Советские самолёты непрерывно сбрасывают оружие и продовольствие. Советская авиация и зенитная артиллерия защищают Варшаву от немецких самолётов”.

Таким образом, с одной стороны Бур подтверждает наши мероприятия по оказанию помощи повстанцам, но, широко рекламируя и извращая характер установленной связи, видимо, желает нажить политический капитал и реабилитировать себя”.

19 сентября представитель ГШ КА (Генерального штаба Красной Армии) в 1-й армии Войска Польского генерал-майор Молотков сообщал зам. Верховного главнокомандующего о попавшем в его руки документе. Это было воззвание главнокомандующего Армией Крайовой Бура-Коморовского, призывающего к борьбе с Советами.

Концовка документа дословно звучит так:

*“Поляки, решительный момент нашей героической борьбы потребует от всех непоколебимой веры в победу, готовности к жертвам во имя нации и дисциплины перед руководством.*

*Провозглашаю следующий приказ:*

*Большевики перед Варшавой. Они заявляют, что они друзья польского народа. Это коварная ложь. Наша окраина – Вильно и Люблин – зывают к мести. Большевистский враг встретится с такой же беспощадной борьбой, которая поколебала немецкого оккупанта. Действия в пользу России являются изменой родине. Час польского восстания ещё не пробил. Приказы советских приспешников аннулирую. Коменданта Армии Крайовой обяжал подавить всякие попытки поддержки Советов. Немцы удирают. К борьбе с Советами.*

*Да здравствует свободная Польша. Бур – Главный комендант вооружённых сил в стране”.*

## **22. Запад проявляет беспокойство**

23 сентября послы США и Англии встретились со Сталиным.

Западных дипломатов, первым делом, интересовало положение в Варшаве. Поэтому их вопрос был построен так, чтобы получить благоприятный для себя ответ: считает ли маршал Сталин, что операции там развиваются удовлетворительно?

Сталин ответил, что он считает положение в районе Варшавы неудовлетворительным. Дело в том, что Висла представляет собой серьёзную преграду. Для того чтобы взять Варшаву фронтальной атакой, нужно переправить на другой берег Вислы тяжёлые танки и тяжёлую артиллерию, что очень трудно сделать в нынешних условиях. Поэтому Варшаву нужно будет брать обходным движением.

Керр спросил, имеются ли какие-либо сведения о положении восставших в Варшаве?

Сталин ответил, что восставшие в Варшаве рассеяны по четырём районам. Среди восставших имеется около 2,5 тысячи вооружённых людей. Для помощи восставшим на другой берег Вислы переправлено четыре батальона из армии Берлинга, но они понесли такие тяжёлые потери, что их придётся отозвать назад.

Кроме того, для помощи восставшим советское командование сбрасывало продовольствие, медикаменты и вооружение. Сталин при этом замечает,

что вооружение, сбрасываемое с американских самолётов, часто не попадает в руки восставших, так как оно сбрасывается с очень больших высот.

Сейчас повстанцы в Варшаве рассеяны немецкими войсками и многие из них прячутся в водосточных подземных трубах, боясь немцев. Население Варшавы голодает. Вообще же восстание в Варшаве создало большие трудности для Красной Армии, так как ввиду того, что повстанцы находятся в различных районах Варшавы, советская артиллерия лишена возможности действовать против города.

Керр заметил, что генерал Бур пытается установить с советским командованием связь по подземному кабелю. (Что за кабель? Откуда он вдруг взялся? Может быть, это лишь фантазии Керра?)

Сталин на это ответил, что генерал Бур вообще не обнаружен. Он, видимо, находится вне Варшавы и командует только своей радиостанцией (при этих словах Гарриман не может сдержать ухмылки, но лицо профессионального разведчика Керра остаётся непроницаемым). Что касается контакта с ним по подземному телефонному кабелю, то в этом нет необходимости, так как контакт может быть установлен по радио. Советские войска поддерживают с повстанцами контакт, узнают от них, попали ли к ним сброшенные с самолётов грузы и т. д. Такого рода контакт поддерживается как по радио, так и путём посылок повстанцами людей и приёма от повстанцев их представителей.

Керр и Гарриман заявляют, что Сталин сообщил им весьма интересные сведения, и благодарят за беседу. (Судя по всему, послы прибыли лишь для разведки.)

### 23. Последние дни Варшавы

27 сентября 1944 года немцы начали решающее наступление на занятые повстанцами районы. Первым из них был Мокотов. После ликвидации Мокотовского повстанческого района противник усилил свой нажим на Жолибож и начал атаки против повстанцев Центрального района.

В течение всего дня 29 сентября повстанцы Жолибожского района вели тяжёлые бои с превосходящими силами пехоты и танков противника, поддерживаемыми бомбардировочной авиацией. К вечеру этого дня повстанцы по радио сообщили, что немцы заняли южную часть района до улицы Неголевского, и просили помочь артиллерийским огнём и штурмовиками.

В течение ночи и утра следующего дня артиллерия и миномёты противника сильным огнём, чередуя его с мощными огневыми налётами, обстреливали район Жолибож.

Обстановка в районе восстания предельно обострилась.

Советские войска, наступавшие вместе с дивизией Костюшко, заняли Прагу и вышли на восточный берег Вислы, но форсировать её не смогли. Немцы, покидая правобережье, взорвали за собой все мосты в черте города и прочно закрепились на левом берегу.

Тем не менее, Советская армия оказывала повстанцам всю возможную помощь. Боевая авиация 16-й Воздушной армии в течение всего дня подавляла живую силу и огневые средства противника по заявкам повстанцев.

Только по предварительным данным, за день произведено 156 самолётных вылетов, в результате которых уничтожено 6 орудий, 4 автомашины и подавлен огонь 4 батарей полевой артиллерии и 2 батарей зенитной артиллерии немцев. Но противник продолжал стягивать в этот район силы с целью начать решительное наступление.

И в этот момент Бур-Коморовский ещё раз проявил свойственное ему двуличие. Он послал маршалу Рокоссовскому (30.9.44) радиogramму, в которой сообщалось: *“Мокотов пал 27.9. Мы окружены в двух котлах в центре города и в Жолибоже. Совершенно отсутствуют продукты питания. Если Варшава в течение трёх дней не будет занята Красной Армией, если мы не получим немедленной поддержки авиацией, а также интенсивного огня артиллерии по ранее указанным целям, то можно не удержаться и в этот срок”*.

Но Мокотов в это время ещё не пал, повстанцы вели тяжёлые бои, а руководство АК вело интенсивную подготовку к оговоренной с немцами капитуляции.

Генерал Бур всё для себя уже решил, но его радиogramма — кто знает, как ещё обернутся события? — должна была служить своего рода оправданием на

будущее: я же просил, я же требовал! А русские мне не помогли! Вот и пришлось, вынужденно, конечно, капитулировать...

Советский офицер, находившийся в рядах повстанцев (капитан Колос), в этот же день вечером отправил свою радиogramму, где сообщалось:

“28.9. командование АК приняло решение о ведении переговоров с немцами на предмет эвакуации населения из кварталов города, занимаемых повстанцами (повсеместно). Примите срочные меры, так как эти переговоры могут повлечь за собой полную капитуляцию повстанцев”.

Двадцать восьмого сентября командование АК начало переговоры с немцами. Польских парламентариев встретили на Железной и провели в уцелевший особнячок. Польскую сторону возглавлял Монтер, с немецкой стороны были три старших офицера.

Сначала обсуждали общие вопросы, и встреча носила предварительный характер. Монтера больше всего интересовали пропуски, которые он должен был получить для руководителей повстанческой армии. Они требовались для беспрепятственного прохода через немецкие позиции, окружавшие город.

Следующая встреча произошла на фабрике Бормана. Немцы предложили одному из поляков ознакомиться с тем, какие крупные силы окружили город, — зачем сопротивляться?

Теперь переговоры вёл известный своими прогерманскими настроениями полковник Вахновский. Немцы предложили ему осмотреть их позиции. Он отправился и вернулся очень быстро. Да, сопротивление бессмысленно, надо сдаваться, нечего терять время...

По итогам переговоров полковник Вахновский составил письменный отчёт об условиях капитуляции:

“Капитуляция должна произойти до наступления темноты. Тем самым генерал Кельнер хочет избежать эксцессов с обеих сторон. Как он сам заявил, с немецкой стороны такие эксцессы могут допустить вспомогательные украинские и казацкие формирования. Я со своей стороны подчёркиваю, что мы капитулируем перед вермахтом”.

Ещё Вахновский писал в своём рапорте, что эсэсовский генерал “особенно подчеркнул своё доброжелательное отношение к полякам и Армии Крайовой”.

Условия капитуляции были переданы в Лондон, и радиостанция “Свит”, вещавшая на польском языке, оперативно сообщила:

“Условия капитуляции предоставляли права воюющей стороны (права т. н. комбатантов) лишь солдатам и офицерам Армии Крайовой”.

Это означало на деле, что граф Бур выпрашивал у немцев для своих бывших солдат и офицеров право находиться в лагерях для военнопленных, а солдат и офицеров Армии Людовой обрекал на верную смерть. Поэтому полностью погиб Варшавский штаб Армии Людовой, сотни её лучших деятелей, тысячи отважных солдат и офицеров. Граф Коморовский вместе со своим штабом спас свою жизнь ценой немецкого плена и ценой жизни своих товарищей...

У него были все основания надеяться, что немцы лично к нему отнесутся неплохо: он давно приятельствовал с обергруппенфюрером Фогелейном, бывшим профессиональным жокеем, с которым они многократно встречались на международных дерби. Фогелейн, женившись на сестре Евы Браун, стал как бы родственником Гитлера, который даже называл его “мой милый шурин”. При таких знакомствах о своём будущем в немецком плену не стоило беспокоиться. И не надо забывать о родственнике — эсэсовском генерале.

Как писал потом, оправдывая действия руководства АК, в своём донесении представитель его главного командования подполковник З. Добровольский:

“Продолжение борьбы означает только бесцельно обрекать на смерть сотни тысяч мирных жителей, прежде всего женщин и детей”. (Какой благородный пафос! Сообразили через два месяца безнадёжной борьбы!)

“Так как большевики являются такими же врагами Польши, как и врагами Германии, Армия Крайова не опозорит себя, если сложит оружие, исчерпав все возможности для спасения”.

Перед самой капитуляцией (29.9.44) руководство АК провело своего рода пресс-конференцию. Благодаря деятельности капитана Колоса удалось даже получить напечатанный на машинке отчёт о её содержании. Текст документа

разведчику удалось был добыть в одном из отделов штаба АК. В отчёте говорилось:

“После неоднократных попыток вступить в переговоры с АК (18 августа и в начале сентября, двукратное предложение Жолибожу и Мокотову) 28 сентября немцы опять выступили с инициативой ведения переговоров. Их темой являются вопросы, касающиеся судьбы гражданского населения.

Немцы подчёркивают, что продолжение борьбы наносит гражданскому населению величайший ущерб и приносит с собой тяжёлые последствия нехватки продовольствия. . .

Во время переговоров немцы предложили специальной гражданско-военной польской комиссии проверить условия, в которых содержится население, эвакуированное уже из Варшавы, и пленные солдаты АК из Мокотова (питание, квартирные условия, медпомощь)”.

Был и ещё один документ, привезённый советскими разведчиками. Его составитель, офицер АК, особо просил держать его в тайне, видимо, опасаясь мести лондонцев. Документ был адресован генерал-полковнику Роля-Жимерскому:

“Передаю генералу как главнокомандующему Армии Польской армейский привет, предоставляя себя и группу офицеров АК в его распоряжение. Офицеры эти представляют собой начало будущих Варшавских дивизий.

Продолжаю дальше вербовать ввиду благоприятного развития вербовки, прошу о конспирации, прошу не опубликовывать эту телеграмму.

Доктор Ян Огоньчик-Миривинский – подполковник АК”.

Совершенно бесспорно, что вопрос о капитуляции был решён руководством АК уже 27 сентября, и поэтому телеграмма Бура и запрос по ней Миколайчика о советских мерах по спасению повстанцев был, безусловно, политическим трюком. Все данные говорят о том, что руководство АК уже вошло в полный контакт с немцами и, оттягивая время, лишь выторговывало себе некоторые льготы.

Советское командование очень быстро разобралось в этой довольно неуклюжей попытке.

Кроме того, поляки очень боялись мести украинцев не только за то, что они творили с 1921-го по 1939 год на Западной Украине, но и за то, что **в начале восстания польские националисты вырезали буквально всё украинское население Варшавы – женщин, стариков и детей. Поляки прекрасно понимали, что от украинцев им пощады не будет.**

Полковник Вахновский писал: “Я настоял, чтобы полковник Коссман (представитель немецкой стороны) отдал распоряжение о выделении батальона вермахта, который отделит капитулирующие отряды АК и район, занятый гражданским населением, от казацких и украинских частей”.

## **24. Армия Людова решила не сдаваться**

Несмотря на заверения подполковника “Живицеля” о неприступности созданной немцами заградительной полосы, командир АЛ майор Шанявский решил собрать свою группу и идти на соединение с польской армией, пробиваясь через эту “систему заграждений”.

В ночь с 30 сентября на 1 октября через Вислу удалось переправиться семи офицерам АЛ и АК. Они прорвались через линию фронта на восточный берег реки в районе железнодорожных мастерских предместья польской столицы Праги.

В пути на восток группа не встретили никаких танков, никаких препятствий, кроме одного станкового и одного ручного пулемёта, которые были выведены из строя огнём группы.

Только польский офицер-связист с радистом, находившиеся при штабе подполковника Живицеля с 27 сентября, были изолированы и впоследствии бесследно исчезли.

30 сентября Жолибож как опорный пункт перестал существовать.

Руководству АК были известны все возможности, созданные 1-й армией Войска Польского для эвакуации повстанцев и населения на восточный берег Вислы.

Повинуясь приказу своего центра и Вахновскому, представителю Бура, командование АК участка Жолибож предпочло капитуляцию выходу на соединение с частями 1-й Польской Армии.

Командование АК участка Жолибож, опасаясь соединения повстанцев с частями 1-й польской армии, ещё до 30 сентября саботировало все мероприятия групп АЛ, направленные на подготовку соединения с регулярными частями Войска Польского.

В это же время АК выдвинуло лозунг: “Немец разбит, остался более сильный враг – большевики”. А бюллетени генерала Бура продолжали утверждать, совершенно не считаясь с действительностью, что эффективно помогает повстанцам только англо-американская авиация, расценивая действия польской и советской авиации как слабые и не имеющие особого значения.

Велась активная пропаганда и против польских войск. Офицеров запугивали тем, что Берлинг якобы будет их расстреливать или же пошлёт их в концлагерь.

Только время уже изменилось и всё ставило на свои места. В умах личного состава восставших произошла значительная эволюция. Тем более что доказательства были под рукой: повстанцы воевали русским оружием и боеприпасами, питались советской тушёной и концентратами, русскую водку закусывали русскими же ржаными сухарями и салом, а связь между собой поддерживали с помощью советских полевых телефонов и соединявшего их советского телефонного кабеля, которого сбросили в Варшаву несколько десятков километров. Доставили туда же и телефонный коммутатор полевого типа.

Несмотря на явно слабый размер и малую эффективность англо-американской помощи, руководство АК всячески восхваляло действия авиации союзников, преднамеренно уменьшая размеры и эффективность советской помощи.

Капитан Шкот, офицер АК, принимавший английские грузы, заявил, что из числа сброшенного англичанами повстанцам попало очень мало. Почти весь груз достался немцам. За выражение этого мнения и за хорошее отношение к АЛ капитан Шкот был снят с должности.

Солдатам и офицерам АК стало уже совершенно ясно, что восстание генерала Бура имело исключительно политический, демонстративный характер. Как выразился один из польских офицеров, поручик “Зигмунд”, “это не было военное восстание. Офицеры и солдаты, без различия политической принадлежности, явно выражали своё недовольство руководством генерала Бура. Некоторые офицеры АК рассуждали так: если нельзя его убрать по политическим соображениям, пусть бы он сам ушёл в отставку. Легче тогда было бы договориться и с Берлингом, и с русскими”.

Многие офицеры АК действовали более решительно, переходя от слов к делу. Поняв смысл политической игры АК, они стали обращаться к представителям АЛ, желая вступить в её ряды. Но руководство АЛ колебалось с принятием решения и, в сомнительной надежде сохранить единство в общей борьбе, отказывало этим офицерам.

## **25. “Сравнять Варшаву с землёй...”**

Варшава официально капитулировала через два дня. Генерал Бур-Коморовский подписал акт о капитуляции 2 октября 1944 года в десять часов утра. По этому случаю поляки и немцы обменялись дружескими рукопожатиями и выпили по бокалу шампанского.

В тот же день германское радио передало:

“Варшава прекратила сопротивление. Только некоторые части под командованием большевистских офицеров пытались саботировать капитуляцию. В течение ночи они стремились форсировать Вислу и соединиться с советскими войсками”.

Радио из Берлина сообщило ещё, что для участников подавления варшавского восстания устанавливается особый нагрудный знак “Щит Варшавы” (очень похожий внешне на жетон “Крымский щит” для солдат армии Манштейна), который будет лично вручать солдатам обергруппенфюрер СС фон дем Бах-Залевский.

А через два дня – 4 октября, – когда оставшихся в живых варшавян гнали в лагерь Прушков, специально устроенный для них, жителей мятежной Варшавы, радио “Свит” передало из Лондона:

“В коммюнике, полученном сегодня во второй половине дня от генерала Бура, говорится...”

Из немецкого плена генерал Бур-Коморовский предавал своё коммюнике в Лондон! Для этого ему пришлось воспользоваться услугами немецкого радиста.

Вскоре после сдачи в плен Коморовский был отправлен немцами на самолёте в Швейцарию, а оттуда, кружным путём, через Испанию и Гибралтар, он полетел в Англию.

Здесь тоже имеются вопросы. По другим данным, немцы первоначально поместили Коморовского в офицерский лагерь, откуда его освободили американцы. Но что это меняет в биографии польского генерала-предателя?

После подавления восстания пришёл приказ Гитлера: **“Сравнять Варшаву с землёй, забрав предварительно из города все виды сырья, текстиль и мебель”**.

Это выполнялось неукоснительно и методично.

Страшное зрелище представляли собой улицы польской столицы. Центральная часть города и, в особенности, восточная, обращённая к Праге, были полностью разрушены. Уцелело не больше десятка бывших правительственных зданий в восточной части города и до двадцати домов на одной из центральных улиц и только потому, что там с 1939 года размещались гестаповцы и немецкая жандармерия.

Менее разрушена была западная часть города, состоявшая в большинстве своём из мелких домов дачного типа. В городе сохранилось не более 25–30% от имевшегося количества домов, но и они требовали среднего или капитального ремонта.

Все польские национальные памятники и старинные архитектурные постройки были полностью разрушены.

Уцелевшие варшавяне рассказывали, что до начала восстания аковцев город не был так сильно разрушен. Во время же восстания немцы поквартально уничтожали артиллерийским огнём каждый дом, в котором находились повстанцы. Для уничтожения таких домов применялась и авиация. Такое методичное разрушение Варшавы продолжалось около двух месяцев.

После подавления восстания немцы через три дня вывезли аковцев эшелонами в Германию, а всем варшавянам, уцелевшим в этой бойне, предложили выйти из города безо всякого имущества.

Когда жители Варшавы были удалены, немцы стали методично взрывать квартал за кварталом с тем, чтобы не допустить повторения подобного восстания. Это было и важным элементом общего устрашения, примером для других городов.

Даже большой и искренний недруг России генерал Андерс, сбжавший со всем своим войском в Иран как раз накануне Сталинградской битвы, прислал – уже из Лондона – депешу в Варшаву, в которой писал:

“Я лично считаю решение командующего АК (о начале восстания) несчастьем... начало восстания в Варшаве в нынешней ситуации является не только глупостью, но и явным преступлением”.

В ходе восстания погибли 200 тысяч мирных граждан. Потери АК составили 24 тысячи убитыми и тяжело ранеными, 17 тысяч пленными.

Лондонские поляки наградили Бура-Коморовского орденом Виртути Милитари. Он был счастлив. Это была самая дорогая награда в истории Польши. Она стоила жизни свыше двухсот тысяч варшавян, погибших по вине этого авантюриста и его поделльников.

Германии война в Польше стоила жизни 10 тысяч 572 человек.

**Полные потери Польши во время войны погибшими составили 123 тысячи военнослужащих и свыше 6 миллионов мирного населения...**

**Красная Армия же только при освобождении Польши потеряла свыше 660 тысяч воинов...**

**Вечная им память!**

# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

## ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Читателю нашего журнала, конечно, памятли записки известного отечественного путешественника Камиля Зиганшина “Через огненный пояс”, публиковавшиеся у нас в журнале в прошлом году. Там рассказывалось об экспедиции Русского географического общества, в которой участвовал и автор, по всему западному побережью Америки от Аляски на севере до Огненной Земли на юге. По так называемому Огненному поясу — цепочке действующих вулканов. Однако восточная часть Огненного пояса Земли находится в большой мере на территории России, на Камчатке, куда мы теперь и отправимся вслед за нашим неутомимым путешественником и писателем. Но вначале — некоторые сведения об этом далёком восточном рубеже России. Площадь Камчатского края — 464,3 тыс. кв. км (16% занято заповедниками и заказниками). Имеется 300 крупных и средних вулканов, из них 29 действующих. Население края — 320 тысяч человек, столица края — Петропавловск-Камчатский — 183 тысячи человек.

### КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

## УДИВИТЕЛЬНАЯ КАМЧАТКА

Восьмичасовой перелёт к колыбели русских Колумбов — полуострову Камчатка близился к завершению — мы идём на снижение. Летим вдоль береговой линии. Справа — земля, дыбющаяся сизыми хребтами и беловерхими конусами вулканов (их тут называют сопками), слева безбрежная гладь Тихого океана, занимающего почти половину поверхности Земного шара. На границе этих двух стихий — бурунистая полоска прибоя, унизанная пенными лентами рек и тугими клинками водопадов.

Сердце бьется учащённо — исполняется моя давняя мечта. Сколько раз планировал побывать на этом огнедышащем полуострове, похожем на огромный корабль, который, вернувшись с плавания, встал на якорь у восточного причала России, да всё как-то не складывалось. А нынче мой давний и неугомонный друг, человек щедрой и благородной души — Динар Сагдетдинов предложил мне присоединиться к замечательной команде из заядлых туристов-бродяг, которые уже бывали в этих краях.

**1. Открытие Камчатки. Вулканы, медведи, лосось и, конечно, — рыбалка!**

Под нами мелькают кубики домов, обнявшие многорукой дугой уютную Петропавловскую бухту и часть Авачинской губы, которая способна вместить все флоты мира. Её длина 24 километра, ширина у входа — 3 километра. Включает в себя ряд более мелких бухт. Когда я ступил на трап, сходя с са-

молёта, взгляд мой сразу упёрся в конуса трёх вулканов: треугольную громаду Корякского (3456 м) и стоящих чуть правее в обнимку Авачинского (2751 м) и Козельского (2189 м). Справа за Авачинской губой сиял белоголовый конус живописного Вилючинского стратовулкана (2175 м). С макушки Авачинского, словно из раскуренной трубки, поднимался столбик полупрозрачного дыма. Он, как и Кроноцкий вулкан, из числа действующих. Оба пока дремлют, набираются сил. Настанет день, почернеют белые клубы, и понесёт ветер косматые шлейфы дыма и пепла – верный признак скорого извержения.

Наконец, спустившись по трапу, ступаю на землю Камчатки! Кто только из великих путешественников и мореплавателей не ходил по ней. Иван Москвитин и Василий Поярков, Владимир Атласов и Иван Козыревский, Витус Беринг и Алексей Чириков, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской, Григорий Шелихов и Александр Баранов, Литке и Врангель. Казаки-землепроходцы, учёные, промышленники, купцы, дворяне. Отважные и сильные духом россияне, любящие Отечество.

И как не восхититься словам мореходов Мошкова и Бутина в рапорте, адресованном командору Берингу по поводу жалования, которое не платили им несколько лет. В конце его казаки, словно извиняясь, пишут "... а об оном жаловании просить было некогда...". Вот ведь как! Не о деньгах думали первооткрыватели, не о личном благе радели. Бескорыстно и честно служа России, исследовали, описывали крайние земли. Бесстрашно выходили из спокойной Петропавловской бухточки в штормящие просторы Тихого океана, чтобы открывать и присоединять новые острова и земли.

Петропавловск встретил, как и положено, землетрясением силой три балла. Друзья Динара разместили нас на турбазе "Лесное". Это в километрах двадцати от города. На улице прохладно, а в домике тепло: база круглый год отапливается горячей водой из термальных скважин Паратунки.

Вечер посвятили составлению программы нашего путешествия. Поскольку хотелось увидеть как можно больше (Тихий океан, Долину гейзеров, нерест лососёвых, камчатских медведей, вулканы, фумарольные поля, кальдеру вулкана Узон, Долину смерти, термальные источники), она после бурной дискуссии получилась весьма насыщенной.

Завтра предстоял первый пункт программы: выход на большом катере в Тихий океан (как солидно звучит!). Там нас ждёт рыбалка и сбор знаменитых камчатских крабов.

Утро. Окрестности скрыты туманом. После ночного дождя сыро, зябко, сумрачно, но серая муть постепенно тает. Вот проступили карандашные силуэты рыбаков, оккупировавших берег залива. Наконец, сквозь молочную пелену стал проступать тусклый диск светила. А через полчаса от тумана не осталось и следа: разнесло ветром, высушило солнечными лучами. Капитан катера командует: "Отдать швартовы!". Мы осторожно отходим от заставленного разнотипными судами причала.

Ворота Авачинской губы охраняют столбообразные скалы – "Три брата". Они объявлены памятниками природы и уже стали визитной карточкой – своеобразным символом Петропавловска. Согласно легенде, здесь жили три брата. Чтобы защитить губу от большой волны, они встали на её пути и окаменели. Так и стоят с тех пор, охраняя город.

Лишь только прошли их, сразу ощутили могучее дыхание океана. Нас как будто закачало на гигантских качелях: то плавно подбрасывало, то плавно опускало. Вспомнилась молодость, китобоец № 26 "Вольный". Там, правда, качка бывала и похлеще.

Двигатель, пытаясь вытолкнуть катер на очередную изумрудного цвета гору, порой захлёбывался от напряжения. Если оседлать гребень не успевали, волна разбивалась прямо о задранный нос катера, и каскад брызг обрушивался на палубу, обдавая нас холодным душем – Тихий океан оказался вовсе и не тихим, а очень даже грозным. Смотрим на берег и с ужасом наблюдаем, как волны, разбиваясь о скалы, превращаются в белую пыль. Неужели придётся возвращаться?

– Ребята, все нормально. Чайки садятся на воду, волна скоро пойдёт на убыль, – успокаивает капитан.

Действительно, ветер постепенно терял силу. Белые барашки на гребнях волн незаметно растаяли. Грозный океан, наконец, стал Тихим. Мы с уважением смотрим на капитана – с таким морским волком не пропадём!



Мимо нас сразу замельтешили группами и поодиночке птицы. Одни за добычей, другие уже с ней. В основном белогрудые кайры, красноклювые топорки и истеричные чайки. Всем им не страшны ни бури, ни шторма. Суша этим странникам нужна лишь в период выведения и воспитания потомства. Остальное время их жизнь связана с морем. Известный натуралист Альфред Брем так и писал: "...Только две причины могут побудить морских птиц вернуться на сушу: радостное чувство пробуждающейся каждый год любви... и мрачное ощущение приближения смерти".

Одна из чаек увязалась за катером, но, убедившись в тщетности получить угощение, резко повернула обратно.

Обогнув скалистый мыс, зашли в бухту, но вместо ровного шума океанского прибоя слышим оглушительный птичий гвалт. Он несётся от скалистого островка, изрезанного карнизами, террасами, нишами. В который раз убеждаюсь, что не зря эти скопища пернатых именуют птичьими базарами. Лишь только мы оказались в их поле зрения, как над зелёной шапкой острова белой метелью взметнулись тысячи птиц.

От безостановочных истошных воплей и душераздирающих стонов чаек-моёвок заложило уши (и как они не устают столько вопить-голосить?). К ним присоединяется резкое гиканье кайр. Сквозь этот ор с трудом разбираю слова стоящего рядом Динара. Он кричит капитану: "Тут оглохнешь! Может, пройдем дальше?".

Отплывем. Птицы успокаиваются и возвращаются к своим квартирам. В самом центре "базара" – чайки и колонии похожих на пингвинов кайр (тот же чёрный фрак, белоснежная манишка, вертикальная поза). На периферии – птицы, не сумевшие отстоять более безопасное место. В середине самые благоприятные условия для выживания – туда сложнее пробраться хищникам. За "элитную" жилплощадь между пернатыми то и дело вспыхивают драки: птицы с устрашающим криком налетают, клюют, бьют друг друга крыльями. Квартирный вопрос всегда порождает жёсткую конкуренцию!

Зайдя в менее заселённую бухточку, разбираем спиннинги. Каждый оснащён тяжеленным грузилом и тремя довольно крупными крючками на разных уровнях. Насаживаем нарубленные кусочки шупальцев кальмаров и забрасываем снасть в воду. Леску отпускаем так, чтобы грузило едва легло на дно. Клюёт у всех почти сразу и только камбала – похоже, мы встали прямо над их колонией.

Через полчаса сменили место – тут пошла вразнобой иная рыба: морской бычок, терпуг, палтус и окунь. Что интересно, окунь самых разных цветов: тёмно-синий, зеленоватый, розовый. Средний вес порядка килограмма. Более мелкую рыбу выпускаем. Пока азартно, с дикими воплями выуживаем попавшуюся добычу, помощник капитана надевает двойной неопреновый гидрокостюм, тяжеленный кислородный баллон с разгрузочным жилетом, натягивает маску и прыгает в изумрудную толщу воды. Лавируя между колышущихся лент ламинарии в лабиринтах прибрежных рифов, обросших бородами из раковин мидий, он собирал для нас полный мешок морских ежей, а в местах поглубже – с десяток камчатских крабов.

Сваренная коком уха получилась фантастически вкусной, а нежное крабовое мясо буквально таяло во рту. Пока обедали, возле катера села стайка дымчато-бурых, похожих на голубей, глупышей. Окуная голову в воду, они поднимали её уже с рачками в клюве. Так вот что привлекло их сюда!

На обратном пути видим в метрах ста вынырнувшую касатку. За ней рассекали поверхность воды плавники ещё двух. А вон ещё одна! Да тут их целая семья! Вынырнув и шумно вдохнув свежего воздуха, они быстро скрывались в океанской толще. Лишь изящный профиль хвоста ещё некоторое время выдавал одну из них.

\* \* \*

В книге выдающегося русского этнографа и путешественника Степана Крашенинникова "Описание земли Камчатки" (1756 г.) есть такие строки: "Все рыбы на Камчатке идут из моря в реки такими многочисленными рунами, что реки от того прибывают и, выступя из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в их устье".

Думаю, и вы согласитесь, что быть на Камчатке в августе, в самый разгар хода лососёвых и не побывать на нерестовых речках – это было бы странным. Чтобы не заморачиваться с арендой снаряжения для сплава, воспользовались услугами профессиональных водников. Их товарищ забросил нашу команду на вездеходе со всей амуницией и горой продуктов в среднее течение труднодоступной горной реки, впадающей в Охотское море (через пять дней он заберёт нас в её устье).

Хрустальной чистоты речной поток, замедляясь на плёсах и ускоряясь на шиверах, понёс наши лодки мимо крутобоких сопок, заросших в нижней части высоченной травой и приземистым кедровым стлаником. Мишкам здесь раздолье: хочешь, ешь шишки, хочешь – стоящие сплошной стеной сочные стебли с крупными пальчатыми листьями шеломайника. В его зарослях иногда видим вытопанные участки и траншеи между ними – мишка кормился. Выше зоны стлаников – высокогорная тундра, а на водораздельных гребнях господствуют уже курумники. На них ни травы, ни воды – во время дождя она сразу уходит сквозь беспорядочные, многослойные нагромождения камней.

В камчатских речках нерестятся все виды лососёвых Дальнего Востока: чавыча, горбуша, кета, кижуч, нерка (местные жители из-за ярко-красного брачного наряда её именуют красицей). Излюбленные места нереста – мелководье со слабым течением. Такие участки называют тёрками. Отметав и полов молоками икру, супруги ещё долгое время из последних сил охраняют присыпанную мелкой галькой кладку от прожорливых голец и хариусов. Со временем на их телах начинают проступать начальные следы разложения – белые некротические пятна. В конце концов, они погибают. Но, даже погибнув, продолжают поддерживать потомство – вылупившиеся мальки первые дни питаются остатками их плоти.

Медведи же, избалованные обилием свежей рыбы, отнерестившихся особей не едят: у них мясо жёсткое и безвкусное. Долгий и тяжёлый ход, против течения, нерест и охрана потомства высасывают из рыб все соки. Среди лососёвых Камчатки только голец и радужная форель не умирают после нереста. Но они и в океан на откорм не уходят. В пресной воде постоянно живут.

Царица лососёвых по размерам и вкусовым качествам, бесспорно, – чавыча. Правда, в последнее время и она сильно измельчала. Если в советское время попадались особи весом под пятьдесят килограммов, то сейчас редко вытягивают на десять.

Чавыча и открывает нерестовый ход. Начинается он в мае-июне. Последним (в конце августа – сентябре) на нерест заходит кижуч. Это про него Крашенинников писал: “Сия рыба вверх по рекам идёт с таким стремлением, так что перед ней вал поднимается, который усмотря издали, камчадалы бросаются в лодки и сети кидают”.

Действительно, в прежние годы от идущих на нерест косяков лососёвых вскипала вода. Но в рыночные времена такую волнующую картину вряд ли где увидишь. Разве что на некоторых Курильских островах. Виной тому безудержное браконьерское стяжательство: две груды кетин со вспоротыми брюхами нам уже попадались (тема эта настолько злободневная и актуальная, что остановлюсь на ней подробнее позже).

Привал. На берегу нас сразу накрывает серой волной мошка. Её было так много, что дышать приходилось сквозь зубы – иначе в рот залетала. И комары в этот вечер остервенели – жалили нещадно. Особенно доставалось лайке Эдуарда. Кровососы так покусали её веки, что вокруг глаз образовались кровоточащие язвы. Чтобы как-то облегчить свою участь, она вырыла пещерку и спрятала голову в ней.

Утром собрались довольно быстро – все хотели как можно скорее покинуть это комариное царство. Когда оказались на середине реки, вздохнули – кровососы наконец отстали. Течение хорошее, так что грести не было необходимости. Плывём, любуемся при свете восходящего солнца отрогами, обступающими речную долину. Их склоны почти до самого верха затянуты изумрудными коврами кедрового стланика. Издали они смотрятся настолько ровными, что так и хочется прогуляться по ним. Но я хорошо знаю, что эти симпатичные поля – это ад для попавшего в них путника. Тот, кто хоть раз ходил по стланику, поймёт меня. Не испытывшим же такого “удовольствия” попытаюсь объяснить. Итак, вы подошли к стланику и видите, что это вовсе не поляна для игры гольф: перед вами густая живая стена из стволов и веток.

На неё можно падать, повисать, пружинисто качаться и при этом не проваливаться до земли, а вот идти сложно. Неискущённому путнику может даже показаться – всё, прохода нет! И он отчасти прав, потому что его приходится создавать самому. Для этого надо, согнув голову, нырять в эту густую мешанину, с силой раздвигать упругие кривые стволики руками, перелезая через них, протискиваясь между перекрученных ветвей, а иногда и проползая между их сплетениями по-пластунски. Так что, если на вашем пути появилась симпатичная “поляна” стланика, не обольщайтесь, лучше сразу обойдите. Сэкономите и время и силы.

На приглянувшихся местах причаливаем порывачить спиннингом на блесну. Кто с лодки, кто с берега. Среди последних и я. Правда, на берегу от укусов невидимой, из-за мизерных размеров, мошки вскоре начинают гореть уши и кисти рук. Это отвлекает и мешает равномерно крутить катушку спиннинга. Но что поделаешь – приходится терпеть.

Берёт в основном голец (Эдуард говорит, что в прежние годы его было так много, что местами их тёмные спины сплошь покрывали дно). На втором месте – хариус (его средний вес – граммов четыреста, а максимальный, – полтора килограмма). Красная рыба попадается не часто. За день три-четыре на всю команду. Но даже такой улов – это превосходный результат. Местные рыбаки уверяли, что лососёвые на блесну вообще не идут. Скорей всего, говорили они так, из желания оправдать использование сплавных и перетяжных сетей. Наловят полную лодку, брюхо вспорют, мешочек с икрой вынут, а деликатесную рыбину выбрасывают. А потом больше всех удивляются, что лососёвых из года в год меньше становится.

Я не могу понять, почему сети продаются свободно. Ведь ловить ими запрещено. Где логика, господа депутаты? Сколько законов принимаете, но почему-то ни один из вас даже с законодательной инициативой о запрете продажи сетей не выступит. Однако, самый большой вред ихтиофауне причиняют даже не сети, а электроудочки. При их использовании большая часть рыбы погибает, а выжившие становятся бесплодными. Тем не менее, эти орудия преступления и производятся, и продаются. Тем самым наносится удар по рыбным запасам страны (если судить по рекам и озёрам нашей Башкирии, весьма заметный). Что не способствует укреплению продовольственной безопасности России. Абсурдность ситуации налицо, но власть не хочет замечать этих проблем.

Кучи распотрошённых кетин, облепленных зелёными мухами, – следы браконьерского лова, встречаем всё чаще. От них идёт такой смрад, что даже не привередливые чайки брезгливо облетают такие места. Эти белокрылые птицы десятками сидят по берегам у тёрок – мест нереста. Терпеливо поджидают, когда течение прибьёт к галечной косе очередную обессиленную рыбину.

Встали на обед. Когда таскал сушины для костра, увидел сначала содранный дёрн, потом яму – копанину “хозяина тайги”. Похоже, ограбил кладовую то ли бурндука, то ли горного суслика – евражки. А вон и сам мишка вразвалку ковыляет. Судя по размеру – трёхлетка. Идёт себе вдоль бережка, озирается, носом поводит. Чайки перед ним с криком отлетают. В воду не лезет – обошёл прижим по берегу. Вот навалил кучу прямо в речку. Взобравшись на ствол каменной берёзы, склонившейся над водой, долго высматривает рыбу. Ведет себя так, словно не знает, как поймать её. Похоже, неопытный. Я сделал несколько снимков и, прихватив пару сушин, тихонько пошёл к стану поделиться с ребятами наблюдениями.

Из травы и кустов вылетали потревоженные мною полчища мелкой, почти невидимой мошки – такая мошка особенно активна вечером, на закате, а ночью не беспокоит. Появляясь на восходе, днём снова пропадает, уступая место более крупным кровососам.

Нерестовые реки – настоящий Клондайк для медведей. Поскольку плывём мы неслышно, подслеповатые звери подпускают довольно близко. Вон ещё один показался. Зашёл с галечной косы в воду. Постоял несколько секунд и быстрым движением когтистой лапы выкинул сверкающую рыбину на берег. Взяв в пасть, приступил к трапезе. Было слышно, как он урчит и чавкает от удовольствия. Мы окликаем его. Косолапый встал на задние лапы и поднял над головой передние – демонстрирует, какой он большой и сильный. Постояв так, опустился на четвереньки и на всякий случай скрылся вместе с остатком добычи в прибрежных зарослях.

На смену ему на перекат выходит медведь посолидней. Зайдя в воду, прыгнул, схватил рыбу зубами и тут же с аппетитом съел – похоже, сильно проголодался. Погонялся немного по мелководью и снова вытащил серебристую рыбку. Так, охотясь, медведь неторопливо спускался вниз по течению. Он до того увлёкся, что не заметил проплывающие мимо него лодки. Да и ветер относил наш запах в сторону.

При появлении нашей флотилии зоркий белоплечий орлан слетел с завала. За ним образовалась симпатичная, манящая своей бездонностью заводь. Делаем заброс. Рикаф тут же вытаскивает кижуча. Моя самая уловистая блесна цепляется за корягу. Раздеваюсь и лезу в воду спасать её. Напротив, по другому берегу бредёт медведь необычного, почти палевого цвета. Он на верняка тоже видит меня, но никак не реагирует – занят своими делами.

Встали на обед. Эдик развёл костёр и жарит рыбу. Мы же по очереди в два бинокля наблюдаем за медведем, рыбачим метрах в трёхстах от нашего стана. Только что спокойный, он вдруг поднимает морду и принохивается. Потом резко стартует и мчится галопом по крутому склону. Видимо, учуял нас! Как по-разному косолапые реагируют на людей.

Медведь зверь крупноголовый, а вот глаза крохотные. Со стороны из-за высокой холки, огромной клиновидной головы и мощной шеи он кажется неуклюжим. На самом деле медведь обладает пластичностью и реакцией кошки. Развитые мышцы передних лап, вооружённые серповидными когтями, позволяют одним ударом сломать хребет сохатого. Он любопытен и интересуется всем, что привлекает его внимание. Поэтому нередко посещает по ночам лагеря туристов и рыбаков. Его всеядность не уступает людской. Особенно любит, по наблюдениям наших проводников, банки со сгущённым молоком. Непонятно только, как он отличает их от банок с чем-либо иным. Неужто нюх такой тонкий? От нападения на человека его сдерживает генетический страх перед нашей способностью убивать на расстоянии. Он побуждает его избегать близких встреч с людьми. Но если обстоятельства (голод, ранение) принудят медведя напасть, он быстро усваивает, что нет добычи более лёгкой, чем человек, и становится чрезвычайно опасным. Таких особей приходится отстреливать.

Сегодня из нерестовых поймали лишь два кижуча. Олег засолил икры и подал её на ужин вместе с запечёнными в фольге хариусами. Из самих кижучей и гольцов сварили шикарную уху.

Ночью нас разбудил треск сучьев. Дежуривший у костра Эдуард поднял тревогу: “Медведь! Медведь!” Выбираемся из палаток и начинаем кричать, стучать по котелкам, мискам. Зверь упрямо топчется среди кустов – не хочет обходить палатки. Оказывается, мы встали на его тропе. А больше-то и встать негде – во время нереста медведи курсируют по всему берегу. На некоторое время топтыгин затих, но вскоре снова зашумел. Раскачивает ветви, злится – не хочется ему в дебри лезть. Становится жутковато. Эдик достаёт ракетницу и стреляет в его сторону. Красными огоньками вспыхивают глаза. Ломая подрост, зверь, наконец, удаляется. После такого переполоха собираемся у костра, встревоженные. Лезть в ненадёжную палатку уже не хочется. Нет, всё же днем тайга поприветливее.

Тем временем дрова кончаются. Поблизости ни одной сухостоины. Надо идти в лес поглубже. У меня в команде репутация бывалого туриста. Чтобы не разочаровывать друзей, отправляюсь за сушинами вслед за Эдиком и Валерой. Жутковато, но мою решимость поддерживают строки из книги Крашенинникова: “Камчатские медведи не сердиты, на людей никогда не нападают, разве кто найдет на сонного: ибо в таком случае дерут они людей, но до смерти не заедают. Никто из камчадалов не запомнит, чтоб медведь умертвил кого. Обыкновенно задирают они у камчадалов с затылка кожу и, закрыв глаза, оставляют, а в великой ярости выдирают и мягкие места. Однако ж не едят их. Таких изувеченных от медведей по Камчатке довольно, и называют их обыкновенно дранками”.

Оживив ползутухший костёр, Эдик прочитал нам лекцию:

– Если встретились с медведем, ни в коем случае не убегайте. Это будит в звере хищнический инстинкт и провоцирует преследование. Отступая, ведите себя с достоинством и не поворачивайтесь к нему спиной. Отходите медленно, повернувшись боком. Ещё важно не создавать своим поведением условия, при которых медведю некуда отступать. Когда заходите в лес, заранее давайте знать о себе покрикиванием или громким разговором. Косолапый не любит

неожиданностей. Неспровоцированные нападения на людей были, есть и будут всегда. Добродушие медведей обманчиво, а нападение страшно! В общем, всегда помните — медведь, прежде всего, хищник, а не лубочный герой или цирковой увалень. Что у него в голове, он вам не скажет. Все следующие ночёвки будем делать на островах. Так безопасней. И ещё: просьба ко всем — по звериным тропам не ходить.

После такого обстоятельного инструктажа мы как-то успокоились, подавленность прошла. Но все по-прежнему кучкуются у костра.

Только отплыли, как на берег из-за увала вывернул огромный медведь. Неужто это наш ночной гость? Ну и громила! Совсем рядом отдыхал. Увидев, а скорей всего, услышав нас (у мишек зрение слабоватое), он возбуждённо затопал, заскрёб землю, в маленьких буравчиках глаз загорелись злобные огоньки. Лодка всё ближе. Тут косолапый совсем разошёлся: стал делать броски в нашу сторону, “фукать”, часто работая челюстями, лязгать клыками. Но по стоячим ушам было понятно, что атаковать не собирается, просто пугает.

Уже после экспедиции в книге профессионального камчатского охотника Павла Панфилова “Медведь” узнаю, что за последние годы, начиная с 1996-го, агрессивность косолапых заметно возросла. Если в период 1981–1995 годов медведь на Камчатке задрал насмерть 14 человек, то есть одного человека в год, то с 1996-го по 2011 годы (практически за тот же срок), в результате их нападения погибло 45 человек, то есть три человека в год. Панфилов считает, что виноваты в этом, прежде всего, сами люди. Отлов лососёвых сетями в местах захода рыбы в реки привёл к тому, что у мишек возникли проблемы с кормовой базой и часть из них, не успев нагулять жир для зимней спячки, становится раздражительными, агрессивными. Вторая причина — вытеснение косолапых из традиционных мест обитания в связи с интенсивным строительством дорог, дач, предприятий, ЛЭП, трубопроводов с открытыми месторождений газа. Третья — отстрел в погоне за призовыми трофеями самых крупных особей. Это привело к росту численности молодых, недостаточно приспособленных к самостоятельной жизни зверей. И, безусловно, — неправильное поведение людей при встрече с этим грозным хищником. Человек, как правило, убегает, и у зверей срабатывает рефлекс: раз убегает — надо догнать.

Впереди, посреди речки, показались две чёрные точки. По мере приближения к ним мы поняли — опять эти косолапые. Когда почти поравнялись с ними, те уже выбирались на берег. Оказалась медведица с лончаком — полуторагодовалым медвежонком прошлогоднего помёта.

... Чем ближе к морю, тем больше чаек. Терзают по берегам отнерестившуюся рыбу. Наше внимание привлекла одна довольно потрёпанная птица: её почему-то все отгоняли от добычи. Сердобольный Динар кинул ей кусок хлеба. Чайка поймала его на лету, но не успела проглотить, как на неё накинута сразу трое. Что тут началось! Драка завязалась прямо в воздухе. Они били бедняжку клювами, хлестали крыльями. Потеряв скорость, две чайки плюхнулись в воду. Первое время они тихо лежали, расправляя крылья. Придя в себя, вновь кинулись друг на друга, хотя хлеба — причины драки, уже не было. Получить преимущество так и не удавалось ни одной из них. Наконец усталость остудила кипящие страсти. Разлохмаченные и мокрые птицы разлетелись и стали приводить себя в порядок на разных концах галечной косы.

... Встали на плёсе. Ловим с берега. Я не фанат рыбалки. Поймав двух гольцов, поднялся на обрыв, чтобы нарвать шишечек стланика. Молочной спелости орешки сейчас самые вкусные. Особенно если шишки испечь на углях. Редкий с краю, стланик в глубине становился всё гуще. Набрал полный пакет, с трудом продираюсь на свободу. К стану возвращаюсь по полянке, устланной пышными клубами ягеля. Серый, упругий, похожий на мочалку, мох-гриб мягко пружинит под ногами. Неожиданно из-под кустиков голубики с шумом выпорхнула куропатка и, прихрамывая, заковыляла прочь. И хотя прекрасно знаю, что птицы специально прихрамывают или припадают на крыло, когда отводят от потомства, всё же первая мелькнувшая мысль — у птахи что-то с ногой!

Раздвинув кусты с сизыми ягодами, обнаружил четырёх, уже довольно крупных птенцов. Благодаря пёстрому серовато-коричневому оперению они почти сливались с почвой. Куропатка-мать сердито закудахтала издали. Чтобы успокоить её, тихонечко отступил и зашагал к лагерю.

На следующий день прошли один за другим три порога. В сужениях, обрванных скальными лбами, река с рёвом устремлялась через узкие прохо-

ды вниз. Высокие стоячие волны захлестывали лодку, осыпали рюкзаки и нас холодными брызгами. Тут ещё небо затянула серая хмарь. Посыпала морось. Неожиданно она перешла в ливень. Пока доставали из рюкзаков плащ-накидки, основательно промокли.

После каждого стремительного слива всегда следовали заводи, казавшиеся из-за черноты бездонными. Но, как ни странно, сколько забросов ни делали – рыба не клевала. Лишь однажды повезло: Динар поймал нерку в таком ярко-красном наряде, что, когда он подвёл её к борту, показалось, будто возле лодки разгорелся алый костёр. Более необычной раскраски у рыб я не видел. Туловище алое, с фиолетовым участком на спине, одни плавники зелёные, другие черные; челюсть белая. Тут уж и у меня взыграла кровь – все уже по два-три лосося поймали, а у меня одни гольцы. На следующей стоянке, по совету Эдуарда, меняю золотую блесну на серебристую с красными пятнышками, и делаю несколько бросков в чёрный омут. Безрезультатно. По идее, в таком месте рыба должна кишмя кишеть, а на деле тишина.

Прошёл немного вниз – в устье горного ручья медленно ходит кругами несколько кижучей. Откуда-то появляется уверенность: “Один из них будет моим!” И уже на втором забросе почувствовал сильный рывок. Тут началась борьба, в которой забываешь обо всём на свете. Когда главной целью становится удерживать в руках спиннинг и при этом успевать подтягивать сильную рыбину к берегу. Вот кижуч уже бьётся на мелководье. Только бы не сошёл с тройника! Я так разволновался, что на всякий случай прыгаю на мокрые валуны и придавливаю добычу всем телом. Во мне просыпается хищный зверь – вцепляюсь в жабры (не выпущу!) и гордо несую трофей к стану.

После обеда причаливаем к месту, где нас уже поджидал ГАЗ-66. После пятчасовой тряски в тесной, заваленной рюкзаками и тюками со снаряжением будке выгружаемся на турбазе Лесное. Второй пункт программы завершён!

## **2. Петропавловск-Камчатский – город на беспокойной земле**

Во время завтрака ощутили ногами слабые тычки. Зазвякали стаканы в шкафу, слегка закачалась люстра. Местные на такие незначительные сотрясения земной коры не обращают внимания. Знают, что они не страшны: дома построены с расчётом на землетрясения в девять баллов. Плотные низкие облака, слившись с морем, погрузили окрестности в серую муть. Это поставило жирный крест на моём полёте в Долину гейзеров.

Чтобы день не пропал зря, решил воспользоваться приглашением местного краеведа Михаила Яковлевича Жилина, много лет проработавшего собкором ТАСС по Камчатскому краю и написавшего вместе с Василием Песковым несколько интересных книг. Михаил Яковлевич тут же организовал машину и весь день знакомил с городом, причудливыми рукавами растёкшимся по побережью и узким распадкам. О каждой достопримечательности в лабиринтах его безразмерной памяти хранилась масса интересных историй.

Первым из русских в эти места добрался на оленьих упряжках отряд Владимира Атласова. Случилось это в 1697 году. Тогда на берегу Авачинской губы были только стойбища ительменов. Казаки заложили лабазы для хранения ясака и основали рядом со стойбищем ительменов Аушин острог.

17 октября 1740 года, по составленным Атласовым картам, здесь высадились экспедиция, прибывшая на двух пакетботах “Святой Пётр” и “Святой Павел”, что и дало название городу, Вторая Камчатская экспедиция возглавлялась командором Витусом Берингом и капитаном Алексеем Чириковым. Эту дату и принято считать днём рождения Петропавловска. А основателем города – Беринга. На самом же деле, его основателем был штурман мичманского ранга Елагин Иван Фомич. 29 сентября 1739 года, он по приказу командора на боте “Святой архангел Гавриил” зашёл в Авачинскую губу и на берегу самой тихой её бухты, названной впоследствии Петропавловской, построил склады и жилые помещения для размещения запланированной на 1740 год экспедиции. А также сделал промеры для выяснения возможностей захода крупных морских судов, поскольку “...при оной губе надлежит быть для жилья служителям строение, також и для клажи провианта магазейнам”.

Спускаемся с бодро вышагивающим, несмотря на свои 78 лет, Михаилом Яковлевичем к причалам, у которых толпятся десятки белоснежных судов.

Длинноногие краны выгружают из трюмов контейнеры, бочки, мешки. Оглядевшись, я убедился, что основатели города очень грамотно выбрали эту неприметную, незамерзающую даже зимой бухточку Авачинской губы под базу порта. В ней в самый свирепый шторм – тихо, спокойно.

Каких только кораблей не повидала она! Сюда заходили бригантины, галиоты и шитики, суда промысловых компаний со всего мира. В 1779 году эта гостеприимная гавань дала приют кораблям Третьей экспедиции Джеймса Кука. Через восемь лет бухту посетили суда Жана-Франсуа Лаперуза. Жители города дали морякам французской экспедиции всё, что требовалось для продолжения плавания. Адмирал Лаперуз позже написал: “Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей встретить более тёплый приём, чем здесь. У русских не было никакого приказа, касающегося нас, но они предоставили помощь вдовольном количестве, и с нас не взяли какой-либо платы”. Через 70 лет, во время Крымской войны, эскадра “благодарных” французов и англичан, имея приказ отвоевать у России Аляску, Алеутские и Командорские острова и Камчатку, вероломно напала на оказывавший им безвозмездную помощь город Петропавловск. Небольшой русский гарнизон не только выстоял в этом сражении, но и разгромил втрое превосходящего по численности и вооружению противника.

А в 1804 году в бухту зашёл во время Первой кругосветной российской экспедиции по пути в Русскую Америку корабль “Надежда” под командованием Ивана Крузенштерна. Впоследствии, только с 1804-го по 1848 год состоялись заходы в бухту 25-и русских кругосветок!

Бродим по старой части города, в надежде найти следы былого. Увы, из старых построек ничего не уцелело. Виною тому регулярные землетрясения. Слава богу, хоть памятники мореплавателям и защитникам Петропавловска на Камчатке сохранились. С удивлением обнаруживаю, что этот город более чем на сто лет старше Владивостока и Хабаровска – **17 октября 2015 года Петропавловску официально исполнится 275 лет**, а если быть точным – 276. Николаевск же на Амуре основан в 1856 г.; Хабаровск в 1858 г.; Владивосток в 1860.

Погуляв по центру города, вышли к Никольской сопке. Здесь в 1854 году во время нападения англо-французской эскадры, имевшей приказ завладеть главным портом России на Востоке, стояли насмерть вместе с матросами артиллеристы двух батарей под командованием лейтенантов Александра и Дмитрия Максутовых. Несколько дней продолжался неравный бой, завершившийся яростной рукопашной схваткой. Неприятель не выдержал и бесславно бежал, оставив на берегу погибших. А командующий вражеской эскадрой контр-адмирал Прайс от постигшего его позора застрелился.

На склоне Никольской сопки артиллеристам легендарных батарей воздвигнут памятник. На берегу на деревянных лафетах продолжают сторожить подступы к Петропавловску пять сохранившихся чугунных орудий. С обратной стороны сопки находится мемориальный комплекс: некрополь с белокаменной часовней. Справа братская могила российских воинов, слева неприятельских. В 1954 году в день столетия Петропавловской обороны моряки-тихоокеанцы открыли монумент “Славы погибшим за Отечество”, увенчанный зубчатой маковкой и крестом.

Спустившись в город, заглянули в этно-магазин “Шаман”. Тут мы оказались в окружении шкур, черепов, клыков, шаманской атрибутики и костюмов коренных народов. Я купил карту Камчатского края и несколько книг. Пройдя мимо здания краевого театра и правительства Камчатки, оказываемся на огромной площади с двумя памятниками. Один Ленину, второй – святым Петру и Павлу. Осмотр исторической части города на этом завершён. Неутомимый Михаил Яковлевич везёт меня к мысу, на котором расположена пограничная застава. За ней – открытый океан.

Грунтовая дорога, петляя по округлым бухточкам с рыбацкими станами и сопкам, затянутым зарослями каменной берёзы, вывела на водораздел. Тут нам навстречу пробежала группа солдат с полной боевой выкладкой. Гимнастерки на ребятах побурели от пота – служба есть служба! Отсюда открылась синяя гладь Тихого океана, занимающего, кстати, почти половину земного шара. Недаром его ещё зовут Великим. Высокий берег перед ним дыбится широким мысом, на котором видны постройки: казарма, штаб, вышка. Насладившись безбрежностью и величием океана, поворачиваем в город.

### 3. Долина гейзеров

Среди многих чудес Камчатки есть одно, увидеть которое мечтает практически каждый. Это сказочно красивая, но труднодоступная Долина гейзеров. Там круглый год из десятков отверстий в земле периодически извергается, фонтанирует кипящая вода. На нашей планете всего пять стран с подобными термальными полями: Новая Зеландия, Чили, США, Исландия и Россия. О существовании такой долины на Камчатке мир узнал совсем недавно – в июле 1941 года. То есть спустя 250 лет после появления на полуострове первых русских землепроходцев. Природа как будто специально упрятала своё чудо в самом глухом месте полуострова.

Открыла Долину сотрудница Кроноцкого заповедника – Татьяна Ивановна Устинова, сумевшая с одним из помощников одолеть крутостенные хребты и проникнуть в эту глухомань.

Измеряя температуру воды в устье горной речушки, они обнаружили, что она гораздо теплее, чем в других речках. Их заинтересовало, а что же её так нагревает? Дойдя до первого притока, решили вскипятить чай и стали собирать валёжник для костерка. Вдруг совсем рядом из земли с шипением забил многометровый столб кипятка! Как будто сказочный джинн из бутылки вырвался! Через несколько минут струя неожиданно обмякла и... пропала. Это был первый гейзер, обнаруженный людьми в Долине. Его так и назвали – Первенец. А что учёные увидели, пройдя вглубь ущелья, мы узнаем чуть позже.

Как я уже упоминал, вылететь в Долину из-за тумана с ходу не удалось. Появившиеся к вечеру в непроницаемой мгле разрывы слегка обнадѐжили. К утру промозглая молочная муть стала ещё непроницаемей. Однако восходящее солнце упорно пробивается то в одном, то в другом месте. В образующиеся окошки тут же выплѣскивается сноп горячих лучей. Правда, пока ненадолго. Наползающие клубы быстро латают прореху. В конце концов, битва всё же завершается победой света и тепла. Все собравшиеся в аэропорту воспритительно смотрят на авиадиспетчера.

Ура! Вылет разрешѐн! Наш борт отправляют вторым, вслед за вертолѐтом губернатора Камчатского края. Он с гостями из Германии полетел к самому высокому вулкану России – Ключевской сопке. На нашем Ми-8 тоже почти одни иностранцы – корейцы. Нераскрученность камчатского турбренда среди россиян порождает парадоксальную ситуацию: зарубежных туристов гораздо больше, чем отечественных.

Рядом со мной сидит седовласый, крупный мужчина лет семидесяти. "Виктор", – представился он с располагающей к беседе улыбкой. После пары банальных фраз завязалась беседа. Вскоре я уже знал, что мой сосед вулканолог, проработавший на сейсмических станциях Камчатки семнадцать, как он выразился, лучших в его жизни лет. Сейчас живѐт в Питере. Прилетев на юбилей друга, решил побывать, наконец, в Долине гейзеров. Когда работал здесь на сейсмостанциях – не до того было: в те годы как раз наблюдалась повышенная вулканическая активность. Ему даже посчастливилось в 1975 году быть свидетелем рождения двух вулканов неподалѐку от Плоского Толбачика.

Мне очень хотелось расспросить Виктора об этом чрезвычайно редком (в масштабах жизни человека) природном явлении, но грохот набравшего обороты двигателя затруднял общение. Пришлось отложить разговор до приземления. К тому же мы уже в воздухе. Под нами широкая и лесистая, расцвеченная первыми мазками осени долина реки Авача, обрамлѐнная рядами острозубых горных пиков, очень похожих на те, что я видел в Эквадоре во время кругосветки "Огненный пояс Земли". Вот "наезжаем" прямо на один из них: мрачный, чадающий прыщ – стратовулкан (тип вулкана, имеющий конусную форму и образованный множеством слоѐв затвердевшей лавы и вулканического пепла) Карымский.

Я прильнул к иллюминатору. Кратер совсем рядом. Зрелище впечатляющее и в то же время гнетущее: из-за громадных размеров и таящейся в этом исполине мощи чувствуешь себя даже не букашкой, а ничтожной песчинкой. Склоны конуса завалены чѐрным пеплом и сыпучим шлаком, ниже груды вулканических бомб. За ними простираются безжизненные поля, залитые замысловатыми потоками застывшей лавы.

Пилот, давая возможность восхититься-ужаснуться творением подземной стихии и сфотографировать кратер вулкана, совершил вокруг него несколько



кругов. Воронка оказалась такой глубокой, что дно терялось в сизой мгле. Из щербистых стенок кратера били струйки дыма и пара – фумаролы. Что такое фумарола? Это парогазовая струя, которая с шипением, а порой и со свистом вырывается из земли. Рядом с вулканом серебрится чаша озера. В его зеркальной глади идеальный конус отражался столь чётко, что не понятно, где небо, а где вода.

Я в восторге от увиденного. Прильнув к иллюминатору, с жадностью всматриваюсь в проплывающие под нами ребристые гребни, тесные ущелья, вулканы, холмы и межгорные котловины.

Сразу за Карымским последовал, похожий на древнегреческий амфитеатр, полуразрушенный вулкан Двор. За ним в отдалении торчали высокие, сильно иссечённые временем зубчатые стены Большого Семячика. А вон и Малый Семячик. Его кратер почти до краёв заполнен водой молочно-стального цвета. Гид поясняет: “Это кислотное озеро, температура воды плюс 40”. У подошвы конуса скопления вулканических бомб – камни в рост человека. Они напоминают полураздавленные ядра лесных орешков – вот такие громады вулкан во время извержения выплёвывает из своего нутра.

На одном из уступов скалистого гребня разглядел группу снежных баранов, или, как их называют местные, толсторогов. Правда, обладатель круто закрученных рогов в единственном числе. Остальные – мамы с ягнятами.

Вот и бурунистая змейка реки Шумной. Значит, Долина гейзеров совсем близко. Точно – вертолёт заходит на посадку и садится на деревянный настил с белым кругом посередине. Всего час понадобился нам, чтобы долететь до Долины, первопроходцы же добирались в эти края неделями, а то и месяцами.

Пока поджидали вооружённого карабином смотрителя заповедника (медведи тут “свои люди”), я успел осмотреться. Мы приземлились на стыке отрога, ведущего к невидимой пока Долине гейзеров и примыкающему к нему распадку. Внизу из-за рощи каменной берёзы выглядывали крыши визит-центра и кордона. На его боковой стене белела тарелка “Триколора” и зачем-то горел фонарь. Ещё ниже виднелись молочные клубы пара – должно быть там и есть Долина гейзеров.

В заповеднике дров много – каменная береза растёт повсюду, но лес рубить нельзя. Посему имеется своя маленькая электростанция – термоэлектрический генератор. Два электрода и вода, холодная и горячая, – все, что требуется для её работы. Станция экологична, компактна и безопасна.

Широкий, уходящий вправо, распадок сплошь в громадных губрах из светло-коричневого и жёлтоватого грунта, местами уже поросшего травой. Это следы мощного оползня, перегородившего 3 июня 2007 года речку Гейзерная, берущую начало у подножья вулкана с комичным названием – Кихпинич. Что стало причиной оползня и вызванного им селя, неизвестно: землетрясения не было, и осадки в пределах нормы. Предполагают, что где-то в горе появилась тектоническая трещина, и от возникшего смещения сопки, обрамляющие распадок, “поплыли” одна за другой. Этому способствовало, что сложенные из рыхлых осадочных пород сопки после таяния снега были ещё хорошо напитаны влагой. Образовался грязевой поток, понёсший с собой обломки всевозможных камней: от двухметровых глыб до мелкого щебня. Длина оползня была около двух километров, масса сошедшего грунта – около 10 млн тонн!

Основная масса селя прошла по руслу ручья, впадающего в Гейзерную. В его устье был тридцатиметровый водопад, под теплыми массирующими струями которого резвилось не одно поколение гостей Долины. Оставив от него лишь воспоминание, сель врезался в русло Гейзерной и расплзся по нему в обе стороны, перекрыв водоток. В результате образовалось озеро, затопившее часть гейзеров. Не повезло и Первенцу – грязекаменный поток накрыл его. Правда, ненадолго. Этот упрямец через несколько дней пробил в пятиметровом слое грязи порядочную дыру, чем доказал свою жизнестойкость.

Оползень стал трагедией не только для сотрудников заповедника, но и для всех любителей природы, туристов, путешественников, знающих Камчатку. К счастью, в 2013 году после мощного циклона, принёсшего проливные дожди, хлынувшая через плотину вода промыла в ней канал, и вода из озера ушла. В результате открылись не только затопленные гейзеры, но и образовались новые. Долина после этого, по мнению сотрудников заповедника, стала даже ещё краше.

Подошедший смотритель вежливо предупредил нас о том, что ходить разрешается только по оборудованным дощатым тропам. При нарушении этого

требования ему дано право прекращать экскурсию. Подобная строгость связана с тем, что были случаи, когда люди соскальзывали в грязевые котлы или проваливались в самых неожиданных местах. А ожоги ног от кипятка, особенно если человек в носках и обуви, очень болезненны и заживают крайне долго.

Знакомство с Долиной – узким ущельем, склоны которого усыпаны гейзерами, термальными источниками, фумаролами, грязевыми котлами и маленькими вулканчиками, начали со смотровой площадки у гейзера Малый – он как раз должен был вскоре проснуться. За ним, метрах в сорока, виднелся солевой конус его старшего брата – гейзера Большой. Он извергается с периодичностью в несколько часов, и нам не удастся полюбоваться на его фонтанирование. Обидно! Говорят, что это величественное и незабываемое зрелище. Ещё бы! Струя, вернее столб воды диаметром в один метр, выстреливает на высоту трёхэтажного дома.

Тут в воздухе уже явственно ощущается резкий запах сероводорода. В глубине каменного, охристого цвета жерла лениво клокочет прозрачная, бирюзового цвета вода. От неё поднимается лёгкий пар. Пока гейзер находится в состоянии покоя, я попросил Виктора рассказать о том, как рождались вулканы. Видя мой неподдельный интерес, он оживился.

– После окончания МГУ меня направили в Институт вулканологии. Прилетел в Петропавловск и сразу в поле. Нашу группу забросили на вертолёт к подножью Плоского Толбачика. Развернули лагерь, установили приборы. Стали наблюдать. Сейсмографы первыми зафиксировали частые подземные толчки зашевелившейся под земной корой магмы. Потом и мы ощутили колебания почвы. Стал слышен подземный гул. А рано утром, в трёх местах треснула земля, и из разломов вырвались со страшным грохотом три струи раскалённых газов, следом полетели вверх куски почвы, небольшие камни. Вскоре на ровном, как стол, плато выросли три четырёхметровых конуса. На следующий день они объединились в один, и из него высоко в небо забил с рёвом реактивного самолёта мощный ярко-оранжевый фонтан, за клубились мрачные пепло-газовые тучи. Высота новорожденного росла так быстро, что через две недели на плато стояла огнедышащая гора высотой 250 метров! Её склоны казались живыми от камнепада и фонтанчиков пыли. Это сверху, из гигантского столба пепла, с грохотом падали вулканические “бомбы”. Особенно впечатляла картина при заходе солнца. Тогда уходящие в небо серые клубы пепла приобретали то переменчиво малиновый, то пурпурный цвета. А с наступлением темноты становилось хорошо видно, как из кратера вырываются залпами букеты расплавленной лавы. Взлетая ввысь, лепестки этих букетов гасли, рассыпались на тысячи раскалённых докрасна звёзд-бомбочек. Они падали на склоны вулкана, и от этого он весь светился. Временами выстреливал столь обильно, что по конусу начинали стекать огненные ручейки. Высота столба пепла, выбрасываемого из этой циклопической пушки, достигала семи километров. В её толще то и дело сверкали короткие, ломаные молнии, гремел гром, но дождя не было. Сухая гроза! Такое случается при извержениях. Дней через двадцать в километре от первого вулкана начал расти второй. Точно такой же. Два новорожденных вулкана в одном месте и в одно время! Фантастика! Потом из обоих жерл хлынула рекой расплавленная магма.

Остывая, магма густела, покрывалась тёмной, шершавой коркой. Под конец она уже не текла, а ползла, переваливаясь крупными тестообразными комьями. Кстати, слово “магма” так и переводится с греческого – “тесто”. В конце концов, загустевший поток замер шероховатым, многослойным валом.

Разговаривая, мы то и дело поглядывали на оживающий гейзер. Вода, заполнившая подземную камеру, быстро нагревалась от идущего из-под земли жара. Вот она забурлила и начала выливаться через угловатый проём всё сильнее и сильнее. Подвижной и гуще становились завитки пара. От него даже до нас докатывались волны тепла. Казалось, будто задышал сказочный дракон.

И вот он – долгожданный взрыв! Кипящие струи воды широко и яростно зафонтанировали вверх и в сторону реки, будто из связки брандспойтов. От неожиданности все ахнули и невольно отпрянули от ограждения. Из-под земли донёсся гул, словно там ворочались каменные глыбы. Мощные струи воды ритмично взлетали на пяти-семиметровую высоту, а столб пара поднялся значительно выше. Брызги, рассеиваясь вокруг, окропляли рыжеватые камни. Я был потрясён не столько красотой извержения, сколько неистовой мощью водной стихии. Странно, что этот гейзер назван Малым. В шутку, наверное.

От Малого гейзера настильная тропа повела в ту часть долины, где гейзеров больше всего. Спускаясь, обратил внимание на две чёрные, угловатые глыбы. На одной из них закреплена бронзовая табличка “Татьяна Ивановна Устинова 14 ноября 1913 г. — 4 сентября 2009 г.”. Оказывается, дочери первооткрывательницы Долины гейзеров, исполняя последнюю волю матери, захоронили в этом месте урну с её прахом.

Пройдя ещё метров сто, вышли на бугор, с которого открывался вид почти на всю Долину. Увиденное превзошло все ожидания. Гейзеров, разбросанных по склону ущелья на разной высоте, здесь было даже больше, чем я ожидал. Между ними парили различной степени активности фумаролы. Струи кипятка, окутанные молочными клубами, взлетали в основном с правого склона. Временами пар был такой густой, что покрывал всю долину. Было ощущение, будто нас перенесли во времена сотворения мира.

Этот самый живописный участок ущелья называется Большой Витраж. Стекающие из бурлящих грифонов горячие ручейки, благодаря живущим в них различным термофильным микроорганизмам, окрасили почву необычной мозаикой, составленной из разноцветных лоскутков. Ого! А это кто там бродит в клубах пара? Неужто медведь? Точно, он. Теперь понятно, почему все смотрители вооружены. Сопровождающий нас егерь по-хозяйски прикрикнул на косолапого: “Иди, иди! Не мешай!”. Мишка послушно свернул и скрылся в высокой траве. Тем не менее, корейцы и переводчица опасливо заозиралась. Егерь успокаивает: “Не бойтесь. Здешние медведи не агрессивны”.

После извержения гейзеров насыщенная солями вода испаряется, оставляя на камнях мелкие кристаллы. Наслаиваясь, они образуют где светло-дымчатые, похожие брошенный на землю серый плащ, натёки, где кораллообразную броню — гейзерит. Вокруг иных грифонов отложения столь внушительны, что напоминают крепостные сооружения.

Гордостью Долины является гейзер Великан. К сожалению, он тоже извергается редко — раз в 5-6 часов. Тогда напористая струя взлетает на 20–30 метров, а кучерявый столб пара может достигать в высоту 300 метров! После обильного извержения кипятком по каменным ступенькам жемчужными волнами сбегает в большую скальную чашу, в которой плавают плоские бурозеленые лепешки — термофильные водоросли. Здесь можно искупаться до следующего “обстрела”. Всего в Долине около двадцати крупных гейзеров и не менее восьмидесяти малых. Помимо них, до сотни парящих источников. Каждый гейзер имеет свой характер и индивидуальный вид. При этом все они подчиняются единому алгоритму, включающему четыре фазы. Стадия покоя, стадия наполнения канала водой, стадия вскипания и выплёскивания воды через край грифона и, наконец, взрыв — достаточно длительный и мощный выброс кипящей массы.

На некоторых заросших низкорослым ольховником и тучной травой террасах парили озерца, лениво пыхтели, чавкали лопающимися пузырями, грязевые котлы. Над ними курились сернистые испарения.

Как я уже упоминал, на планете Земля всего пять мест, где имеется подобное скопление водяных “пушек”. В двух из них я прежде бывал (долина Эль-Татио в Чили и гейзеры в Йеллустонском парке в США). Сравнивая их с нашей Долиной, могу с уверенностью заявить, что наша намного зрелищней и живописней.

#### **4. Кальдера Узон и Долина смерти**

Серая тень Ми-8 осторожно крадётся по изогнутой долине реки Шумная к кальдере вулкана Узон — там её истоки. По бокам проплывают невысокие, лысоватые горы. Далеко за ними сквозь сизую дымку просматриваются зубцы двуглавого вулкана Крашенинникова и пикообразная вершина Кроноцкого (3528 м). На их склонах белеют бороздки и пятна ледников, снежников.

Перелетаем скалистую стенку, и с высоты птичьего полёта открывается обширная, в двенадцать километров в поперечнике плоская кальдера. Она покрыта рыжими болотинами, фумарольными полями со стоящими над ними колоннами пара, зелёными рощами, бирюзовыми плашками больших и малых озёр, горячими ключами, образующими исток Шумной.

Трудно представить, что совсем недавно, а по геологическим меркам — вчера, на месте кальдеры возвышался солидный, более 3000 метров высотой

вулкан. Серия взрывных извержений разбросала эту громаду на десятки километров. В результате от конуса вулкана осталась лишь внешняя кромка – базальтовый гребень высотой от 200 до 800 метров, окаймляющий возникшую кальдеру. Открыли её намного раньше Долины гейзеров – в 1855 году, а подробно описал в 1933 году вулканолог Пийп. Он же обнаружил здесь выход самой молодой на планете нефти.

Приземлился недалеко от симпатичного кордона. Нас встретил поджарый, белобрый, с добродушным лицом и низким музыкальным голосом смотритель лет сорока. Закинув карабин на плечо, он повёл по настильной деревянной тропе к озеру Фумарольное, расположенному на основном термальном поле. Над ним поднимались белые клубы. Это озеро одно из самых горячих в России – температура плюс 50 градусов. Вокруг него насчитывается около 100 источников и более 500 отдельных гидротермальных проявлений практически всех типов. И всё это хлюпает, чмокает, посвистывает, пыхтит. Едкий запах сернистых испарений начинает щипать глаза. Как показали сделанные учёными анализы, здешние фумаролы помимо традиционного сероводорода выбрасывают пары ртути, цинка. Поэтому трава вокруг них ярко-оранжевая, будто опаленная.

Почти в каждой прибрежной ложбинке видим грязевые котлы, заполненные где белой, где рыжей глиной. Они чадят и периодически плюются вязкой жижей. Некоторые уже высохли, и испещрённая трещинками глина напоминает такыр (глинистую площадку) в пустыне. Как пояснил егерь, эти котлы являются собой последнюю стадию в жизни гейзера. У самого озера меня больше всего впечатлили милые грязевые вулканчики – миниатюрные прыщевидные пупырышки, на вершинках которых постоянно вспухает и лопаётся густой пухляк. Встречаются и просто чаши, в которых вяло булькает прозрачная вода – это горячие источники.

От гигантской энергии, идущей из недр, земля под ногами вибрирует, и кажется, что именно здесь с минуту на минуту она разверзнётся и перед нами откроется преисподняя. Словно в подтверждение этого, метрах в двадцати от нас забил небольшой и, как сказал смотритель парка, самый молодой гейзер России, возникший всего месяц назад.

Следующий, не менее интересный объект кальдеры – озеро Банное. На самом деле это взрывная воронка, заполненная мутной горячей водой с большим содержанием серы. Заходить в него крайне опасно, ибо дно, представляющее собой корку застывшей мелкокристаллической серы, – ложное. Под ним ещё с десяток метров такого же горячего “бульона”, и только потом настоящее дно.

Почва тут вся в цветистых разводьях, образовавшихся под воздействием минерализованного пара, обильно сочащегося из фумарол. Вокруг желтеют налёты самородной серы.

Тепло земли привлекает в кальдеру зверей, птиц. Особенно много их здесь собирается в конце лета, когда вызревают чёрные ягоды шикши, тёмно-синие, с матовым налётом, голубики и орехи кедрового стланика. А вон и топтыгин. Мирно пасётся, словно корова, не поднимая головы. Срывает ягоды не лапой, а губами. Обходим косолапого по краю вполне приличного леса из каменной берёзы. Пока идём, егерь успокаивает напрягшийся народ:

– Здешние медведи не опасны. В заповеднике их никто не травит собаками, не стреляет. Живём дружно.

На косогоре возле тропы опять шевеление. Медведица с медвежонком нежатся на солнечной полянке. Мамаша лежит на спине, ребёнок ползает по ней, тыкается, треплет, приглашая поиграть. Та лениво отмахивается от назойливого отпрыска.

Егерь жестом даёт команду: “Всем назад! Мамашу с детёнышем лучше не беспокоить”. К вертолёту возвращаемся по обходной тропе. Медлительные до этого иностранцы теперь почти бегут. Но мы с Виктором должны быть благодарны нашим малорослым корейским попутчикам: специально для них предусмотрена ещё и посадка в Долине смерти.

Находится она в самом верховье речки Гейзерная у подножия всё того же вулкана Кихпиныч в семи километрах от полной жизни Долины гейзеров. Открыли её учёные аж спустя 34 года после обнаружения первого гейзера – в 1975 году. Она компактная: около двух километров в длину и метров 100–300 в ширину. Это место получило столь страшное название после того,

как местные промысловики во время одной из охот не досчитались нескольких собак. Нашли их на дне долины мёртвыми. Судя по их виду, причиной смерти послужил паралич дыхания. Вокруг лежало несколько птиц и зверей, погибших, по-видимому, прежде.

Сами охотники вскоре ощутили сухость и металлический привкус во рту, слабость, головокружение, озноб. Это заставило их покинуть “нехорошее место”. Через час неприятные ощущения прошли. С тех пор в Долине Смерти побывало немало научных и туристических экспедиций. Некоторые из них заканчивались трагически: несколько человек погибло. Токсичные испарения не отпугивают животных, и они ежегодно гибнут тут десятками. При этом тела долго не разлагаются.

Вертолёт совершил посадку на самой верхней, хорошо продуваемой террасе. Для дистанционного осмотра и фотографирования нам дали всего десять минут. Мне пришлось довольствоваться лишь созерцанием – за день непрерывных съёмов разрядил оба аккумулятора: основной и резервный. Но верно говорят: “Нет худа – без добра”. Оказывается, когда не отвлекаешься на фотосъёмку, впечатление намного ярче и глубже.

Место это голое, безжизненное. Западный склон, спускаясь к реке, образует ряд ступенчатых террас. На них имеются трещины, через которые выходят из больших глубин струи ядовитых газов. В безветренную погоду они скапливаются в понижениях и промоинах до опасной для жизни концентрации. Зашедшее в такое место животное обречено.

Подобные зоны известны и в других районах планеты с ярко выраженной вулканической активностью: Мёртвое ущелье в Йеллустонском национальном парке США, Долине смерти на Яве в Индонезии, на одном из островов Курильской гряды. Повсюду основной причиной смерти является углекислый газ, скапливающийся в приземных слоях воздуха. Состав же газового коктейля в камчатской Долине смерти гораздо сложнее и агрессивнее, чем в иных местах. Он не имеет аналогов.

Химический анализ воздуха Долины Смерти подтвердил присутствие в нём печально знаменитого хлористого цинка – одного из самых страшных убийц. Проникая в организм, хлорциан быстро блокирует клеточное дыхание, что и приводит к смерти.

\* \* \*

Вот и последний день на Камчатке... Раннее утро... На небе ни облачка. Видимость идеальная. До отлёта ещё пять часов. Прикинул – успеваю съездить в город и с одной из сопкок сделать панорамные снимки. Добрая и деятельная знакомая Михаила Яковлевича – Ирина, завезла нас по колдобистому горному серпантину на самую макушку стоящей посреди города Мишенной сопки.

Ночью в горах выпал снег, и покрытые белыми колпаками вершины окружающих Петропавловск вулканов выглядят особенно эффектно. Авачинскую губу на наших глазах начинает заполнять идущий с океана широким, бугристым валом туман. За полчаса он накрыл не только губу, но и часть города. До предгорий, слава Богу, не дотянулся. Солнце тем временем перевалило седые клубы и вновь озарило окрестности.

Азартно фотографирую всё подряд: и вулканы, и дальние, не скрытые туманом, районы Петропавловска, и залитую белой мглой губу. Глянул на часы. До вылета – два часа. Пора возвращаться. В этот момент порывы ветра разорвали в нескольких местах бугристую пелену. Вдали проступил похожий на чудо городок – один из кварталов Петропавловска, а у подножия сопки засияла золотом маковка церкви. Красота сказочная!.. Тем временем, смещаемый ветром к горе, мутный вал тумана окутал сопку и поглотил нас вместе с телевизором. Стало холодно, зябко. Всё! Едем в аэропорт!

Через сутки буду дома, в кругу близких. Вроде радоваться надо, а мне грустно: до того не хочется покидать этот удивительный край. Побывав во многих экзотических уголках нашей планеты, начиная с Аляски, Огненной земли и кончая Гималаями, могу с уверенностью сказать: **более красивого места на Земле, чем Камчатка, нет. Было бы здорово, если бы каждый россиянин, хоть раз в жизни, побывал в этом уникальном уголке России. Иначе мы так и не поймём, в какой прекрасной стране живём!**

ВАЛЕРИЙ АУШЕВ

## АРХИПЕЛАГ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Что же это за земля обетованная, о которой грезил и помышлял Николай Рубцов, особенно в минуты отчаяния? Тогда мысль о ней за поэтом неотступно следовала по пятам, а в последнее время сопровождала до самого смертного часа. Тайное желание, которое он таил в себе многие годы безысходного душевного сиротства и одиночества. Черта, за которую он не пускал даже, казалось бы, надёжных соммышленников и ближайших окруженцев. В старину эту землю русские поморы, открывшие её, называли Грумантом, норвежцы – Свальбардом, а в дальнейшем дали иное название Шпицберген – в честь высоких остроконечных вершин гор и ледников, покрывавших острова полярного архипелага.

Известно, что до 34 лет у Н. Рубцова не было собственного жилья, не было и постоянной прописки. Часто ему случалось ночевать, где придётся, где его заставало позднее время. Случалось, что терял и документы. Среди немногих бумаг, удостоверяющих его личность, была и справка, наклеенная на картонку, полученная им и заверенная печатью в Никольском сельсовете Тотемского района Вологодской области, больше похожая на бланк командировочного удостоверения: “Прибыл в с. Никольское... (дата), отбыл (дата)”.

Всё это доставляло Николаю массу неприятностей как в Москве, так и в местах, куда он приезжал. Так, сложности возникли при оформлении договора об издании в Северо-Западном издательстве его поэтического сборника “Сосен шум”; при размещении в гостинице вологодской делегации, прибывшей в Архангельск в октябре 1970 года на мероприятия выездного секретариата, проводимого Союзом писателей; при выдаче гонорара за стихи, опубликованные в местных изданиях. В бухгалтериях просто отказывались принимать эту справку в качестве документа.

“В милиции, особенно столичной, – в подтверждение вышесказанного, пишет в своей книге М. А. Полётова, – справка могла считаться лишь “фильминой грамотой”. Об одном из таких случаев удалось узнать благодаря Сергею Каменеву.

В сентябре 1969 года его как будущего юриста послали помощником участкового милиционера. Холодной московской ночью, обходя чердаки домов на улице Профсоюзной, они обнаружили неизвестного. При нём не было никаких документов, только небольшой жёлтый чемоданчик-“балетка”. Задержанного, которым оказался Николай Рубцов, доставили в 120-е отделение милиции. Там он объяснил, что он – поэт, приехал к другу, но не нашёл его по адресу и решил заночевать на чердаке. Писать об этом грустно, но Николай Михайлович даже рад был задержанию: в тепле отделения милиции, в “человеческих” условиях он мог скоротать холодную ночь...”

Сегодня язык не поворачивается назвать Рубцова бомжем 60-х годов, несмотря на его бесприютность, отсутствие крыши над головой и в связи с этим бесконечные скитания. Корреспондент Д. Шеварев писал в “Комсомольской

правде” (январь 1991 года): “Он пытался зажить жизнью писателя, но каждый раз его настигала или нищета, или участковый. Он прятался в деревне, но и там его находили и предупреждали, что специально для него берегут некоторые статьи Уголовного кодекса”.

Уже учась в Литературном институте имени А. М. Горького, Рубцов с семьей жил в маленькой комнатухе при Никольском сельсовете, где его тёща работала уборщицей, а председатель сельсовета считал Николая тунеядцем. Логика суждений его была проста: только тунеядцы могут заниматься таким “пустяшным” делом, как поэзия.

Н. Рубцова не раз посещала мысль сорваться с места, исчезнуть, раствориться в неизвестности, уехать с глаз долой, подальше от долгов, от крутого безденежья, из-за которого возникало столько сложностей и проблем. И образ призрачной Гипербореи материализовывался в его сознании реальным видением ледяных вершин Шпицбергена, возможностью “махнуть” на архипелаг, который издавна поморы называли Грумантом.

В одном из писем (лето 1964 года) руководителю поэтического семинара Н. Н. Сидоренко Рубцов спрашивал: “Зачем это сидят там в институте некоторые “главные люди”, которые совершенно не любят поэзию, а значит, не понимают и не любят поэтов. С ними как-то странно говорить о стихах (это в литературном-то институте!). Они всё время говорили со мной, например, только о том, почему я выпил, почему меня вывели откуда-то, почему т. п., как будто это главное в моей жизни. Они ничего не понимают, а я всё объяснял, объяснял...”

Даже перед самым концом, когда Николай наконец-таки получил квартиру, нормальная семейная жизнь у него не складывалась. Всё по тем же самым причинам: зависть одних, подножки и травля других. “Он жаловался на интриги, которые плетутся вокруг него и не дают ему продвигаться, говорил, что есть люди, которые его ненавидят и даже преследуют. Однажды кто-то бросил ему в голову чем-то тяжёлым...”

Мало кто догадывался, что про себя Николай уже давно решил: вырваться из привычного окружения, которое, по его же словам, ему – “во как обрыдло!” Утешение он находил у давнишнего друга своего Бориса Чулкова, жившего неподалёку и не раз оказывавшего поддержку и дававшего приют.

С Борисом и мне довелось учиться вместе на Высших литературных курсах Союза писателей СССР и узнать многие подробности взаимоотношений его с Рубцовым. Так, будучи у Бориса, Николай впервые прочитал свою поэму “Разбойник Ляля”, которая не была похожа ни на одно произведение, написанное им ранее. Оказывается, он тайно готовил себя к отъезду на Шпицберген. Для чего знакомился с историей архипелага, его освоения поморами и скандинавами; изучал норвежский эпос, явно или косвенно подвигавший его к работе в новом для него жанре – сказочной баллады.

Из всех вологодцев, которым он открылся в своём неожиданном решении уехать на Шпицберген, лишь Владимиру Широкову удалось осуществить эту идею. Рубцов были не внове холодные, суровые воды Баренцева моря и белые островерхие ледники и горы архипелага. Он в своё время, в течение четырёх лет службы на Северном флоте (с 1955 по 1959 годы) на эсминце “Остром”, не раз имел возможность “вкусить все прелести морской службы”.

Г. П. Фокин, который служил вместе с Николаем, вспоминал: “Впервые встретились с Н. Рубцовым на лесопилке в г. Архангельске, куда собрали до 300 человек новобранцев. Поезд мчал нас в Мурманск. После высадки мы всю ночь куда-то шли. Пришли в Североморск. Эсминец “Острый”, на котором нам предстояло служить, стоял в доке завода РОСТА. Я попал в кубрик на корме, где жили матросы, машинисты, котельщики, а Рубцов попал в кубрик на 20 человек – там жила “элита” артиллерийской части. Они были ближе к командирам.

Для профессии визирщика-дальномерщика, которую приобрёл Рубцов, надо было уметь думать и мгновенно принимать решения. Рубцов часто приходил в наш кубрик: его тянуло к машинистам и кочегарам. У нас были гармошка и гитара. Он брал гармонь и запевал, все подтягивали за ним. Часто читал стихи...”

О тяжёлых службах на Северном флоте рассказывал впоследствии и главный редактор журнала “Север”, выходящего в Петрозаводске, Станислав Александрович Панкратов. Он проходил срочную службу на одном из эсмин-

цев под названием “Откровенный” и состоял вместе с Николаем Рубцовым в литературном объединении в Североморске.

“Служба на Севере отражалась на здоровье и на психическом состоянии моряков – многие ребята теряли зубы, лысели. Были случаи, когда во время шторма с палубы смывало матросов в ледяную воду моря. Если через 15-20 минут моряка не поднимут на борт, считай, что он уже погиб. Такие случаи были. . . Сам я однажды чуть не сгорел – загорелась на мне роба. Сам себя спас.

Особенно тяжела была служба во время шторма, который мог не прекращаться иногда в течении целого месяца, а высота волны доходила до 5-6 метров. В это время все почти страдали от морской болезни. Не в состоянии даже были подняться в кубрик – лежали, “как тюфяки”. . . Но в это время всё равно надо было выполнять задание”.

Рубцову к таким трудностям было не привыкать, в отличие от многих качку и болтанку во время шторма он переносил легко, ещё и другим, как мог, поднимал настроение.

– На Шпицбергене, – откровенничал он со мной, – могу пригодиться и в качестве моряка на корабле-снабженце, а в самом Баренцбурге – для работы в многотиражке. . . Сложности меня не пугают, шура у меня, как и душа, морская, водами и ветрами насквозь выполощена, выдублена. . .

На Владимира Широкова Шпицберген произвёл потрясающее впечатление, и он пробыл там аж два срока – с 1975 по 1978 год. Своё восхищение природными аномалиями полярных широт он выплеснул в своей повести “Время надежд”, которая полностью была опубликована в журнале “Север” (№ 5-6, 1983). Два-три отрывка он присылал мне для ознакомления (и, возможно, для подготовки собственной смены на посту редактора), чтобы я не очень-то парил в облаках, а понимал, что хлеба на архипелаге не настолько легки, как кажутся со стороны. . . Приведу два небольших фрагмента, которые всё же не поколебали моего стремления отправиться вслед за ним на притягивающий, как магнит, архипелаг.

“Темень полярки стала надоедать. Всё чаще и чаще заглядывался народ на юг, где пополудни солнышко робко, а потом всё сильнее, всё увереннее багрило краешек неба в распадке между гор. Чем ближе становился рассвет, тем крепче делались морозы, и, наконец, столбики в термометрах замерзли на постоянной отметке под сорока градусами.

Всё чаще донимали ветры, все, кто работал снаружи, поддевали шерстяное бельё, спортивные костюмы, облачались в ватные брюки, появились самодельные башлыки и маски с прорезями для глаз. Приходя с работы в столовую, мои ребята долго молчали, дожидались, когда начнут гнуть пальцы, чтобы удержать ложку, и только отогревшись горячим супом, принимались за разговоры. . .”

“Арктика есть Арктика, и скученное проживание вместе разных по характеру и духу людей дается ох как нелегко. Любой пустяк, который на материке и всерьёз бы никто не принял, здесь может вывести из равновесия, заставить долго, сильно переживать. За прожитые десятилетия случались здесь и суамшествия, и самоубийства, правда, об этих случаях предпочитали официально не говорить, но в изустной народной молве бывшие страсти жили. Про одного рассказывали, будто на проводах последнего парохода бросился он в воду, поплыл следом; другой якобы в разгар полярки перебил в посёлке все электрические лампочки, вообразив их мячами и “срезая” над невидимой сеткой с ловкостью классного волейболиста; третьему представилось, что в умывальнике из крана вместо тёплой воды течёт проявитель для фотографий, о чём он и написал официальную жалобу. . .”

Да, Арктика никого не жаловала “лёгкостью” пребывания. Николай Рубцов к этому был готов и звал её в союзницы не только для того, чтобы поправить своё тяжёлое материальное положение. Арктика для него была ещё и духовным Клондайком неоткрытых, новых тем. . .

Товарищ Николая по поэтическому семинару в Литинституте Михаил Шаповалов вспоминал, что Рубцов “с юности мечтал вырваться из знакомого круга: дом, улица, околица, поле, лес. . . Вырвался. Сезонами плавал в море, ловил рыбу, лихо, по-матросски. Мотал заработанные деньги, так что и земля “качала” его основательно. Потом Рубцов оставил флот, жил в Ленинграде, работал на заводе. С годами “им овладело беспокойство – охота к перемене мест”. Он стал по натуре своей “перекати-поле”. . .

Тема “Шпица” (для северян характерно стремление к сокращению назва-



ний. Так, Мурманский берег – Мурман; Земля Франца Иосифа – ЗФИ; архипелаг Шпицберген – Шпиц) волновала многих из писательской братии Вологды и Архангельска, но вели подобные разговоры “тет-а-тет”, доверяясь лишь хорошо знакомым и преданным друзьям. Отбывающих работать в посёлки Баренцбург или Пирамиду ждала тщательнейшая проверка на благонадёжность. Северные отделения органов госбезопасности, очевидно, опасались, что некоторые из “скрытых отщепенцев, доморощенных диссидентов из литературной братии” могут дать дёру на Запад через норвежскую территорию. И хотя Рубцов не был причислен ни к тем, ни к другим, в списки неблагонадёжных в моральном отношении, очевидно, был внесён (особенно после известных шумных инцидентов и пьяных дебошей в ЦДЛ, в результате чего в 1964 году был даже исключён из Литературного института имени А. М. Горького. 15 января 1965 года он был восстановлен, но... на заочном отделении, которое окончил в 1967 году).

В середине ноября 1980 года я получил почтовую карточку от члена Правления Вологодской писательской организации поэта Виктора Коротаева:

*“Здравствуй, Валерий!*

*Высылаю тебе адрес Влад. Ширикова: 183028, Мурманск-28, г. Баренцбург, Ширикову В. Л.*

*Попробуй с ним связаться, он многое может подсказать. Кстати, они с женой остаются ещё на год. Видимо, последний. Этот год ты можешь и потратить для того, чтоб всё выяснить и оформить документы. Если понравится, то и меня к себе мани (тоже вечно денег и покоя не хватает).*

*Ну, всего доброго. Черкни, как пойдут твои дела. Я через три дня отбываю в Переделкино.*

*Привет вашим мужикам.*

*Обнимаю. В. Коротаев”.*

Владимир Шириков – чистокровный вологжанин, моложе меня на два года. Умер он в 54 года (возраст, характерный для ухода многих талантливых людей, в ускоренном ритме проживших свою жизнь, успевших раньше других ровесников узнать её подлинную цену). Родился он в семье железнодорожников, и не мудрено, что тяга к переездам и обновлениям жизненных впечатлений составляла основу его молодых исканий и устремлений.

Редактировать газету “Вологодский комсомолец” (если не ошибаюсь) он стал после Василия Оботурова, который в 1969-м покинул пост редактора областной молодёжки в связи с отъездом на учёбу. Впервые с Владимиром Шириковым я познакомился в Москве, на совещании редакторов комсомольских газет страны в ЦК ВЛКСМ. Доверительная открытость, поисковая неуёмность новых форм работы, вдохновенная порывистость быстро расположили меня к Владимиру, а главное – нас сдружил Николай Рубцов, точнее – общее горе потери этого самородка северного края, его богатое, ни с чем не сравнимое поэтическое наследие.

Владимир был близок Рубцову не просто по-дружески, по-приятельски, их связывало нечто большее: фанатичная преданность к перемене мест и впечатлений, отысканию новых точек приложения своих духовных и физических сил.

Позднее в сохранившемся отрывке из повести “Детство” Н. Рубцова находим подтверждение вышесказанному:

*“Да, сознание зависит от времени, но память не любит повторения во время картин, событий или явлений, которые уже выразили однажды интерес нашего сознания и более не могут обогатить его. Мы скоро забываем эти повторения (даже вчерашние). Иногда вовсе не замечаем их и с неиссякаемым интересом и волнением возвращаемся к своему духовному богатству – к чистым первородным впечатлениям, в том числе к впечатлениям детства, полным наиболее верным представлением о неувыдаемом разнообразии мира. Чтобы избежать скуки и всезнания в своей обыденной жизни, мы с такой же неиссякаемой надеждой и упорством стремимся к цели, достижение которой вознаграждает нас радостью нового открытия и духовного удовлетворения и обогащает нас.*

Тут необходимо заметить, что повторения картин и явлений в природе имеют особый смысл. Они никогда не носят характер вынужденный, как бы-

вает в жизни взрослого человека (например, кое-кто вынужден читать эпигонские книжки, да мало ли тут примеров!), они всегда носят характер только естественный, такой же, как дыхание. А всё естественное, даже при внешнем сходстве, вечно свежо и первородно и никогда не может окончательно исчерпать интерес нашей души и сознания”.

В этих словах весь Рубцов.

Оба – вчерашние моряки Северного флота – и Рубцов, и Шириков боготворили море, питали особую страсть к Шпицбергену. Идею устроиться туда на работу в один из советских шахтёрских городков подал ещё при жизни Рубцов. Обсуждали всерьёз, не для сторонних ушей, уединяясь даже от литературных собратьев из актива Вологодской писательской организации.

*Помню ясно,  
Как вечером летним  
Шёл моряк по деревне —  
и вот  
Первый раз мы увидели ленту  
С гордой надписью  
“Северный флот”...  
...Я влюбился в далёкое море,  
Первый раз повстречав моряка!  
“Начало любви”*

*От брызг и ветра  
губы были солены.  
Была усталость в мускулах остра.  
На палубу обрушивались волны,  
Перелетали через леера...  
...И вот тогда  
до головокружения  
(Упорством сам похожий на волну)  
Я ощутил пространство и движение.  
И с той поры  
у моря я в плену!  
“Первый пароход”*

*Всё в явь золотую войдёт,  
Чем ночи матросские грезили...  
Корабль моей жизни плывёт  
По морю любви и поэзии.  
“Поэзия”*

*Я умчался туда,  
где за горным хребтом  
Многогорбый старик-океан,  
Разрыдавшись, багровые волны-горбы  
Разбивает о лбы валунов...  
“Соловьи”*

*И уношусь куда-то в мирозданье,  
И зарываюсь в бурю, как баклан...  
За вечный стон, за вечное рыданье  
Я полюбил жестокий океан.*

*Я полюбил чужой полярный город  
И вновь к нему из странствия вернусь  
За то, что он испытывает холод,  
За то, что он испытывает грусть.*

*За то, что он наполнен голосами,  
За то, что там, к печали и добру,*

*С улыбкой на лице и со слезами  
Ты с кораблём прощалась на ветру...  
“Ты с кораблем прощалась”*

*Всё я верю, как мачтам надёжным,  
И делам, и мечтам бытия.  
“Мачты”*

Валентин Сафонов служил с Николаем Рубцовым на Северном флоте. Корабль, на котором они выходили в Баренцево море, случалось, заходил в воды, омывающие острова архипелага Шпицберген. Сами эти походы, рейды в непосредственной близости от берегов, принадлежавших норвежской стороне, носили секретный характер.

В свободные от вахты минуты Валентин и Николай интересовались историей освоения Шпицбергена русскими моряками, жизнью советских шахтёров тех лет в заполярных посёлках Баренцбург и Пирамида, где производственное объединение “Арктикуголь” вело разработку в рудниках угольных антрацитных пластов. Перед демобилизацией среди членов экипажа нередко заходила речь о неслыханных по тем временам льготах, предоставлявшихся советским шахтёрам, работавшим на норвежской территории, о длительных отпусках, сухом законе, о том, что шахтёры, возвращаясь на Большую землю, в Мурманск, получали мешки денег, — одним словом, Шпицберген рисовался неким Клондайком.

Может быть, не случайно завуалированные мотивы Шпицбергена прозвучат в одной из строф ставшего широко известным стихотворения “Плыть”:

*В жарком тумане дня  
Сонный встряхнёт фиорд!  
— Эй, капитан! Меня  
Первым прими на борт!  
Плыть, плыть, плыть...*

Четыре года отдал старшина второй статьи Николай Рубцов службе на Северном флоте в качестве дальномерщика. По словам его сослуживца Валентина Сафонова, “превосходный был моряк-то, знал своё дело дальномерщика не хуже, чем хирург знает своё!” И вот пришёл день, когда Николаю предстояло распрощаться с флотской жизнью — уволиться в запас. “И нет у него никаких планов на будущее, только смутная тревога в душе”. Подтверждение тому — строки из письма, посланного Рубцовым другу своему В. Сафонову в феврале 1959 года: “О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что всё чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придётся делать то, что подсказет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывёт по течению!”

И вновь постановка того же самого вопроса в другом письме:

“Вообще живётся как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже показала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться...”

Николай не терял ещё надежды, что судьба окажется благосклонной к нему и путь на Шпицберген будет открыт...

На это он намекает в письме от 27 июля 1964 года (на всякий случай подалее от сторонних глаз) другу и собрату по перу С. Багрову: “Хотелось бы мне встретить тебя, тем более что у меня есть к тебе дело. О нём я пока не стану говорить. Думаю, что заеду в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим...”

Замыслив поездку на Шпицберген, Рубцов стал присматриваться к скандинавской литературе и, в частности, норвежскому поэтическому эпосу. В журнальной периодике ему попались переводы баллад с норвежского Г. В. Воронковой и Игнатия Ивановского. Так или иначе, но именно под впечатлением от знакомства со скандинавской поэзией, а точнее — балладой “Мертвец”, Николай сочиняет в 1969 году свою стихотворную сказку-балладу “Разбойник Ляля”. В норвежской балладе отразилась мысль о том, что покой-

ник, не похороненный в освящённой земле, то есть на кладбище, может являться живым и может назвать того, кто его убил, как это делает привидение в шекспировском “Гамлете”. А ещё странствующему рыцарю открылись страшные обстоятельства смерти мужа, которого задушила подушкой жена в сговоре с её подругами:

*Солнце зашло, отдохнуть пора,  
Завтра опять мне в путь пора.*

*Я на поляне стреножил коня,  
Тут сон глубокий сморил меня.*

*Вдруг — не забыть такого вовек —  
Мёртвый явился мне человек.*

*“Очнись, очнись, о, рыцарь усталый!  
Сонного мне убивать не пристало.*

*Очнись, о, рыцарь в красных ботфортах,  
Ты — в живых, а я — среди мёртвых.*

*Ночью меня задушила подушкой  
Жена Ингебьёрг и её подружки...*

*“Скандинавская баллада. Серия “Литературные  
памятники” // Л., “Наука”, 1978. С. 110—112*

Пророческий намёк на “тонкие” обстоятельства грядущей для Николая жизненной катастрофы! Об одном из таких “намёков” вспоминает в своей книге “Наедине с Рубцовым” его подруга Нинель Старичкова, но даже ей Н. Рубцов не открывает, почему он вдруг обратился к не характерному для себя жанру. Вот что она пишет об этом:

“Через довольно продолжительное время он вновь появляется у меня — прежний, улыбчивый, кажется, очень доволен собой и всем на свете, глаза его сверкают. Сейчас что-то сообщит. Так и есть.

— Я поэму написал.

Смотрю на него с восхищением. Он, видимо, тоже отметил это и поправил себя:

— Нет, не поэму, просто большое стихотворение. Меня только одно имя смущает.

— Какое имя?

— Ляля. Это — разбойник.

— Ну, — говорю, — для разбойника это не очень подходит. Уж больно он у тебя ласковый и добрый.

— Мне это тоже говорили, но я так хотел.

Коля стал читать, жестикулируя, а я, вслушиваясь в каждое слово, предвижу страшную развязку. (Ведь он же готовит меня к ней). Вот атаман влюбляется в красавицу княжну, вот жалуется Шалухе: “У меня на сердце одиноко...”

— Наступает развязка:

*Но слетелась вдруг воронья стая,  
Чуя кровь в лесах благоуханных,  
И сгустились тени, накрывая  
На земле два тела бездыханных...*

И вот Шалуха, “увядшая в печали”, бродит по посёлкам, рассказывая о “любви разбойника печальной”...

... Когда стихи были напечатаны, я узнала то, что Рубцов мне предсказал:

*Так, скорбя, и ходит богомолка,  
К людям всем испытывая жалость.  
Да уж чуёт сердце, что недолго  
Ей брести с молитвами осталось.*

*Собрала котомку через силу,  
Поклонилась низко добрым лицам  
И пришла на Лялину могилу,  
Чтоб навеки с ним соединиться...*

*Старичкова Н. / Наедине с Рубцовым // СПб, "Русская земля". С. 202—203*

О Шпицбергене давнишние друзья вспомнили вновь, когда Рубцов приехал в Рязань по приглашению Валентина Сафонова и "однокашника" по Литературному институту Бориса Шишаева в марте 1968 года. Разговор об этом зашёл у костра, разведённого на берегу речки Трубеж у древних стен рязанского кремля. Об этой встрече позже мне рассказывал присутствовавший там поэт Анатолий Сенин. На шутейное предложение Сафонова, выслушавшего сеговетания Рубцова на житейские неурядицы, махнуть на Шпицберген и начать вести абсолютно трезвый образ жизни, Сенин мотнул головой:

— Это же произвол! Я бы, глядя на пустой гранёный стакан, с ума бы сошёл, сокрушаясь от невозможности приложиться к элементарному "портвешку"!

Все как один кивками дружно поддержали товарища. Но Рубцов возразил:

— Зато бы вернулся с деньгами, которых хватило бы всех вас, косопузых, и недругов заодно до отрубца напоить, а потом — навсегда завязать, а ещё бы свой дом где-нибудь в Емецке, Тотье или Николае поставить и стихами заняться, не помышляя о куске хлеба насущного...

Разговор о фантастических благах Шпицбергена прервался, и к этой теме уже никто не возвращался. Но Николай, вернувшись в Москву, а затем и в Вологду, неожиданно снова вспомнил, будучи у Чулкова, о заманчивой идее податься на Шпицберген, чтобы заткнуть все образовавшиеся дыры в бюджете, выбраться из долгов и поправить семейные дела. Об этом же, без широкой огласки, обмолвился и с Виктором Коротаевым.

Вообще-то тема Шпицбергена считалась закрытой для рядового советского сознания, и большинство граждан страны даже не подозревало, что такая возможность существует. Чтобы попасть туда, в "заполярное Эльдorado", и оказаться в ряду "счастливицков", необходимо было "просеяться" не через одно сито силовых и партийных органов. Первому из вологодцев (и то лишь спустя четыре года после трагической гибели Н. Рубцова) попасть на Шпицберген удалось Владимиру Ширикову. Свидетелем его возбуждённого с Николаем разговора относительно оформления документов стала Нинель Старичкова, о чем она не преминула упомянуть в своих воспоминаниях:

"Коля болезненно реагировал на каждый звонок в дверь. Чаше мы отмахивались. А иногда он, съевшись, посылал меня сообщать, что его нет дома. Однажды ответила отказом, а Коля вдруг залепетал: "А ты спроси, спроси, кто меня спрашивает..." И тогда за дверью громко произнесли: "Шириков". Коля как закричит: "Ну, что же ты! Открывай! Это же Володя! Шириков!" Я открыла дверь, и Коля, даже не дав спокойно войти, с поднятыми кверху руками бросился навстречу гостю, схватив в охапку, потащил внутрь комнаты. Они о чём-то очень оживлённо поговорили, как будто давно не виделись, и им необходимо было выговориться. Я не стала мешать их встрече, оставила вдвоём..." (с. 180).

Владимир Шириков побывал на Шпицбергене, а перед Рубцовым была выстроена непреодолимая стена из разных препятствий в виде запретов и "непущений" по причине якобы не соответствующего "облику морале". С досадой о несостоявшейся поездке на норвежский "Клондайк" рассказал мне Николай Рубцов в октябре 1970 года, когда до трагической развязки оставалось четыре месяца...

— А я ведь серьёзно готовился к десанту на архипелаг, даже норвежский эпос стал изучать... Читал в журналах переводы с норвежского Воронковой и Ивановского, он, кстати, работал одно время в одной из холмогорских школ и увёз с собой в Питер первую холмогорскую красавицу, дочку известного литератора с Северной Двины Валентину Калинкину...

Владимир Шириков своей увлечённостью, неиссякаемым энтузиазмом и энергией "заразил" сначала меня арктической болезнью, а затем и Виктора Коротаева. Я стал оформлять необходимые документы и несколько раз вылетал в Мурманск в "Арктикауголь", где должны были рассмотреть мою кандидатуру на предмет утверждения редактором той самой шахтёрской газеты, где

в своё время работал Шириков, но неожиданная телеграмма из Москвы с сообщением о том, что я принят на Литературные курсы при Союзе писателей СССР, резко изменила мои планы...

“В бытийном смысле Рубцов не только конец деревни видел, а почувствовал возможный предел всего и всему, апокалипсичность всей эпохи. Вот почему в своих странствиях он так упорно искал островки неисчезнувшей земной тишины... Рубцов, можно сказать, был поэтом последних островков разламывающейся на части и уже погружавшейся в пучину земной Атлантиды... Но Рубцов неизменно противопоставлял этому трагедийному ощущению внутреннюю мужественность своей души, которая подкреплялась выношенным убеждением в прочности и даже логически необъяснимой, но интуитивно угадываемой неколебимости русской национальной тверди”, — читаю в статье “Николай Рубцов — человек и поэт”, опубликованной в библиографическом словаре “Русские писатели. XX век” (т. 2. М., 1998).

Примечательно, что в дальнейшем и меня судьба сведёт с сослуживцами и единомышленниками Николая Рубцова по Северному флоту и занятиям в литературном объединении при газете “На страже Заполярья”, собственно, с самим Валентином Сафоновым и Ильёй Кашафутдиновым. Это произошло уже в Рязани в 60–70-х годах, когда один из них возглавил областную писательскую организацию, а другой — стал фотокорреспондентом газеты “Рязанский комсомолец”. А на переломе 70-х и 80-х годов мне довелось встретиться и с поэтом Владимиром Матвеевым, бывшим начальником отдела культуры в газете “На страже Заполярья”, и с Борисом Романовым, со временем возглавившим Мурманскую писательскую организацию, и с будущим известным детским писателем Юрием Кушаком. Но в те годы, о которых идёт речь, “все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение...”

Валентин Сафонов в своих воспоминаниях заключает: “Человек с характером, с темпераментом Коли не мог позволить себе плыть по течению, делать то, что подсказает обстановка. Не мог он уподобиться лежачему камню, под который вода не течёт. И всей своей короткой, стремительной жизнью доказал это... Бродяжничал (в самом лучшем смысле этого слова) по Руси — вечный странник, непоседа, не имеющий ни кола, ни двора. Истинный Поэт!”

Эту мысль подтвердят и фрагменты своеобразного стихотворения-реквиема Бориса Чулкова, посвящённого его лучшему другу:

*Я знал, что он иначе и не мог,  
я чувствовал: во всех его метаньях  
и не душа повинною была,  
а путь, что предназначен был от века,  
а жребий, что написан на роду.*

*.....  
Душой поэт таким же был сродни,  
как сам он, неприкаянным скитальцам —  
Есенину, Вийону и Верлену  
(судьба — листок, осенним мчимый ветром,  
не знающим, куда листок несёт).*

*Но, может быть, в нём не было метаний,  
как после неизбежно все представят,  
хрестоматийный глянец наведя?  
Нет, были, — отвечаю, — как не быть-то:  
он милостию Божьей был поэт.*

*“Листок, осенним мчимый ветром...”, 1983*

А завершить своё повествование я хотел бы двумя строчками из стихотворения Николая Рубцова “Жалоба алкоголика”:

**ЗАЧЕМ НЕ УРОДИЛСЯ  
Я В ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК?!**

Может быть, всё, что замышлял Николай, осуществилось бы?! Впрочем, сослагательное наклонение не популярно и в наши дни...

СЕРГЕЙ ЛАГЕРЕВ

## СТАРШИЙ БРАТ

26 июня 1998 года в Вологде открывали памятник выдающемуся русскому поэту Николаю Рубцову. Мне, по приглашению вологодской писательской организации, тоже посчастливилось участвовать в том мероприятии. День, помню, был прохладным и дождливым, но народу на церемонию открытия собралось много: земляки-вологжане, почитатели таланта поэта из других городов, известные писатели и артисты. Приехала из Санкт-Петербурга дочь поэта Елена Николаевна со своей семьёй. Как часто бывает в таких случаях, было и торжественно и, вместе с тем, немного грустно. Тогда же я познакомился с руководителем Рубцовского центра Вологды критиком и литературоведом Вячеславом Белковым. В этом старинном городе я был впервые, и Слава показывал мне Вологду, водил по местам, связанным с Николаем Рубцовым. Мы подолгу разговаривали с Вячеславом о творчестве поэта, о его жизненных нелёгких дорогах, а также о трагической судьбе всей его семьи. Белков сказал мне тогда, что по-прежнему нет никаких сведений о местонахождении братьев Николая Рубцова, и напомнил, что старший брат поэта Альберт, по некоторым данным, бывал у нас в Тюменской области. Просил помочь в поисках и подарил мне свою книгу “Жизнь Рубцова”, на последней странице которой было написано следующее послесловие:

*“Давно ищу братьев замечательного русского поэта Николая Рубцова (1936–1971). Стихи и песни безвременно погибшего поэта известны сегодня всем – “Тихая моя родина”, “В горнице моей светло”, “Букет”, “Улетели листья с тополей...” А вот о жизни Рубцова известно мало. Может, кто-то из читателей поможет мне разыскать родных братьев поэта. Вот некоторые сведения о них:*

**Рубцов Альберт Михайлович.** Родился в 1932 году в Вологде. Жил и работал в Ленинградской области (Всеволожск, Приютино), затем в Воркуте (работал на шахте?), Донецке, Свердловске, Крыму... Мы не знаем даже главного – жив ли сейчас Альберт Михайлович.

**Рубцов Борис Михайлович,** младший брат. Родился 23 мая 1937 года в селе Емецк Архангельской области. Жил в детдоме, в Вологде окончил вечернюю школу. Одно время жил и работал в Краснодарском крае (с. Успенское), родом из этих мест была его жена Валентина. На этом все сведения обрываются... А просьба одна – помогите найти!”

К сожалению, в 2006 году Вячеслав Белков ушёл из жизни. Но я никогда не забывал о его просьбе. На поэтических вечерах, а также в газетных статьях обязательно рассказывал о братьях Николая Рубцова. Так пролетело почти три года после моей поездки в Вологду, прошлое отдалялось всё дальше и дальше, и казалось, что ничего уже о судьбах Бориса и Альберта мы не узнаем и никого из них не найдём. Но, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Подошёл юбилейный для поэта 2001 год. Поэтические вечера в честь 65-летия Николая Рубцова проводились тогда на нескольких культурных площадках нашего города. Как-то раз после одного из таких ме-

роприятий ко мне подошла журналистка Галина Владимировна Кондрякова и сказала, что её подруга говорила ей о каком-то Альберте Рубцове, проживающем в селе Горнослинкино Уватского района. Что будто бы тот играл на многих музыкальных инструментах, писал стихи, выступал в клубе и на свадьбах. Я, конечно, заинтересовался этим сообщением. Срочно, через председателя журналистской организации города Анатолия Прохоровича Зубарева направил запрос в администрацию и милицию Уватского района. Вскоре пришёл официальный ответ: Да! Это был он – Рубцов Альберт Михайлович, старший брат поэта! Но, к большому сожалению, его уже не было в живых, он скончался в 1984 году и похоронен там же, в селе Горнослинкино. Я, зная, что у ленинградского писателя Н. Коняева уже на выходе книга о Николае Рубцове в серии ЖЗЛ, сразу же отправил ему копию полученного документа. Потом послал это сообщения Лене – дочери Николая Рубцова, а она его уже передала жене Альберта – Валентине Алексеевне, а также его детям – Марине и Николаю, которые живут в городе Коммунаре под Санкт-Петербургом. Как мне рассказывала Лена, Валентина Алексеевна, прочитав официальную бумагу, заплакала, потом успокоилась и сказала: “Вот и слава Богу! Теперь на душе будет спокойнее. Я теперь знаю, что он похоронен по-человечески, и знаю, где его могилка”. Сейчас нет уже в живых и самой Валентины Алексеевны. А вот с дочерью старшего брата Николая Рубцова – Мариной я поддерживаю знакомство. Вот что она писала мне о своём отце:

“Родственники корили маму – мол, столько женихов было, а ты выбрала вон кого – “имя какое-то нерусское, не работает нигде, толку от него никакого”. Все над отцом подтрунивали, никто его не понимал. Мама тоже не понимала, считала поэзию и всякое искусство баловством. Но никогда ничего плохого про мужа не говорила, воспринимала его таким, каким он был. А был он человеком не от мира сего. В народе такое поведение считалось странным. Взгляд был отрешённый, всегда смотрел сквозь человека. Бытовые проблемы его не интересовали. Постоянно витал в облаках. Для Альберта (как для Николая) духовная пища всегда была важнее. Бывало такое, что забывал поесть. Мог сидеть за столом, все уже поели, еда закончилась, а он только очнулся. Работал много, но подолгу нигде не задерживался. Никак не мог усидеть на одном месте. Сначала путешествовали втроём: отец, мама и маленький Коля. Сушили пелёнки на ветру в поезде. Одно время жили в Донбассе. Отец работал шахтёром. У мамы началась аллергия (не климат). Трудно с маленьким ребёнком. Уехали из Донецка. Колесили по стране, опять оказались в Приютино. В Невской Дубровке строился рабочий посёлок, прозванный жителями “Чудильники” (сейчас это улица Николая Рубцова). Семье дали комнату в бараке. Обменивались дважды, после чего осели в комнате по адресу: ул. Советская, д. 1, кв. 4 (этот дом потом сгорел). Сюда неоднократно приезжал Николай Рубцов. В 1961 году родилась я. Мама уже не путешествовала с отцом. Можно, казалось бы, начать нормальную жизнь: жена, двое детей, но отцу на месте не сиделось. Стал ездить один. Причём уезжал без сборов, внезапно, имея в кармане буквально какую-то мелочь. Исколесил всю Россию-матушку. Письма приходили то из тёплых краёв, то из Сибири. Так же неожиданно являлся домой. Поживёт немного. Успеет поработать и опять в путь. Однажды вся семья пошла в баню. Папа с маленьким Колей – в мужское отделение, женщины – в женское. Помылись, выходят, смотрят, Коля один стоит на улице, дрожит от холода. Валя спрашивает: “Где отец?” Коля: “Сказал, скоро придёт”. Пошли домой. Прошло несколько дней. Тётка Надя, соседка, говорит: “Надо бы в милицию, в розыск подать”. Мама говорит: “Не буду подавать. Подождём письмо”. Приходит письмо через какое-то время: “Валя, я в Сибири”. Без паспорта, без денег. Изредка присылал посылки. Я получала письма, даже однажды 10 рублей мне прислал. Будучи ещё маленькой, написала папе письмо и два стихотворения без названий собственного сочинения. Думаю, папа порадуется: вот, мол, дочка стихи пишет! Но в ответ получаю разгромное письмо, где отец пытается объяснить, в чём смысл стихов, что это святое. Он много читал, был прекрасным рассказчиком, плясал, играл на музыкальных инструментах. Любой праздник не обходился без него. В семье Рубцовых все были талантливы: кто пел, кто плясал, кто играл на баяне. До женитьбы отец учился в Москве у профессора Панина по классу аккордеона. Бросил учёбу. Позже приходили письма (даже маме), уговаривали, чтобы Альберт продолжил обучение. Думали, что бросил из-за



неё, погубил талант. После женитьбы приобрели аккордеон. Время от времени, когда нужны были деньги, отец его продавал. Мама ещё домой дойти не успевает, уже знает, кому продал аккордеон. Всегда выкупала инструмент обратно. Николай тоже говорил Альберту, что надо бы учиться. Хоть и младшим был, а по жизни старшим считался. К написанию стихов отец относился серьёзно. Не один раз отдавал в печать в газету “Невская заря” (г. Всеволожск), откуда приходил отказ со словами: “Стихи хорошие, но не всё можем печатать”. Учитель литературы Захаров Станислав Алексеевич, который сам писал стихи, постоянно говорил мне, что у отца талант от Бога: “Мне бы его дар, я бы прославился, а у него нет такой тяги”.

Недавно мой архив пополнился тремя письмами, написанными Альбертом младшему брату Николаю. Поэт хранил их, значит, они были дороги ему. После гибели Рубцова письма находились в собрании Н. А. Старичковой, которая за год до своей смерти подарила их мне.

#### Письмо первое

*Коля дорогой здравствуй!*

Письмо твоё получил спасибо. Сразу же прошу извинения за то, что не мог помочь в твоём трудном положении. Ты знаешь, что если бы была хотя бы небольшая возможность я всё равно бы выручил. Дело в том, что я 2 месяца подряд не работал. Так получилось. И когда получил письмо от тебя я только что пошёл 1-й день на работу. Работаю на Ржевке на старом своём месте. Так что ты понимаешь. Ну сейчас 25 уже немного получу будет легче. С Валею часто ссоримся сейчас. Хотел даже уходить. Да пацанов жалко. Потом помирились. Даже я тогда написал такие стихи

*Иду я домой и не знаю домой ли  
Живу я с женой и не знаю с женой ли  
Почти десять лет с нею вместе прожили  
А что же случилось? Мы стали чужие...*

Коля, но ты всё-таки приезжай ко мне если будет такая возможность. Дела поправятся у меня найдём посидеть с чем. И не обижайся пожалуста на меня. Ну вот и всё пожалуй. Жду встречи очень хочется потолковать.

*До свидания пиши*

*А. Рубцов*

Примечание: письмо написано на двух тетрадных листах в клеточку. Не датировано. Но можно предположить, что это 1964–65 годы, так как в стихах указан почти десятилетний семейный стаж четы Рубцовых, а Альберт и Валентина, как известно, поженились в 1955 году.

#### Письмо второе

*Привет из Воркуты!*

Коля здравствуй! С приветом Алик. Работаю на шахте проходчиком зарплаток плохой. С продуктами неважно. Ещё месяц посмотрю да вернусь наверно обратно. Вот где настоящая скука действительно можно съесть человека. Изредка занимаюсь стихами всё такими же например

*Где-то там наверху  
    ходят люди спокойно.  
Где-то там пьют вино  
    и коньяк в кабаках  
Я ж глубоко в земле  
    только я не покойник  
Я живой человек,  
    я с лопатой в руках  
Я до майки раздет,  
    Каждый мускул натужен  
От меня, как от лошади валится пар  
    Но для шахты всегда  
я такой лишь и нужен*

*Здесь не отдыха сад,  
здесь не сказочный парк.*

Ну и наподобие этого другие.

Коля передай пожалуйста Глебу ноты, а то я не знаю когда приеду и большой привет.

*Звенит звено поэтов новых  
Молодых девиц юнцов  
Ближе мне из всех знакомых  
Глеб Горбовский, Н. Рубцов.*

Пока А. Рубцов

Примечание: письмо написано с двух сторон на единичном альбомном листе. Датировки нет, но так как в письме упоминается поэт Г. Я. Горбовский, то письмо это предположительно послано Николаю Рубцову в Ленинград в промежуток между 1959 и 1962 годами. Судя по тексту письма, Альберт Рубцов был знаком с Глебом Горбовским, и даже писал музыку на его стихи, но сам Глеб Яковлевич, к сожалению, не помнит о встрече с Альбертом ничего.

Письмо третье

*Дорогой Коля здравствуй!*

Письмо твоё получил. Спасибо. Только с ответом малость задержался. Устраивался на работу. Сейчас работаю на Кушелевке э/монтёром. Приехал недавно. Я тебе писал из Свердловска письмо на союз писателей, мне пришло оно обратно с надписью, что твоё место нахождения неизвестно. О своём приключении рассказывать долго – вообще был на севере, был в Крыму оделся, правда сейчас уже всё в ломбарде, но постараюсь выкупить. Денег было и много и совсем не было. Уехал из Л-да без одной копейки. Вале не посылал потому, что она мне не писала, а от Томки получил письмо, чтоб не приезжал. Я конечно и не хотел приехать, но так как я опять был без документов, то мне пришлось приехать за ними, вот и остался здесь. Но приехал без денег. А у меня в последнее время было их 1000 руб. Это я заработал за один месяц и 10 дней. В Крыму же я не работал, просто отдыхал... (нрзб). Первое время мне было конечно трудно, ехал не знал сам куда, без билета, без денег.

*Я мчусь по рельсам, сам куда не знаю  
Куда влечёт судьбина меня злая  
И может быть каким-нибудь составом  
Меня разрежет насмерть по суставам  
Да после зимней голодовки долгой  
Куски мои растащат злые волки  
Не зазвенит мой голос где-то снова  
Никто не вспомнит имени Рубцова.*

Был я в Вохтоге, где раньше жили с отцом на Жениной родине. Хотел в... (нрзб)... и то не взяли.

*Наяву это всё? Иль во сне  
Сколько мытарств встречаешь и бед.  
Злой директор снимая пенсне,  
Снова слово знакомое — нет.  
И опять ты угрюмый и злой  
От конторы потопаешь прочь.  
На ногах будет скоро мозоль  
Коротая на улицах ночь.  
Я как будто чужой на земле  
Как бродяга брожу по шарагам,  
Только мысли одни, о семье  
Меня держат от смертного шага.*

*Злые чувства в душе, в голове кавардак,  
Неужели я всё же большедушный дурак?  
Почему я всегда поступаю не так,  
Я серьёзное дело свожу на пустяк?  
И без слов мне обидно, был в душе огонёк,  
Ничего видно в жизни я добиться не смог,  
И засохну я так, как червяк без земли  
Где же цель, где же мысли, где песни мои?*

Много об этом путешествии ещё есть стихов, но если ты пожелаешь написать в следующем письме. Коля ты обещал мне свой сборник, нехорошо, не по братски не иметь от тебя не одного, надеюсь ты мне пришлешь. Да в Х/Мансийске встречал В. Кунпера (?) ... (нрзб). Он наверно тебе говорил обо мне. Коля не знаю, что со стихами делать, бросить совсем не могу, и печататься тоже наверно не придётся, правда хотелось бы. А ведь о них я только с тобой и говорил. Может послать их кой-куда. Если бы я знал, что ты в Вологде, я бы остановился там у меня и билет был до Вологды когда я ехал обратно сюда. Ну да ладно когда-нибудь встретимся снова. Коля, деньги Валя получила 29 рублей, а так же посылку спасибо.

Ну вот наступило время пока ничего как-нибудь.

До свидания пиши жду.  
15/1-68 г.  
А. Рубцов

Примечание: письмо написано на трёх тетрадных листках в клеточку. Сильно залито какой-то жидкостью. Прочитано с помощью работников криминалистической лаборатории Сургута и лично её руководителя подполковника Соколова Дмитрия Анатольевича. Не смогли прочитать только несколько слов. Интересно: из письма видно, что Альберт бывал и в Свердловске, и в Ханты-Мансийске. Фамилия "Кунпер" читается приблизительно, сильно размыты буквы, и поэтому она может быть другой...

Тексты писем даны в авторском написании. Публикуются впервые.

Завершая заметки о старшем брате Николая Рубцова, я не стану разбирать перипетии жизни Альберта, и давать оценки его поступкам. Ведь написано в Библии: "Не судите, да не судимы будете!" Скажу только, что Альберт не был ни горьким пьяницей, ни лодырем, бегавшим от работы, он был "странным человеком", как писала о своём отце его дочь Марина.

Какая-то тревожная неуспокоенность постоянно срывала его с места и звала, звала в дорогу. Этим он был очень схож со своим младшим братом Николаем, который всю свою недолгую жизнь тоже прожил, как странник. Альберт Рубцов, несомненно, был талантливым человеком, и, как это видно из текстов его писем, так же, как и знаменитый младший брат, не мог жить без поэзии. Это, наверное, и мучило его душу. Но, к большому сожалению, он так и не нашёл себя в жизненной круговерти. Но это была его жизнь! И только его.

## Воспоминание

*Брату*

*Помню, луна глядела в окно.  
Роса блестела на ветке.  
Помню, мы брали в ларьке вино  
И после пили в беседке.*

*Ты говорил, что покинешь дом,  
Что жизнь у тебя в тумане,  
Словно о прошлом, играл потом  
"Вальс цветов" на баяне.*

*Помню я дождь и грязь во дворе,  
Вечер тёмный, беззвёздный,  
Собака лаяла в конуре,  
И глухо шумели сосны...*

Н. Рубцов, пос. Приютино, 1957 г.

А вот о Борисе, младшем брате поэта, никаких сведений пока найти не удалось. Запрос о нём я несколько раз посылал в передачу “Жди меня...”, но ответа до сих пор не получил. И так же, как Вячеслав Белков когда-то, прошу людей о помощи в поиске младшего брата Николая Рубцова – Бориса, многочисленные данные о котором приведены вначале. Ещё хочу напомнить, что кроме неизвестной судьбы младшего брата поэта, в биографии Николая Рубцова есть и другие “белые” пятна. Например, не найдено ни одной фотографии матери поэта – Александры Михайловны. Единственная фотография, которая хранилась у старшей сестры поэта Галины Михайловны в городе Череповце, была утеряна. Из-за этого Николай Рубцов даже поссорился с сестрой. (Есть магнитофонная запись беседы Майи Андреевны Полётовой с Галиной Михайловной Шведовой (Рубцовой), в которой сестра поэта рассказывает об этом случае. Г. М. Шведова скончалась в 2009 году). А на карточке, что переходит из издания в издание и которую подписывают, что это мать поэта, и которую, к сожалению, также опубликовал Н. Коняев в своей книге о Рубцове, вышедшей в серии ЖЗЛ, изображена совсем другая женщина. Это доказано ещё Вячеславом Белковым. Он показывал этот снимок Галине Михайловне Шведовой (Рубцовой), и она сказала, что это тётя Шура, сестра отца, которая жила в Мурманске. Об этом говорит и дочь Николая Рубцова – Елена. Считаю, что к архивным материалам следует относиться очень серьёзно и ответственно, и перед тем, как их публиковать в книгах, особенно в такой серии, как ЖЗЛ, обязательно всё уточнять и проверять. Даже в Вологде на сайте областной библиотеки имени Бабушкина под этой фотографией также красуется подпись, что это мать Николая Рубцова, а под снимком отца поэта и его второй жены Евгении написано, что это его родители! Я призываю всех бережнее относиться к памяти поэта, и не допускать подобных “ляпов”.

Недавно прояснился ещё один факт из биографии Николая Рубцова. Об этой истории в воспоминаниях современников написано много, но вот о том, кто всё же поставил последнюю точку в том деле, нигде не сказано ни слова. Восполняя этот пробел – вот что рассказал мне известный государственный политический деятель СССР и России Анатолий Иванович Лукьянов:

*“Где-то в конце 1964 года (в то время я был заместителем заведующего отделом Президиума Верховного Совета СССР), мне позвонил поэт Александр Яшин и попросил принять его по очень важному делу. В назначенное время Яшин пришёл не один, а с поэтессой Вероникой Тушновой. Суть их просьбы была такова: вологодского поэта Николая Рубцова исключили из Литературного института, и Яшин с Тушновой просили меня подействовать о его восстановлении. К этому времени я уже знал имя поэта, читал подборки его стихов в журнале “Октябрь” и понимал, что Николай Рубцов – это настоящее явление в русской поэзии. Я позвонил в институт, представился и поговорил с ректором или его заместителем (сейчас точно не помню фамилию). Сказал следующее: “Как же вы не понимаете? Вы отчисляете из института, может, второго Есенина!” (Кстати, почти так же говорил В. Кожин своему отцу, когда тот не пригласил Рубцова в свой дом в новогоднюю ночь 1965 года. – С. Л.) Меня выслушали и пообещали дело это уладить. Помню, что прислали даже копию его заявления, где были сейчас уже всем известные слова:*

*Возможно, я для вас в гробу мерцаю,  
Но заявляю вам в конце концов:  
Я, Николай Михайлович Рубцов,  
Возможность трезвой жизни отрицаю.*

Николай Рубцов был восстановлен в Литинституте, но только на заочное отделение, а потом и успешно закончил его”.

От имени всех почитателей рубцовской лирики запоздало кланяюсь Анатолию Ивановичу Лукьянову, поэту и политику, и просто хорошему человеку!

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ

## ПОЭТЫ БОЖЬЕГО ПРИЗЫВА...

*На разезде где-то у сарая  
Подхватил, понёс меня...*

Николай Рубцов

Что представляла собой Вологда, пережившая в 1971 году смерть поэта Николая Рубцова?

Она была насквозь пропитана поэтическим духом Рубцова. Нередко можно было встретить идущего улицей человека, который, погружённый в себя, бормотал, как молитву, стихи Рубцова:

*Когда в окно осенний ветер свищет,  
Вселяя в жизнь смятение и тоску,  
Не усидеть мне в собственном жилище,  
Где в час такой меня никто не ищет,  
Я уплыву за Вологду-реку...*

О Рубцове говорили на всех литературных посиделках, официальных или просто дружеских, художники, реставраторы, архитекторы, журналисты – все, кто имел и не имел отношения к творческой работе. Почти сразу же стихи Рубцова стали превращаться в песни. Не было такого самодеятельного композитора или исполнителя, кто не обратился бы к стихам Рубцова...

Правда, были и те, кто считал, что этот рубцовский бум скоро сойдёт на нет, как только забудется история его гибели.

Но вовсе не трагическая смерть поэта была причиной такой невиданной популярности в народе. Наверное, в поэзии Николая Рубцова прозвучали неслышные в обычном житейском шуме “таинственные звуки”, присущие истинной поэзии, на которые откликнулись души вологжан...

Были в ходу экспромты Рубцова и всевозможные истории о нём, ставшие легендами.

Например, про то, как Рубцов и Виктор Коротаев поздно вечером зашли на квартиру матери Виктора, жившей в то время в Череповце. Мать накормила поэтов и строго приказала им ложиться спать. И тут Коротаев, задержавшийся на кухне, перелезая через Рубцова, укладываясь спать, придавил последнего. Рубцов заворчал: “Ну, ты и медведь!”

– А слабо срифмовать прямо сейчас: “медведь” и “бухтеть”, – предложил Коротаев.

– Подожди минуту, – согласился Рубцов. И через минуту прочитал:

*Кто-то в верности партии клялся,  
Кто-то резался с визгом в лото...  
И стремительно прочь удалялся  
Алкоголик, укравший пальто...*

*В это время уснул Кортаев,  
Как залёгший в берлогу медведь,  
Потому что у строгих хозяев  
До утра не позволят бухтеть...*

Друг мой, поэт Сергей Чухин рассказывал, как они с Николаем Рубцовым затеяли большой пеший переход от Вологды до Устюга. Здорово! Идти, любоваться природой, ночевать в крестьянских домах, слушая древние предания стариков...

Пошли к Василию Оботурову, бывшему в то время редактором “Вологодского комсомольца”.

— Как, Вася, одобряешь идею?

— Замечательная идея.

— Тогда выпиши нам командировки и дай денег на командировочные расходы. А мы тебе каждый день будем передавать репортажи, заметки, стихи...

— Вот с деньгами будет сложнее, — отвечал мудрый Оботуров. — Полагаю, деньги у вас кончатся в первые два-три дня. А как дальше? Предлагаю такой вариант. Я вам даю денег на два-три дня. Вы доходите до какого-нибудь почтового отделения, передаёте мне информацию, а я тут же телеграфирую вам перевод. И так пойдём по всей Вологодской области. Согласны?

Куда деваться? Пришлось согласиться.

И вот получили первый транш, как сказали бы сейчас, и вышли...

Через три дня раздаётся звонок.

— Вася! Деньги кончились. Телеграфируй.

— Где вы? Докуда дошли?

— До Прилук...

Прилуки были ближайшим пригородом Вологды.

А стихи всё же Рубцов написал:

*Топ да топ  
От кустика до кустика —  
Неплохая в жизни полоса.  
Пролегла дороженька до Устюга  
Через город Тотьму и леса...*

Особенно популярны были легенды, как Рубцов в Литинституте написал заявление после очередного конфликта:

*Возможно, я для вас в гробу мерцаю,  
Но заявляю вам, в конце концов,  
Я, Николай Михайлович Рубцов,  
Возможность трезвой жизни отрицаю...*

И далее:

*Моё слово верное прозвонит!  
Буду я, наверное, знаменит!  
Мне поставят памятник на селе,  
Буду я и каменный навеселе...*

И тост:

*За Вологду — землю родную —  
Я снова бокал подниму,  
И снова тебя поцелую,  
И снова отправлюсь во тьму.*

*И вновь будет дождичек литься,  
Пусть всё это длится и длится!..*

Рубцова я видел всего раз в жизни, в 19 лет, когда только поступил на работу в Шекснинскую районную газету “Звезда”. Виктор Коротаяев привёл в редакцию Сергея Чухина и Николая Рубцова. Они направлялись на дачу к Коротаяеву и решили предложить свои стихи газете, чтобы оправдать будущие расходы.

Виктор стал настойчиво звать наших девчонок к себе посидеть у костра, послушать стихи. Но девчонки отказались ехать с ними. Меня не позвали, потому что я выглядел в ту пору несовершеннолетним юнцом: мне даже водки в магазинах не давали, если редакционные старики посылали меня в магазин.

Редактор газеты, фронтовик Дмитрий Константинович Стасев, сам писавший в альбом стихи и исполнявший их под гитару, с удовольствием принял стихи от молодых поэтов, тут же выписав им гонорар.

За Рубцовым уже тогда закрепились характеристика неприкаянного неудачника, скитальца, не имеющего собственного жилья, гонимого по жизни злым ветром невзгод. Шарфик, поношенное пальто, балеточка с нехитрым скарбом и стихами. . . Бутылка красного вина во внутреннем кармане. Человек, страдающий и терпящий невзгоды. . . А стихи его – плод этой неприкаянной жизни.

*А осенние листья вдоль по улице гулкой  
Всё летят и летят, выбиваясь из сил...  
На меня надвигалась темнота закоулков,  
И архангельский дождик на меня моросил...*

Прошли годы, и, немного поразобравшись в жизни, я пришёл к мысли, что Рубцов был счастливым человеком. Ему открыты были небесные ворота. Поэзия давалась ему так же легко, как дыхание. И для счастья и самоутверждения ему не нужны были ни роскошные квартиры, ни пыжиковые шапки, ни дублёнки. Он оставался поэтом – “Божьей дудкой” – и в потёртом пальто, и раскисших от городского снега валенках.

Он не был обременён имуществом, квартирами, прочими атрибутами, указывавшими на то, что жизнь удалась.

И стихи его не были страданиями по поводу неудавшейся жизни. В своей поэзии он благодарил судьбу за счастье родиться “под куполом синих небес” и боялся только одного: “...как вольная сильная птица // Разбить свои крылья и больше не видеть чудес”.

Надо знать деревенский мир, его традиции, основанные на общинном самосознании. Сироты в деревне, каким и был Николай Рубцов, всегда были под опекой всего деревенского мира. И порой деревенским сиротам внимания и заботы оказывалось больше, чем собственным детям. И, видимо, поэтому поэзия Рубцова не обращена к собственным страданиям и обидам, она полна благодарности сельскому миру, его людям, своей малой родине. . .

Вслед за Рубцовым на вологодский поэтический небосклон стали одна за одной всходить поэтические звёзды молодых последователей его: Сергей Чухин, Николай Дружининский, Александр Швецов, Алексей Швецов, Николай Фокин, Лидия Теплова, Наталья Сидорова, Юрий Максин, Василий Мишенёв, Василий Ситников, Александр Пошехонов, Александр Брагин, Инга Чурбанова. . .

Василий Иванович Белов как-то в разговоре сказал, что в Вологде такое количество поэтов, причём поэтов самобытных, талантливых, что они могли бы составить славу любому европейскому государству. Однако вслед за восхождением на этот небосклон начался “звездопад”: молодые поэты уходили из жизни один за другим. . .

Есть в авиации понятие “спутного следа”, оставляемого большим самолётом, в который втягиваются и гибнут более мелкие летательные аппараты. . .

Такое ощущение, что промчавшаяся по небосклону звезда поэта Рубцова втянула в свой “спутный след” молодых последователей. . .

Трагически погиб Олег Кванинин, замёрзнув в снегу по дороге домой в свою деревню; умерли Вениамин Шарыпов из Череповца, Александр Швецов –

поэт-мыслитель из Сокола, лирик Николай Фокин, поэт-песенник Николай Дружининский, поэт Алексей Швецов... Художник Геннадий Осиев, создавший серию портретов Н. Рубцова, был убит ударом в сердце ножом женщиной, которую он собирался назвать своей женой... Литературный критик, биограф Рубцова Вячеслав Белков покончил жизнь самоубийством... Ушла из жизни невероятно талантливая поэтесса Лидия Теплова... В самом расцвете сил погиб Сергей Чухин, при невыясненных обстоятельствах погиб и Владимир Шириков, и, казалось бы, пышущий здоровьем Виктор Коротаев...

Складывается такое ощущение, что Россия приспала своих сынов, которые так любили свою родину и страдали больше других по поводу её неустройства, что любовь эта оказалась смертельно опасной.

Я думаю, что поэты – это люди с особой, обнажённой нервной системой, которые ярче и острее чувствуют невидимые глазом волны вселенской гармонии. И если они чувствуют прежде всех грядущие потрясения, несущие хаос и разрушение гармонии и красоты, сердца их не выдерживают...

*С моста идёт дорога в гору,  
А на горе — какая грусть —  
Стоят развалины собора,  
Как будто спит бывлая Русь, —*

написал Рубцов во время поездки с Сергеем Чухиным в Погорелово к родителям Сергея.

Чухин ответил удивительным по звукописи стихотворением:

*Только тянет меня к дому дорогому,  
Тянет к маме, тянет к батю, тянет к братьям,  
И ещё за окоёмом — речка Ёма,  
За лесами, за горами палисадник...*

Сегодня остаётся горько сожалеть, что талант Чухина не получил такого звучания, как талант Рубцова. Хотя и тот, и другой – поэты Божьего призыва, как и следующие за ним поэты крестьянской лиры.

Однажды у меня в кабинете – я работал тогда в газете “Вологодский комсомолец” – собралась большая компания, пили вино, обсуждая литературные новинки, травили анекдоты.

Я сидел за машинкой, отстукивая материал, который нужно было сдать для газеты.

А тут споры, шум, дым коромыслом... Работать в такой обстановке трудно. Я потихоньку взял пишущую машинку и перебрался в пустовавший по соседству кабинет. Однако через пять минут в кабинете появился один, второй, третий полемист из моего кабинета. Скоро и все они перебрались сюда. Тогда я снова забрал машинку и ушёл к себе. Однако шум за стенкой скоро стих, и один за одним спорщики вернулись.

Я был в полном недоумении.

– Кто-нибудь объяснит, почему вы ходите за мной? Почему вам не сидится в пустом кабинете?

– Э-эх, – отвечал поэт Александр Александрович Романов, бывший в то время секретарём писательской организации. – Разница есть. Когда ты на машинке стучишь, то и мы как бы при деле. А без тебя – просто базар получается.

Тут на пороге появился Володя Шириков. В руках у него были две больших доски.

– Ты чего это с досками? – спросили его полемисты.

– А я хочу эти двери крест-накрест заколотить, чтобы вы Ехалову писать не мешали...

Поступок Ширикова оценили, но меньше в редакцию ходить и устраивать там литературные посиделки не стали.

Надо сказать, что при такой вот вольнице и редакционной демократии работалось чрезвычайно легко. Газета получалась интересной и читалась от корки до корки.

Особенно задушевная атмосфера устанавливалась в редакции по субботам. К середине дня газета уже была прочитана, ошибки исправлены, оставалось только подписать её в свет.



Я был в тот день дежурным редактором. Вижу: открывается дверь кабинета, и входит с большим пузатым портфелем Василий Васильевич Лукичёв, водитель грузовика из Череповца. Лукичёв писал стихи. И очень гордился этим. Каждую пятницу он объявлял коллегам в своей автоколонне, родным и близким, что везёт в Вологду рукопись поэмы. Незадолго до этого вышла книжка Александра Яшина с прозой, которая называлась “Босиком по росе”. Лукичёв написал поэму и назвал её по аналогии с яшинской книжкой “Босиком по душе”.

В поэме рассказывалось о судьбе деревни Бабино.

Тема хорошая. Но водитель Лукичёв не имел никакого таланта к стихосложению и писательству, поэтому его поэма представляла собой образец мажорного графоманства. Об этом говорили все, кому Лукичёв давал почитать свою поэму. Но его это не огорчало. Ему важен был процесс общения с литераторами и писателями. В портфеле, кроме рукописи, он привозил бутылку водки и закуски для угощения писателей. Часто на этой рукописи и происходил пир, поэтому на ней густо присутствовали маслянистые пятна от селёдки и винные следы.

Я взял полосы и пошёл в кабинет Ширикова, где уже собралась хорошая литературная компания. Лукичёв, прихватив портфель, пошёл за мною.

В это время у Ширикова зазвонил телефон. Звонил Валерий Николаевич Ганичев, бывший в то время редактором “Комсомольской правды”.

Володя выслушал собеседника и заверил его:

– Мы подумаем, что-нибудь и сообразим!

– Что-то случилось? – спросил я.

– Понимаешь, редактор всесоюзной молодёжной газеты, у которой самый высокий тираж в мире, не может своей жене купить шубу. Нет шуб в магазинах... Вот и звонит нам: нет ли каких-либо связей на пушно-меховых базах, чтобы шубу купить...

– Да-а, – сказал я грустно. – Непростая задача. У меня так точно никого и близко нет на подступах к таким базам...

И в это время оживился Василий Лукичёв.

– Шубу Ганичеву надо? Пусть Ганичев печатает в “Комсомолке” главу из моей поэмы, а я достаю ему шубу. У меня жена на пушно-меховой базе работает...

Все, кто был в кабинете и был знаком с творчеством Лукичёва, ахнули.

– Слушай, Вася! – дипломатично заговорил Шириков. – Это ж такая газета, её весь мир читает. А поэма у тебя, честно сказать, никуда не годная. Давай, хоть в “Комсомольце” у нас напечатаем главку, а ты достанешь шубу. Но и то, нужно, чтобы эту главу переписал настоящий поэт.

Тут в кабинете, поблескивая очками, слегка заваливаясь на бок, под весом большого портфеля, появился Сергей Чухин.

– Здорово, други! – поприветствовал Сергей кампанию, светло улыбаясь. – О чём грустим?

– Серёжа! Как ты кстати! Помоги достать для жены Ганичева шубу! Нужно у Лукичёва переписать для печати главку. Сделаешь? Мы тебе гонорара подкинем.

– Нет проблем! – охотно согласился Чухин.

Лукичёв распахнул свой портфель, и рукопись поэмы “Босиком по душе” переколевала в портфель наследника рубцовской славы.

Тут они обнялись и отправились к Веденеевской бане отмечать сделку.

Сергей Чухин появился в редакции через месяц.

– Серёжа! Давай скорее главу... Ждём давно.

– Какую главу? – удивился Чухин.

– Лукичёвскую. Из поэмы. Ты ж её в свой портфель положил месяц назад.

– Не знаю я ни про какую поэму. А портфель свой я давно уже потерял.

Я не знаю, удалось ли достать через Лукичёва шубу, но многие вздохнули с облегчением, потому что поэма “Босиком по душе” была у Василия в единственном рукописном варианте. В редакции он больше не появлялся. Но спустя годы я оказался в немецком социальном институте города Бохум в составе официальной делегации. К нашему приезду было приурочено открытие авангардистской художественной выставки и собрания книг на русском языке. И какво же было моё удивление, когда я обнаружил среди книг поэму Василия Лукичёва “Босиком по душе”.

Позднее я узнал, что Лукичёв снова переписал поэму и, когда наступили “демократические” времена, продал свою легковушку и издал на вырученные деньги большим тиражом свою поэму. Никем не оценённую, конечно. . .

В 1977 году Володя Шириков оставил газету, подписав контракт на работу на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане, где была наша концессия по добыче арктического угля.

Семья нуждалась в деньгах, нужно было обставлять новую квартиру мебелью, и он уехал в Заполярье за длинным рублём. И пробыл там два контрактных срока.

Однако семейная жизнь не задалась и с мебелью. Самому Володе мебель эта была не нужна. Володя был настоящим воином, этаким современный Пересвет, а литература того времени требовала именно воинского подвига. И, став секретарём писательской организации, он жил этой борьбой взхлёб, отдавая себя полностью работе и борьбе. И вологодские писатели, несмотря на то, что Володя был намного моложе большинства из них, подчинялись своему вожаку и, я думаю, любили его.

Он был великим организатором, во многом принес в жертву общему делу свой литературный талант. . .

Ни одно сколько-нибудь значительное событие в жизни города, области, страны не проходило без участия вологодских писателей, которых словно звонарь на колокольне собирал вокруг себя Шириков.

Это и борьба за сохранение деревянной Вологды, и поход против переброски северных рек в волжский бассейн; и борьба с пьянством и алкоголизмом, которые, словно змеи, опутали Россию; и защита Василия Ивановича Белова, подвергнутого массовой травле в центральных органах печати за патристическую позицию, и защита Николая Бурляева, когда его громили за фильм “Лермонтов”.

У нас была в распоряжении всего лишь региональная газета “Вологодский комсомолец” против выходивших многомиллионными тиражами центральных изданий, которые начали погром русской культуры, нанося массированные удары по духовным лидерам страны: по Василию Белову, Сергею Бондарчуку, Виктору Астафьеву, Юрию Бондареву, Валентину Распутину, Николаю Бурляеву. . .

Особенно старались “Известия”, “Огонёк”, “Неделя”, “Искусство кино”. . .

Этой массовой травле, схожей с нынешней ситуацией на Украине, противостояло лишь несколько молодёжных областных газет да журнал “Наш современник”. Большие партийные газеты трусливо поджимали хвосты.

Однажды Станислав Рассадин в еженедельнике “Неделя” написал раздражённо: “Может быть, кто-нибудь заткнёт эту газетёнку!” Он имел в виду “Вологодский комсомолец”.

Володя Шириков как-то на встрече с секретарём обкома партии, курировавшей идеологию Людмилой Ячеистойой, пришедшей в редакцию, сказал с большой озабоченностью: “Против России собираются огромные, хорошо организованные силы. Вброшены колоссальные деньги. Как устоять?” Реакции не последовало.

Эта озабоченность, похоже, была только у писателей. Партия словно впадала в анабиоз, усыпленная демократическим бормотанием Горбачёва.

Тревога за судьбу Родины становилась день ото дня всё явственнее.

На пятидесятилетие Николая Рубцова Шириков смог договориться с Северо-Западным пароходством, предоставившим писателям комфортабельный теплоход “Александр Клубов” для поездки в город Тотьму, где должно было состояться открытие памятника поэту, созданного известным скульптором Вячеславом Клыковым на собственные средства.

Власти не обрадовались такой самодеятельности, для них Рубцов ещё вчера был человеком, который доставлял много хлопот, жизнь которого не совпадала с правилами советского общежития.

Володя в буквальном смысле “пробивал” этот памятник в обкоме. Компромисс был найден: памятник Рубцову ставили как бы на пробу – эскизный вариант.

Этот припозднившийся сентябрьский теплоход на Сухоне напоминал Ноев ковчег, собравший последних патриотов России. Кроме писателей на теплоходе плыли художники, самодеятельные артисты, журналисты. . .

Такое, по крайней мере, было у меня ощущение, когда в ночь на 20 сентября при возвращении в Вологду один из молодых поэтов, приехавший из

Москвы, из-за любимой девушки, ушедшей посидеть в компанию известного поэта Анатолия Передреева, выбросился в иллюминатор. . .

Была кромешная ночь. Пароход остановили. Все высыпали на борт. Проектор беспомощно шарил по свинцовой воде, ко всему пошёл неожиданно снег. Найти в этой преисподней человека, осознанно бросившегося за борт, казалось невозможным. Теплоход прошёл вверх, спустился вниз – всё тщетно. . .

Капитан удрученно обратился к Ширикову, который сам служил на флоте, правда, военно-морском.

– Искать нет никакого смысла. Скорее всего, он попал под винт и тут же ушёл ко дну. . .

– Будем искать до последнего, – упёрся Володя. – Мы своих не бросаем.

– Сейчас мы составим протокол и идём дальше, – сказал капитан, оставившая спор.

И тут Ширикова поддержал Белов:

– Мы никуда не уходим. Будем искать. Спускайте шлюпку.

Вмешательство Белова решило судьбу человека.

Без всякой надежды матросы спустили шлюпку и ушли в ночь.

Прошло всего минут пятнадцать, как удивлённые восклицания донеслись до теплохода.

– Живой!

“Утопленник” висел без сознания на бревенчатой обоневке плота с лесом. Выбраться на плот, видимо, у него не хватило сил.

Молодого влюблённого поэта подняли на борт, положили на палубу. На всём теплоходе не было ни грамма спиртного, чтобы оживить и растереть оочечневшего лирика. Писатели были трезвы, хотя, казалось, обстановка располагала.

Присутствие Василия Ивановича Белова на теплоходе, вместе с академиком Угловым возглавившего поход за трезвость России, создавало высокую нравственную атмосферу этой поездки.

А гигантскую державу, напоминавшую “Титаник”, тем временем несло на невидимый пока в тумане близкого будущего айсберг. Партийные органы словно рыли себя яму, отдавая предпочтение заведомым врагам СССР. Володя пригласил меня совместно делать газету Вологодской писательской организации “Эхо”, которая громогласно была тревогу о приближающейся катастрофе. У газеты был тираж 20 тысяч экземпляров в рознице, и разлеталась она в мгновение ока. У вологжан открывались глаза на события, происходящие в стране. Партийные органы старались не замечать ни газеты, ни её предупреждений.

Помню, в Вологодской филармонии проходил Секретариат Союза писателей СССР, инициированный Владимиром Шириковым, который поднимал самые животрепещущие вопросы современности. Был на нём и Юрий Черниченко, в последнее время активно доказывавший несостоятельность нашего сельского хозяйства и русской деревни. Черниченко в Вологде у писателей поддержки не получил, и он демонстративно покинул заседание и отправился в обком КПСС, где его приняли с распростёртыми объятиями и повезли по хозяйствам для сбора материала.

Прошло немного времени, и Володя встретил Черниченко в толпе ротозеев, пришедших поглазеть на расстрел Белого Дома из танков в октябре 1993 года. . . Шириков был среди защитников Верховного Совета, но по делам вынужден был на день оставить баррикады. Обрато он уже не смог пробиться к защитникам.

Шириков рассказывал мне, что Черниченко, увидев Ширикова, зло процедил сквозь зубы: “Скоро мы будем вашей мясо-костной мукой удобрять поля Европы. . .”

Нужно было научиться жить в новой реальности, в новой России, превратившейся в одночасье в колонию Соединённых Штатов, в которой уже не было собственного правительства, а была лишь колониальная ельцинская администрация, действовавшая под контролем советников из США.

Владимир Шириков в последние годы его удивительной, подвижнической жизни стал большим моим другом.

Володя был весь в борьбе.

– Ничего, ничего, – говорил он мне при встрече. – Мы ещё поборемся, постоим за святую Русь. Ещё не вечер.

Он по-прежнему издавал газету, но уже сменившую издателя.

“Эхо земли” называлась эта газета. И он отдавался ей полностью, внушая людям веру, что Россия выстоит, научится жить своим умом и вернёт свои завоевания людям.

А дома у него начался распад. Кстати, Шириков легко мог бы стать удачливым бизнесменом. Его энергия, стратегический ум, знакомства и связи позволили бы собрать немалое состояние.

Но куда деть при этом душу и совесть?

Володя оставил семье квартиру и всё, что смог заработать, и ушёл в никуда. Лето он жил в Усть-Кубенском районе в заброшенной деревне. Я бывал у него там не раз.

Как-то приехали японцы, занимавшиеся русской литературой. Володя привёз их на своей машине. До деревни было всего километров восемьдесят, но это путешествие, где километров пятнадцать были обыкновенным деревенским просёлком, произвело на японцев потрясающее впечатление. Они решили, что вологодский друг завёз их на край света. Деревня и впрямь стояла у самого леса, скрытая от глаз травами выше человеческого роста.

Японцы проголодались, а у хозяина продуктов с собой не было. Но обед образовался сам собой. Володя принёс от куриц со двора решето яиц, сбегал на десять минут в лес и притащил десятка два белых грибов, накопал картошки, нарвал луку, зелени, покрасневших помидоров, огурцов в теплице — и через полчаса обед был готов.

Осенью Володя пришёл ко мне в ночлежный дом, который я открыл для бездомных. Я выделил ему целую комнату. Вещей у него не было, кроме книг преимущественно философского, публицистического характера да собраний сочинений Ленина и Сталина. Надо сказать, что вологодские бомжи до сих пор пользуются этой библиотекой.

Потом Володя нашёл работу в Прилуцком монастыре и стал жить в келье. Он ещё успел получить от государства маленькую квартирку на улице Герцена. В этой квартирке и нашли его вскоре мёртвым в наполненной водой ванне...

Странная это была смерть, загадочная. Экспертиза констатировала остановку сердца в результате отрыва тромба. Хотя у Ширикова было много недругов...

До того он ездил на Алтай участвовать в выборной кампании губернатора Алтайского края, поддерживая председателя Аграрной партии Михаила Лапшина. Шириков выпускал на Алтае предвыборную газету. У противоборствующей стороны были большие деньги и возможности. У Ширикова были факты и аргументы...

И были документы с разоблачениями, которые не были использованы. Об этом он как-то обмолвился мне.

Когда хоронили Виктора Коротаяева, Володя, стоя у могилы, повернулся ко мне:

— Знаешь, эта яма уже не страшит. Может быть, время подошло. Я думаю, недолго и мне топтать эту палубу...

— Ничего, ничего, — отвечал я. — Ещё не вечер...

Сегодня, спустя столько лет, когда всё же Россия начала подниматься с колен, я снова повторяю, обращаясь к нему, невидимому, страстно верившему в возрождение:

— Ничего, ничего, Володя... Пробьёмся!

## ОБ ОДНОЙ СПЛЕТНЕ И НЕУМОЛИМЫХ ФАКТАХ

“Приближается юбилей Николая Михайловича Рубцова: 3 января 2016 года исполнится 80 лет со дня его рождения. К этому юбилейному событию готовятся рубцовееды и поклонники его творчества. Не обойдут вниманием юбилей недоброжелатели и завистники Поэта. И вот она, первая “ласточка”: в “Литературной газете” № 8 от 6 мая 2015 года вышла статья Анастасии Ермаковой “Шинелями пахнут стволы тополей”. В статье рассказывается о поэте Юрии Влодове (1932–2009). Автор упоминает здесь вскользь имя Николая Михайловича Рубцова, упоминает так, что неприятный осадок уже который день преследует меня и не даёт покоя. Вот эта фраза: “...Общеизвестный факт: иногда Юрий Влодов писал стихи за других, по договору. Говорят, даже за Рубцова, дописав за него 360 строк, которых тому не хватало для издания книги. Мы не будем ни подтверждать, ни опровергать сей факт, потому что он свидетельствует только об одном – о несомненном таланте Влодова...”.

Как-то странно, что уважаемая газета вдруг превратилась в бульварную газетёнку, питающуюся слухами. Так и хочется автору статьи сказать: “А говорят, что кур доят”. Может, и по этой теме пройдётся? Это слишком советливое дело – наводить “тень на плетень”, бросая в адрес великого русского поэта информацию, не подкреплённую фактами. Прежде чем делать такие заявления, следовало бы изучить жизнь и творчество Н. Рубцова.

Вы предполагаете, что Влодов подписал с Рубцовым договор, получив от него за свои труды неплохие деньги? Так Рубцову нечем было с ним рассчитываться, сам бедствовал. На дар это тоже не похоже, стихи с барского плеча Николай Михайлович не принял бы, он был человеком гордым (как утверждают люди, знавшие его лично, если надо, могу назвать фамилии таковых, они и ныне живут в городе Череповце, где создан центр Н. М. Рубцова), знал цену своему таланту. Вероятнее всего, Влодов сотрудничал с состоятельными поэтами, Вы, Анастасия, даже их имён не написали, видимо они не такие знаменитые. А Рубцова знают и любят не только в нашей стране, но в ближнем и дальнем зарубежье. И захотелось погреться Влодову в лучах всенародной любви к Рубцову. Информация из Википедии: “...По утверждению самого Влодова (да и многих из его окружения), в последней прижизненной книге Рубцова “Звезда полей” стоит 360 строк, написанных Влодовым: Рубцову не хватало строк для заключения договора на книгу, и он попросил недостающее у Влодова, надеясь потом заменить, но так и не смог это сделать...” Надо же такое нагородить! “Звезда полей” – вторая прижизненная книга Н. Рубцова, а не последняя. Она вышла в 1967 году, за 4 года до смерти Н. Рубцова. Уже нестыковка! Последней прижизненной книгой стал сборник стихов под названием “Сосен шум”, изданный в 1970 году. Публикация в “Литературной газете” заставила меня перечитать все прижизненные поэтические сборники Рубцова.

Итак, давайте разбираться. Николай Михайлович при жизни издал 4 небольших сборника стихов + самиздатовский сборник “Волны и скалы” в 1962 году в 6 экземплярах, которые на пишущей машинке отпечатал Борис Тайгин, редактор его первой книги. В сборник вошли 38 стихотворений. Благодаря этому сборнику Н. Рубцов поступил в Литературный институт им. Горького в Москве.

Его стихи периодически публиковались в разных печатных изданиях. В августе 1964 года Николай Рубцов пишет поэту Александру Яшину: "...Здесь за полтора месяца написал около сорока стихотворений. В основном о природе, есть и плохие, и есть вроде ничего. Но писал по-другому, как мне кажется. Предпочитал использовать слова только духовного, эмоционально-образного содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас..." В 1965 году в Архангельске выходит первая официальная книга стихов под названием "Лирика". В ней всего 25 стихотворений, 6 из них перешли из сборника "Волны и скалы".

В 1967 году выходит вторая официальная книга под названием "Звезда полей".

В этой книге уже 65 стихотворений, из них 14 ранее публиковались в других сборниках.

3-я книга вышла через 2 года, в 1969 году, под названием "Душа хранит". В ней 57 стихотворений, из них 20 ранее опубликованы в других сборниках.

4-я книга – "Сосен шум", последний прижизненный сборник Н. Рубцова. В него вошло 61 стихотворение, из них 28 перешли из других сборников.

5-я книга под названием "Зелёные цветы" вышла уже после смерти поэта, в 1971 году. Но он готовил её к изданию сам. В сборнике 101 стихотворение, из них новых всего 20. Неужели Вы считаете, что Н. Рубцов за 2 года не мог написать 20 стихотворений?

360 заветных строчек. Мало это или много? Я разобрала стихи Н. Рубцова построчно из сборников "Лирика" и "Сосен шум". В "Лирике" 488 строчек в 25 стихотворениях, в сборнике "Сосен шум" 1379 строк и 61 стихотворение.  $488 + 1379 = 1867$ . Делим на 86 стихотворений, чтоб получить среднее число строк на каждое стихотворение. Получается 22 строчки на одно стихотворение. Таким образом, 360 строк, якобы полученных от Влодова, делим тоже на 22 строки, поскольку Вы, Анастасия, пишете, что Влодов имитировал Рубцова. Получится 16 стихотворений. Неужели Николай Михайлович запянул бы свою чистую душу чужими стихами в количестве 16, а свои стихи оставил в столе?

Во всех этих сборниках (с 1962 по 1971 год) опубликовано 198 стихотворений Поэта, а всего он написал чуть более 400. Так почему завистники пускают недобрые слухи о чужих стихах в сборнике Рубцова "Звезда полей"? Более половины его стихов так и остались не напечатаны при жизни, он не нуждался ни в чьей помощи.

Как видно, Николаю Михайловичу было что публиковать – СВОЁ и ТОЛЬКО СВОЁ.

Прав, тысячу раз был прав Рубцов, когда писал:

*Сам не знаю, что это такое...  
Я не верю вечности покоя!*

Станислав Юрьевич, прилагаю ещё один отклик на статью. Его написала Валентина Васильевна Тугаринова, заслуженный врач Российской Федерации из Санкт-Петербурга. Она поклонник творчества Николая Михайловича, близко знакома с Еленой Николаевной Рубцовой. Вот её комментарий, обращённый к автору статьи Анастасии Ермаковой:

"Анастасия, поскольку Вы утверждаете, что это общеизвестный факт, будьте добры подтвердить это с правовой точки зрения: покажите договор, заключённый Влодовым и Рубцовым – номер договора, дата и год подписания, содержание 360 строк, в какую книгу они вошли, когда она издана и каким издательством. Без ответа на эти вопросы Ваши утверждения смахивают на "сарафанное радио". Если кто-то говорил об этом – назовите конкретных лиц и их опубликованные воспоминания, что они были очевидцами этих действий. Заодно приведите ещё примеры, с кем, кроме Рубцова, были договора или дарственные. Почему же Вы "прошлись" по одному Рубцову, походя? Что побудило Вас к этому: намекнуть нам на бездарность Рубцова и гениальность Влодова? Или, как уже вошло в традицию, затмить гениальный поэтический дар Рубцова в канун его юбилейных чествований или всенародных Рубцовских мероприятий и сыграть на руку защитникам его убийцы,

жаждущих теперь, уже после его физического устранения, похоронить и его поэтическое наследие? Вы сами-то как литературный критик глубоко изучили Рубцовское наследие, материалы исследований рубцововедов, воспоминаний его друзей, соратников, родных? Известно ли Вам, сколько композиторов и авторов-исполнителей создали песни и романсы на его стихи, сколько стихов поэты посвятили и посвящают ему, сколько портретов Рубцова написали художники, сколько создано документальных фильмов об известном и любимом поэте, сколько воздвигнуто памятников в его честь, сколько музеев, Рубцовских Центров, библиотек открыто по всей России и что уже не одно десятилетие вошло в традицию проводить ежегодные общероссийские мероприятия “Рубцовская осень” и “Рубцовский январь”, что он почитаем не только в России, но и за её пределами, его стихи включены в школьные программы... Это говорит о настоящей любви к творчеству великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова.

Анастасия, настоятельная просьба ответить и привести доказательные аргументы Вашим заявлениям”.

Станислав Юрьевич, извините за беспокойство.  
С уважением!

**Ерохина Татьяна**  
г. Череповец

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО

*директор Свиридовского института*

## ШОСТАКОВИЧ И СВИРИДОВ: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

13 января 1948 года в дневнике Евгения Александровича Мравинского появляется следующая запись: “Хороший сон до 10 часов (сон: Шостакович, Свиридов, церковь, розовая колокольня)<sup>1</sup>”.

Любителям музыки известно, что в эти годы между Шостаковичем и Мравинским были близкими не только творческие, но и чисто человеческие отношения. Г. В. Свиридова Евгений Александрович знал, ещё когда Георгий Васильевич, студент второго курса консерватории, написал свой Первый фортепианный концерт в 1937 году. Мравинский дирижировал этим концертом 17 ноября 1937 года на премьере в Большом зале Ленинградской филармонии (солистом был Павел Серебряков). Потом, в годы войны, будучи оба в Новосибирске в эвакуации, они встречались, там был довольно тесный круг близких друг другу людей, там был И. И. Соллертинский, худрук Ленинградской филармонии, человек очень близкий Шостаковичу и хорошо знавший Свиридова. Конечно, Мравинский знал об отношениях между Шостаковичем и Свиридовым.

Но при чём тут сон, в котором рядом с композиторами оказались церковь и розовая колокольня? Евгений Александрович был человеком верующим, возможно, склонным к мистицизму<sup>2</sup>. К тому же, у меня есть подозрение, что это может быть вовсе и не сон, а некая зашифрованная заметка на память, напоминание о событии. На эту мысль наводит дата записи сна: 13 января 1948 года.

Дело в том, что в этот день проходило третье заседание небезызвестного Совещания деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). Совещание это одиозное, написаны о нём горы книг. Старшее поколение, конечно, хорошо помнит это событие. Тем не менее, в этом совещании и последовавших за ним оргвыводах, Постановлениях ЦК ВКП(б) (в том числе и известном Постановлении “Об опере “Великая дружба” Ваню Мурадели” от 10 февраля 1948) есть ещё много загадочного. Мнения музыковедов и историков расходятся как в оценке самих событий на “музыкальном фронте” в том году, так и в оценке их подоплёки, объяснении тайных приводных пружин, мотивов. Историки акцентируют внимание на скрытой, но, тем не менее, острой борьбе в окружении Сталина между Л. П. Берия и Г. М. Маленковым, с одной стороны, и А. А. Ждановым. Пишут, что попытка Жданова “отметиться” перед Сталиным при помощи этой акции всячески умалялась и принижалась “добрейшим” Лаврентием Павловичем и его симпатизантом на тот момент Георгием Максимилиановичем<sup>3</sup>.

Немало ещё загадочного содержится в поведении в то время самих музыкантов, в первую очередь, композиторов. Недооценивается внутренняя борьба



между разными композиторскими кланами. Не говорю уже о том, что никто — ни историки, ни музыковеды — не удосужились сопоставить события в советской культуре с тем, что в это время происходило в культуре Европы, особенно в поверженной Германии. Никто (по крайней мере, в России) не сопоставил и не сравнил курсы культурной политики СССР и США в эпоху зарождения “холодной войны” и особенно в момент, когда был опущен пресловутый “железный занавес”<sup>4</sup>.

В первые два дня Совещания выступило много народу: композиторы, критики, певцы, режиссёры<sup>5</sup>. И, хотя поводом для совещания послужила опера Ванно Мурадели “Великая дружба”, тем не менее, судя по выступлениям, не все присутствующие ясно понимали смысл происходящего. Не понимали, почему эта скромная опера, девственно чистая от заразы “формализма”, вдруг была обвинена во всех смертных грехах, политических и эстетических. Выступал и сам виновник совещания. Причём Ванно Мурадели обвинял всех, кого только можно было обвинить, за допущенные им “ошибки”. Под конец своего выступления он почему-то решил обвинить Оргкомитет Союза композиторов в том, что он сильно, не в меру восхвалял композитора М. Вайнберга. Песенник В. Захаров с присущей ему пролетарской прямоотой заявил, что “с точки зрения народа” 8-я симфония Д. Шостаковича — “это “произведение”, которое к музыкальному искусству не имеет никакого отношения”<sup>6</sup>. Композиторы “реалистического направления” ругали “формалистов”, но “формалисты” держали стойко оборону и, надо сказать, крепко давали сдачи. И даже такой осторожный человек, как директор Ленинградской консерватории пианист П. А. Серебряков, упомянув, что кафедра композиции выпекает много “маленьких шостаковичей” и “маленьких прокофьевых”, тем не менее, упрекнул за долгострой Шапорина, который больше двадцати лет пишет оперу “Декабристы”. А заодно весьма неместно отозвался об очередной опере “реалиста” И. Дзержинского “Далеко от Москвы”.

На втором заседании старый, почтенный педагог, композитор, пианист А. Б. Гольденвейзер жаловался, что он устал от фальшивых нот современных симфоний и сонат и в качестве примера привёл струнный квартет Свиридова, в котором он “с ужасом услышал всё те же фальшивые ноты: с самого начала одни инструменты играли *fis-moll*, а другие в то же время — *C-dur*”. “Не знаю, — заключил покоривший некогда своей игрой Льва Николаевича Толстого пианист, — каким музыкальным чувством это может быть оправдано”<sup>7</sup>. Скорее всего, Гольденвейзер не играл Л. Н. Толстому “Картинки с выставки” М. П. Мусоргского, шестую пьесу “Самуил Гольдберг и Шмуль”, где задолго до Свиридова его гениальным предшественником был изобретён приём так называемой битональности — одновременного звучания двух тональностей<sup>8</sup>.

Выступавший следом директор Московской консерватории В. Я. Шебалин осадил “толстовца”, назвав его причитания о фальшивых нотах критикой “с точки зрения Хиври”, которая выговаривала Черевикку: “Сам ты кролик, жена у тебя кроличья, и всё у тебя кроличье”. Д. Кабалевский на третий день совещания “боднул” В. Г. Захарова и А. Б. Гольденвейзера. М. Ф. Гнесин защищал Ванно Мурадели, хотя последний не был его учеником. Старые формалисты, вроде АСМовца<sup>9</sup> Л. Половинкина, автора нашумевших в 1920-е годы урбанистических “Телескопов”, над которыми в своё время посмеялся Гнесин<sup>10</sup>, ругали молодых, несчастного М. Мееровича, который на том совещании неоднократно становился мальчиком для битья.

Шостакович на этом совещании вёл себя достаточно свободно и независимо. Более того, сумел даже покритиковать своих коллег, которых, как и его, причислят тут же, на этом совещании к композиторам-формалистам. Так прямо и сказал: “Композиторской неудачей является последняя “Симфония-поэма” А. Хачатуряна и 6-я симфония С. Прокофьева”<sup>11</sup>. Складывается ощущение, что композиторы ещё не понимали, зачем их собрали, в чём был смысл совещания. Оперу несчастного Ванно Мурадели никто из ведущих композиторов всерьёз не воспринимал, никто из них не мог себе представить, что их обвинят в формализме вкупе с композитором-партийцем, автором песни “Нас воля Сталина вела” и поэмы-кантаты “Вождю”.

Бедный А. А. Жданов не на шутку рассердился, почувствовав, что совещание на глазах теряет всякий смысл, превратившись в перепалку и перебранку композиторов, которые выступали кто во что горазд и завели совещание куда-то в сторону. Ему пришлось резко осадить музыкантов. Он прокурорским тоном

весьма жёстко заявил, что в музыке “дело обстоит неважно”. Затем ещё раз уточнил: “Положение на музыкальном “Олимпе” стало явно угрожающим”. И потом объяснил композиторам, как нерадивым ученикам, что почём, что “есть истина” и, самое главное, кто виноват. Жданов разложил всё по полочкам. Сказал, что есть две группы композиторов, что эти группы представляют два направления в советской музыке: реалистическое и формалистическое. Что формалистическое направление является в корне неправильным, “антинародным”. И что в творческой деятельности Союза композиторов ведущую роль играет ныне определённая группа композиторов – ведущие фигуры формалистического направления. Что это руководящая группа в Союзе композиторов и что она держит все нити и ключи от “Исполнительского комитета по творческим делам”. И что эту группу поддерживают в Комитете по делам искусств председатель Комитета тов. М. Б. Храпченко и его заместитель тов. В. Н. Сурин. Заключительная речь Жданова 13 января была, по сути дела, официальным обвинением, из которого незамедлительно последовали оргвыводы<sup>12</sup>. Е. А. Мравинский, конечно, был в курсе этого совещания, прекрасно знал, что там творилось. Так что его сон, как говорится, был в руку.

Профессиональные музыканты, особенно композиторы старшего поколения, о событиях 1948 года в советской музыке достаточно хорошо осведомлены, но и то не во всех деталях. А широкому читателю литературного журнала совсем мало что известно. Дело в том, что Жданов, говоря о двух направлениях, был не совсем далёк от истины. Когда 3 мая 1939 года вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “Об организации Союза советских композиторов СССР” и был образован Оргкомитет для подготовительной работы по созданию Союза композиторов и созыва Всесоюзного съезда композиторов, то формально этот Оргкомитет возглавил старенький, почтенный Р. М. Глиэр, но на самом деле работой Оргкомитета руководил его заместитель А. И. Хачатурян.

Арам Ильич в это время был на гребне своей славы, его балет “Гаянэ” со знаменитым Танцем с саблями шёл во всех театрах оперы и балета Советского Союза, его замечательный Скрипичный концерт играли все самые именитые скрипачи-виртуозы по всему миру. Его ценили и любили в высших эшелонах партийной и государственной власти, сыграли свою роль его старые тифлиссские связи и контакты. Энергичный, с практической хваткой, обаятельный, он сумел в короткое время создать очень работоспособную, сплочённую команду. У Л. П. Берии он добился освобождения из лагеря Л. Атовмяна, поставив его во главе Музфонда; умный, знающий музыковед Г. Хубов не без его участия был в 1941 году назначен главным редактором музыкального вещания Всесоюзного радио, а в 1946 году стал консультантом по вопросам художественного вещания в аппарате ЦК ВКП(б). И таких людей было много. Всё это были свои люди, часто родные лица<sup>13</sup>.

В самом Оргкомитете, в Комитете по Сталинским премиям, в Комитете по делам искусств, в Большом и Мариинском театрах, в Ленинградской филармонии, в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, короче, во всех более или менее значимых для музыкантов учреждениях культуры, в советских и партийных органах были или близкие и друзья или симпатизирующие Хачатуряну и его окружению люди. Но самое главное, во время войны Хачатурян сумел сплотить и объединить вокруг Оргкомитета и себя лично весь цвет советской композиторской школы. Он как-то непринуждённо и легко нашёл общий язык с людьми (сделав их на время практически союзниками, по крайней мере, партнёрами), которые имели непростую историю взаимоотношений между собой. Хачатурян сумел объединить Прокофьева и Шостаковича, Мясковского и Щербачёва, Штейнберга и Асафьева. Во время войны весь этот круг замечательных музыкантов, представлявших цвет советской музыки, имел достаточно привилегированное положение. Щедрый Левон Атовмян предоставлял композиторам солидные безвозмездные ссуды<sup>14</sup>, они были обеспечены “академическими пайками”, в эвакуации им были предоставлены относительно сносные по военному времени жилищные условия. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) “О составе Комитета по Сталинским премиям в области искусства и литературы” от 22 февраля 1947 года Д. Шостаковича, Н. Мясковского, Ю. Шапорина утвердили членами Комитета по Сталинской премии, М. Храпченко стал заместителем председателя Комитета.

Есть и ещё один, совсем не замечаемый музыковедами, однако немало важный момент. Все эти композиторы были преимущественно жителями сто-

лиц, имели высшее музыкальное образование, к тому же значительная часть их была одного социального происхождения. Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, В. В. Щербачёв, Г. Н. Попов, П. Б. Рязанов, М. А. Юдин (первый педагог по композиции у Г. В. Свиридова в ленинградском Центральном музыкальном техникуме) были из дворян. Шостакович и Асафьев, хотя и принадлежали к разночинной интеллигенции, тем не менее, воспитывались в Петербурге-Петрограде, одном из мировых музыкальных центров в начале XX столетия. Им противостояли композиторы-песенники, провинциалы, иногда выходцы из городских низов. Василий Павлович Соловьёв-Седой, как известно, был родом из семьи петербургского дворника; Тихон Хренников – из мещан, родился в Ельцах; Иван Дзержинский – из Тамбова; Мариан Коваль (Ковалёв) – из села Пристань Вознесения Петербургской губернии, родился в семье агронома; Виктор Белый – выходец из Бердичева; отец Владимира Захарова был горным мастером в Донбассе. И хотя тот же Арам Ильич Хачатурян был сыном переплётчика, но он сумел выбиться в люди, молодым уехал в Москву, поступил, между прочим, на биологический факультет университета. К тому же в Гнесинке он учился у Н. Я. Мясковского.

Конечно, графа социального происхождения в 1940-е и уж тем более в послевоенное время не играла практически никакой роли и не препятствовала “социальному лифтингу”. Но, тем не менее, где-то на подсудном, бессознательном уровне происхождение, воспитание, среда, конечно, оказывали своё влияние. Это особенно касалось эстетических вкусов, художественных, а в музыке – и жанровых предпочтений, отражалось на музыкальном языке композиторов, особенно в области интонационной сферы.

Несколько схематизируя, упрощая, тем не менее, можно так сказать: композиторам-симфонистам в 1948 году противостояли композиторы-песенники. Не случайно в одном из документов, подготавливавшем идеологию Постановления 10 февраля, в записке “О недостатках в развитии советской музыки” есть такие “вещные” слова: “Оргкомитет Союза советских композиторов, так же как и Комитет по делам искусств, ориентирует композиторов на “чистые” симфонические формы. Деятельность Оргкомитета определяют “симфонисты”: Хачатурян, Мясковский, Шостакович, Шебалин, композиторы других жанров устранены от руководства Оргкомитетом”<sup>15</sup>.

Дмитрий Трофимович Шепилов, один из авторов этой записки, был хорошо знаком по “комсомольской линии” ещё до войны с молодым Тихоном Хренниковым. Шепилов и предложил его кандидатуру Сталину на пост генерального секретаря Союза советских композиторов СССР<sup>16</sup>.

30 марта 1948 года вышло Постановление Совета Министров СССР за № 1009 “Об Оргкомитете Союза советских композиторов”. Новым председателем Оргкомитета был теперь уже официально утверждён Б. В. Асафьев, генеральным секретарём – Т. Н. Хренников, а секретарями Оргкомитета – М. Коваль и В. Захаров. Асафьев к этому времени был уже серьёзно болен, и вся власть, в конечном итоге, оказалась в руках Т. Хренникова.

19–25 апреля проходил Первый съезд Союза композиторов СССР. Асафьев был избран председателем Союза, а генеральным секретарём – Тихон Хренников, который потом бесценно будет руководить Союзом вплоть до его ликвидации в 1991 году. “Непотопляемый советский дредноут”, как назовёт его позднее Г. В. Свиридов.

12 мая 1948 года Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) “О руководстве Союза советских композиторов СССР”<sup>17</sup> новый состав Союза композиторов был “высочайше” утверждён. Секретарями Союза стали В. Захаров, М. Коваль, ленинградец М. Чулаки и украинец А. Штогаренко.

К власти пришли композиторы-песенники. Им осталось только прибрать к рукам все важные стратегические “объекты”. Нужны были свои люди в аппарате ЦК КПСС, в Музфонде, в журнале “Советская музыка”, в театрах и филармониях. Эта работа с кадрами началась уже с января 1948 года и шла на протяжении всего “славного” 1948 года.

5 апреля 1948 года вышло Постановление Политбюро “О систематических нарушениях финансово-бюджетной дисциплины в расходовании государственных средств в Комитете по делам искусств при Совете Министров СССР”. М. Б. Храпченко обвинили в растратах, нанесении государству значительного материального ущерба. От Храпченко, как водилось в таких случаях, ниточка потянулась дальше. Был уволен его зам В. Н. Сурин, начальнику Главного

управления театров Г. С. Калашникову был объявлен строгий выговор с занесением в учётную карточку, зам. начальника того же управления А. М. Гольцмана сняли с занимаемой должности, был объявлен выговор и директору Большого театра Ф. П. Бондаренко за перерасход средств на постановку оперы «Великая дружба»<sup>18</sup>. Материальную ответственность понесли и заместитель министра финансов А. А. Посконов, и начальник отдела финансирования культуры и просвещения Министерства финансов П. И. Зубок. Помимо прощтрафившегося прежнего руководства Комитета по делам искусств и чиновников из Министерства финансов, в этом Постановлении чёрной меткой был отмечен и Музфонд. «Проведённой проверкой установлены факты злоупотреблений в расходовании средств Музыкального фонда СССР: в нарушение установленного Союзом композиторов порядка использования этих средств, значительная их часть расходовалась на личные нужды отдельных членов правления Музфонда и приближённых к ним наиболее обеспеченных композиторов»<sup>19</sup>. А членами-то правления Музфонда и обеспеченными композиторами были все известные лица по Оргкомитету Союза композиторов СССР старого состава. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Музфонда была поручена не более и не менее, как Льву Захаровичу Мехлису, генерал-полковнику, возглавившему в 1946 году Министерство Государственного контроля СССР. Как известно, даже сам Сталин называл его «страшным человеком»...

Уже после выхода постановлений ЦК ВКП(б) от 26 января и 10 февраля 1948 года настроения в кругу композиторов-формалистов резко изменились. Появилось чувство растерянности, замешательства. Начиная с подготовки Первого съезда советских композиторов, разных собраний в городских союзах композиторов и на самом съезде развернулась широковещательная кампания по дискредитации антинародной группы композиторов-формалистов. Нужно было обладать незаурядной волей, чтобы выдержать этот почти повседневный публичный напор оголтелой, заушательской критики.

Уже в начале марта первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) П. С. Попков спешит отчитаться перед ЦК партии, прислав секретарю ЦК ВКП(б) М. А. Сулову подборку откликов трудящихся Ленинграда на Постановление от 10 февраля 1948 года<sup>20</sup>. В нём приводятся отклики музыкантов, деятелей культуры, студенческой молодёжи, рабочих и инженеров. Вот, например, что говорил В. П. Соловьёв-Седой: «Если народ не полюбил песню, значит, песни нет. Так рассуждаем мы, композиторы, работающие в области создания песни. Мы никогда не должны забывать, что культура нашего народа растёт, а вместе с ней должна расти и песенная культура. <...> ЦК ВКП(б) призывает нас выше поднять знамя советской музыки. Я не сомневаюсь, что песня, как запевала советской музыки, первая откликнется на этот призыв»<sup>21</sup>. А вот слова автора прославившейся в то время песенной оперы «Тихий Дон» И. Дзержинского: «Я уверен, что все советские композиторы, своим творчеством боровшиеся за создание демократической народной музыки, с величайшим энтузиазмом встретят историческое постановление нашей партии»<sup>22</sup>.

Здесь же рядом отклики трудящихся. Некто инженер Павлов из Морского артиллерийского ЦКБ отметил: «Музыку Шостаковича не понимаю. Она меня утомляет. Это пустой набор звуков. После того, как послушаешь музыку Шостаковича с её трескотнёй и шумом, болит голова»<sup>23</sup>. А вот признания заведующего кадрами учебных заведений Управления Октябрьской железной дороги тов. Соколова: «Я человек с высшим образованием и считаю себя культурным человеком, а стыдно было признаться людям, что не понимаю произведения Шостаковича. Постановление ЦК ВКП(б) внесло ясность и указало на антинародное их творчество»<sup>24</sup>. Так создавалось общественное мнение.

Статисты от лица народа использовали в политических спектаклях чуть ли не со времён плебисцитарной демократии древнегреческих полисов или движения популяров в Риме в конце II–I в. до н. э., способствовавшего рождению Империи. Такого рода статисты выродились теперь в молчаливую, но дружно аплодирующую аудиторию современных телевизионных ток-шоу. Но «возмущение» представителей от народа в сталинскую эпоху было чревато малопривлекательными последствиями.

Трудно сказать, как далеко бы зашла ждановская акция 1948 года. Во всяком случае, она дошла до спектакля публичных покаяний. Хорошо известно,

как каялись главные формалисты, как С. С. Прокофьев сказался больным и прислал письмо, как Д. Д. Шостаковичу пришлось зачитывать по бумажке свой “отпуст” на знаменитом собрании московских композиторов и музыковедов в ЦДК, шедшем почти целых десять дней, с 17 по 26 февраля 1948 года, сразу после выхода Постановления об опере “Великая дружба”. Это многожды описывалось в разных книгах о Шостаковиче, и я не хочу повторяться<sup>25</sup>. Иное дело со Свиридовым.

Мало кто понимает, что Постановление 10 февраля 1948 года имело ещё один, можно сказать, “воспитательный” смысл. Дело в том, что в нём названы имена ведущих композиторов, и Постановление как бы говорило: вот этим – главным – нельзя, а уж другим тем более должно быть неповадно. Эти другие были в основном композиторская молодёжь, преимущественно ученики Шостаковича. Вот на эту немногочисленную поросль композиторов военного поколения и пришёл главный удар Постановления. Борис Чайковский, Галина Уствольская, Александр Чугаев, Дмитрий Толстой, Юрий Левитин, Георгий Свиридов... Именно они-то и пострадали больше всего, их музыка оказалась под запретом на годы.

Вслед за своим учителем пришлось каяться и Свиридову. Всё это происходило в Ленинграде и не имело, разумеется, такой огласки, как критика старших. Именно своей глухой этой акция и была страшна. Критика Свиридова исподволь, первоначально достаточно вяло, началась ещё в 1946 году, со времён Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах “Звезда” и “Ленинград”, где главными “героями”, точнее, “антигероями” были Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Свиридов был знаком с М. М. Зощенко. Полагаю, что их свёл Шостакович, который был с Зощенко в дружеских отношениях. В 1946 году Свиридов написал музыку к комедии М. Зощенко “Очень приятно” для Ленинградского драматического театра. Премьера состоялась в июне, режиссёром был В. Кожич. Разумеется, после Постановления спектакль исчез со сцены<sup>26</sup>.

Свиридов имел много знакомых среди ленинградских литераторов. Вот как он сам вспоминал те печальные знаменитые августовские дни 1946 года: “В 1946 году мне была присуждена Сталинская Премия I степени (за 1945 год) за фортепианное трио. Жил я тогда скверно, бедно, пробавляясь случайными заработками. Время было послевоенное, жаловаться на жизнь, естественно, не приходило в голову: уцелел – и слава Богу! Радость моя была недолгой. Через несколько месяцев, я жил тогда в Ленинграде, состоялось собрание литераторов, проработка Зощенко и Ахматовой. Сведения о собрании я получил из первых рук. Это было, несомненно, ужасно, хотя обстоятельства того времени и особенно, конечно, близость войны не то чтобы смягчали ударную силу, но как-то люди привыкли уже к беде”<sup>27</sup>.

С этого времени в партийной организации Ленинградского союза советских композиторов (ЛССК)<sup>28</sup> стали довольно часто критически упоминать имя Свиридова. Публичное выволочку партийные вожди Союза побаивались устраивать – всё же Свиридов только недавно стал лауреатом Сталинской премии! Действовали исподтишка, на своих закрытых собраниях.

Первое партийное собрание в ЛССК в 1946 году состоялось в мае, то есть ещё до августовского постановления. В резолюции этого собрания слышна ещё довольно слабая, глухая критика в адрес Свиридова. Это была ещё даже не критика, а так, коллегиальное увещевание партийных товарищей по творческому цеху. Первое вообще касалось не только его одного, а группы композиторов: “Появившиеся за последнее время произведения камерно-вокальной и романсной литературы композиторов Кочурова, Евлахова, Свиридова, Матвеева и других <...> написаны на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Шекспира и других поэтов прошлого. Уход ленинградских композиторов от тематики современности ведёт, в свою очередь, к утере чувства современности в самом стиле и языке их произведений и создаёт благоприятную почву для появления черт стилизации, а зачастую и прямого эпигонства”<sup>29</sup>.

В другом замечании имя Свиридова уже находится в связке с именем Шостаковича и даётся оценка уже как бы направления: “С другой стороны, в симфонической музыке и особенно камерной музыке ленинградских композиторов проявляются черты некритического отношения к западноевропейскому творчеству. Симфонизм Шостаковича породил, особенно среди молодёжи, многочисленных подражателей. Подражанию подвергаются, главным образом,

некоторые внешние приёмы его творчества, идущие от современной западно-европейской музыки. Этих влияний не избежал, в первую очередь, даже такой одаренный композитор, как Свиридов<sup>30</sup>.

После выхода Постановления от 14 августа 1946 года тучи над Свиридовым сгущаются. Его имя теперь постоянно звучит рядом с именем его учителя. И оба композитора обвиняются в формализме и подражании Западу. Чуткие ленинградские композиторы-партийцы одними из первых внесли свою лепту в формирование идейного багажа “ждановщины”, которая проявится во всей полноте менее чем через два года.

23 августа 1946 года проходит партийное собрание парторганизации ЛССК совместно с правлением ЛССК, правлением ЛО Музфонда и активом творческой организации. Привожу некоторые высказывания, попавшие в стенографический отчёт этого собрания. Вот одно из них. “На творчество наших наиболее талантливых композиторов весьма сковывающе влияют тенденции некритического отношения к западноевропейскому творчеству. Неоднократно это отмечалось в отношении Д. Д. Шостаковича, который бесспорно испытывает сильное влияние, преимущественно западноевропейской музыки. Эти западнические тенденции с большой силой проявляются и среди его учеников и последователей, которые стремятся подражать именно этим сторонам музыки Шостаковича. В частности, даже такой талантливый композитор, как Свиридов, не избег в своём творчестве подражания внешним сторонам творчества Шостаковича<sup>31</sup>.”

Вот ещё одна, по сути, вариация на ту же тему. “Вопросы формализма. Мне представляется, что здесь встаёт вопрос о языке изложения своих мыслей. Если проанализировать формалистическое влияние на современную советскую культуру, которая, главным образом, является продуктом некритического подражания западноевропейским образцам творчества, то, невзирая на сложность этого вопроса (а мы должны выработать в себе способность решать сложные вопросы), здесь речь идёт, в первую очередь, о чрезмерно усложнённом языке, языке, идущем от глубоко субъективного понимания музыкального искусства, доступного зачастую только автору или несколькими его поклонникам. Должен сказать, что опасность эта, несомненно, стоит перед целым рядом товарищей, перед тем же Свиридовым, который прошёл очень сложный творческий путь, который сейчас привёл его к поискам новых средств выражения. А, как известно, простая, ясная и полноценная идея не может быть “вымучена” только из головы автора, всегда должна быть индивидуально претворена преемственно из чего-то идейно глубоко насыщенного в формациях прежних веков. Я нарочно ориентирую в своих ссылках на наиболее ярких и талантливых товарищей, потому что вскрывать какие-то тенденции в творчестве мало одарённых композиторов, творчество которых не имеет общественного звучания, — это бессмысленная затея. Я решил оперировать теми, кто общественно звучит, кому подражают и кто оказывает влияние на развитие музыкальной культуры<sup>32</sup>.”

И вновь выступал непримиримый и убеждённый приверженец социалистического реализма И. Дзержинский. Предвосхищая февральские баталии 1948 года, он выступил с “конструктивным” предложением: “Я думаю, что настал момент, когда надо серьёзно обсудить и поговорить о том направлении, которое приняла наша камерная и чистая музыка симфоническая, которая идёт под знаком и влиянием творчества очень интересного, своеобразного, очень сложного и подчас противоречивого, под знаком творчества Шостаковича. Я интересуюсь не так им самим, как той молодёжью, которую он воспитывает, которая ему поклоняется, которая усваивает его художественное мировоззрение. Михаил Иванович (Чулаки. — А. Б.) упоминал об истоках, на которых воспитывалось творчество Шостаковича. Это полностью западное творчество, ибо как бы ни писали критики, которые сделали из него в своё время идола, как бы ни писали, что там есть русская песня, русские истоки — всё это высосано из пальца. Здесь какие-то симпатии, а по сути, истоки западные. Но если Шостакович как композитор, на мой взгляд, абсолютно уникален, его трудно туда или сюда повернуть, то меня печалит, что его ученики, и подчас очень талантливые (я имею в виду Свиридова), рабски подражают не Западу, а тому Западу, который претворен в индивидуально творчестве Шостаковича, и стараются доказать, что это есть то, что нужно Свиридову, что нужно нам, что мы должны только учиться и принимать во внимание,

а когда мы начинаем дискутировать на эту тему, особенно в последнее время, то нам либо делают небрежный жест, что, дескать, всё равно не поймём, либо просто вежливо затыкают рот<sup>33</sup>.

Но всё это были цветочки, ещё только первое, “робкое дыхание” приближающейся грозы. Наступает 1948 год. Выходит Постановление от 11 февраля. Вслед за ним сразу, ещё в середине февраля проходит большое собрание московских композиторов, на котором “кается” Шостакович. И вот дело доходит до Ленинграда.

В начале марта проходит общее собрание членов ЛССК по обсуждению оперы В. Мурадели “Великая дружба”. На третий день собрания 3 марта председательствует И. И. Дзержинский. Слово берёт композитор и критик В. М. Богданов-Березовский и начинает с критики тогда ещё члена Правления ЛССК М. И. Чулаки за то, что он уклонился от более подробного анализа творчества композиторов-формалистов. “Мне думается, – говорит Валериян Михайлович, между прочим, сын лейб-медика, однокашник Шостаковича, с которым в молодости он дружил, – что, например, надо было более развернуто, с анализом отдельных произведений говорить о последних произведениях композитора Свиридова, вскрывая их рационалистический, головной характер, их искусственную эмоциональность, позу непонятности, принимаемую в них автором, браваду, которая чувствуется в стилистической, интонационной, тематической переключке этих произведений с произведениями современного западного неомодернизма<sup>34</sup>.”

Композитор-партиец В. К. Сорокин подверг разному критику Ю. Вайнкопа за статью о Свиридове: “Образцом критической статьи типа второсортного путеводаителя является статья того же Вайнкопа “Камерная музыка Ю. Свиридова” (Советская музыка, 1947, № 4), где критик ограничивается формальным анализом, игнорируя идейное содержание произведений Свиридова<sup>35</sup>. Милейшему Юлиану Яковлевичу Вайнкопу через год, во время кампании борьбы с критиками-космополитами, ещё не раз напомнят его статьи о Свиридове<sup>36</sup>. Но Сорокин не успокоился на Вайнкопе. Он припомнил М. И. Чулаки, его доклад на отчётно-выборном собрании ЛССК от 13 января 1947 года. “В <...> докладе т. Чулаки следующим образом характеризует творчество Свиридова: “Свиридов – автор широко известных камерных сочинений, один из ведущих советских композиторов. Если при этом учесть большую продуктивность творчества Свиридова, успешно работающего в различных жанрах, станет понятным острый интерес, который вызывает каждое новое сочинение этого непрерывно ищущего, талантливого композитора, и те большие надежды, которые на него возлагаются общественностью”. Как видно из этой цитаты, т. Чулаки не счёл необходимым год тому назад критиковать формалистическое направление творчества Свиридова. Правление занимало примиренческую позицию по отношению к формализму<sup>37</sup>.”

В проекте резолюции собрания имя Свиридова значится во первых строках: “Композиторы формалистического направления оторвались от родной почвы народного творчества и разучились писать для народа. Вредные формалистические влияния сказались в творчестве ряда молодых ленинградских композиторов, например, в партитах и третьем квартете Свиридова...”<sup>38</sup>.

Георгий Васильевич не любил вспоминать это время, лишь изредка и скупо рассказывал, как его ругали, главным образом, его коллеги по Ленинградскому союзу, его бывшие друзья – В. Соловьёв-Седой, И. Дзержинский. Трудно сказать, что он испытывал тогда. Судя по разным признакам, в его жизни наступил самый тяжёлый период. Рушились все творческие планы, летели к черту все договоры, жить было не на что (ведь Свиридов нигде не работал, существовал только за счёт продажи своих сочинений), начались неурядицы в семейной жизни. “Барка жизни встала...” Кончилось всё это уже позднее, в начале 1950-х годов, койкой в клинике нервных заболеваний Военно-медицинской академии на Лесном проспекте...

В 1948 году он ещё по инерции пытался работать над крупными сочинениями, замышлявшимися ранее, до Постановления “Об опере В. Мурадели “Великая дружба”. Показывал в Союзе первые две части Второй симфонии, пытался писать музыку к балету “Смерть инфанты” по О. Уайльду для Ф. Лопухова, камерно-инструментальные сочинения. Но от него ожидали другого. Ожидали, что он создаст нечто “реалистическое” на современную тему, что-нибудь про послевоенное восстановление народного хозяйства или о борьбе

советской молодёжи за мир. Или, по крайней мере, “изящную и красивую” музыку во вкусе тов. А. Жданова. А главное – ожидали сочинения к семидесятилетию со дня рождения тов. И. В. Сталина. Эта славная дата ожидалась вскорости, через год. Многие композиторы как “реалистического”, так и “формалистического” направлений “отметились” на этой дате. Многим хотелось получить выгодный заказ и сорвать неплохой куш. Но Свиридов избрал свою тактику поведения в сложившейся ситуации. Её можно охарактеризовать как “позицию умолчания”. В течение всего 1948 года за эту позицию его постоянно прорабатывали в Правлении, в партийной организации ЛОССК.

Вновь возвращаюсь к протоколам партийных собраний ЛОССК, состоявшихся в течение 1948 года.

Первичная партийная организация ЛОССК Октябрьского района г. Ленинграда.

Протоколы общих партийных собраний.

Начато 19.01.1948

Окончено 16.12.1948

На 67 л.

**Протокол № 3** отчётно-выборного партсобраний парторганизации ЛОССК, состоявшегося 20-21.03.1948.

Присутствуют представители Оргкомитета ССК СССР, члены ВКП(б) т. т. Хренников и Глух.

Президиум: Чулаки, Чишко, Егинтов.

Слушали: Отчёт секретаря Партбюро тов. Энтелиса Л. А. о работе Партбюро.

Л.7

Формалистические произведения Свиридова, в частности, его “Партиты”, получили правильную оценку композиторской общественности, но дальнейшая работа над тем, чтобы заострить внимание всей организации на зловещем рецидиве формализма, не была проведена. А на примере Свиридова можно было и нужно было дать настоящий бой. Это было тем более необходимо, что формалистские тенденции явно сказались в симфонии Финкельштейна, кантате “Весенняя победа” Толстого, оркестровой “Партите” Богданова-Березовского, скрипичном концерте Лобковского и ряде других произведений.

Л.10

Тов. Пустыльник также устанавливает факты отсутствия критических оценок творчества коммунистов; были случайные, отдельные выступления, но не было мнения партийной организации, то же было и в отношении беспартийных, например, Свиридова; в его творчестве были отмечены явления формализма, но парторганизация не сделала из этого выводов, не обобщила, и всё это повисло в воздухе.

Л.12

Тов. Рубцов также считает, что работа в партийной организации и в Правлении Союза была поставлена плохо.

Выводов после общего собрания по поводу оперы Мурадели “Великая дружба” сделано не было, а между тем опасность формализма заключается не только в отдельных лицах, как Свиридов или Вайнкоп, но и в целом ряде музыкальных деятелей-педагогов, исполнителей, даже слушателей.

Резолюция Отчётно-выборного собрания парторганизации ЛОССК от 20.03.1948

Л.22

Борьба с формалистическим направлением не велась систематически и последовательно.

Это привело к ряду творческих неудач в работе беспартийных товарищей (“Поэма о Родине” Шостаковича, партиты Свиридова, симфония Бунина, кантата Толстого и др.).

**Протокол № 4** Общего собрания парторганизации ЛОССК от 29.06.1948 г.

Председатель собрания Л. Энтелис.



О состоянии творческой работы композиторов.

Прения

Л. 42

Тов. Энтелис: Ждать авансов нечего, надо писать музыку такую, какую требует народ, наша партия. Мы обязаны работать, и нельзя терять творческое время, ибо центральный вопрос для нашей организации — это выполнение решений ЦК. Я убедил Радиокomiteeт дать аванс Свиридову, он серьёзный человек и может создать приемлемые произведения<sup>39</sup>.

**Протокол № 7** Общего собрания парторганизации ЛОССК от 14.10.1948 г.

Председатель Егинтов.

Повестка дня: Подготовка к 31 годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Доклад тов. Глуха.

Л. 51

Энтелис: Со Свиридовым, Салмановым мы работали мало.

Чишко: Очень сложен вопрос об оперном либретто, из-за чего многие композиторы не берутся за оперу. Оперные театры никак не поддерживают начинаний композитора. По отношению к таким талантливым композиторам, как Свиридов, мы проявляем излишнюю щепетильность.

Гольденштейн: Мне кажется неверным суждение о работе Свиридова над балетом для ансамбля. Не зная самого Свиридова, я считаю важнейшим участком массовую музыку, в частности, оздоровление массовой балетной музыки является нашим долгом<sup>40</sup>.

Л. 53

Резолюция

Большое количество композиторов не включились в активную творческую работу и не определили тем и жанров, в которых они будут работать. Это, в первую очередь, относится к композиторам, приверженным в прошлом к формализму, — Свиридову, Арапову, Салманову и др.

**Протокол № 9** Общего собрания парторганизации ЛОССК от 16.12.1948 г.

Повестка дня: о состоянии творческой работы организации. Доклад тов. Глух.

Л. 58-59

Есть группа одарённых композиторов, которые до сих пор отмалчиваются; очевидно, они не понимают или не хотят понять своего долга перед народом. Имена этих композиторов: Арапов, Животов, Свиридов. Последний написал неплохую музыку к программе танцевального ансамбля, но это не то произведение, которое требуется от композитора его дарования и с его формалистическим прошлым.

Л. 63

Тов. Матвеев: Свиридов действительно состоит в группе “отмалчивающихся”. Он показал четыре пьесы-пустячка. При обсуждении их на радио Лобковский похвалил эти пьесы, указав как недостаток, что в них “не хватает формализма”.

Резолюция по докладу М. А. Глух:

Л. 66

Отмалчиваются композиторы Свиридов, Евлахов, Арапов<sup>41</sup>.

Свиридова пытались привлечь в политучёбе. Но из этого тоже ничего не вышло. На разного рода собраниях в ЛОССК постоянно звучала тема манкирования Свиридовым политзанятий. Привожу лишь один пример. На общем собрании членов Союза 17 ноября 1949 года секретарь парторганизации ЛОССК т. В. К. Сорокин в своём докладе “О политучёбе членов Союза СК” отмечает: “Следует также указать и на то, что наши видные композиторы, например, Свиридов, Ходжа-Эйнатов не принимают участия в политической работе Союза композиторов”<sup>42</sup>. В проекте резолюции общего собрания членов ЛОССК от 17. XI. 1949 года появляется параграф 2: “Не повышают своего идейного уровня такие видные композиторы, как Свиридов и Ходжа-Эйнатов”<sup>43</sup>.

Не удалось Свиридову избежать экзорцистской процедуры изгнания “дьявола формализма”. Как и его учителю, Свиридову пришлось объясняться по поводу своих формалистических грехов, но не в 1948-м, а позднее, в 1949 году, когда развернулась кампания борьбы с космополитизмом после выхода в газете “Правда” 28 января 1949 года редакционной статьи “Об одной антипатриотической группе театральных критиков”. Кстати сказать, в течение этого года на всех собраниях в ЛОССК склонялись критики, писавшие статьи о Свиридове в предыдущие годы. Больше всего попало за Свиридова бедному Ю. Вайнкопу<sup>44</sup>.

“Покаяние” Свиридова состоялось во время дискуссии о проблемах советского симфонизма, которая проходила в ЛОССК 24 и 25 февраля 1949 года. Дискуссия эта была приурочена к смотру симфонических произведений ленинградских композиторов, ЛОССК готовился представить свои достижения на предстоящем майском пленуме Правления Союза советских композиторов. На заседании Правления ЛОССК от 14 января 1949 года в рамках подготовки к майскому пленуму было решено прослушать и обсудить в конце января – начале февраля ряд произведений ленинградских композиторов: Пятую симфонию В. В. Щербачёва, симфонию “Макбет” Ю. В. Кочурова, симфонические произведения Г. Уствольской, В. Салманова, Б. Клюзнера, И. Дзержинского и других композиторов. 23 января 1949 года состоялось заседание Правления ЛОССК с композиторским активом. Присутствовало много композиторов, в том числе и Свиридов. Выступал приехавший из Москвы М. И. Чулаки, к тому времени заместитель Генерального секретаря Союза советских композиторов. Он доложил об итогах прошедшего в декабре 1948 года Второго пленума Союза советских композиторов СССР в Москве, рассказал, что на пленуме резко критиковали симфонию “Юность” Ю. Левитина (ученика Д. Д. Шостаковича) за формализм, 26-ю симфонию Н. Я. Мяскового и симфонические “Картинки старого Кремля” композитора Ю. Бирюкова – за пассивный традиционализм. И тут же Чулаки заметил между прочим, что газеты “Советское искусство” и “Ленинградская правда” исказили смысл происходившего на пленуме, стараясь больше говорить об опасности традиционализма, нежели формализма. Ленинградская организация в числе отстающих – это констатировал Чулаки. И, чтобы поднять настроение, в конце предложил своим коллегам: “Ленинград должен стать центром русской культуры”. После Чулаки выступил М. А. Глух, в то время заместитель В. П. Соловьёва-Седого, и, как принято в таких случаях было говорить, “дал установку”:

“Перед нами решение задач:

- а) борьба с недостаточной активностью ряда композиторов;
- б) решение глубочайших проблем, связанных с вопросами космополитизма. Перестроить творчество, перевести его на глубокую национальную основу – кардинальный вопрос”.

Выступивший после Глуха музыковед Л. Энтелис призвал композиторов заняться ленинградской темой. И заметил: “Мы знаем талант Свиридова, который сейчас вместо больших сочинений, которые ему по плечу, делает прелестные пустячки”<sup>45</sup>. Свиридов в это время писал для заработка балетную сюиту. Тем не менее, он представил одну часть Второй симфонии для майского пленума.

И вот, наконец, в конце февраля состоялся, как и планировали, смотр симфонической музыки ленинградских композиторов, и после него состоялась дискуссия. В первый день Свиридов и некоторые его коллеги отсутствовали на дискуссии. Это вызвало возмущение прибывшего из Москвы В. Ф. Кухарского, в то время секретаря Правления Союза советских композиторов: “Меня <...> удивляет, неужели тт. Свиридова, Клюзнера, Арапова, Богоявленского и других не волнуют судьбы своего Союза?” Свиридов внял этому призыву и пришёл на продолжение этой дискуссии 25 февраля. И на этот раз он решил выступить. Думаю, что к этому выступлению он готовился. Трудно сказать, в какой степени Свиридов понимал свою задачу, готовился ли он произнести дежурные слова о своих винах и видел ли он необходимость, что называется, каяться на людях. Тем не менее, выступление его, разумеется, изобиловавшее необходимыми казёнными словами из официального лексикона эпохи борьбы с антипатриотизмом и космополитизмом, не похоже на официальную речь. Привожу стенограмму его выступления целиком, как она записана в отчёте.

“Товарищи, происходящая дискуссия выходит далеко за рамки обсуждения произведений. Вопросы, поднятые на сегодняшнем собрании, представляют исключительную важность для дальнейших судеб развития советской музыки вообще и творческой организации в частности. Они во многом касаются и меня, несмотря на то, что о моих сочинениях и не говорилось.

Мы живём сейчас во время резкого обострения борьбы на идеологическом фронте. В этой борьбе не может быть сторонних наблюдателей. Сказанное относится и к нам, композиторам. Тот, кто устраняется от утверждения того нового, что несёт в себе советская действительность, что движет вперёд нашу культуру, тот вольно или невольно становится пособником враждебных нам сил.

В этом свете я рассматриваю борьбу с формализмом и с теми его пережитками, которые ещё гнездятся в нашем сознании.

Как известно, эти чуждые советской культуре тенденции оказались наиболее живучими в жанре камерной и симфонической музыки. Мне думается, это объясняется, прежде всего, недостаточным идейным уровнем наших композиторов, их неумением, говоря словами Добролюбова, “идти вровень с жизнью”, что, естественно, прежде всего, могло сказаться в области данных жанров, требующих от композитора высокого владения искусством идейно-художественного обобщения.

Сказанное я полностью отношу к себе, с чувством глубокой ответственности я сознаю свои прошлые ошибки.

В своих прежних сочинениях я усматриваю два основных идейных, и следовательно, и художественных порока: во-первых, уход от действительности в узкий мир субъективных настроений личного плана, к решению частных задач, порой понимаемых абстрактно-технологически, а во-вторых – при попытках воплощения образов действительности подмена их, благодаря излишней психологизации, опять-таки своими субъективными переживаниями, которые, в конечном итоге, заслоняли и вытесняли основной образ. Вот почему столь свойственная мне тяга к широким песенным образованиям оказалась вытесненной экспрессионистическими извращениями. Мне непосредственно угрожала опасность зайти в творческий тупик. Историческое постановление ЦК помогло осознать свои ошибки.

На первых порах мне было и легко найти правильные пути решения новых творческих задач. Я понял, что, прежде всего, мне нужно приблизиться к живой широкой аудитории. С этой целью я обратился к написанию популярной театральной музыки. Мне это дало немало. Однако я рассматриваю свои последние работы лишь как первый, пробный шаг на пути демократизации всего музыкального языка и мышления. Патриотический долг зовёт меня принять посильное участие в разрешении великой задачи воплощения в музыке положительного героя нашей советской действительности. Хочу попытаться это сделать в симфоническом замысле.

Я позволил себе занять ваше внимание изложением мыслей о своих ошибках и надеждах потому, что, думается, в той или иной мере творческие ошибки, надеждающие в результате отгораживания художника от жизни, свойственны многим из нас. Об этом уже много говорилось на нашем заседании, и я не хочу повторяться.

Особо хочу отметить правильное и содержательное выступление И. И. Дзержинского. Но не вправе ли мы бросить и ему упрек в том, что он в своём последнем симфоническом сочинении ушёл от современности в образы прошлого? Эта опасность стояла и, быть может, стоит перед другими членами Ленинградского Союза композиторов.

Вот почему прав т. Кухарский, когда он отмечал, что наша творческая организация, к сожалению, не занимает должного места в первых рядах творческой общечеловечности. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы добиться резко повышения идейного и творческого уровня нашего Союза. Все условия для этого у нас есть.

Сам факт обсуждения произведений, стоящих в порядке для сегодняшней дискуссии, несмотря на ошибки и недостатки, которые свойственны всем произведениям, говорят о том, что мы обладаем рядом талантливых мастеров, которые с успехом могут взяться за разрешение тех больших творческих проблем, которые поставлены перед всеми нами. Герои наших дней, вожди народа, герои Отечественной войны, герои труда – вот кто должен найти место на страницах наших произведений.

Нет, не может быть ни одного композитора, активно не работающего над современной темой.

Вот какова наша задача, и мы должны возможно скорее её решить<sup>46</sup>.

Трудно сказать, какого рода выступления от Свиридова ждали руководители Ленинградского Союза композиторов. Тот же В. П. Соловьёв-Седой, те же И. Дзержинский, В. Сорокин, Л. Энтелис. Думаю, что они испытывали недоумение и не могли понять, как реагировать на это выступление. Вроде бы в нём были употреблены все правильные, соответствующие слова, но они как-то были не так употреблены, не так расставлены акценты, не упоминались имена Жданова, Сталина, не цитировались их слова, ни словом Свиридов не упомянул и не покритиковал своего учителя. Короче, выступление выбивалось из обычного, точно выверенного “стандарта” публичных выступлений в Союзе того времени. Тем не менее, оно вызвало реакцию.

Первым откликнулся В. Ф. Кухарский: “Товарищ Свиридов был совершенно прав, когда сказал, что наша двухдневная дискуссия выходит за узкие рамки обсуждения и оценки только тех произведений, о которых вчера и сегодня идёт речь”<sup>47</sup>. Надо сказать, что Кухарский относился в то суровое время со скрытой симпатией к Свиридову. Почти одногодки, они знали друг друга ещё по консерватории. Может, это обстоятельство сыграло свою роль, а может, уже тогда будущий замминистра культуры СССР осознал, что имеет дело с неординарной личностью, талантом. Внимательно проанализировав все выступления в ту пору Василия Феодосьевича, где он упоминал Свиридова, я пришёл к выводу, что по отношению к Свиридову Кухарский вёл себя порядочно.

И всё же один человек из руководства ЛОССК решился отреагировать на выступление Свиридова. Это был весьма скромный композитор-партиец, выдвинувшийся в эти тяжкие годы на руководящие должности, — М. А. Глух. После одобрительных слов вышестоящего Кухарского, Глуху ничего не оставалось делать, как тоже похвалить Свиридова. “Хорошо выступал Свиридов. Сейчас нужно переходить к произведениям, проникнутым духом современности, а когда вы будете брать современный замысел, то вы должны будете серьёзно подумать о проблеме положительного героя”<sup>48</sup>.

И всё же попытка Свиридова работать в жанре симфонии ни к чему не привела. На майском пленуме была исполнена первая часть Второй симфонии, а также несколько номеров из его танцевальной сюиты (“Молодёжный танец” и “Галоп”)<sup>49</sup>. Первую часть симфонии даже хвалили, но по одной части, конечно, трудно было составить представление о целом замысле.

Сохранился стенографический отчёт общего собрания членов Союза советских композиторов под председательством В. П. Соловьёва-Седого, посвящённого итогам майского пленума 31 мая 1949 года<sup>50</sup>.

Привожу несколько высказываний.

Тон обсуждению симфонии, в целом положительный, задал В. П. Соловьёв-Седой в своём докладе: “Исполнявшаяся в концерте одна часть симфонии Свиридова, конечно, не даёт нам полного представления об этом сочинении талантливого композитора, но эта часть порадовала нас. Мы услышали знакомого нам по своим удачным сочинениям прежнего Свиридова, глубоко лиричного и понятного. Отдельные незначительные отзвуки его формалистических, надо думать, прошедших увлечений, кое-где мелькающие на страницах партитуры, тонут в обаянии напевности основных пластов музыки этой части. Мы будем с нетерпением ожидать окончания этой симфонии и надеяться, что взыскательный художник Свиридов и в последующих частях своей симфонии найдёт достойные его дарования разрешения этой темы и с честью её закончит”<sup>51</sup>.

Поддержал Свиридова Ю. Я. Вайнкоп: “... Очень трудно, конечно, судить по одной части о симфонии Свиридова. Я не знаю, что у него задумано, какой музыкальный материал. Бесспорно, там имеет место рецидив прошлого, но там есть хороший мелос, связанный с интонациями массовой советской песни <...>. Этот язык массовой советской песни сыграл положительную сторону. Я должен сказать, что пока это талантливая заявка на творческую перестройку, эту линию перестройки нужно всемерно поддерживать, а композитору её усилить, надо сделать мелодию становой хребтом произведения, этого подчас не хватает в некоторых вещах”<sup>52</sup>.

Прибывший из Москвы Мариан Коваль уже в чине заместителя Генерального секретаря Союза композиторов СССР в своей довольно длинной назида-

тельной речи призывал ленинградских композиторов “не бояться ясности и чистоты мелодики и не затушевывать её колористическими выдумками” и выразил опасение, что “иногда композитор ещё находится в мире звуков очень индивидуалистических и с трудом из этого мира выбирается”. И тут же привёл в качестве примера Свиридова: “Мне кажется, что симфония очень талантливого композитора Свиридова представляется каким-то эскизом какого-то очень серьёзного произведения, но в котором нет ясно намеченных целей, для кого и для чего это произведение предназначается и какую идею это произведение должно выразить”<sup>53</sup>. На Ковалю произвёл отрадное впечатление “Галоп” Свиридова. Это совершенно банальная музыка чисто опереточного характера (Свиридов прекрасно знал оперетту, в это время писал очередную, вторую по счёту). Но Ковалю показалось это сочинение “многообещающим” и, самое нелепое, он видел в нём “настоящее открытие”, чуть ли не перспективу для Свиридова. В заключение своей речи он выразил пожелание: “Свиридову необходимо ещё решительнее повернуться в своём творческом мышлении в сторону русской музыки, пока он ещё боится разговаривать на чисто русском языке”<sup>54</sup>. Любопытно, что Свиридову нравились ранние песни Ковалю, его зарисовки городской жизни эпохи нэпа вроде песни “Замоскворецкая”. И самое интересное, что это пожелание Ковалю было пророческим в своём роде: Свиридов действительно позднее обрёл свой “русский” стиль. Но отнюдь не в духе своего “Галопа”. И не в стилистике той официальной государственной народности, одним из творцов которой в конце Сталинской эпохи был Мариан Коваль, писавший много малоинтересных, невыразительных песен для хора им. М. Е. Пятницкого.

На эту же сомнительную дорожку предлагал вступить Свиридову и М. А. Чулаки. Ему понравилась, как он назвал его пьесу — “Молодёжная пляска” (помимо “Галопа”, Свиридов показывал ещё несколько номеров из своей танцевальной сюиты, в том числе и “Молодёжный танец” — чисто опереточный канкан). “Среди произведений малых жанров мне очень понравилась “Молодёжная пляска” Свиридова. И мне кажется, это большая удача, чем в подступах к симфонии. Боюсь, что сам Свиридов относится к этому роду творчества как к творчеству второго сорта, но он определённо нашёл себя в этом жанре”. Но Свиридов нашёл себя совсем не в этом жанре и не в жанре симфонии...

Иное услышала в первой части сочинения Свиридова скромная ленинградская композитор Чичерина: “Есть грустные интонации, они мне кажутся трагическими, и хотелось большего просветления в дальнейшем”. Тем не менее, и она отметила, что “Свиридов отошёл от сложности <...>, его музыкальный язык стал яснее, доходчивее, мелодичнее и глубоко талантливым”<sup>55</sup>.

Приехавший из Москвы музыковед И. И. Мартынов из когорты “офицеров музыкальной госбезопасности”, как такого рода критиков называл И. И. Соллертинский, был настроен благодушно, похвалил Свиридова: “Первая часть его симфонии, бесспорно, располагает к себе какой-то чистой музыкой, в ней бросается в глаза очень светлая лирика, она располагает к себе ясностью, чувствуешь желание композитора найти какой-то простой способ высказаться, выразить свои мысли, думы — это в ней чувствуется”. Но тут в голосе Мартынова возникла стальная нотка бдительности: “Но я должен сказать со всей ответственностью, она в то же время поставила меня в некоторое недоумение (sic! — **А. Б.**), особенно в связи с аттестацией, которая была дана этой симфонии, когда было сказано, что эта симфония выражает борьбу демократической молодёжи за мир и свободу. Может быть, вся симфония в целом эту задачу разрешает, тогда это дело другое, но нам показали одну часть, и она оставляет слушателей в недоумении, потому что непонятно, куда это должно повести и как разрешиться”.

Так как Г. В. Свиридов ничего не рассказывал сам и ни в одной из своих многочисленных тетрадей “Разных записей” не оставил никакой записи о своей Второй симфонии, то интерес представляет стенограмма выступавшего на обсуждении партийного вождя ЛОССК, музыковеда Л. А. Энтелиса. Благодаря этому выступлению можно себе представить замысел Второй симфонии. Вот что рассказал Энтелис: “...Первая часть симфонии Свиридова. Вы знаете, сколько у нас было тревожений с этим произведением, репетировались нотные листы, на которых не обсохли чернила потому, что Юрий Васильевич писал в очень большом творческом напряжении, и произведение в той части,

которую мы слышали, не получилось. Я согласен с тем, что должна быть очень ясная концепция направленности. Нам известно, что замысел симфонии Свиридова — борьба демократической молодёжи мира, и этот замысел нужно очень поднимать. Конечно, мы не слышали старого Свиридова, это новый Свиридов, это Свиридов, передумавший много, во многом себе изменивший, но многое ему предстоит ещё делать, и нужно сказать, что тот успех, который имела первая часть симфонии, должен ему подсказать многое о том, что нужно ещё делать и дорабатывать. Мне кажется малоубеждающим вариант замысла двухчастной симфонии: к этой части — ещё одна часть. Может быть, Свиридов творчески убедит в этом, но мне кажется это очень сомнительным, это часть четырехчастной симфонической циклической формы, а не двухчастной<sup>56</sup>.

С симфонией так и ничего не получилось. Нельзя без улыбки читать, что симфония имела программой борьбу за мир молодёжи. Конечно, это была уловка, это был способ “легализации” сочинения, давший возможность её исполнить. Но симфонию Свиридов так и не завершил<sup>57</sup>. После майского пленума осенью 1949 года он показывал наброски второй части Соловьёву-Седому и Хренникову, они забраковали материал, сказали, что это опять возврат к формализму. После неудачи со второй частью Свиридов бросил её писать. Началось время писания музыки для театра, кино. В 1949 году он пишет оперетту “Невеста из провинции” на либретто его знакомой, драматурга и писательницы Музы Павловой, заканчивает два акта в клавире, бросает её, потом, в 1950-м пишет ещё одну оперетту — “Огоньки”.

Вспоминая эти годы, травлю М. Зощенко, его состояние после Постановления 1946 года, Свиридов в “Заметках” 1989–1993 годов признаётся: “Моё положение было тоже ужасным. Я остался без денег, все сочинения из издательства вернули, в том числе “Трио”, только получившее Сталинскую премию 1-й степени. Жил я только на театральные заказы, писал музыку к спектаклям. <...> Жуткое, безысходное было время”<sup>58</sup>.

В Москве в те же дни разыгрывался очередной акт политического спектакля. Сталин поменял команду в руководстве композиторами, наконец-то был создан Союз композиторов СССР, последний из творческих союзов. Жданов умер, назревало “ленинградское дело”, Берия с Маленковым разыгрывали теперь свою “заготовку” с критиками-космополитами. Тучи, казалось бы, сгущавшиеся над композиторами-формалистами, постепенно рассеивались. Не над всеми, но над главными точно рассеивались. Ещё в ноябре 1948 года Шостаковичу было присвоено звание народного артиста РСФСР. В Комитете по делам искусств он подписывает договор на создание оратории “Песнь о счастье” — к 70-летию со дня рождения И. В. Сталина, пишет музыку к кинофильму “Падение Берлина”<sup>59</sup>. В марте 1949 года, будучи членом Советского комитета в защиту мира, он вместе с А. А. Фадеевым и С. А. Герасимовым летит в Нью-Йорк, на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Перед отлётом в Нью-Йорк состоялся известный телефонный разговор Сталина с Шостаковичем. На жалобу, что его музыку не исполняют, Сталин тут же реагирует, делает выволочку Главреперткому, и незамедлительно сочинения Шостаковича были вновь разрешены к исполнению. Шостакович выступает в Карнеги-холле с написанной для него речью, громящей американский империализм, за которую членов советской делегации попросили покинуть США в течение, кажется, 48 или 72 часов.

Сталин позволил Жданову провести “перебор людешек” в среде музыкантов, убрав симфонистов, поставить во главе вновь образованного Союза композиторов песенников, людей родом из глубинки, творцов массовой музыки для народа. Композиторской элите была устроена публичная, чисто показательная “порка”, так сказать, в педагогических целях. Был дан урок, назидание, было объяснено и растолковано, какая музыка была полезна для народа, а какая — опасна. Впрочем, Сталин не дал в обиду главных композиторов-формалистов. Практически все они через год-два получили очередные Сталинские премии. У Шостаковича их было, в конечном итоге, пять, а у Прокофьева — целых шесть. Что-то в роде компенсации за причинённые неудобства...

Не случайно Е. Мравинскому приснились Шостакович и Свиридов 13 января 1948 года! Между ними в то время были очень близкие отношения. Они полностью доверяли друг другу. Вели откровенные беседы. И при всём различии своего положения, при том, что у Шостаковича были связи и покрови-

тели наверху, обоих композиторов объединяло одно чувство ненависти к тирании и её носителю. В разговорах они называли Сталина “Усач” или “дядя Джо”. Уже в 1980-х годах Свиридов запишет в тетради: “Мы были вместе “против”.

\* \* \*

К этому времени Шостакович и Свиридов были уже знакомы свыше десяти лет.

Интерес к Шостаковичу у Свиридова возник сразу, как он приехал в Ленинград в 1932 году. Ещё до занятий композицией он поступил в Центральный музыкальный техникум по классу рояля. Вот как он сам вспоминал об этом: “Приехав в Ленинград, я с изумлением узнал, что здесь живёт и работает большая группа композиторов. Жадно стал я знакомиться с их музыкой. Моё внимание поначалу привлекало многое, но постепенно интересы откristаллизовались. Я сразу выделил для себя музыку В. Щербачёва и его учеников, узнал его блоковские романсы, Третью симфонию (с фортепианными “Выдумками” я познакомился ещё в Курске), Сонату для фортепиано и хор “Скифы” М. Юдина, блоковские романсы П. Рязанова, “Большую сюиту” для фортепиано Г. Попова – всё это играл я с большим увлечением, открывая для себя новый звуковой мир, о котором раньше не мог и подозревать. Событием в моей жизни оказалось знакомство с музыкой Д. Шостаковича. Начиная с Первой симфонии, я следил буквально за каждой нотой, которая выходила из-под его пера, и быстро попал под обаяние его творчества”<sup>60</sup>.

Огромную роль сыграло то обстоятельство, что Свиридов, поступив в консерваторию, хотя и не сразу, можно сказать, случайно, попал в класс Д. Д. Шостаковича. В письме ко мне он описал свой приход к Шостаковичу следующим образом: “Со второй половины учебного года (после каникул) я возобновил занятия, что писал тогда – не помню (была большая “Полька” для ф-но в четыре руки, что-то ещё, кажется соната для скрипки одночастная, уже отзывавшаяся знанием Шостаковича, одна часть фортепианного концерта (до-минор) без партитуры и т. д. Весной 1936 г<ода> через В. А. Барбэ я познакомился с И. И. Держинским и играл ему Пушкинский цикл”<sup>61</sup>.

По рекомендации Ивана Ивановича<sup>62</sup> я показал это сочинение в Союзе композиторов. Показ прошёл очень успешно, мне была назначена для продолжения образования особая Государственная стипендия им. Луначарского, выделенная Совнаркомом для молодого композитора. Эту стипендию в размере 300 руб<лей> в месяц (огромные деньги по тем временам!) с момента её учреждения (в 1935 г<оду>) никто не получал, поэтому мне выплачивали ещё и разницу за прошедшее время. Приходилось 500 руб<лей> в месяц (стипендия в техникуме была 35 руб<лей>, а в консерватории – 45 и 60 руб<лей>). Я зажил, “как падишах” (по выражению М. М. Зощенко), перестал нуждаться и подрабатывать деньги игрою в ресторане или пивной.

Первое исполнение цикла прошло по радио поздней весной (м<ожет> б<ыть>, в мае). Пел Олесь Чижко (и пел прекрасно!), партию рояля играла Бронникова (потом была женой Элиасберга). Вся эта метаморфоза моей жизни произошла мгновенно, ответственный секретарь Союза В. Еф. Иохельсон выразил желание лично со мною познакомиться, я вошёл в орбиту внимания Союза и считался молодой “звездой” или, как тогда шуточно меня называли, “звездо”. Успех меня окрылил и резко выделил, но я этому не удивлялся, так как был довольно-таки самонадеян, по правде говоря...

За весну и начало лета я написал цикл фортепианных пьес (они куда-то исчезли, там были неплохие вещи, я бы теперь их мог издать!). Само собой разумеется, что стиль мой, конечно, был неустойчив. Я колебался между Шостаковичем, который тогда стал писать проще, классичней (в связи с общей тенденцией возврата к классицизму), и более певучей, лиричной манерой письма. В начале лета меня (досрочно) рекомендовали из техникума в консерваторию.

Экзамены я сдал легко, а за лето сочинил ещё две части концерта для фортепиано с оркестром. Зачисленный в класс П. Б. Рязанова, я поблагодарил М. А. Юдина за обучение и стал заниматься очень исправно и прилежно у Петра Борисовича. Он хорошо ко мне относился, мои часы были последними

по расписанию. После уроков я шёл его провожать (он жил где-то в районе ул. Некрасова). Дорога к его дому была каждый раз иною (он её выбирал сам). По пути велись разговоры на самые разные темы, он многому меня учил (как я теперь понимаю!), рассказывал о городе, о музыкантах из Союза, о себе (не чуждаясь даже интимных подробностей жизни), словом, воспитывал вкус, рвение к работе, умело, иронией укрощал молодое честолюбие и т. д. Как я понимаю, отношение было самое доброжелательное.

У него я быстро закончил финал концерта и сделал партитуру (как умел!). Тут случилось, что его отозвали в Москву, назначив консультантом по музыке при Керженцеве, Председателе вновь организованного Комитета по делам искусств. Я остался без преподавателя. Однако через Союз, где меня уже все знали, я смог получать консультации по оркестровке. Об этом мне сказали мои новые друзья, а я тогда общался с группой молодых (уже окончивших консерваторию): Дзержинским, Соловьёвым-Седым, который мне нравился всегда гораздо меньше, Ганом, Фризе, Желобинским (в меньшей степени, он тогда был очень знаменит!) и др. У Ив. Дзержинского я познакомился с Хрениковым, но это было позже, году в 1937, осенью, кажется. Но возвращаюсь к сочинению.

В Союзе мне предложили на выбор двух консультантов: Шостаковича или Чулаки. Я, разумеется, выбрал первого и с нетерпением стал ожидать его согласия посмотреть мою музыку. Через некоторое время мне дали его телефон, и я, робея, позвонил ему и условился о встрече. Захватив с собою ворох музыки: партитуру Концерта, Пушкинские романсы, песни, фортепианные пьесы, Сонату для скрипки и что-то ещё (почти всё это потом пропало в блокаду, сгорело в печке, без особого, впрочем, ущерба для человечества), я за день до встречи не поехал ночевать в Тярлево, где жил тогда в общежитии консерватории, а остался ночевать у друга моего большого – Саши Шмырёва (тогда он был студентом-корабелом), а утром от него отправился пешком со Съезжинской улицы на Кировский проспект, 14, где жил тогда Дмитрий Дмитриевич.

Свидание было долгим, я сыграл ему много музыки. Он сказал что-то вроде: “Вам стоит заниматься музыкой”, – и предложил ходить к нему домой на уроки, зная, что я остался без педагога. Было это в конце 1936 года. Так я стал заниматься у него, показывая разную музыку, которую в то время писал, вернее, заканчивал писать. Новых заданий он мне не давал.

Тут у меня появилась первая в жизни прикладная работа (“халтура”, как это тогда называлось на жаргоне композиторов). Это была программа из “Казачьих песен”, которую я написал для ансамбля песни и пляски Ленинградского дома Красной армии. Подобного рода прикладную работу Шостакович, в общем одобрял, говоря, что композитор должен уметь писать всё, смелее входить в соприкосновение с жизнью (он был врагом “кабинетности” и “кабинетного” стиля музыки) и т. д. Фортепианный концерт я закончил, что дальше писал – сейчас не вспомню. <...>

В 1937 году, в марте или феврале, не помню, Шостакович поступил преподавать в консерваторию. О. Евлахов и я были зачислены первыми в его класс. В 1937 году, осенью состоялась первая “декада Советской музыки” (прообраз нынешних фестивалей). В эту декаду был включён мой фортепианный концерт (я был на втором курсе), играл П. Серебряков, а дирижёром был Мравинский. Концерт имел успех, критика, в общем, хвалила (но не слишком), разумеется, находили и недостатки, которых было – понятно – много (больше, чем надо!).

Первая это была моя вещь для оркестра, оркестровки я не проходил ещё, сочинял всё спонтанно. Концерт игрался и по радио (и в филармонии не раз). Но совершенно особым был концерт (а когда он был – не помню!) в честь 75-летнего юбилея консерватории. Программа была из музыки консерваторских воспитанников, а начиналась Четвёртым ре-минорным концертом А. Г. Рубинштейна. Огромный сборный концерт в двух отделениях (он шёл в Большом зале консерватории им. А. Рубинштейна) заканчивался двумя частями фортепианного концерта Дмитрия Дмитриевича, он играл сам, а потом двумя частями моего бедненького концерта в исполнении П. Серебрякова.

Это был первый в моей жизни *грандиозный* успех, когда я вышел кланяться (на вид был я совсем мальчишкой, худой, тоненький), зал (он состоял из



консерваторцев, их родни и т. д., словом, людей пристрастных) взревел! Я страшно растерялся и тихо говорил: “Спасибо, спасибо, спасибо...”<sup>63</sup>.

Шостакович пришёл в консерваторию через год после публикации статьи Д. Заславского “Сумбур вместо музыки” и последующих статей в газете “Правда”. По иронии судьбы, сразу после выхода в свет статьи “Сумбур вместо музыки”, с февраля по апрель 1936 года, два месяца подряд по четвергам продолжалась общеконсерваторская конференция “Формализм в музыкальном образовании”. На конференции выступали представители разных профессий, певец Иван Ершов, пианистка Н. О. Голубовская, скрипачи, духовики. Но основной спор шёл между композиторами.

В это время в консерватории существовало две кафедры композиции. Одну возглавлял М. Ф. Гнесин, ученик Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. На этой кафедре преподавал и ещё один ученик Н. А. Римского-Корсакова и его зять, М. О. Штейнберг, у которого учился Д. Шостакович. Эта кафедра считалась академической, верной традициям Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова.

Другая кафедра состояла в основном из учеников В. В. Щербачёва. Её возглавлял П. Б. Рязанов. Эта кафедра считалась прогрессивной, её идеологами были сам Щербачёв и Б. В. Асафьев. В 1920-е годы они были видными деятелями Ассоциации современной музыки (АСМ), энергично проповедовали отказ от созерцательного “иллюзорного симфонизма” кучкистов и изучение динамичного, линейного стиля письма, остро-диссонантной гармонии современной западноевропейской музыки. Ориентация на открытия Запада мотивировалась необходимостью интонационной революции, которая рассматривалась как неизбежное следствие революции социальной.

Казалось бы, за своего ученика должен был отвечать учитель, М. О. Штейнберг, но критике подверглась щербачёвская кафедра. Именно эту кафедру обвинили в том, что она стала рассадником формализма в консерватории. В результате Рязанов “убрали с повышением”. Он возглавил отдел музыкальных учебных заведений в ГУУЗ (Главное управление учебных заведений) при вновь образованном Комитете по делам искусств, разрывался в поездках между Москвой и Ленинградом и не мог преподавать. Через некоторое время Рязанов уехал в Тбилиси, кафедру вместо него возглавил Ю. Н. Тюлин. Кафедра постепенно теряла значимость. После войны её перевели в другой статус, она стала кафедрой инструментовки, и композиторы-преподаватели с этой кафедры уже не имели права вести основной предмет — композицию. Ленинградская консерватория потеряла уникальную возможность соревнования двух кафедр композиции. Это соревнование было весьма плодотворным, оно принесло свои результаты — ленинградская композиторская школа в двадцатые—первую половину тридцатых годов была самой передовой в СССР.

Всё изменилось в одночасье, буквально за какие-нибудь несколько месяцев. В консерватории, особенно после техникума, Свиридов почувствовал совсем иную атмосферу. “Туда я пришёл в 1936 году. Обстановка поразила меня сухостью, устарелостью, какой-то замшелой бездарностью. К этому времени (уже был разговор о формализме, ужаснувший меня, как и всех молодых) в Консерватории взял реванш застарелый, “склеротический” академизм. Влияние экспрессионизма искоренялось, и моё поколение попало в ложное положение. Надо было бы пройти через АСМ и искать *новое после него*, а нас отбросили назад по времени и вкусам совершенно устарелым. Это сильно корежило людей. Поэтому пропал, например, свежий, подлинный талант Дзержинского. Он начинал очень яркой, чистой какой-то музыкой: песни /прекрасные!/, “Тихий Дон”, где было много свежего, народного. Тоже было и у поэтов /молодых/. Но тут пошло другое: всё, понятно, смешалось, и вызрел симфонизм Шостаковича”<sup>64</sup>.

Как я мог понять из наших разговоров с Георгием Васильевичем, в то время творчество Шостаковича произвело на него неизгладимое впечатление. В библиотеке Свиридова остался на всю жизнь приобретенный ещё в 1935 году клавир Первого фортепианного концерта Дмитрия Дмитриевича. Мне рассказывал Георгий Васильевич, что он неоднократно посещал спектакль Малегота “Леди Макбет Мценского уезда”, музыку этой оперы он знал наизусть. Между прочим, Свиридов считал первую редакцию оперы более удачной, так

как в ней текст Е. Прейса и Шостаковича более соответствовал, по его мнению, натуралистическому стилю музыки. В опере Свиридов ценил буквально всё, кроме песни Старого каторжанина в последнем акте, в которой он слышал напускную “гражданскую слезу” (Ф. Достоевский). Был молодой Свиридов и на дискуссии по поводу премьеры оперы в Ленинградском Союзе композиторов, помнил, как в её защиту выступал И. И. Соллертинский.

Свиридов отдал дань симфонизму Шостаковича. Об этом красноречиво свидетельствует его Первая симфония, написанная летом 1937 года. И строение, и чередование частей, и состав инструментов (фортепиано во второй части скерцо, точь-в-точь как в Первой симфонии Шостаковича), и характер тематизма и способы развития материала – всё говорило о том, что Свиридов писал свою первую симфонию, чуть ли не копируя её с Первой симфонии Д. Д. Шостаковича, которую очень любил. Симфонический первенец Свиридова был исполнен в сентябре 1937 года в Ленинграде на смотре симфонической музыки ленинградских композиторов, на котором была исполнена (возможно, впервые) Пятая симфония Д. Шостаковича<sup>65</sup>.

Вспоминая своё обучение в классе у Шостаковича, Свиридов отмечал, что главным было не решение технических заданий на уроках, а слушание и исполнение музыки. Позднее он вспоминал, что учились в классе Шостаковича на примерах классической музыки – переигрвали всю классику. Впрочем, новации ученики всё же воспринимали в партитурах учителя, слушая его музыку в филармонии, изучая его партитуры. “Учил своим примером”, – вспоминал Георгий Васильевич. И действительно, в те годы любая партитура Шостаковича была последним словом современной музыки, художественные достоинства делали её непревзойденным образцом. Многие более молодые композиторы невольно подражали Шостаковичу, далеко не случайно появилось выражение “маленькие Шостаковичи”. Подражал и Свиридов, ещё будучи в его классе и позднее, в 1940-е годы. Он вспоминал, как между классами Гнесина и Шостаковича шло соревнование, как с ассистентом Шостаковича И. Б. Финкельштейном исполнял новые, неоклассические сочинения И. Ф. Стравинского, Октет, балет “Пульчинелла”, Симфонию псалмов, переложенную Д. Шостаковичем для фортепиано в четыре руки, “Царя Эдипа”.

Вторая половина 1930-х годов стала поворотной в истории русской художественной культуры, в том числе и в музыке. Не случайно в своём письме Свиридов пишет о том, что стал подражать Шостаковичу, который в 1930-е годы стал писать “классичней”. Это действительно так. Сыграли свою роль разные обстоятельства. В немалой степени на творчество многих композиторов, не только советских, повлияло рождение звукового кино. К тому же к началу 1930-х годов бурными темпами шла сплошная радиофикация СССР. По всей стране, в городских квартирах, на железной дороге, в общественных местах стало появляться радио. На 1 января 1933 года в СССР насчитывалось 2 млн 52 тысячи радиоточек и радиоприёмников. Помимо речевых передач, по радио стала транслироваться музыка. Прежде всего, классическая. Радио и звуковое кино дало импульс для развития массовой песни. Шостакович откликнулся на “звуковую фильму” и стал одним из пионеров советской киномузыки. И он стал искать новый, более демократичный стиль, теперь ему приходилось считаться с широкой, всенародной аудиторией. Отсюда его замечательные опыты в жанре массовой песни, достаточно вспомнить его чудесную “Песню о встрече” (“Нас утро встречало прохладой”) на слова Б. Корнилова. Между прочим, как заметил Свиридов, в киномузыке, особенно написанной к фильмам, посвящённым революции или гражданской войне, родился и новый драматический тип симфонизма Шостаковича.

Поворот к классическому стилю был замечен во всех искусствах. Тридцатые годы стали годами расцвета советского нового классицизма. В одной из тетрадей “Разных записей” в 1960-е годы у Свиридова появляется следующая запись о советском искусстве тридцатых годов: “Создаётся советское классическое искусство: скульптуры Мухиной, портреты Нестерова, музыка Шостаковича и Прокофьева (позднего Прокофьева, пример – “Ромео и Джульетта”). В театре ставятся классические пьесы, русские и европейские: много Шекспира, много Островского. Знаменитые, замечательные актеры в МХАТе, Малом театре в Москве, в Александринке и Большом драматическом в Ленинграде. Актеры традиционные, с прекрасной русской речью, каждый обладает индивидуальным голосом в прямом смысле этого слова, великолепно играющие

в пьесах классических, способные играть крупных людей, воссоздавать героические и трагические характеры. Нет страха перед масштабом, нет стремления всё уменьшить, обытовить, “очеловечить” в низменном смысле этого слова”<sup>66</sup>.

В других, более поздних тетрадах “Разных записей” он неоднократно будет возвращаться к оценке советского искусства середины 1930-х годов и к ситуации, которая сложилась в советской музыке конца 1930-х. Так, в одной из тетрадей можно найти следующую характеристику искусства того времени: “Короткий период — 1934–1936 годы, до смерти Горького, и тут же падение. Однако 1934–<19>35 годы дали *возвращение* многих писателей в литературу, ошельмованных ЛЕФом и РАППом, и другими троцкистскими организациями, возвращение М. Нестерова, Петрова-Водкина, Палеха и других, но не всех (Булгаков, Платонов). Появление новых талантов в поэзии: П. Васильев, Корнилов, Смеляков (русских!).”

В музыке появилось, несомненно, более очеловеченное искусство, что бы там ни говорилось. Прокофьев (которого я никогда особенно не любил, а тогда в особенности — он казался мне изжитым, устарелым) дал “Ромео и Джульетту” — яркую вещь, хорошие куски музыки в “Александре Невском” (вокальные, например, песня). Правда, всё же это музыка — иллюстративная, бутафорская, изображающая чисто внешние, частные события, без духовной, внутренней силы. Стиль модерн — бессильный создать глубокий человеческий характер, заменивший характер — типом, маской, куклой (типажом в кино), заменивший психологию — динамикой, размышление — действием.

Пятая симфония Шостаковича, несомненно, музыкально наиболее сильная вещь этого периода, несмотря на условности языка (в сущности, музыкальный “воляпюк”)<sup>67</sup>.

Ценным в методе обучения Шостаковича было то, что он не только не препятствовал свободному сочинению учеников, но, наоборот, поощрял их к серьёзной работе. Свиридов быстро развивался как композитор, много работал и имел явный успех в классе. Правда, порой манкируя лекциями и занятиями по другим, особенно не музыкальным предметам. К концу обучения у него уже был солидный запас сочинений. В 1940 году он пишет сонату для фортепиано и сонату для скрипки и фортепиано, по заказу Ленинградского театра оперетты сочиняет музыку к оперетте “Настоящий жених”, сдаёт в театр партитуру, в это же время пишет музыку к своему первому фильму “Поднятая целина”, в конце 1940—начале 1941 года пишет музыку к спектаклю Ленинградского театра комедии по пьесе А. Островского “На бойком месте”, цикл романсов на слова А. Блока и Семь песен на слова А. Прокофьева.

Вспоминая позднее о последних годах обучения в консерватории, Свиридов запишет в одной из своих тетрадей “Разных записей”: “Все предвоенные, суровые, мрачные годы, бесконечные суды, процессы, аресты. Жил я очень одиноко, друзей в истинном смысле слова не имел, были приятели застольного, “собутыльного” типа. Знакомство с Ш<остаковичем>, к которому я относился с огромным пиететом и гордился его доброжелательным (так, по крайней мере, мне казалось) ко мне отношением. Нравилась мне молодая музыка Ив<ана>Дзержинского. В ней была дивная свежесть. Музыка без “симфонизма” (без развития), “без драматизма”, как говорил мой соученик О. Евлахов (тоном осуждения). Мне же как раз это казалось свежим. К сожалению, после первого и большого успеха (с “Тихим Доном”) Дзержинский уже старался угодить, “попасть в тон”. “Поднятая целина” была гораздо слабее: бытовизм, без особой поэзии, дальше дело пошло совсем плохо. Бытовая опера, увы, быстро себя исчерпала.

Государственным искусством стали “симфонизм” и официальная песня (времена Дунаевского). “В бурю” Хренникова — это было уже просто пошло, но “Семён Котко”, написанный на другом уровне таланта, опыта и вкуса, был также фальшив, жанрово малозначителен, кроме этой, хлестко написанной сцены с пожаром, сумасшествием и др. атрибутами оперного натурализма”<sup>68</sup>.

“Занятия в классе [Шостаковича] консерватории и обстановка в нём стала труднопереносимой. К тому времени — 1940 год — я совсем растерялся, не знал, что делать, что писать (и долго не мог прийти в себя). Массовый стиль того времени казался мне попросту ужасным. Следовать же за корифеями — Стравинским, которого я хорошо изучил к тому времени (знал и последние его сочинения: “Персефону”, Симфонию псалмов, балет “Игра в карты”), я не мог, было чуждо.

Симфонии Шостаковича – 5-я, 6-я – имели громадный резонанс, хотя многие кривили рот: и старые, и молодые. Помню, некоторые студенты, например, С. Р. Мусселиус – честнейший человек – называл эти симфонии “Миазма № 1” и “Миазма № 2”. Впрочем, говоря об этом без злобы, а лишь иронически.

Перед самой войной обозначилась музыка Шостаковича: две симфонии (5, 6), квартет № 1, квинтет. Это было очень внушительно, зрело, видна была уже впереди его высшая точка – 8-я симфония, после которой дело постепенно пошло на спад, но конкурента ему всё равно не возникло. В том роде музыки, какой тогда царил, думаю, и невозможно было с ним соревноваться. Новые же идеи ещё не созрели, не обозначились. Да и мудро было им обозначиться. Ведь война шла под знаменем борьбы с национальным (хотя и в уродливой его форме)<sup>69</sup>.

Здесь следует на миг остановиться. Свиридов не случайно вспоминает 1940 год. В конце этого года он приносит в класс Шостаковичу свои песни на слова А. Прокофьева. Обычно сдержанный и крайне вежливый, Дмитрий Дмитриевич не мог скрыть раздражения. Он отчитал Свиридова, сказал, что это сочинение никуда не годится, что в нём Свиридов откровенно опускается в низкий стиль массовой песни. Свиридов, совсем не сдержанный и горячий, вспылал, молча снял ноты с пюпитра, сухо попрощался и вышел из класса. Того самого знаменитого 36-го класса, который и ныне отмечен как класс Шостаковича. Не помню сейчас подробности нашего разговора с Георгием Васильевичем, в котором он рассказал об этом эпизоде, не буду гадать, вернулся ли он через какое-то время к занятиям в классе или не вернулся. Думаю, что всё же через некоторое время занятия возобновились. Не знаю, как этот случай отразился на судьбе Свиридова-студента, но есть один красноречивый факт: Свиридов не сдавал экзамен по специальности по окончании консерватории 21 июня 1941 года. Я своими глазами видел экзаменационную ведомость: фамилии Свиридова там не было.

Эта размолвка не была случайной. После войны Свиридов вернётся к песням на слова А. Прокофьева, добавит к ним ещё одну новую, на слова М. Исаковского, и выпустит тетрадь под названием “Слободская лирика”. Причём первоначально она называлась “Деревенская лирика”. Разногласие между учителем и учеником объясняется различием их вкусов, объяснимым различием истории их слуха, если так можно выразиться, интонационной несовместимостью. Вот где сказались социальные корни участников этого “инцидента”. Дело в том, что Шостакович – горожанин, и не просто горожанин, а родившийся и выросший в столице, имел далёкое предствление о жизни русского крестьянина. Более того. Как можно судить по его творчеству, к крестьянину он относился весьма настороженно, как к патриархальному, косному социальному слою. Примерно так же, как к русскому крестьянину относился М. Горький. Да и не только Горький, но и масса русской интеллигенции. А в годы коллективизации, да и позднее, крестьянин был скорее отрицательным типажом. Достаточно вспомнить фильм Эйзенштейна “Старое и новое”. Да и у самого Шостаковича в опере “Катерина Измайлова” есть весьма характерный персонаж – “Задрипаный мужичонка”. Свиридов был родом из старинной крестьянской семьи. Правда, ни его деды, ни отцы уже не занимались сельским хозяйством, отец был почтовым служащим, а дед Иван Егорович – учителем, тем не менее, Свиридов помнил о своих крестьянских корнях. Впрочем, свою тайную связь с землёй он почувствовал позднее. Но и в раннем, довоенном творчестве его память хранила звучание крестьянской песни, музыки слободы. Ведь в Фатеже, городе, где он родился, можно было слышать песни разных сословий, от крестьянской протяжной до бытового жестокого романса. И неслучайно Свиридов признавался, что в тридцатые годы он колебался, его бессознательно тянуло к песенникам, к Ковалю и Дзержинскому. Тем не менее, Ленинград, его музыкальная культура спасли его от провинциализма. И будучи близким к молодой поросли композиторов песенного направления, он так и не стал вторым Дзержинским или Хренниковым.

Думаю, что песням на слова А. Прокофьева Д. Д. Шостакович не придавал особого значения. Он продолжал следить за творчеством своего стропитового ученика. Когда в конце 1940 года Свиридов закончил писать Симфонию для струнных, то Шостакович порекомендовал её Соллертинскому, она вошла в репертуар Ленинградской филармонии. На майском смотре симфонической

музыки в 1941 году её отметили, она была предметом обсуждения. А ещё в ноябре 1940 года Шостакович выступил в консерваторской газете со статьей о Свиридове, в которой отметил Симфонию для струнных<sup>70</sup>.

Много позднее, по случаю пятидесятилетия Г. В. Свиридова, Дмитрий Шостакович поделился воспоминаниями о своём ученике в ж. “Советская музыка” (1965, № 12). Вот как он вспоминал знакомство со Свиридовым и занятия с ним: “С Георгием Васильевичем я познакомился в 1937 году, когда он пришёл ко мне в Ленинградскую консерваторию из Центрального музыкального техникума. Там он учился у Петра Борисовича Рязанова (ошибка Шостаковича, Свиридов учился у М. А. Юдина. — А. Б.). Это был замечательный учитель. <...>. Я вёл тогда в консерватории инструментовку и только через год начал вести класс композиции. Георгий Васильевич продолжал у меня учиться. Ему было 22 года. Но он всегда поражал, просто поражал меня своим творчеством. Он отличался необыкновенной активностью. Быстро писал, очень быстро писал. На каждый, буквально каждый урок он приносил что-нибудь новое — пьесу для фортепиано, романс, песню. Кстати, Свиридов всегда очень хорошо играл на рояле — превосходный пианист! — и очень выразительно пел. <...>. Со школьной скамьи в его сочинениях всё было в порядке. Я как педагог терялся. Не знал, что сказать: ни к чему нельзя было придираться. Сам Георгий Васильевич проявлял самокритичность. Помню, он написал в те годы фортепианный концерт. Отличное сочинение. Его неоднократно с успехом исполнял Павел Алексеевич Серебряков. Партитура хорошо звучала. Но Георгия Васильевича это не удовлетворяло, и он начисто переориентировал сочинение... .

На экзаменах в консерватории он, конечно, всегда получал “пять”. <...>. Уже в те времена Георгий Васильевич всегда ставил перед собой и перед своим музыкальным творчеством высокие, очень высокие требования. Он всегда сознавал великое этическое значение нашего искусства”.

Они сблизились в годы войны. В июле 1941 года Свиридов попал в армию. Его определили наряду с рядом консерваторских товарищей в Училище военного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). В последний день до того, как немцы окончательно окружили Ленинград, эшелон с училищем успел проскочить и добрался до места своего назначения — города Бирска. Не знаю точно, но у меня есть некоторое предположение, что Свиридова комиссовали из армии не без содействия Шостаковича<sup>71</sup>.

Свиридов попал в Новосибирск зимой 1941 года. Из Ленинграда сюда в эвакуацию выбрался оркестр Ленинградской филармонии со своими дирижёрами Е. А. Мравинским, Куртом Зандерлингом, с художком И. И. Соллертинским, Пушкинский театр. Филармонический оркестр исполнял в Новосибирске Симфонию для струнных (дирижировал Курт Зандерлинг) в 1943 году. В Новосибирск на премьеру Седьмой симфонии приезжал Шостакович. Там он встретился со своими друзьями: Соллертинским, Мравинским. Здесь же произошла встреча и со Свиридовым. Их отношения, в принципе дружественные, возобновились, но теперь уже на новом уровне. Теперь это были отношения между старшим и младшим коллегой. В письме В. Шебалину от 11 августа 1942 года Шостакович пишет: “Я ужасно был рад встрече с друзьями в Новосибирске. Особенно меня порадовал Г. В. Свиридов, который при ближайшем рассмотрении оказался человеком исключительного ума, богатейшей культуры и необычайного благородства”<sup>72</sup>.

В письмах к Соллертинскому в Новосибирск Шостакович постоянно вспоминал Свиридова, просил передавать ему приветы. Думаю, что по рекомендации Шостаковича Свиридов получил заказ на музыку для спектакля Пушкинского театра по трагедии Шекспира “Отелло”. Вероятно, Г. Козинцев, ставивший этот спектакль, предложил писать музыку Шостаковичу, но тот отказался и порекомендовал Свиридова. Когда Шостакович завершил свой замечательный цикл “Из английской поэзии”, то он решил посвятить отдельные песни своим друзьям. И сначала свой знаменитый 66-й сонет посвятил Свиридову, но потому передумал и посвятил его И. И. Соллертинскому, а Свиридову посвятил песню Дженни на слова Роберта Бёрнса.

Забегаю немного вперед, привожу одно письмо Шостаковича Свиридову от 28 апреля 1948 года, в котором он переписал текст знаменитой баллады Бёрнса “Ночлег в пути” со следующей просьбой: “Дорогой Юрий Васильевич. Когда мы с Вами встречались в Москве, я просил Вас написать музыку на

слова Бёрнса-Маршака “Ночлег в пути”. Напишите или романс, или песню. Ужасно мне хочется, чтобы вы это сделали. У Вас это получится великолепно. Я пытался сам написать романс на эти слова, но, к сожалению, у меня ничего не вышло”. И далее Шостакович выписывает текст стихотворения, а в конце ещё раз обращается: “Юрий Васильевич! Я не поленился переписать это прекрасное произведение. Очень хочется мне, чтобы Вы написали романс. Желаю Вам всего хорошего. Привет Аглае Леонидовне<sup>73</sup>. Ваш Д. Шостакович”. Свиридов так и не написал романс на этот текст, но в том же 1948 году у него появляется первая бёрнсовская песня “В полях под снегом и дождём...”, а в начале 1950-х годов он приступает к работе над своим знаменитым циклом Песни на слова Роберта Бёрнса.

На смерть И. И. Соллертинского Шостакович откликнулся своим фортепианным трио, которое очень ценил Свиридов. Свиридов в память об И. И. Соллертинском написал в том же 1944 году фортепианную сонату.

По возвращении в Ленинград осенью 1944 года после снятия блокады отношения между Шостаковичем и Свиридовым возобновляются с новой силой. Они постоянно встречались в Москве и Ленинграде. Сохранилось несколько писем и записок, в которых Дмитрий Дмитриевич просит зайти к нему в номер гостиницы “Европейской”, где он любил останавливаться, приезжая в Ленинград<sup>74</sup>, или заранее, до возвращения в Москву, просил Свиридова позвонить ему.

В первое время по возвращении в Ленинград, в 1944–1947 годах, Свиридов много писал, причём преимущественно инструментальную музыку. В это время у него возникает замысел Фантазии для двух роялей с оркестром, Второго фортепианного концерта, позже – замысел Второй симфонии. Много и плодотворно он работал в жанре камерно-инструментальной музыки, причём весьма успешно. В 1945 году он заканчивает фортепианное трио и квинтет и приступает к сочинению струнного квартета. Квинтет и трио были выдвинуты на Сталинскую премию, прошло только трио. Положительную рецензию для Сталинского комитета пишет Н. Я. Мясковский. Д. Д. Шостакович, будучи членом Комитета по Сталинским премиям, принимает активное участие в выдвижении Свиридова на премию. Не исключаю, что именно он сам выдвинул, минуя Ленинградский союз, на Сталинскую премию струнный квартет Свиридова в 1947 году. Тот самый злополучный квартет, который разругал Гольденвейзер на Совещании в ЦК ВКП(б). Свиридов в это время знакомится с А. И. Хачатуряном. Не знаю, был ли Георгий Васильевич знаком с С. С. Прокофьевым, но они, как минимум, один раз встречались в 1951 году, когда Свиридов ездил от ЛОССК поздравлять Сергея Сергеевича с шестидесятилетием. Позднее Георгий Васильевич поддерживал хорошие отношения со второй женой Прокофьева Миррой Мендельсон. В архиве С. С. Прокофьева сохранилось несколько тёплых писем и телеграммы с поздравлениями, посланные ей Свиридовым после кончины С. С. Прокофьева. В Ленинграде Свиридова поддерживал В. В. Щербачёв, он состоял в близких отношениях с его учеником Ю. В. Кочуровым. Он познакомился с Д. Толстым, который, в свою очередь, познакомил его со своей матерью, поэтессой Н. В. Крандиевской, женой А. Н. Толстого. Складывается круг близких людей, и среди них – ученики или близкие друзья Д. Д. Шостаковича: Галина Уствольская, Револь Бунин, Метек Вайнберг, Маргарита Кусс, Юрий Левитин, Борис Чайковский, Кара Караев, позже Отар Тактакишвили и Владимир Рубин. Обычно в Москве Свиридов останавливался у Метека Вайнберга, в квартире у Михозлса на Тверском бульваре<sup>75</sup>. Он даже прописался временно там, когда приезжал подолгу работать.

Преобладание интереса Свиридова в эти годы к инструментальной музыке, сам выбор жанров, манера письма – всё говорит о сильном влиянии Шостаковича на творческие интересы Свиридова. И это нетрудно понять, так как в это время Шостакович был в самом расцвете сил, писал одно сочинение вдохновеннее другого. К тому же, после триумфального успеха “Седьмой” в странах антифашистской коалиции он становится признанным далеко за пределами СССР. И это вполне заслуженный успех, в эти годы он становится одним из лидеров мировой музыки. Это прекрасно понимал Свиридов. Вот как он оценивал творчество Шостаковича конца 1930–40-х годов и военной поры.

“Периодом духовного подъёма была и война со всеми её ужасами. Она дала прекрасные образцы творчества, из которых на первое место я ставлю

“Василия Тёркина” – гениальную поэму, воплотившую дух нации в роковой момент истории. Прекрасны также многие песни войны (их десятки), которые можно слушать и теперь. И я уверен, их можно будет слушать и в будущем.

Замечательны 7-я и 8-я симфонии Шостаковича – музыкальные памятники эпохи. Им созданы 5-6-7-8-я симфонии, квинтет, Трио, два лучших квартета: I-II, 2-я соната для фортепиано – бессмертные, гениальные произведения. Он слышал это время”.

Свиридов был на всех премьерах сочинений Шостаковича. В Ленинграде он был на всех репетициях и на ленинградской премьере “Восьмой”. Он наблюдал, как Мравинский работал над симфонией, как на репетициях он постоянно задавал вопросы композитору, пытаясь выяснить, правильно ли он интерпретирует тот или иной фрагмент симфонии. Премьера “Восьмой” была триумфом, высшим взлётом в творчестве Шостаковича. Свиридов вспоминал позднее, как Шостакович признался ему после премьеры: “Это моя лебединая песня”.

И вот наступает 1948 год...

С начала этого года и по ноябрь 1953 года ни одно значительное, серьёзное сочинение Свиридова не было издано, не исполнялось в публичных концертах, не звучало по радио. После неудачи с Второй симфонией Свиридов отходит от чистой оркестровой музыки и работает для заработка в театре, в кино. Пишет музыку для сатирических представлений в Ленинградском театре эстрады для Аркадия Райкина, танцы для ансамбля молодёжного танца А. Орбанта. Пишет оперетты, музыку к спектаклям Большого драматического и Пушкинского театра. В Ленинградском театре драмы в начале 1950-х с успехом шёл спектакль “Дон Сезар де Базан”, в котором блистал популярный в те годы актёр В. Честноков. Из этого спектакля самостоятельную жизнь получила свиридовская песня “Маритана”. Были заказы и в кино.

Все эти годы продолжалось тесное общение с Шостаковичем. Дмитрий Дмитриевич принимал участие в делах Свиридова, помогал ему. Он способствовал заключению договора Свиридовым на фильм “Римский-Корсаков”, в котором отмечился небольшим фрагментом своей музыки для изображения композитора-модерниста, прототипом которого являлся И. Ф. Стравинский. В архиве А. Л. Свиридовой и Георгия Георгиевича Свиридова сохранились письма Шостаковича Георгию Васильевичу и Аглае Леонидовне. Из них видно, что Шостакович был в курсе семейных дел Свиридовых, порой пытаясь помочь советом при возникавших размолвках между супругами. Известно письмо Шостаковича медицинскому светилу, академику Петрову с просьбой оказать помощь Свиридову со здоровьем. Ну, и самое важное. В условиях совершенно невыносимых, казалось бы, для творчества, именно в эти годы мучительно, с трудом, с постоянными пробами и отказами, но всё же родился новый, зрелый свиридовский стиль. Свиридов сумел преодолеть и внешнюю цензуру и свой внутренний духовный кризис, который он, несомненно, пережил в смутное время “ждановщины”. Он, в конце концов, приходит к своему жанру, к своей теме и находит свой новый музыкальный язык.

Шостакович сыграл важную роль в истории становления зрелого Свиридова.

Сильное впечатление на Георгия Васильевича произвёл цикл Шостаковича “Из еврейской поэзии”. Это произведение Свиридов любил целиком, вплоть до последнего раздела и заключительной песни “Счастье”. Дело в том, что в этом цикле обычно принято считать по-настоящему ценной его первую половину, посвящённую тяжкой доле живущего в царской России еврейского народа. И когда этот цикл был впервые исполнен в 1956 году<sup>76</sup>, то его последнюю треть обычно рассматривали как необходимую дань, принесённую Шостаковичем в жертву канонам соцреализма, как его намерение довести этот цикл до такого состояния, чтобы его пропустила чуткая цензура.

Под влиянием этого цикла Свиридов начинает работу над своим большим циклическим произведением на слова Аветика Исаакяна. Это была первая вокальная поэма, жанр, по существу, открытый Свиридовым. В отличие от вокальных циклов любимых им немецких романтиков, Шуберта или Шумана, вокальная поэма содержит, наряду с лирическими излияниями, и эпические картины, сцены трагического содержания. В таких поэмах, как “Страна отцов”, “Отчалившая Русь” (на слова С. Есенина), “Петербург” (на стихи А. Блока) затрагивались, как говорил позднее Свиридов, “основы национального бытия”.

Такой была и его первая поэма. Свиридов начал работу над ней в конце 1948 года. Как обычно, он писал несколько разных песен подряд, потом начинал их складывать, составлять из них нечто целое, часть песен отбрасывал, писал новые. В 1950 году первую редакцию поэмы, которая получила первоначальное название “Моя Родина”, он показал в Правлении СК. Её забраковали, сказали, что в ней нет счастливого конца, описывающего радостную жизнь советской Армении. Свиридов ещё дважды показывал её в ЛОССК – в 1951-м и в 1952 годах. На одном из прослушиваний был Т. Хренников. И вместе с Соловьёвым-Седым они опять отвергли поэму, говорили, что она не пройдёт. Настоятельно советовали ему всё-таки переделать её, дописать для конца ещё несколько новых песен. Свиридов делать этого не стал. Он несколько раз пытался изменить композиционный план, написал ещё несколько песен на слова А. Исаакяна, но они так и не вошли в поэму. Она получила строгую, законченную форму с прологом и эпилогом. Свиридов не стремился придать поэме специфический армянский колорит, не использовал армянские народные мелодии. Получилось совершенно оригинальное по языку произведение, песенное в основе, но отмеченное высоким строем чувств, драматизмом. А в живописном, аскетичном фортепианном сопровождении пролога и эпилога чудился суровый, но величественный облик гор. Поэма так и пролежала без движения три года после того, как она была завершена автором. Её исполнение состоялось только после смерти Сталина. Это уже была новая эпоха в жизни страны, в истории её культуры. Исполнение поэмы обозначило новый этап в творчестве Георгия Васильевича Свиридова. И в истории её выхода в свет опять-таки большую роль сыграл Д. Д. Шостакович. Но об этом – в следующей статье.

\* \* \*

В библиотеке Г. В. Свиридова хранился том А. Блока издания 1936 года<sup>77</sup>. По этому тому Свиридов работал над своим циклом романсов на слова А. Блока 1938 года<sup>78</sup>. Стихи, которые он избрал тогда для своего цикла, помечены красным карандашом. Новый слой записей, пометы и отчёркивания синими чернилами появились позднее, после войны. Когда Свиридов уехал из Москвы, то он забрал с собой другой сборник А. Блока, 1940 года издания. Том 1936 года он оставил в Ленинграде. Судя по почерку, чернилам, по отбору стихов, по исчерканному тексту поэмы “Двенадцать”, Свиридов этот том постоянно держал в руках в конце 1940–начале 50-х годов. В конце тома помещены статьи Блока. Они испещрены подчёркиваниями, заметками на полях рукой Георгия Васильевича. В статье “О назначении поэта” Свиридовым на полях отчёркнут абзац и поставлен знак NB. Вот этот абзац: “Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной, безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих – ввести эту гармонию во внешний мир”.

И ниже Свиридов отчёркивает ещё один фрагмент статьи:

“Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором пути, они могли бы изыскать средства для замутнения самих источников гармонии; что их удерживает – недогадливость, робость или совесть, – неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?”

В тетради “Записи 1989–1990, (1996)” содержится следующее воспоминание Свиридова о конце Сталинской эпохи:

“В последние годы жизни генералиссимуса И. В. Сталина обстановка в стране стала ужасающе мрачной: постановления следовали одно за другим, едва ли не все отрасли подвергались суровой критике, люди жили в страхе “за каждый миг в своей жизни”, и казалось иной раз, что Бог дал её челове-



ку напрасно... Я уже не говорю о бесконечном количестве ссылаемых в лагерь, казнимых и т. д. Вообще-то всякий, каждый человек был под подозрением, под наблюдением почти постоянным. Ведь кроме официальных чинов тайной полиции, <были> бесчисленные шпики, тут же рядом с тобою работающие, живущие, сочиняющие музыку, стихи, пьесы, играющие на скрипках, роялях, барабанах; критики, ставящие отметки каждому сочинению и каждому композитору, которые были разделены на категории в соответствии со своими наградами, титулами и пр. Разумеется, не все, но часть их исправно писала доносы. Но в марте 1953 года эта машина вдруг дала неожиданный сбой, резкий толчок, остановку. Через несколько дней всё как бы пошло по старому, но не совсем, а как бы “по видимости”. Все, каждый порознь (за всех ведь не могу ручаться<sup>79</sup>) понимали, что событие эпохи свершилось, но что будет дальше – ждали

*(Продолжение следует)*

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Мравинский Евгений. Записки на память. Дневники. 1918–1987. Текстологическая подготовка, составление и вступ. ст. А. М. Вавилиной-Мравинской. Составитель Летописи жизни и творчества Е. А. Мравинского Ю. Н. Кружнов. СПб, Искусство-СПб, 2004. С. 94.
- <sup>2</sup> В архиве Е. А. Мравинского хранится неопубликованная часть его дневника за 1920-е годы, представляющая собой целый религиозно-философский трактат. Вдова дирижёра А. М. Вавилина показывала мне рукопись этого трактата. Он написан мелким почерком, карандашом, читать его очень трудно.
- <sup>3</sup> См. Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., Международные отношения, 2003.
- <sup>4</sup> В частности, наши музыковеды до сих пор не заинтересовались деятельностью Отдела психологической войны Верховного главнокомандования Союзных экспедиционных сил при Управлении военной администрации США. Это ведомство, возглавляемое бригадным генералом Робертом Макклором, курировало всю культурную деятельность в американской зоне послевоенной Германии. В том числе и в области музыки. Сравнительно недавно обнаружен редкий документ, родившийся в недрах этого ведомства, – Инструкция музыкального контроля № 1. В ней, между прочим, есть такие строки: “Немецкая музыкальная жизнь должна находиться под влиянием положительных, нежели отрицательных образцов (means – средств), т<о> е<сть> путём поощрения музыки, которая нам кажется полезной, и вытесняя то, что мы полагаем опасным” (Ross Alex. The Rest is Noise. London: Fourth estate, 2012. P. 378). Разве это не напоминает директивы Постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года? С той только разницей, что в СССР “опасной” была объявлена “формалистическая” музыка, в то время как американцами она как раз поощрялась. Дабы выбить из немцев националистический дух, торжествовавший в Третьем рейхе, именно национальным традициям была объявлена война. Эстетика музыкального авангарда формировалась под знаком борьбы с любым проявлением национального в музыке. Между прочим, Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте, ставшие главным форпостом послевоенного музыкального авангарда с конца 1940-х годов, финансировались из средств Управления военной администрации США. Сейчас трудно выяснить, что знали в Политбюро ЦК ВКП(б), что знал А. А. Жданов о проводимой американцами культурной политике на территории Германии, но ясно одно: кампания 1948 года точно так же, как и другие идеологические кампании, развёрнутые во второй половине 1940-х годов в СССР, в годы “холодной войны”, возникли не случайно. В беседе 25 сентября 1996 года с музыкальным критиком С. Н. Бирюковым, в то время корреспондентом газеты “Правда”, Свиридов заметил: “композиторское дело 1948 года – это ответ на речь Черчилля в Фултоне, где, по сути дела, была поставлена задача развала нашей страны – то, чего они и добились сейчас... Тогда Сталин принял свои контрмеры, показал, как надо спланировать общество: чтобы все послушными были, а то глядите у меня... Думаю, так”. (Выражаю признательность С. Н. Бирюкову за предоставленную запись беседы и её расшифровку.) Американцы прекрасно понимали, что психологическая война означала достижение военных целей невоенными средствами. И надо признать, что они добились своего. В “Тетради записей” 1989–1990 годов Свиридов записал по поводу Постановлений 1948-го и 1958 года

- следующее: “Сумбурные документы. Несколько верных в основе и глубоких мыслей соединены с примитивным, конъюнктурным толкованием искусства, выраженным в самой грубой, почти “военной” форме. Нынешний этап нашей музыкальной культуры – свидетельство полного торжества отрицавшегося “антинародного” направления. Политики, направляющие мировое движение, оказались сильнее Сталина. Его неудачливые диადохы сдались теперь на милость победителя. Банкир с атомной бомбой купил всё и всех. Р<оссия> пошла с молотка со всеми своими мессианскими затеями” (Свиридов Г. В. Музыка как судьба / Сост., авт. предисл. и коммент. А. С. Белоненко. М., “Молодая гвардия”, 2002. С. 544).
- <sup>5</sup> Странно, но на совещании почему-то не было постановщика оперы Вано Мурадели Бориса Покровского. Был только П. А. Марков.
- <sup>6</sup> Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). [Стенографический отчёт]. М., Правда, 1948. С. 20.
- <sup>7</sup> Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). [Стенографический отчёт]. М., Правда, 1948. С. 57.
- <sup>8</sup> Что дало Мусоргскому возможность показать одновременно два национальных типа: вечно ноющего, забитого Шмуля и неумолимого, непреклонного Самуила Гольдберга.
- <sup>9</sup> АСМ – Ассоциация современной музыки. Русская секция этой Ассоциации в 1920-е годы входила в состав Международной организации современной музыки.
- <sup>10</sup> Мне рассказывал Свиридов, что Гнесин отреагировал на появление “Телескопов” предложением: “А почему не “Унитазы”? “Унитаз” номер один, “Унитаз” номер два” (“Телескопы” представляли собой четыре оркестровые пьесы). Не знаю, имел ли представление Михаил Фабианович о скандальном писсуаре Марселя Дюшана, выставленном в 1917 году под названием “Фонтан”. Впрочем, “Телескопы” были далеки от эстетики *ready made*. Они писались в конце 20-х годов, это было время увлечения машинной цивилизацией. Достаточно вспомнить итальянских и русских футуристов, “умную морду трамвая” и воспевание Бруклинского моста у В. Маяковского, железобетонных рабочих Фернана Леже, “Пасифик 231” Артура Оннегера или “Сельскохозяйственные машины” Дариуса Мийо. В это же время появились “Рельсы” В. Дешевова, “Завод” А. Мосолова. Дань воспеванию новой “железной Америки” отдал и Прокофьев в своём балете “Стальной скок”, посвящённом советской индустриализации. В том же духе были сочинены Вторая и Третья симфонии молодого Шостаковича.
- <sup>11</sup> Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). [Стенографический отчёт]. М., Правда, 1948. С. 162. Об отношениях между Прокофьевым и Шостаковичем много писалось и говорилось. Не буду отсылать читателя к многочисленной и, надо сказать, весьма противоречивой литературе. Думаю, что Свиридов унаследовал от Шостаковича критическое отношение к прокофьевскому стилю и его наследию. Что касается отношения Шостаковича с Хачатуряном, то я сам читал одну из стенограмм заседания секции музыки Комитета по Ленинским премиям, на котором Шостакович критиковал Хачатуряна за музыку к балету “Спартак”. Обычно путают, объединяя вместе критическое отношение к творчеству одного творца со стороны другого с чисто человеческими отношениями между этими творцами. Это разного типа отношения, и они не всегда идентичны.
- <sup>12</sup> 26 января вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “О смене руководства Комитета по делам искусств при Совете министров СССР и Оргкомитета Союза советских композиторов”. М. Б. Храпченко был освобождён от обязанности Председателя Комитета по делам искусств, а в Оргкомитете Союза советских композиторов от руководящей работы были освобождены Хачатурян А. И., Мурадели В. И. и Атовмян Л. Т.
- <sup>13</sup> Надо сказать, что при А. И. Хачатуряне армянская диаспора существенно пополнила ряды служащих учреждений и членов организаций культуры Москвы.
- <sup>14</sup> За свою щедрость, обнаруженную при ревизии деятельности Музфонда, Л. Атовмян поплатился тюрьмой. Это было сильным ударом по группе композиторов-“формалистов”. О взаимоотношениях и деловых связях Шостаковича с Атовмяном можно прочитать во многих биографиях Шостаковича. Но никто из писавших не упомянул один характерный факт: Свиридов помнил, как дома у Шостаковича висел в то время портрет Атовмяна.
- <sup>15</sup> Д. Т. Шепилов и П. И. Лебедев – секретарям ЦК ВКП(б) “О недостатках в развитии советской музыки”. Не позднее 13 декабря 1947 года. Опубликовано в кн.: “Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов 1917–1991” / Сост. Леонид Максименков. М., Международный фонд “Демократия”, 2013. С. 280.

- <sup>16</sup> Шепилов сыграл большую роль в судьбе Хренникова, он «вёл» его до конца своей политической карьеры, успел провести Второй съезд Союза советских композиторов в марте-апреле 1957 года и фактически дал возможность Хренникову сохранить за собой пост первого секретаря СК СССР.
- <sup>17</sup> См. в кн.: «Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 годы». / Сост. А. Артизов и О. Наумов. М., Международный фонд «Демократия», 2002. С. 634.
- <sup>18</sup> В мае 1948 года он был освобождён от этой должности (см. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах по улучшению деятельности ГАБТ Союза СССР» от 17 мая 1948 года. Опубликовано в кн.: «Музыка вместо сумбура...» С. 321).
- <sup>19</sup> «Музыка вместо сумбура...» С. 319.
- <sup>20</sup> П. С. Попков – М. А. Суслову об откликах трудящихся Ленинграда на Постановление от 10 февраля 1948 года. Опубликовано в кн.: «Музыка вместо сумбура...», С. 308–314. Это усердие, увы, не спасло П. Попкова. Через год он будет осуждён по так называемому «ленинградскому делу».
- <sup>21</sup> «Музыка вместо сумбура...» С. 309.
- <sup>22</sup> Там же, С. 310.
- <sup>23</sup> Там же, С. 311.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> Не хочу пересказывать массу анекдотических историй, которыми изобилует литература о Шостаковиче, вроде эпизода, как Шостаковичу, шедшему для выступления к трибуне, какой-то доброхот всучил бумажку, которую якобы Дмитрий Дмитриевич зачитал. Отсылаю любопытствующего читателя к известной, наиболее полной, обстоятельной биографии Д. Д. Шостаковича, написанной С. М. Хентовой. См.: Хентова С. М. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 2. Л., Сов. композитор, ЛО, 1986. Ч. III. Первые послевоенные годы. Гл. «Искусство песенного мелодизма». С. 236–238.
- <sup>26</sup> Исчез с концами, в архиве театра не осталось ничего, ни нот, ни экспликации, ни каких-либо документов о постановке.
- <sup>27</sup> «Музыка как судьба...» С. 534.
- <sup>28</sup> После того, как на Первом всесоюзном съезде советских композиторов был утверждён устав нового Союза советских композиторов, Ленинградский союз получил новое название – Ленинградское отделение Союза советских композиторов (далее сокращенно ЛОССК).
- <sup>29</sup> Первичная парторганизация ЛССК Октябрьского района г. Ленинграда. Протоколы общих партийных собраний. Начато 16 мая 1946 года. Окончено 7 декабря 1946 года. На 57 листах. Протокол № 1. Л. 7. СПб (ЦГАИПД, Ф. 6150, оп. 1, св. 1 ед. хр. 1).
- <sup>30</sup> Там же, л. 8.
- <sup>31</sup> Стенографический отчёт партийного собрания парторганизации ЛОССК совместно с правлением ЛССК, правлением ЛО Музфонда и активом творческой организации 23 августа 1946 года. СПб (ЦГАИПД. Ф. 6150, оп. 1, св. 1 ед. хр. 1. Л. 21).
- <sup>32</sup> Там же, л. 21 об.–22.
- <sup>33</sup> Там же, л. 27–27об.
- <sup>34</sup> СПб (ЦГАЛИ, СПб. Ф. 348, оп. 1, ед. хр. 78). Стенографический отчёт общего собрания членов ЛССК по обсуждению оперы В. Мурадели «Великая дружба» 3 марта 1948 года. На 216 л. Л. 4.
- <sup>35</sup> Там же, л. 198.
- <sup>36</sup> С Юлианом Яковлевичем Вайнкопом (1901–1974) у молодого Свиридова были очень хорошие, тёплые отношения. Вайнкоп был по первоначальному образованию юрист, окончил Ленинградский университет. Одновременно учился композиции, а в конце 1920-х годов занимался у Б. В. Асафьева и В. В. Щербачёва в Ленинградском институте истории искусств. Работал редактором издательства «Тритон». С начала 1940-х годов работал в Ленинградской филармонии. Читал лекции, я помню его выступления в Малом зале им. М. И. Глинки. У Вайнкопа была прекрасная нотная библиотека. В том числе в ней была представлена и современная западная музыка. В библиотеке Г. В. Свиридова сохранились ноты с экслибрисом Ю. Я. Вайнкопа (сочинения Шимановского, Стравинского и др. композиторов первой половины XX века).
- <sup>37</sup> Там же, л. 199.
- <sup>38</sup> Там же, л. 212.

- <sup>39</sup> По всей вероятности, аванс был дан под первую редакцию “Альбома пьес для детей”. Судьбу этого аванса не удалось проследить. Тем не менее, часть пьес всё же удалось издать в том же году репринтным методом. См.: Свиридов Г. Четыре легкие пьесы для фортепиано. Л., Союз советских композиторов, 1948.
- <sup>40</sup> По всей видимости, речь шла о работе Свиридова для Молодёжного ансамбля танца под руководством А. Е. Орбанта.
- <sup>41</sup> СПб (ЦГАИПД, ф. 6150, оп. 1, связка 1, ед. хр. 10).
- <sup>42</sup> СПб (ЦГАЛИ, ф. 348, оп. 1, ед. хр. 98). Стенографический отчёт общего собрания членов ССК под председательством Соловьёва-Седого о присуждении звания лауреата государственной премии, о III пленуме Правления ССК и других вопросах. 17 ноября. На 42 л. Л. 8.
- <sup>43</sup> Там же, л. 40.
- <sup>44</sup> Надо сказать, что стилистика кампании борьбы с космополитизмом, проводившаяся при кураторстве Л. П. Берия и Г. М. Маленкова, резко отличалась от ждановской кампании борьбы с формализмом. В резолюции общего собрания ЛОССК от 5 марта 1949 года встречаются совсем уж хамские выражения, вроде следующего пассажа о литературоведе, театроведе И. Д. Гликмане, верном, преданном друге Д. Д. Шостаковича: “На страницах ленинградских газет подвизается безграмотный, беспринципный “писак” Гликман, не имеющий никакого отношения к музыке” (Резолюция общего собрания Ленинградского отделения Союза советских композиторов от 5 марта 1949 года. СПб (ЦГАЛИ, ф. 348 оп. 1, ед. хр. 85). Протоколы заседания Правления ЛОССК и материалы к ним. 14 января – 10 августа 1949 года. На 106 л. Л. 32). Исаака Давидовича Гликмана я знал с малых лет, он часто бывал у нас в доме. Это был высокообразованный человек, великолепный знаток классической музыки. И. И. Соллертинский ценил его разносторонние познания, вкусы и пригласил на работу в Ленинградскую филармонию, где Гликман познакомился с Д. Д. Шостаковичем и впоследствии был его секретарём. В резолюции собрания встречается “зубодробительная” формулировка, от которой попахивает статьёй УК СССР: “Осудить деятельность Вайнкопа, Друскина, Гинзбурга, Буцкого и их приспешников как антинародную, вредную, направленную на подрыв идейных основ советской музыки” (там же).
- <sup>45</sup> Протокол № 2 Заседания Правления с активом ЛОССК от 23 января 1949 года. То же, л. 8.
- <sup>46</sup> СПб (ЦГАЛИ СПб. Ф. 348, оп. 1, ед. хр. 91). Продолжение Дискуссии о симфонической музыке... 2-й день, 25 февраля 1949 года. На 118 л. Л. 70–72.
- <sup>47</sup> Там же, л. 78.
- <sup>48</sup> Там же, л. 107.
- <sup>49</sup> Сохранилась рукопись партитуры этой сюиты в библиотеке ТРК “Петербург” под названием “Три танца: “Молодежный танец”; “Русский танец” и “Галоп”. Описание см.: Георгий Свиридов. Полный список произведений: Нотографический справочник. / Сост. А. Белоненко. М.- СПб, Национальный Свиридовский фонд, 2001. С. 97 (№ 256).
- <sup>50</sup> См.: СПб (ЦГАЛИ СПб, ф. 348, оп. 1, ед. хр. 97).
- <sup>51</sup> Там же, л. 4 об.
- <sup>52</sup> Там же, л. 14.
- <sup>53</sup> Там же, л. 26 об.
- <sup>54</sup> Там же, л. 27 об.
- <sup>55</sup> Там же, л. 29.
- <sup>56</sup> Там же, л. 44.
- <sup>57</sup> Описание см.: Георгий Свиридов Полный список сочинений: Нотографический справочник... С. 96 (№ 255).
- <sup>58</sup> “Музыка как судьба...” С. 497–498
- <sup>59</sup> Впоследствии оратория получила название “Песнь о лесах”. Вместе с музыкой к кинофильму “Падение Берлина” оратория была удостоена очередной Сталинской премии 1949 года.
- <sup>60</sup> Белоненко А. Начало пути (К истории свиридовского стиля) // Музыкальный мир Георгия Свиридова: Сборник статей / Сост. А. Белоненко. М., “Сов. композитор”, 1990. С. 156.
- <sup>61</sup> Имеется цикл романсов на слова А. С. Пушкина (1935), первое удачное произведение, принесшее известность молодому Свиридову.
- <sup>62</sup> И. И. Дзержинский, известный советский композитор, автор оперы “Тихий Дон”.

- <sup>63</sup> Свиридов Г. В. Письмо А. С. Белоненко, ноябрь 1983. Машинопись с авторской правкой. Хранится в моём архиве.
- <sup>64</sup> Свиридов Г. В. Письмо А. С. Белоненко от 2.11.83. Рукопись. Хранится в моём архиве.
- <sup>65</sup> Об этом смотре нет ни одного упоминания ни в документах фонда Ленинградского Союза композиторов, ни в прессе. Об этом смотре я случайно узнал из дневника М. Ф. Гнесина. Скорее всего, Ленинградский союз композиторов решил устроить предварительное “подстраховочное” слушание новой симфонии Д. Д. Шостаковича, который чувствовал себя неуверенно после летнего посещения “Большого дома” по делу маршала Тухачевского. Помимо симфоний Шостаковича и Свиридова, на смотре исполнялась также симфония А. П. Гладковского.
- <sup>66</sup> “Тетрадь записей” 1966–68, л. 38–40.
- <sup>67</sup> “Музыка как судьба...” С. 212.
- <sup>68</sup> Имеется в виду действительно очень эффектное, театрально зрелищное третье действие оперы. Тетрадь “Разных записей” 1987 (II). Цит. по кн.: Свиридов Г. В. Музыка как судьба... С. 423–424.
- <sup>69</sup> Там же. С. 424.
- <sup>70</sup> Шостакович Д. Талантливый композитор. // “Музыкальные кадры”. 1940. 4 ноября.
- <sup>71</sup> Свиридов на всю жизнь сохранил чувство признательности к своему консерваторскому товарищу Георгию Ержемскому и считал, что именно по его просьбе руководство училища освободило Свиридова от армии. Но комиссовать из армии зимой 1941 года по просьбе двух курсантов (Ержемский обращался к руководству с В. Салмановым, который тоже был курсантом ВНОСа) – это кажется мне очень сомнительным. Здесь не могло обойтись без вмешательства свыше. Г. Л. Ержемский оставил свои воспоминания о кратком эпизоде пребывания Свиридова в училище. См.: Ержемский Г. Свиридов – солдат. Опубликовано в кн.: Георгий Свиридов в воспоминаниях современников. / Сост. и коммент. А. Б. Вульф; Автор предисловия В. Г. Распутин. М., “Молодая гвардия”, 2006. С. 26–38.
- <sup>72</sup> Цит. по кн.: Дворниченко О. Москва. Кремль. Шостаковичу. М., “Текст”, 2011.
- <sup>73</sup> Аглая Леонидовна Свиридова–Корниенко (1927–2012), вторая супруга Г. В. Свиридова. В 1948 году у них родился сын Георгий Георгиевич (1948–1997). Остались её воспоминания о совместной жизни с Георгием Васильевичем, об отношениях с сыном. См.: Свиридова Аглая. Воспоминания о двух Георгиях. Опубликовано в кн.: Георгий Свиридов в воспоминаниях современников... С. 45–79.
- <sup>74</sup> Эту же гостиницу любил и Свиридов.
- <sup>75</sup> В архиве Г. Г. и А. Л. Свиридовых сохранилось несколько писем Георгия Васильевича Аглае Леонидовне с конвертами, на которых указан адрес квартиры Михоэлса.
- <sup>76</sup> Мне рассказывал первый исполнитель цикла Алексей Масленников, что последнюю песню было решено исполнять в ироничном духе, несколько шаржируя.
- <sup>77</sup> Блок Александр. Стихотворения. Поэмы. Театр. / Ред. В. Орлова. Л., Госиздат, “Художественная литература”, 1936.
- <sup>78</sup> См.: Романсы на слова А. Блока: Для голоса в сопровождении фортепиано. Содержание: “Жизнь медленная шла...”; 2. “Душа, когда устанешь верить...”; 3. “Бывают тихие минуты...”; 4. “Повеселюсь на буйном пире...”; 5. “Прощаюсь я...”; 6. “Медленной чередой...”; 7. Незнакомка; 8. “На улице дождик...”; 9. Дым от костра; 10. “Снова иду я...”. В нотах есть только первые четыре номера и номер 8. См.: Георгий Свиридов. Полный список произведений... С. 60 (№ 119).
- <sup>79</sup> “Музыка как судьба...” С. 563.

НИКОЛАЙ ШУМЕЙКО

## ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

*Разношёрстные мысли по поводу столетия со дня рождения величайшего русского композитора двадцатого столетия Георгия Васильевича Свиридова.*

Впрочем, скептики (из числа не шибко просвещённых) возразят, мол, какой же он русский, если он – советский? И какой же он величайший, если известен разве что музыкальной заставкой к теленовостям ОРТ “Время” да музыкальными ламентациями из кинодрамы В. Басова “Метель” 1964 года?

Этим скептикам пусть ответит сам Георгий Васильевич. В его записях есть своя весьма примечательная версия мотивов отравления Моцарта руками Сальери. У Пушкина Сальери реагирует на уличного скрипача, играющего “из Моцарта”, как на унижение великой музыки. На самом же деле этот “скрыпач” унижает самого Сальери, благополучного придворного композитора, и пробуждает в нём чёрную зависть. По мнению Свиридова, он не смог вынести зависти оттого, что даже нищий уличный скрипач играет именно его, Моцарта, музыку. То есть популярность Моцарта оказалась невыносима для успешного придворного композитора Сальери.

Конечно, это не более чем поэзия, но теперь более просвещённые скептики скажут, мол, благодарность Георгий Свиридов получил в своё время и полной мерой от могущественного агитпропа правящей партии: он лауреат Сталинской и Ленинской премий, трёх Государственных премий, кавалер четырёх орденов Ленина и Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, народный артист. Дескать, в то время подобные регалии выдавались исключительно за добросовестное воспевание ударных строек социализма в годы первых пятилеток.

К сожалению, любят у нас ярлыки и крайности: к примеру, если деятель культуры советского времени не был гонимым, то уж точно был гонителем. Дескать, нынче, в век повальной демократии и “строек капитализма” он несовременен, как, например, несовременны деятели, воспевавшие страну серпа и молота, а в ГУЛаге видевшие неудержимый расцвет трудового энтузиазма. Вот если бы он трудился для народа, а не для партии, может быть, всё было бы наоборот.

Кстати сказать, Дмитрия Шостаковича (учителя Свиридова, а впоследствии коллегу, друга и покровителя), который в воспевании трудового энтузиазма “народа-созидателя” преуспел более других (высоких премий у него в два раза больше, а кантата “Над Родиной нашей солнце сияет” написана по заказу Берии), нынче никому не придёт в голову назвать несовременным.

Между тем, даже беглый обзор творчества Георгия Васильевича позволяет сделать вывод, что Свиридов никогда не искал партийных предпочтений, подавая себя в привлекательном свете. Вот поэтому неопубликованная рукопись Д. Шостаковича – сенсация, а у Свиридова их, неопубликованных (и, соответственно, ещё не исполненных) – горы, чуть ли не половина всего им написанного.

Георгий Васильевич всегда был чужаком. Симпатий к белому движению он не испытывал и не мог испытывать – деникинцы порубили его отца шашками. Но и к доблестным строителям социализма он не примкнул. Он был неформатным композитором, выражаясь современным языком. Он писал кантаты на стихи не поощряемых в ту пору (до и после войны) “угарного” Блока, “кулацкого” Есенина и “двурушника” Пастернака, гонимого за Нобелевскую премию.

В 1977 году (когда в СССР был построен развитой социализм) Свиридовская Россия отчала под песни Есенина (вокальный цикл “Отчалившая Русь”) и критики усмотрели (не без оснований, конечно) в последней её части отходный плач. Кроме прочего, Георгий Васильевич проявлял живейший интерес к церковным песнопениям, черпая в них материал и вдохновение и для светского музицирования.

Бонзы могущественного агитпропа, выдавая премии, надеялись направить его в “правоверное русло”. Из этого ничего не получилось. Скажут: а как же “Патетическая оратория”? Всему своё время, а пока задержимся на цикле песен на стихи Пушкина (1935) – первом крупном произведении Г. Свиридова после серии студенческих квартетов, октетов и серенад, принесшем ему неожиданную славу.

Отметим, что этот цикл написал 19-летний композитор. Необычен здесь выбор стихов. Это не разрозненные романсы, но цельная композиция из стихотворений “Роняет лес багряный свой узор”, “Зимняя дорога”, “Няня”, “Зимний вечер”, “Предчувствие”, “Подъезжая под Ижоры”. Одно осеннее стихотворение, три зимних и два весенних, из которых последнее – явно с мечтой о ноябре.

Никакой героики, зато господствуют темы бесов и ожидания грозной бури, рефлексии, элегичные раздумья с интонациями бытовых попевок. Юношеских мажорных настроений поры бури и натиска, какие переживает страна, нет и близко. Поэтому, в отличие от публики, критика встретила этот дебют холодно. Единственно, чего нельзя было не отметить, – это своеобразие и неповторимость авторского стиля, которые до сих воспринимаются без патины архаики.

И следующий значительный вокальный цикл на стихи Лермонтова (1938) продолжает ту же лирическую линию. Свиридов верен себе. Войну он встретил камерным циклом на стихи А. Блока.

И все последующие творения свидетельствуют, что Свиридов настойчив в своём выборе. Судите сами: пьесы для фортепиано, романсы, камерная симфония для струнного оркестра, музыкальная комедия “Раскинулось море широко” (отклик на Великую Отечественную войну), концерт и соната для фортепиано, трио для фортепиано, скрипки и виолончели, инструментальный квинтет и трио, вокальный цикл на стихи А. С. Исаакяна (11 романсов), музыкальная комедия “Огоньки”, музыка к спектаклю “Дон Сезар де Базан”, неудачная попытка оратории “Декабристы”, исповедальный вокальный цикл на стихи Есенина “У меня отец крестьянин” и вокально-симфонический цикл “Памяти Есенина”.

И вдруг – громогласная и громоподобная Оратория (1958), подобная взрыву, внезапному извержению вулкана, рождению сверхновой звезды. И это извержение столь грандиозно и масштабно, что многие исследователи приходят в замешательство, стараясь понять причины её рождения. И в самом деле, великие и грандиозные явления природы имеют обыкновение посылать прежде знаки и вести о себе. Но всё, что написано Свиридовым прежде, не является ни объяснением, ни предвестником, ни предтечей этой оратории.

В “Разных записях” композитор несколько раз пытался объяснить возникновение этого замысла, приводя фразу Генделя о создании им знаменитой “Аллилуйи” к оратории “Мессия”. “Как писала рука такое, не ведаю, Бог ведает”. Музыка такого рода возникает без всяких конкретных причин и рациональных поводов – она вспыхивает, как протуберанец на Солнце, спонтанно, по вдохновению.

И всё-таки объяснение, как кажется автору этих строк, на поверхности. Позади огромный период – пятилетки, ударные вахты, репрессии, разоблачения троцкизма, затем война, тяжелейшая победа, которая, на первый взгляд, в душе композитора ответа не рождает, хотя вся страна живёт надеждами на перемены, на то, что довоенная жизнь с её страхами за жизнь и за судьбу близких не вернётся. Только после смерти Сталина и разоблачения Берии надежды стали сбываться. Венцом их, как гром среди ясного неба, стало хрущёвское обличение сталинизма. Свиридов ещё молчит, разве что пишет романсы для голоса и фортепиано на стихи Р. Бёрнса в переводах С. Я. Маршака. Впрочем, и Шостакович, находясь под воздействием оглушительной тишины, пишет свою 9-ю симфонию, одно из самых камерных и “колыбельных” произведений. Вздох облегчения – так назвал он своё сочинение.

Но выходит легендарное “Постановление” 1958 года об исправлении ошибок. Цитирую: “Вместе с тем оценки творчества отдельных композиторов, данные в известных постановлениях, в ряде случаев были бездоказательными и несправедливыми. Некоторые неверные оценки отражали субъективный подход к отдельным произведениям искусства и творчества со стороны И. В. Сталина”.

Никому тогда и в голову не пришло, что тотальное очернение предшественника вызвано единственным стремлением вычистить себя до сияющей близны (весьма надёжный и рутинный в истории способ).

Вот тогда и прорвало Георгия Васильевича. Его творческое потрясение было столь могуче, что он смог перешагнуть даже через себя. Дело в том, что в ту пору он не любил Маяковского (вся Оратория построена на его стихах) – ни как человека, ни как поэта. Он считал его талантливым, но при этом неискренним, продажным и высокомерным, и эту свою нелюбовь он пронёс через всю свою жизнь.

В своих жертвах Георгий Васильевич пошёл ещё дальше: речь идёт о разрыве с учителем и покровителем Д. Шостаковичем. Тот, как известно, поначалу принял Ораторию крайне негативно.

И тем не менее, отдавшись своей интуиции и весьма дорожа своим замыслом, Г. Свиридов работу продолжил, ибо стихи Владимира Владимировича, “соответствуя текущему моменту”, идеально воплощали замысел Оратории. Найти им замену было невозможно, а для себя и для современников сам Свиридов снял это противоречие тем, что главным действующим лицом является не Маяковский, а просто Поэт – глашатай, предтеча и вождь, спрямляющий пути к Свету. “Я хотел выразить сокровенное тех людей, – пишет Г. Свиридов, – кто воспринимал революцию как истинное обновление мира. Маяковский был одним из таких людей, но я не имел в виду именно его, и герой моего сочинения Поэт – личность собирательная, идеальная”.

Безымянные герои Оратории (былинный народ-исполин, сломавший хребет царизму и фашизму) приветствовали возврат к непогрешимым ленинским нормам, ибо тогда ещё искренне верили в их святость, справедливость и могущество. В этом не было желания композитора подстроиться и примкнуть к хору лояльных и адекватных партийному режиму солистов. Свиридов превзошёл всех. Примечательно, что и Д. Д. Шостакович приветствовал XX съезд своей “Праздничной увертюрой”. В ней господствует искрящаяся радость, серебро и золото труб, праздничная кутерьма, безудержное веселье и карнавальная угар большевистских сатурналий.

У Свиридова же атмосфера Оратории – не праздник: у него литургия в древнем значении этого слова – как связь между людьми и их общее дело. Люди не празднуют, но объединяются для ликования другим способом – подвигом творческого труда, единением во славу Отечества. И рано праздновать – подлинное ликование впереди, ибо новая жизнь с настойчивостью маньяка стучится в двери и окна. И потому призыв композитора к людям – немедленно обновить всю планету!

Между прочим, людей Свиридов не любил – тех, описанных Зоценко, Михаила Булгаковым, Ильфом и Петровым. Он воспевал дух национальной гордости, воодушевление, подъём в едином порыве... Он верил в народ града Китежа, в тот народ, который волею Божьей сохранил себя несмотря ни на что, сохранил свою культуру, достоинство, язык и свою Веру. Кстати, и его любимые Пушкин, Есенин и Блок находили вдохновение именно в этом легендарном Народе. Свиридов, как и они, видел внутренним оком и слышал



внутренним слухом. Вера в народ, как и вера в Бога: блаженны не видевшие, но уверовавшие.

Так неординарно композитор воспел то, чего прежде как будто бы сторонился или о чём высказывался камерно и сокровенно. Кстати сказать, Г. Свиридов не мог воспылать любовью к белому движению, и всё-таки бегство Врангеля окрашено в Оратории в самые проникновенные и милосердные тона сретенской песни “Ныне отпускаеши...”

Что и говорить, Свиридов “измерил эмоциональную глубину истории, известной каждому русскому человеку с детства”. Это и есть высшая гражданственность.

После Патетической Оратории были вокальный цикл на стихи Пастернака “Снег идёт”, “Грустные песни” на стихи Блока и кантата на его же стихи, Драма Пушкина “Метель”, музыка к спектаклю Малого театра “Царь Фёдор Иоаннович”. Интересная деталь: начав работать над “Борисом Годуновым” (для режиссёра Бориса Равенских), он вдруг обнаружил, что сильный и энергичный Борис Фёдорович, способный на преступление ради власти, вдруг отступает перед слабодушным, кротким постником, наделённым, однако, от природы “самыми высокими душевными качествами при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли”, – перед третьим сыном Ивана Грозного, последним представителем московской ветви династии Рюриковичей, имевшим прозвище Блаженный.

То есть и здесь Свиридов верен себе, ибо не ищет руки дающей. Это его рука щедро отдаёт свой талант. Самым непосредственным образом с его родным краем связан хоровой цикл “Курские песни”. Это произведение дало определение новому направлению в русской музыке, получившему название “новая фольклорная волна”.

1970-е и 1980-е годы критики считают наиболее плодотворными в творчестве Свиридова. Но сам Георгий Васильевич не чувствовал здесь всей полноты творческого бытия, как показало дальнейшее. Дело в том, что, будучи превосходным симфонистом, он придавал решающее значение слову (в Курске он учился в школе с библиотечным уклоном). Слово будоражило, пробуждало его фантазию и воображение. Поэтому столь пристально и страстно Свиридов всю жизнь читает поэтов. Особое место в его творчестве занимает Блок. В эти годы он пишет кантату “Ночные облака” для смешанного хора а cappella, 10 романсов, “Песни” и концерт для хора а cappella, вокальную поэму “Петербург”.

Свиридов любил поэму Блока “Двенадцать”. Шествующий перед двенадцатью Христос в финале – “открытие” пролетарских прачек, убеждавших отсталый народ, что большевиков ведёт Христос. Это попытка критиков выдавать желаемое за действительное. Из записок Георгия Васильевича следует, что это не бред пьяных матросов и не рождественский елей. Если большевики и шли за Христом, то только для того, чтобы его распять. А если читатели этого не видят, то Блок их зловеще предупреждает: они идут от Бога, но придут к Нему, и куда бы ни шествовали большевики, в конце пути их обязательно ждёт Христос, но не с наградой, а с воздаянием по делам их.

Должно было случиться, что и сам Свиридов пришёл к Слову в наивысшем его служении – Слову Библии. Здесь он не пионер. Адаптировать церковное пение для светского обихода небезуспешно пытались и П. Чайковский, и С. Рахманинов.

Но отметим, что эти попытки при всей их успешности воспроизводили мелодику, но оставляли за порогом молитвенный дух, который важнее всего остального и который не выходит за пределы церковной ограды. Например, Игорь Стравинский по мере своих протестантских и ветхозаветных сил отметился в этом деле, создав свою музыкальную рецепцию – “Симфонию Псалмов”. Это не его Крестный ход. Западноевропейский человек до мозга костей, Стравинский понял, что православный хоровой ресурс за морем так же хорошо продаётся, как иконы. Он поступил вроде ловкого израильтянина, продающего камешки с горы Синай, Фавор и Голгофы.

Свиридов это учёл и поэтому задумал цикл “Песнопения и молитвы”, где текст, дух и развитая мелодическая просодия слились бы в едином звучании – в молитве.

И всё встало на свои места. К этому Георгий Васильевич не мог не прийти, так как всю свою жизнь он искал свой творческий Иерусалим и, наконец, нашёл его.

Теперь автор, набросав лёгкий графический портрет Свиридова, намерен немного отвлечься, чтобы объяснить себе и читателям причины, по которым нынешнее бытие наследия великого композитора XX века редуцируется к небытию в веке XXI. Факт остаётся фактом: в век информационных ураганов (каких не знал прошлый век) нынешнее более чем скромное бытие музыкального гения похоже на бытие египетских пирамид в пустыне, куда наезжают туристы, фотографируются на их фоне и отбывают. И это не может не навести на горестные мысли.

Проще простого было бы объяснить это “забвение” (или небрежность) очередным “переходным периодом 90-х”, очень кстати затянувшимся на четверть века, сложной международной обстановкой, экономическим кризисом, который также подозрительно тянется четверть века, коррупцией и т. д. Однако по количеству симфонических оркестров на душу населения мы значительно отстаём от добычи нефти и газа. В стране едва наберётся два десятка оркестров, в то время как в Америке каждый университет имеет свой симфонический оркестр. То же самое и в Европе. С академическими хорами ситуация ещё хуже.

При этом, однако, музыка русских и советских классиков периодически исполняется, а творчество Георгия Васильевича уверенной поступью движется к полному забвению. Стоит разобратся, кто и почему сообщил ему эту инерцию (или направление)? Кто выписал ему эту “подорожную”?

В своё время (а именно в первой трети XX века) канадский учёный, патолог и эндокринолог Ганс Селье изучал механику стресса и даже создал целую теорию. Так вот, в одном из своих научных трудов он приводит весьма интересный опыт. Обезьяне вживили в мозг (в отдел, контролирующий процессы удовольствия и наслаждения) электрод, который подключили к слаботочной электрической сети, управляемой кнопкой. Нажатие кнопки посредством небольшого разряда вызывало у обезьяны реакцию наслаждения. Обезьяна быстро усвоила нехитрую науку использования кнопки счастья, после чего животное непрерывно в течение 20 часов нажимало её, пока не упало без чувств и проспало трое суток.

Так вот, в какой степени яблоко является символом закона всемирного тяготения, открытом Ньютоном, в той же степени наша обезьяна символизирует другой закон – второй закон термодинамики, известный как энтропия или угасание. В животном мире, к которому принадлежит и человек, этот закон действует так, что организм ищет кратчайших путей к наслаждениям и удовольствиям в витальной области. Иными словами – всё живое ищет кратчайший путь к достижению удовольствий, и если находит – не свернёт с него ни за что! Восточная поговорка гласит: если осёл постоит в тени, он ни за что добровольно не выйдет на солнце.

Но поскольку человек является ещё и частью духовного мира, то и в поисках духовных удовольствий та же самая кнопка чудес становится для него вожаделенной целью.

Наш эксцентричный опыт здесь послужил художественной иллюстрацией к научным изысканиям другого учёного – австрийского философа и музыковеда Теодора Адорно, который более обстоятельно и применительно к нашему разговору исследовал эту тему. Того самого Адорно, кто вдохновлял и консультировал Томаса Манна при написании им своего трагического романа “Доктор Фаустус”.

В своём труде, посвящённом социологии музыки, Адорно показал, как универсальный закон энтропии действует в восприятии музыки современного ему буржуазного общества. Из-за обилия научной терминологии автор возьмёт на себя труд изложить отдельные положения сего труда своими словами.

Т. Адорно разделяет всех людей, так или иначе воспринимающих музыку, на несколько типов. Наибольший его интерес вызывает тип (Адорно называет его “хорошим”), сформированный механическими (мы бы сказали – электронными) средствами воспроизведения музыки и, благодаря этому, наиболее массовому. Тип восприятия этой музыки также можно определить, как массовый. Так вот, в отличие от профессионального восприятия (которое требует знания законов построения и воспроизведения музыки), этот массовый тип воспринимает звучащую музыку, как собственный родной язык – без специальных знаний грамматики и синтаксиса, неосознанно владея его логикой.

Но у этого восприятия есть существенный изъян: со временем оно вырождается в предпочтение внешнего блеска и виртуозности – того, что мы теперь называем “шоу”. Восприятие такого слушателя атомарно: он ждёт красивых мелодий, величественных моментов, которые позволяют быстро “разрядиться”. Это очень важно нашему эмоциональному слушателю – высвободить эмоции, подавляемые нормами цивилизации и суровой необходимостью самосохранения. “Музыка – это сосуд, куда сливают свободно текущие эмоции страха, согласно психоаналитической теории, или “в музыке заимствуют эмоции, которых не находят у себя”.

Здесь музыка выполняет, по преимуществу, функцию высвобождения инстинктов в строгом соответствии с законом физиологии: если ушибить глаз, возникнет ощущение света. Такого слушателя ещё называют благодарным – он плачет под музыку Чайковского и Рахманинова. Структура музыки здесь не важна, ибо её восприятие крайне поверхностно – только чтобы попроще, побыстрее и подешевле.

Кроме того, музыка для этого типа слушателя ещё и фетиш, то есть имеет знак общественной значимости. Добавим, что такой слушатель легко управляем, ибо доверяет “спецам”. Происходит это оттого, что в музыке человек ищет не духовной работы, а самоуважения и развлечения, то есть это всё та же кнопка, описанная выше.

Такой слушатель получает своё удовольствие гарантированно и с избытком, ибо спрос рождает предложение. Этот тип есть буржуазный тип, ибо является потребителем культуры. И уже в первой трети века ХХ Т. Адорно с сожалением констатировал, что этот тип имеет решающее влияние на официальную музыкальную жизнь, предвидя и оскудение, и мельчание репертуара.

Тип такого слушателя нам не чужд: это и Протасов, в своём гибельном угаре слушающий цыганщину (“Живой труп” Л. Толстого), и жители предпаскальной Москвы, из окон которой раздаются арии из “Евгения Онегина” (“Мастер и Маргарита”).

И, конечно же, нашествие попсы.

Царство попсы не случайно. Это общественный и философский феномен. Её не объяснить духовным оскудением людей. Она – универсальное изобретение сферы услуг, ибо в себе одной она содержит всё, потребное всякому, кто ищет оперативных антидепрессантов. Простыми чувственными мелодиями и попевками и высоким качеством звука попса утоляет эмоциональный голод толпы, проводя тем самым своеобразный слуховой эротический массаж. Если хотите, нехитрые тексты замиряют пылливый дух псевдоумными краткими сентенциями, и вековая мудрость низводится до уровня кратких смысловых монад. И самое главное – попса является успешным заместителем религии! Понятное дело, что не христианской, но не менее важной для её адептов, – с идолами, кумирами, ритуалами, священнодействиями, проповедями и жертвоприношениями. Главное – в её распоряжении все СМИ. То есть попса довольно успешно выработала механизм самозащиты и постоянного возрождения и совершенствования, поскольку её адресат – чувственный человек, всё неплотское оставивший прошлому.

Да, наш тип нынче стал самым массовым “потребителем” музыки. Вот отчего классическая музыка ушла на второй план и дальше, а концерты симфонической музыки превратились в шоу, что и наблюдаем мы в последнее время. Их репертуар превратился в меню, где преимущественно звучат небольшие сочинения, адекватные самым скромным запросам. Скоро и у нас грянут помпезные концерты, как в Германии и Австрии, где блистают оперные звезды с одним и тем же набором сладостных блюд.

Человек не хочет трудиться, и поэтому весь технический прогресс, а также оптимизация и всякие упрощения заточены именно на сокращение усилий и на облегчение быта... И вот благодаря всевозможным гаджетам музыка стала ближе и доступнее, как нижнее бельё. Из жены музыка превратилась даже не в любовницу, а в подругу на час. В век стрессов растёт нужда в оперативной терапии любыми средствами.

Подлинная классическая музыка стала товаром для элиты и фетишем для толстых кошельков: на хороший концерт билеты нынешней интеллигенции не по карману.

Мы ругаем общество потребления и глобализацию, не замечая, что сами их ищем и к ним стремимся, как та обезьяна со своей кнопкой.

Всё это является неизбежным следствием оскудения духовной жизни и коронования Примитива. И в пору радоваться, что хоть вальс и новостная музыкальная заставка не пропали из огромного наследия Г. Свиридова. Но это уже не уличный венский “скрыпач” — каинова печать на нежных телах наших культуртрегеров. В наградном листе Запада каких композиторов только не встретишь из России, но нет там Свиридова. И это нормально: им нас не понять. Мало снести Бастилию. Вот когда на месте Собора Парижской Богоматери выкоют общественный бассейн с туалетом и душевыми, они нас поймут. Но бассейна не случится, и потому у России на Западе нет будущего (пересказ горькой шутки Г. В. Свиридова).

Но пророка нет и в своем Отечестве. Вот проект Концепции Министерства культуры РФ, посвящённой “развитию концертной деятельности в области академической музыки в РФ до 2020 г.” Концепция подобного рода — это компас, азимут. Большой плюс, что Концепция с горечью отмечает увлечение академических коллективов лёгкой музыкой. В Концепции также указаны имена выдающихся композиторов века XIX и XX. А вот Г. В. Свиридов значится по ведомству “другие”. Чего ж удивляться, если к ним и отношение будет, как к “другим”?

Кстати, в Концепции ни слова не сказано об увеличении числа оркестров. Стало быть, до 2020 года ничего не изменится, и вряд ли оркестровый и хоровой репертуары обновятся.

Получается, что обществу таких слушателей, авторов и исполнителей подобного отношения к наследию Георгий Свиридов не то, что не нужен. Он им не по силам. Им его не переварить.

Всё это — видовые признаки общества потребления, которое четверть века назад ещё осуждалось нашей пропагандой как ведущее к отупению, духовному и моральному разложению и упадку; ведущее сознательно, ибо умный человек — плохой покупатель.

Что и говорить, картина печальная и беспросветная, набросанная в жанре иеремиады. И всё же: выкладки Адорно уместны для Германии, но не уместны для России. Мы шире их логики. Мы не подлежим их буржуазным лекалам, мы — поле чудес, где нет героя, который выбросит серебро, чтобы набрать меди. А сказка Андерсена, когда герой, найдя серебро, выбрасывает медь и выбрасывает серебро, найдя золото, — про нас, потому что она адаптирует евангельскую притчу о человеке, нашедшем в поле клад и продавшем всё своё имущество, чтобы единственное то поле купить.

Есть надежда, что угасающему человечеству как нельзя кстати послужит для пробуждения именно “великий рог” Георгия Васильевича, нашего музыкального исполина-мыслителя.

Здесь автор поставит многоточие в надежде, что в будущем великий Свиридов своё наверстает.



*В редакции можно приобрести две новые книги С. Ю. Куняева  
“Нет на свете печальней измены..” или “Ще не вмерла Украина”  
и “Русское слово и мировое зло”.*

*Справки по телефону (495) 621-48-71*

ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ

## МУЖЕСТВО И ВЕРНОСТЬ

*Заметки на полях книги Ивана Переверзина “Росомаха”*

Сегодня, чтобы оставаться русским писателем, необходимо мужество. Впрочем, как и всегда.

В 1992 году Иван Переверзин впервые появляется в Москве. Жизнь поставлена на карту. Или грудь в крестах, или голова в кустах!

Этот переезд не только обострил чувство родины, но ещё больше сгустил и без того крепчайший раствор его поэзии. Мир самым неожиданным образом раздвинулся.

Точно так *“уставшее томиться за тучами солнце, вырвавшись в огромный небесный прогал между светлых туч, горело ярко, я бы сказал, напористо, словно хотело наверстать упущенное из-за дождя время”*.

Теперь это действительно был целый мир, а не только капитоновская начальная школа, не посёлок Жатай и даже не Якутск.

Север просто так не отпускает своих сыновей. Где-то далеко осталась *“глубокая тишина, изредка нарушаемая заречным, далёким кукованием кукушки да лаем собак в посёлке”*.

Знал ли молодой писатель тогда, как много эта тишина земли Олонхо\* для него значит?

Не думаю, что присутствие Ивана Переверзина в нашей жизни случайно, хотя, похоже, сам писатель не особо в это верит: *“Нет, кто бы там что ни говорил, но случайность Богом не предусмотрена. Нет ничего случайного в жизни нашей, всё по воле Божьей, в том числе и так называемые исключения из правил. И, может быть, это исключение и есть высший смысл человеческой жизни на земле, ибо каждая человеческая жизнь никогда не вкладывается ни в какие рамки и правила”*.

Жизнь его действительно не вписывается ни в какие рамки и установления. Это как раз то самое исключение из правил – человек пылкий, деятельный и отчаянно русский. В этом смысле Переверзин – писатель на удивление цельный. Пожалуй, самый цельный из первого ряда в современной литературе.

*“На этом прекрасном свете, в этой тяжёлой и потому интересной жизни, к счастью, Господу было угодно сделать так, что я ради вдохновенной и содержательной – до звона! – жизни должен был доказывать чуть ли не ежедневно своё право на саму жизнь. Доказывать – всем: и силой, и верой, и волей, и мозгами, и, конечно, любовью!..”*

\* “Олонхо” – якутский героический эпос, свод сказаний о древних богатырях.

Это уже философия. Есть где разгуляться, как говорит сам поэт, молодецкой душе.

*“Время не стояло на месте. Миновала ещё одна долгая, с жгучими морозами, с бешеными снежными вьюгами, с безжалостным хиусом якутская зима, за ней, словно быстрокрылый стерх, пролетело жаркое, с проливными дождями, сверкучими молниями, с ухающими, как ночные совы, громами, щедрое на грибы и ягоды лето”.*

Присмотритесь к отрывку переверзинской прозы, и, быть может, найдёте объяснение, как в этой горячей и подчас избыточной живописи слов возникает почти физическое ощущение происходящего. В каждой строчке сквозит радость сопричастности этому миру, всё переливается и дрожит, отчасти меняя очертания. Действительность смешивается с воображением – и наоборот.

Наверное, настоящая литература и есть ощущение невыразимого бытия с оттенками таинства и волшебства. Не будь у Переверзина в крови органически ему присущей переверзинской речевой фантазии, он никогда бы не сочинил такое.

С самого раннего возраста существенное место в художественном мире Ивана Переверзина занимает природа, когда *“цветистая бабочка или шелестящие на ветерке светло-зелёные листья берёз и тополей неожиданно подарят поэтическую строчку, а может, даже целое стихотворение! И ты придёшь в класс, словно свалившись с неба, – с чистой и заполненной чувством прекрасного до самых краёв душой!”*

Это был тот самый возраст, когда нас настигает восторг перед чудесами белого света, когда даже самая малость на этой земле начинает жить своей жизнью. Это была та самая зоркость, что буквально во всём открывает неожиданное содержание.

Отсюда берут начало такие полновесные и такие зримые юношеские строки: *“Клубится тьма, несётся свет, / Пронзая ночь, несётся мимо, / Но сердце дрогнуло в ответ / От красоты неповторимой...”*

Талантливым поэтом Иван Переверзин был уже тогда. В каждом написанном слове мы находим созвучное нам многогранное и противоречивое, почти утраченное сегодня ощущение невероятности жизни, восторга перед красотой этого мира, к которому он пытается приобщить читателя, изображая переменчивую действительность вокруг и ещё более бесконечные перемены внутри человеческого сознания.

В чём секрет? В чём его тайна? Прямого ответа нет в книге.

Талант Ивана Переверзина органичен, как хорошая кровь, воли не занимать, опыт огромен, и опыт этот бесконечно личный. Читаешь – и словно забираешь грудью морозный воздух и чувствуешь, как наполняется душа чем-то несбыточным, и энергия “необъятных сил” властно напоминает о себе.

*“Непогода, которая сопровождала только что закончившийся ледоход на Лене, улеглась. По высокой светло-голубой небесной глади, словно парусники по штилевому морю, бесшумно скользили белоснежные редкие облака. Солнце в золотой короне из ярко горящих лучей стояло в зените, озаряя землю горячим светом. В сухом тёплом воздухе сильно пахло хвоей и смолой. С веток, скрытые от глаз, беззаботно верещали синицы, а где-то в глубине леса куковала кукушка”.*

Оказалось, что вселенная просто искрится светилami и другими небесными телами, пересечена силовыми потоками; и всюду жизнь, и всюду незримый поток энергии, выражением которой, в конечном итоге, являемся мы сами. Книга буквально пронизана жаждой понять человека, и всей душой, и всем сердцем писатель с ним. И литературу он мыслит как выражение нерасторжимой родственной связи между людьми.

*“Вот так началась, но, слава Богу, по нынешний день не закончилась моя покосная страда. И хочется думать – не закончится никогда, а если вдруг и закончится, то я этого уже не замечу.”*

*“Где же вы нынче, мои дорогие, незабвенные отец и мать, дядя Михаил и тётя Тося?!”*

Очевидно, что природа Якутии – очень русская, очень простая и неброская. И в этом её обезоруживающем свойстве, должно быть, и кроется разгадка писательской зоркости. Противостояние доступного в своей чистоте Севера и вдохновенного человеческого сердца определяет сюжеты многих переверзинских сочинений.

Таким поэт и пришёл в этот мир, чтобы *“иметь возможность любить, радоваться, восхищаться природной красотой и природным покоем, которые возносят душу до небес”*. И при всём при этом сохранить свою первозданную цельность.

Творчество писателя связано, главным образом, со страной его детства – Якутией.

Это, прежде всего, живой и точный рассказ о том, что он увидел на Крайнем Севере – и в сельской глухомани, и в городках. Он исследует этот мир на самых разных социальных уровнях. Его интересует как простой охотник-промысловик, так и человек, поставленный управлять людьми, – вся многоликая Русь, с её жизнестойкими силами.

*“На переломе времён”* Иван Переверзин хорошо усвоил справедливый закон русского Севера – закон великодушия и участия в этом мире. Надо сказать, что этот закон не имеет никакого отношения к неписаному высшему праву Джека Лондона.

В тех далёких годах открылось немало неожиданных и значительных встреч, которые подготовили этот перелом. Постигание таких, казалось бы, вечных, но животворных качеств, как *“совесть, сочувствие, милосердие, жалость”*, – неотъемлемая часть становления молодого поэта. Именно здесь, на Крайнем Севере, он впервые постиг азы высшего дара, высшего таланта – дара доброты и человечности.

Эта жизнь *“сильна, как смерть и любовь”*, и сводит на нет все наши усилия опутать её цепями условности. *“Эта жизнь не раз ломала его через колено, топила в ледяной воде, вспухшей в наводнение и летящей по распадку с такой скоростью, что смывала на своём пути даже тяжело гружённые машины”*

В писательстве Переверзин прошёл буквально через всё. Начинать как поэт, потом замечательно проявил себя как публицист, и вот теперь снова как бы начинает с чистого листа – открывает для читателя *“обычную речь”* (Даль) традиционной русской прозы.

*“Была у него одна непреходящая страсть – строить разные лодки, в том числе и небольшие, такие лёгкие, что их можно было запросто одному человеку перенести на нужное место. Строилась она очень легко. Подбирались четыре шестиметровых доски толщиной не более двух с половиной сантиметров, которые после просушки обстругивались со всех сторон. Из двух сколачивалось днище с ребрами жёсткости, а из оставшихся тесин делались борта. Пазы между досками тщательно конопатились и заливались гудроном, расплавленным в бочке на кострище. К бортам на гвоздях крепились из круглого дерева уключины. Одевай на них проушины вёсел из полосового железа – и греби себе в любую сторону!”*

В первой же прозаической книге Иван Переверзин предстает как подлинный мастер изображения всего многоцветья жизни, как в природе, так и в людских отношениях, вмещающих и лирику, и патетику, и бытовые подробности, и стихию невысказанных чувств.

*“Росомаха”* представляет собой не столько фабульно-событийное движение жизни, а насыщенность её сложнейшими оттенками внутреннего диалога, сопутствующего внешнему, но неизмеримо более важного.

*“Однако ближе к вечеру мои мысли заметно успокоились и стали течь ровно, как по высокому весеннему синему небу белые, озарённые солнцем облака. Вдруг услышал я знакомое до боли курлыкание. Поднял глаза и увидел под облаками журавлей, которые клином, равномерно махая неутомимыми крылами, возвращались с далекого юга на север, к родным гнездовьям, чтобы за короткое якутское лето вывести и поставить на крыло потомство. Со светлыми мыслями об этих птицах я и уснул, на случай ночного заморозка, зарывшись поглубже в сено”*.

Писатель не мыслит себя без своих крестьянских корней и со знанием дела описывает течение обычной жизни, подробности земного существования, каждодневные дела и занятия своих героев, их привычки и поступки. Он до тонкостей знает их быт, их предрассудки, их мечтания.

*“По жизни наш герой больше всего любил трудиться, поэтому за что бы он ни брался, – и брался с душой! – вспахивал ли на совхозном тракторе “Беларусь” отвоёванное у царственной тайги при помощи корчевания деревьев бульдозером, пожогом корневищ столетних могучих лиственниц и сосен обширное, протянувшееся к синему горизонту поле для посева озимых или про-*

сто вскапывал штыковой лопатой в приусадебном огороде землю под морковью, — всё у него получалось намного быстрее и лучше, чем у других”.

“Этому герою, работающему и никогда не роптавшему на свой удел, писатель всегда был близок — жизнь и язык безбрежной Лены, холмов и ложбин, ущелий и хребтов всегда были его жизнью и его языком. В этой книге он вернулся в свои пределы, в свои краски и время, его вновь окружает природа его детства, он опять дома. А с отзвуками родных голосов, которые заполняли своей без конца повторяющейся нотой все дни его детства, к нему вернулись воспоминания о суровых зимах, о давнишних веснах, о высоком небе, когда “солнце стояло в зените, но от воды исходила чувствительная прохлада, а встречный ветер так освежающе обдувал лицо, что словно сами собой блаженно закрывались глаза. Волны звонко плескались о борта баржи, но поднятые не ветром, а огромными встречными судами: нефтеналивными танкерами, сухогрузами, пассажирскими теплоходами. Да ещё и снующими вверх и вниз по течению многочисленными лодками с подвесными, стройно гудящими моторами”.

Человеку требуется место, куда можно вернуться. С каждым годом таких мест становится всё меньше. А потому настоящей, подлинной темой его прозы, конечно же, является жизнь человеческого сознания. Порой (особенно в пейзажных отступлениях) читатель может забыть, кто, собственно говоря, рассказчик. В другие моменты (более всего в точках переходов от описаний к действию) Переверзин властно напоминает о себе, и мы с удивлением отмечаем, что рассказ ведёт именно он.

“Прежде чем заснуть, я часто прогонял перед глазами, как киноленту, разбушевавшуюся водную стихию, по которой на всех парусах летит бригантина под моим командованием. Гривастые белопенные волны, перекачиваясь через корабль, чуть не сбивают меня с ног, чтобы унести в море, но я так сильно держусь за ручки огромного штурвала, что успеваю ещё отдавать матросам строгие команды. И, конечно же, выхожу из схватки со штормом победителем!”

Кадры переверзинской “киноленты”, производящие тот или иной эффект, сменяют друг друга так быстро и непринуждённо, что получается своеобразное наложение набегающих, бесконечно разных впечатлений.

“Заснул я не сразу, всё никак не мог отделаться от видений: то перед глазами сплошно лентой проплывали извилистые, едва приметные тропинки, то виделась встревоженные морды собак. Но усталость напирала — и я сдался: погрузился в крепкий, здоровый сон”.

Книга “Росомаха” — это, главным образом, небольшие повести и рассказы — образцы “малой прозы”, связанные неразрывной внутренней жизнью рассказчика.

Любой переверзинский текст сформирован так, что авторство мгновенно становится очевидным. Умение подбирать нужные слова и выстраивать фразы, когда многое лишь обозначено пунктиром, позволяет нам с ходу уловить то, что рассказчик хочет донести. Авторская интонация, та особая атмосфера, присутствующая исключительно его произведениям, ощутима тем сильнее, чем глубже мы погружаемся в произведения, где отчётливо звучат переверзинский голос и тембр, переверзинская мелодия речи, казалось бы, сгущённая до предела.

“Вечернее небо сплошь заполнили косматые свинцовые тучи, при каждом ударе зигзагообразных молний оно озарялось яркими вспышками — сполохами, гром за громом, как филины, ухали раскатисто — и так мощно, словно над самой головой. Проливной ливень из-за сильного ветра, дующего с севера, косо обрушивался на землю с чёрных небес, вода моментально затапливала все выбоины на дорогах, превращая их в глубокие мутные лужи”.

Ни одного “преувеличенного” слова, как сказал бы Иван Алексеевич Бунин. А вот и переверзинский символ веры из рассказа “Три стихии”:

“Но Господь так милостив ко мне неспроста. Может быть, потому, что я живу — на разрыв аорты! Понимаешь, — живу, а не существую. И люблю в жизни — жизнь! И буду её любить даже в смерти!..”

Сочетание разных стилей в одном отдельно взятом отрывке и мужественные попытки ввести в одну композицию разные художественные стихии — эта особенность рассказчика не раз напомнит о себе. Такая эстетическая широта требует не только смелости.

Вольно или невольно, писатель попытался в концентрированном виде ввести в литературу “весь человеческий опыт”. Его мир кажется не просто



широким, а неисчерпаемым. Сквозь призму этого опыта он воссоздаёт своеобразную художественную летопись края, в которой так или иначе находит отражение жизнь всего русского народа.

Собственно говоря, тут три разных мира, постоянно взаимодействующих и обретающих резкость от этого взаимодействия. Это Якутия, потом Москва, потом то, что мы называем за границей. Все они принадлежат одной Книге.

*“Зимовье оказалось старое, неизвестно, кем и когда срубленное из сосновых брёвен. Избушка вся, как старуха столетняя, сгорбленная, со стенами, обросшими сырым, скользким мхом. Кровля, устроенная из надранной лиственничной коры, позеленела от времени, но дождевую влагу не пропускала. В самом зимовье стояла походная железная печурка с сухими берёзовыми поленьями”.*

Этим пристальным взглядом на обыденность жизни автор выгодно отличается от писателей, которые предпочитают в таких случаях всего лишь “исключительное”.

Публика соскучилась по поступкам литературных героев. И Переверзин раз за разом выдёргивает из сонного оцепенения не только своего героя, но и читателя.

Суть такого дарования нельзя ограничивать лишь “текстами”.

Существуют писатели, которые гораздо значительнее своих сочинений. Это как раз тот счастливый случай. Точнее, если произведения и представляют собой безусловный интерес, то благодаря исключительно личным качествам автора – в тексте, за текстом, над текстом, под текстом.

Писатели по-разному входят в жизнь людей своего поколения. Всё происходит или внезапно, или слишком медленно.

Не потому ли нас не покидает ощущение, что Иван Переверзин как бы выпал из литературной жизни своего времени, по крайней мере, той, что протекала на поверхности. Этому можно найти объяснение. Всё это время писатель занимался не шумом, а творчеством. Его “литературный вес” крепчал не от бесконечных телешоу, а от книги к книге.

Как ни странно, пёстрый московский калейдоскоп пошёл ему на пользу. Он сблизился с интересными людьми в самых разных областях, и всё это время продолжал напряжённо и упорно трудиться. Выходят книги, как на родине, так и за рубежом, о нём печатаются статьи. Наш соотечественник Иван Переверзин получает признание читателей и собратьев по перу. Но всё же, несмотря *“на длинный ряд своих добрых дел”*, как в литературе, так и на общественном поприще, мне кажется, Иван Переверзин по-прежнему остаётся одиноким волком. Как и надлежит быть настоящему художнику. Даже любовная страсть не в силах победить эту разобщённость и позволить людям постигнуть то сокровенное, что составляет сердцевину их существа.

*“Догорал костёр. Посмотрев на него, Дмитрий вдруг понял, что, словно этот костёр, в его душе догорают последние чувства к Елене, ещё вчера такой близкой, а сегодня уже недостижимо далёкой, как ставшая к утру почти прозрачной высокая луна”.*

Тайна человеческой закрытости, неспособности людей, даже любящих друг друга, преодолеть силы взаимного отталкивания представляется писателю по-прежнему насущной и значительной.

Герой Переверзина, впрочем, как и сам писатель, – неделимая единица, если так можно выразиться, существующий среди множества таких же замкнутых в себе единиц.

Он давным-давно понял, что лучший способ научиться писать – читать хороших писателей и просто жить. Точка. Без уточнений. Что ещё есть кроме земного, что значительнее страданий безвестных человеческих единиц, осуждённых жить на земле, которая дрожит, разламывается под ногами и в любую минуту может поглотить всех нас навеки. Так было не раз: *“...неважно, идут ли проливные, обложные, с раскатыстыми громами и огненными зигзагообразными молниями дожди, или высоко, на раскалённом добела небосводе пылает вдохновенно, как рябиновый костёр на порывистом ветру, огромное золотое солнце”.*

Именно в этом, земном, наверное, и заключается смысл всего нашего бытия, и разве человек виноват в том, что для него нет ничего больше? Ничего, кроме Бога, обрётённого им для утешения своего. А разве не Бог вложил в нашу душу мысль – единственное орудие самозащиты человека среди пугающей неизвестности?

*“Неизвестность навсегда остаётся со мной! И горе, и радость в неизвестности моей – и не будет горю моему конца, но и не будет конца радости моей!..”*

Говорят, нет более гуманной философии, чем восточная. Эта философия построена, главным образом, на любви к ближнему и восприятию мира как целого. Считается, что она исцеляет.

В лихую годину человек всегда искал опоры и поддержку вере, а зачастую таким вот образом просто бежал от ужасов жизни. Убежать, конечно, можно, растворившись, например, в непроглядной мировой душе.

*“Давно, усталый раб, замыслил я побег...”* – сокрушается Пушкин. Толстой хоть запоздало, но осуществил свою мечту: взял и покинул насиженное гнездо. Вот и буддист Сэлинджер после первых же публикаций оборвал все связи с внешним миром. А буржуазный до мозга костей Жан Поль Сартр вообще подался к коммунистам.

Переверзин не бежит. Он и не думает уступать, когда с поднятой головой сражается за своё человеческое достоинство.

Наверное, поэтому *“Росомаха”* – это, прежде всего, книга о тех, кто скорее пустит себе пулю в лоб, чем поднимет руки, книга о смысле существования, который нужно ещё отыскать среди беспорядка жизни.

*“Кажется, время остановилось, кажется, ещё один шаг – и я умру... Но каким-то чудом всё-таки живу и, собрав остатки сил в кулак, чуть не крича, чуть не плача, подтягиваюсь на руках и переваливаюсь, наконец, через последний горный выступ. В сознании ещё успеваю вспыхнуть понимание того, что я – на вершине, но тотчас теряю сознание. Лежу бездыханно минуту, другую, третью, а когда прихожу в себя, то мне кажется, что прошла целая вечность...”*

В этой статье мне бы не хотелось искать у автора какую-то чёткую, продуманную философскую доктрину, перед нами, прежде всего, – изменчивое, сверкающее бесконечными переливами многообразие жизни.

Любовь – вот что действительно наполняет смыслом и содержанием жизнь, питает художественный талант.

Любовь – это первое слово создателя, первая осиявшая его мысль. Всё, что Господь сотворил, было прекрасно, ни одно творение не хотел бы он вернуть в небытие. И любовь становится источником всего земного и владычицей всего сущего.

А значит, деревья не высохли, и реки текут в том же направлении. Разве что птицы иной раз сбиваются с курса, устремляясь к родным берегам.

Красной нитью проходит через творчество Ивана Переверзина тема любви, а значит, и её постоянной спутницы – смерти.

Когда *“начинаешь день за днём, случай за случаем перебирать в памяти всё пережитое с целью определить: а всё ли сделал, чтобы родной человек смог прожить как можно больше?! И если даже никакой вины не находишь, всё равно продолжаешь, как в поисках алмазов или золота в горном галечнике, неутомимо копать в себе, словно ищешь ту заветную истину всего земного и небесного, от которой в полной мере зависит смысл всей твоей такой беспокойной, такой тяжёлой, но, несмотря ни на что, всё восходящей к счастью жизни”*.

А что такое счастье? Всего лишь *“насыщенная гордость”*, как некогда заметил Лермонтов. И мы знаем, что рано или поздно за любое счастье придётся платить.

Развивая мысль о счастье – *“насыщенной гордости”*, – писатель обнаруживает какую-то сверхжизнеспособную (“экзистенциальную”, говоря языком XX столетия) серьёзность. Счастье как бы венчает постоянную устремлённость героя к метафизической свободе, к выходу из любых зависимостей и связей.

Наверное, нет на свете такой истории, которая не кончилась бы плохо. Похоже, никому на этом свете ещё не приходилось испытывать счастья без того, чтобы он не подумал о том, что произойдёт после. Вот человек и живёт, постоянно балансируя между гордыней и низменными страстями. Только вспоминает он об этой грани часто уже после того, как баланс безвозвратно потерян.

*“И каждый раз, когда ему казалось, что наконец-то повстречалась та единственная, во имя которой он готов взойти на эшафот, чтобы принять мученическую смерть, розовые очки спадали с глаз, ветер сомнений, воорвавшись в душу, выдувал из неё последние язычки пламени тех, как ему*

казалось, высоких чувств, а на самом деле в очередной раз — только вспышки ослеплённого и воспалённого воображения. Образ, автором которого был он сам, по-прежнему оставался образом — и только”.

Автор доносит эту мысль с леденящим спокойствием не потому, что он так думает, а потому, что считает своей обязанностью об этом сказать. А всё ли он сделал? — вновь и вновь спрашивает он самого себя.

Требование это (в любви ли, в труде ли) как раз и становится той мерой, при помощи которой он проверяет на истинность любые формы человеческого общежития. Но что означают теперь эти самые нормы и формы, когда утративший всяческую ценность старинный слоган “свобода, равенство, братство” и актуальный (в который раз!) лозунг “обогащайтесь!” самым удивительным образом становятся в нашем сознании, по меньшей мере, взаимозаменяемыми?

К чести своей, писатель всегда трезво оценивал народ, не идеализировал, но и не преуменьшал его достоинств. Люди как люди. “У каждого своё пристрастие, своё понимание смысла жизни, своего места в этой жизни. В том числе и в отношении к труду”.

Каждый человек для него представляет особую ценность, каждый из живущих на этой земле — чудный сплав достоинств и недостатков, высоких устремлений и заблуждений. Хотя он как художник давным-давно прояснил для себя, что реальность — это то, чем никогда не нужно довольствоваться, чему ни при каких обстоятельствах не следует до конца поклоняться...

От сцены к сцене, от абзаца к абзацу, даже от фразы к фразе писатель словно бы и не пишет, а “списывает” героев из таких глубин народной стилистики, что становится не по себе.

Иван Переверзин не открывает нам Америки. Он показывает людей, с которыми так или иначе его свела судьба. Зачастую они впустую растратили свой потенциал, слишком много пили и жили, как придётся. “А если не пили, то беспрестанно, одну за другой выкуривали папироски”. Есть над чем задуматься!

Мало кто умеет так поразительно рассказывать о людях, якобы безличных и незаметных, и так убедительно показать нам, что безличных и незаметных людей не существует. Держась как будто повседневности, рассказчик уводит нас далеко за её пределы — к ужасу и красоте современного мира.

Портреты переверзинских персонажей, через которых всего полнее раскрывается сам писатель, почти всегда отстранены, а то и диковинны.

Напомним в этой связи о красноречивом образе одного из малых сих, “шибко страдающих с похмелья”: “Он со своим распухшим и разодранным в кровь лицом ходил взад-вперёд около крыльца, прижимая к груди крест-накрест сложенные руки и глубоко постанывая. Особенно поразил цвет его лица — он был белее зимнего снега и отливал мертвенной синевой!”

Этот мóлодец мог бы явиться гротескным результатом улучшенной цивилизации, если бы не авторская, скажем так, смущённая жалость и вполне отчётливая симпатия, которые Переверзин невольно питает к одному из “малых сих”.

Тут дело не в том, что автора страшат загулы работяг или труд как таковой (мало кто работал в своей жизни с такой отдачей сил, как сам писатель), а в том, что он не приемлет того, что отчуждает человека от самого себя и способно убить его в самом прямом смысле слова.

Автора удивляет не только то, что люди вынуждены вступать в этот мир несвободы, предъявляющий права и на их личность, и на саму их жизнь, но и то, что они готовы свыкнуться с подобным положением вещей, начинают воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. А с другой стороны — сколько в них предвестий наступающих времён!

“Относится ли автор к ним с симпатией?” Ответ однозначный: “Да!”

Иван Переверзин действительно любит своих героев. Он ценит их за удаль и бесшабашность, за силу и даже за вполне понятные слабости и, разумеется, не собирается выгораживать или — не дай Бог, конечно! — придавать им товарный вид. Для него это живые люди, и он показывает этих людей с беспощадностью современного писателя, при этом ни единым словом не отделяя их от себя.

Само чувство любви преподносится им в неоформленном, текучем состоянии. Оно постоянно движется, ежесекундно переосмысливаясь, то заставляя непрерывно меняющимися побочными всполохами, то внезапно

обрываясь и возвращаясь вспять, словно путеводная северная звезда, то и дело ускользает, заставляя человека вновь и вновь повторять раз за разом одну и ту же неотвязную мысль, которую так и не удаётся додумать до конца, освоиться с нею.

*“Любим! Ну, конечно же, любим! И дай нам Бог любить друг друга вечно, несмотря ни на старость, что неминуема, ни на смерть, что на самом-то деле не вечно, как многое в этом мире. И трижды прав пророк, сказавший: “Все проходяще, только любовь не пройдёт никогда!”*

В каждом своём произведении писатель напоминает нам, что отпущенные часы любви, само право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести, все до единой. Но отчего же так *“долго, невыносимо долго тянется время?!”* Словно Господь лишний раз испытывает человека на излом, что только сильные люди имеют право на счастливую жизнь”.

Действительно, Переверзин принадлежит к тем, не так уж часто встречающимся писателям, для которых создаваемая ими литература не ни йоту не отчуждена от них самих, а импульсы мысли – от тектонических сдвигов бытия, для которых творчество является не больше и не меньше, как способом жить. Уже одно это придаёт его прозе и стихам совершенно особый тон неподдельной искренности.

Охотник и мечтатель, Иван Переверзин не в силах забыть *“незакатные дни”* ни одного короткого северного лета. Желание наполнить душу смешанными с болью сладостными мгновеньями прошлого заставляет его вновь и вновь браться за перо.

Если внимательно прочесть написанное писателем, то остаётся убеждение, что он ещё не рассказал нам и малой доли того, что видел и знал. У настоящего художника всегда ощущается что-то ещё помимо написанного им.

Разумеется, это, прежде всего, дневник души. На его страницах не стоит искать автобиографических душевных замет; по меньшей мере, искать их напрямую. Цветущую формулу бытия (такова расхожая формула) Переверзин воспринимает как поэтическую сложность души, нравится нам это или нет. И всеми доступными средствами преобразует эту сущность души в цветущую сложность художественной правды.

Трагический лирик по натуре, Иван Переверзин весьма скептически (если не сказать больше) относится к полотнам современных беллетристов. Бенгальский фейерверк этих сочинений представляется ему надоедливым телевизионным фоном – обманчивым, зыбким, фальшивым, а персонажи, кочующие по страницам книг, напоминают всего лишь бледные тени настоящих, живых людей. А сколько мы повидали на своём веку этих глянцевого издания, блестящих и дешёвых, ушедших с тою же лёгкостью, как и пришли!

Переверзину это не подходит. Его дар – холодный и белый пламень, горящий ровно, надёжно и строго. Никаких *“напыщенных и неизменно фальшивых”* (Иван Бунин) писательских страстей, никаких идеологических мнимостей и манерно-душещипательных пассажей.

Обладая чутким слухом, осязая вещную плоть мира, писатель понимает, что жизнь людей как бы двойится, когда граница проходит между видимым слоем, поверхностным и неистинным, и скрытым – таинственным и подлинным. Внешней стороне житейской событийности он противопоставляет самодостаточность *“внутренней биографии”*:

*“Это меня мучило, но в то же время заставляло из последних сил, а когда они заканчивались, то и исключительно на одной воле продолжать всё, что стало смыслом моей жизни!”*

Переверзин весьма искусно пользуется избранной им формой *“непосредственного рассказа”*. Он не описывает – он сопереживает. Он не отражает – он изображает. Он не берёт – он ищет.

Главная особенность этой манеры – простота, ясность, та самая непосредственность, которая дорогого стоит, и какая-то особенная увлекательность сюжета.

Незавершенность, присущая переверзинскому повествованию, пронизывает в *“Росомахе”* все уровни текста. *“К счастью, жизнь не стоит на месте. Горести сменяются радостями – и наоборот. И не зря говорят, что время лечит не только физические, но и самые глубокие раны”*.

Если Астафьев или Распутин в своих реалистических произведениях стремились предельно ясно и исчерпывающе выявить суть человеческого

характера и те отношения, в которые люди вступают между собой, то поэтика повествования Переверзина, сама система отношений его героев держится на некоей недосказанности, недоговоренности. Факты имеют значение лишь настолько, насколько они могут дать художнику возможность через них разглядеть то, что скрыто за ними.

“Воодушевление” (это слово у Платонова многозначно, но, прежде всего, означает подспудный поиск “лучшей участи”) никогда не покинет сердца людей. Воодушевлённая деятельность под пером Ивана Переверзина — это деятельность, прежде всего, мужчин, порой безжалостных, порою широко и свободно великодушных, но всегда твёрдых, последовательных и сильных.

Всякий раз писатель открывает для нас как будто заново этот свет воодушевления, когда человек, практически каждый человек не знает своих пределов, он может перешагнуть через себя, рассмеяться смерти в лицо и подарить жизнь ближнему или отдать за него свою.

Как сказал однажды поэт, “есть всюду жизнь, и здесь была своя”.

Писатель попытался создать “не роман, но книгу”. Можно сказать, что в воссоздании этой жизни он самобытно скрестил, пожалуй, всё самое лучшее, что было освоено нашей литературой за последнее время. А ещё Переверзин умеет хранить верность. Верность не только близким людям, но и великой русской литературе, которая однажды и навсегда овладела его сердцем.

В новой книге можно найти немало привлекательных черт — распахнутость и глубину, нравственный максимализм и наблюдательность, искренность тона и определённую суждений. Даже в “энергии заблуждения”, по выражению Льва Толстого, Иван Переверзин раскрывается как самобытный писатель со своим оригинальным видением мира и неповторимой манерой письма.

Некоторые порицатели считают Переверзина автором неровным, уязвимым для критики, хотя, несомненно, высокоодаренным — в таланте ему не отказывали даже те, кто был нетерпим к его самостийности. Например, с пренебрежительно-высокомерной точки зрения якобы утонченных эстетов и высокобланных интеллектуалов Переверзин слишком близок к народу.

Подобные критические разборы слишком уж смахивают на болтовню, которую вели промеж собой достославные Парки, ткущие нити человеческих судеб. Несть спасения от этих разговоров.

В таких случаях мелочный литературный быт поднимается столбом пыли и дыма до самого неба.

А что? Очень даже может быть. Вполне допускаю мысль, что поэт не принадлежит ни к одной литературной группировке и, риску предположить, плохо знаком с нравами московской богемы. Жизнь как жизнь. История продолжается.

Иван Переверзин не нуждается в защитниках. Мало ли каким он подвергся упрекам — и прошёл мимо. Но кто из них, пустозвонов и умников, собственными руками возделывал и улучшал этот мир — возводил жильё и сплавлял лес, косил траву и выкорчёвывал пни, поднимал детей и отстаивал писательскую правду, колотил кедр и “на практике постигал все премудрости такого непростого дела, как охота”?

Главное, конечно же, заключается в другом. А именно в том, с каким азартом и упрямством писатель совершает свой невидимый творческий подвиг, возделывая собственную душу и по крупницам собирая самого себя как писателя.

В этой тяге к непрерывному жизненному развитию, к преодолению “исторической судьбы”, несмотря на выпавшие испытания и “личную, часто смертоносную судьбу”, прослеживается судьба всего нашего народа. Теперь многое становится понятным. Всё та же близость к народу, привязанность писателя тому, что сохраняет и поддерживает эту связь.

Долгие годы Иван Переверзин жил в краю, где борьба за жизнь приобретает характер убийственной простоты и бесчеловечной ясности.

Соки земли питают лишь тех, кто хранит верность исконной мудрости матери-земли. Исследуя русский национальный характер, писатель забирается в такие “медвежьи углы”, где людей привязывает к дому лишь семья, дети, привычный труд и кресты на могилах предков.

*“И снова я стал обретать присущую мне силу духа и непоколебимую веру в будущее, словно почувствовал, сколько испытаний предстоит мне выдержать и выйти из них победителем — через боль и радость, через потери и обретения...”*

Именно эта жизнь научила его любить, сражаться и верить. И как русский человек Переверзин хорошо усвоил её уроки. Он ищет и находит своих героев в том единственном месте — в народе, зачумлённом горем и нуждой, но все ещё хранящем в себе тайну своего терпения и существования.

В его мудром жизнелюбии гармонично и совершенно отозвалось понимание народом истинной цены жизни “даже на бедной и скучной земле”, где и **“голодно, и болезненно, и безнадежно, и уныло, но люди живут, обречённые, не сдаются”**. Ведь не выдуманы же эти люди, сеявшие хлеб, ловившие рыбу, добывавшие зверя. Из самой жизни взяты.

*“А мои мозги не покидала мысль о росомaxe, цена которой оказалась всего две бутылки спирта. Но, вспомнив молодого парня, который мог и вправду, не опохмелившись, умереть, я подумал: “Да, цена шкуры росомaxи оказалась действительно небольшой, но она могла, случись страшное с парнем, взлететь и до цены человеческой жизни. Только вот есть ли на свете такая цена? По крайней мере, я — не знаю. И, может, не узнаю никогда. . .”*

Этой мужественной правде жизни нельзя не верить, когда читаешь рассказы талантливого писателя. В них чувствуется не просто правда, а своя, глубоко выстраданная истина, громадный личный опыт, следы перенесённых в действительности невзгод, трудов, наблюдений. Потому-то северные повести производят такое чарующее и неотразимое впечатление.

Такие писатели, как Иван Переверзин, по словам Н. В. Шелгунова, “носили эту жизнь в себе, как носили в себе русский мир, жили они в нём, и, когда нужно было говорить об этом мире, они не творили, не измышляли, не сочиняли, а просто рассказывали то, что сами переживали, перестрадали, вынесли и видели. Тут, если хотите, не процесс творческого измышления, а сама жизнь”.

Мировоззрение человека меняется медленно и трудно (если вообще можно говорить о каких-либо переменах в этой области). Всякий раз новое причудливым и странным образом сочетается со старым. Но своеобразие представленной прозы не только в этом.

Например, “Невосполнимая утрата”, по сути, является стихотворением в прозе. В этом эссе Переверзина вновь открыто и сильно напомнил о себе голос чувства, искренний и внятный, отлитый в законченную художественную форму. Самый строй и лад мысли героя и автора у него максимально сближены. Переверзин пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает. Все его отступления, восторги, крайности, которые были бы фальшивы у другого, образуют авторскую непринуждённость стиля.

Язык писателя — язык родной земли. Такая речь возникает, когда рассказываешь свои истории, один на один, самому близкому человеку, такая речь могла сложиться лишь в тесном общении человека с природой, в трудной простоте и мудрости народного характера. Это сближение заставляет нас задуматься не только о судьбах русского человека в прошлом, но и его настоящем и будущем.

Однако же, смею заметить, что, на мой взгляд, Иван Переверзин далеко шагнул за круг литературных авторитетов, которых он некогда выбрал себе в качестве ориентира; во всяком случае, для меня это более чем очевидно. И всё же учитель, конечно же, у писателя есть: тот единственный учитель, которому обязана своей силой и непритворством русская литература. Этот учитель — русский народ.

Наверно, поэтому на его книге лежит отпечаток задушевного мужского разговора, и всегда чувствуешь, что автор говорит не “людям вообще”, а какому-то одному очень близкому человеку, он один только и важен для писателя, только он и может понять всю глубину и значительность сказанного.

Мне нравится в новой книге автора её спокойная сила, твёрдый и ясный ум, мужество и верность традициям отечественной прозы.

Это впервые было явлено ещё в лирических опытах автора. Именно в поэзии, как оказалось, Иван Переверзин сумел сфокусировать весь свой жизненный и творческий опыт, и от неё, как от камня, брошенного в воду, кругами разбегаются темы, мотивы, образы его настоящих и будущих прозаических откровений.

## ИЕРОГЛИФЫ И КИРИЛЛИЦА

### *Писательские встречи в Шанхае*

Нас собрали со всей России. Пропустили через сито двойного отбора. Сначала свои кандидатуры предложила российская сторона, основываясь на рекомендациях преподавателей Литинститута, редакторов толстых журналов, руководителей региональных писательских организаций. Затем над списком основательно поработали китайцы. Они учитывали премии, полученные на конкурсах, отзывы в прессе.

И вот мы летим в Шанхай, и стюардесса по громкой связи напоминает – наш самолёт носит имя русского классика Антона Чехова.

Мы – это 16 прозаиков и поэтов, участников Форума молодых писателей России и Китая. Форум проводится в первый раз, и от того, насколько представительным он окажется, насколько содержательными и яркими будут выступления, во многом зависит судьба литературных связей молодёжи двух стран. Дома мы могли спорить, конкурировать, но здесь были единым целым. На несколько дней мы стали представителями всей молодой русской литературы.

После девяти часов полёта приятно ощутить твёрдость земли. Мы с наслаждением подставляли лица неверному предзимнему солнцу. Хотя какая там зима: в Шанхае – плюс 17!

Рассевшись в автобусе, мы с жадностью всматривались в мелькавшие за окнами образы незнакомой жизни. Слушали байки бывалого путешественника Олега Бавыкина, главы Иностранной комиссии, или, как его именуют в шутку, – министра иностранных дел Союза писателей. Забрасывали вопросами известного Китаиста Игоря Егорова, переведившего Мо Яня задолго до вручения ему Нобелевской премии. Ловили забавное мелодическое произношение наших переводчиц. Мы оставили дома напряжение и тревоги и просто поплыли по течению, вверив себя заботливым хозяевам.

Со стороны мы не были похожи на типичную группу русских туристов. Ну, разве что однажды, когда пытались расспросить местных, как пройти к станции метро. Увы, знание английского и французского не спасало. Нашу коллективную пантомиму – “поезд под землёй” – китайцы тоже не оценили. Хотя некоторые, видимо, из жалости к затерявшимся иностранцам, показывали нам дорогу – в противоположные стороны одновременно.

Днём мы скорее выглядели молчунами. А вот вечерами собирались в чьём-то номере, но не столько, чтобы поделиться впечатлениями, сколько чтобы добрать новых эмоций от общения друг с другом. Мурманск, Иркутск, Омск, Вологда, обе столицы... Увидимся ли мы ещё когда-то? Найдутся ли заинтересованные люди, такие, как Олег Бавыкин, которые приложат столько усилий, чтобы подарить молодым шанс? Хочется верить, что мы будем встречаться хотя бы на страницах литературных журналов. Кстати, многим из нас именно журналы открыли дорогу в литературу. Приятно, что наиболее широко на Форуме были представлены авторы “Нашего современника” – Андрей Антипин, Андрей Тимофеев, Настя Чернова, Лена Тулушева, Олег Сочалин.

Мы такие разные, с такими непохожими литературными историями. Время здесь летело ещё быстрее, чем в российской суеде. Нам так много хотелось сказать друг другу, так много спросить и услышать, так много успеть запомнить, да и насмеяться вдоволь. Не говоря уже о нашем русском – попеть и попить. Ну ладно, будем честны, выпить. (Как ни пытались мы встроить местную еду в наше застолье, куриные лапки и маринованные водоросли всё-таки проиграли одному-единственному на всех батону колбасы с буханкой чёрного хлеба.) Андрей Антипин догадался привезти с собой не только хлеб родного дома, но и видео родного края. Ночью в номере шанхайского отеля шумная русская компания смотрит в ноутбук на прохладные леса и медленные реки Прибайкалья, на глухие деревни и разошедшиеся домишки, слушает родные напевы. . .

Пусть читатели не думают, будто мы прохлаждались в Шанхае. Прохлаждаться? Где угодно, только не на китайских мероприятиях! Всё подчинено жёсткому графику.

В Шанхайском университете мы общались со студентами-филологами и переводчиками и были поражены их уровнем владения русским языком. И это при том, что некоторые изучают его всего пять-шесть лет. У нас возникли большие сомнения, могут ли русские студенты так же качественно овладеть китайским за столь короткое время.

Помимо профессионализма, наши переводчики приятно радовали своей открытостью, неподдельным интересом к русской культуре, своей начитанностью. В социальных сетях они размещают портреты Пушкина и русские пейзажи, цитаты Толстого и строчки Есенина!

Два дня Форума были распланы по минутам. И, как ни пытались мы своей русской душой несколько раздвинуть рамки, перейти на формат бесконечной дискуссии, китайская сторона настойчиво соблюдала запланированные сроки. На открытии заседания от нашей делегации выступал Сергей Николаевич Есин, бывший ректор Литературного института. Его присутствие было не только ценным, но и символичным. В делегации немало выпускников Литературного института.

Андрей Тимофеев, единственный из молодых писателей, был приглашён выступить на пленарном заседании. Как и подобает официальному докладчику, Андрей был строг, но справедлив. Он анализировал тенденции современной русской литературы, сравнивал стили таких авторов, как Прилепин, Сенчин, Шаргунов, говорил о новых именах.

Выступления китайских филологов и писателей поражали своим разнообразием и глубоким знанием нашей литературы. В моей секции писатель Чжан Яньян восхищался русской традицией воспитания в детях любви к природе. “Вы учите детей бережно относиться ко всему живому, я люблю за это русскую прозу”. Чжан подкрепил свои выводы цитатами из Пришвина и Паустовского. Знают ли наши писатели китайских авторов так же хорошо? А ведь сказки Пушкина в Китае изучают в рамках школьной программы. . .

Мне захотелось порадовать китайских хозяев. Вспомнила в докладе и знакомые с детства мудрые и загадочные “Рассказы Ляо Чжяя о необычайном” и “Речные заводы” – многослойный китайский роман о благородных разбойниках, воспринимавшийся в детстве как “Легенды и мифы Древней Греции и Рима”. Рассказала, что русскому читателю из современных китайских авторов известен не только Мо Янь, но и другие писатели, в частности, Лю Чжэньюнь. Его роман “Я не Пань Цзиньянь” часто называют сатирическим, хотя я увидела в нём психологическую драму.

Мы говорили и спорили о многом. В одной из секций развернулась дискуссия об образе Анны Карениной. Мы спросили китайских коллег: могла ли Анна Каренина появиться в Китае? Их молчание было таким затянувшимся, а лица столь удивлёнными, что казалось, будто вопрос неправильно перевели. Выяснилось – дело не в переводе. Удивились ребята самой мысли, что подобная героиня могла бы быть в Китае. Не удержусь и процитирую ответ: “Нет, это невозможно. Потратить жизнь на любовь – это не соответствует нашим традициям. . . Уходить из семьи ради любви? Китайская женщина даже не раздумывала бы об этом”. Мы были поражены. Мы – русские, люди чувств и эмоций, “козь рубить, так уж слеча”. И они – как будто с другой планеты. . . Но сколько интереса и уважения в них к нашей литературе, к нашим традициям. Китайцам далек наш образ мысли, но они пытаются понять нас, изучают



культуру, анализируют творчество. Как редко у русского человека встретишь такой интерес к тому, что отличается от его привычного мироощущения!

Самый неординарный формат ждал нас на поэтическом вечере. Китайские поэты читали свои стихотворения, а затем русские ребята – свой перевод. Русских поэтов китайцы также перевели и зачитывали вслух. Столь непохожая поэзия, столь непонятные китайцам наши рифмы и ритмы... Наверное, о поэтическом вечере лучше расскажут сами поэты. Им довелось поработать друг с другом, познакомиться через стихи. Мы, прозаики, просто получали эстетическое удовольствие, любуясь молодыми дарованиями.

Но финальный аккорд в калейдоскоп впечатлений внес главный организатор Форума – директор Института мировой литературы Чжэн Тиу, прочитав нам Гумилёва. То, как читал последние строки китайский профессор, создало щемящее ощущение удивительной близости и духовного единства:

*...Ничего я в жизни не пойму,  
Лишь шепчу: “Пусть плохо мне приходится,  
Было хуже Богу моему,  
И больнее было Богородице”.*

К слову, о поэзии. Мы исполнили свой паломнический долг, принесли букет символу почитания русской литературы в Китае – памятнику Пушкину. На пересечении двух скверов стоит, уже в третий раз восстановленный, бюст нашего великого поэта. И удивительно по-питерски выглядит этот квартал: тенистые аллеи, невысокие европейские усадьбы, вальс шуршащей листвы, русская речь... На мгновение показалось, что мы дома. И каждый, наверное, о чём-то своём спросил у поэта, надеясь ещё когда-нибудь вернуться, может быть, уже известным русским писателем.

Ну а пока мы продолжали спорить, спрашивать, обсуждать... Одну из самых острых тем этого форума предложила китайская писательница. Она озглавила доклад несколько туманно: “От русской матери к русскому брату”. Но после перевода её выступления нам стало печально. Писательница говорила о месте русской литературы в мироощущении китайцев. О том, что когда-то наша классическая литература была для китайской своего рода матерью. Современную нашу литературу они уже воспринимают лишь на уровне брата. Безмолвно повис вопрос, кем мы – молодые русские писатели – станем для китайских коллег в ближайшем будущем... младшим братом? учеником?

Возможно, именно такие выступления нужны молодым авторам, чтобы, вернувшись домой, приступить к творчеству более вдумчиво, осознавая ответственность за себя, как за русского автора, наследника тех уникальных традиций, которые должны быть достойно продолжены.

**Елена Тулушева**

---

*Поздравляем с 80-летием нашего автора и друга Дмитрия Михайловича Урнова! Желаем вдохновения, творческих удач, долгих лет жизни.*

*Редакция*

## ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2015 ГОДА

**Премия имени В. В. КОЖИНОВА** за статью “Убеждение” (№ 11), а также за активную нравственную позицию в литературе и в жизни присуждена Михаилу Петровичу ЛОБАНОВУ.

**Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА** (номинация “Молодые прозаики”) за повесть “Воскрешение мумий” (№ 10) присуждена Платону БЕСЕДИНУ (г. Севастополь).

**Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА** (номинация “Молодые поэты”) за подборку стихов “Сбивается размер бегущих строчек” (№ 10) присуждена Кристине КАРМАЛИТЕ (г. Новосибирск).

**Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА** (номинация “Молодые историки и публицисты”) за статью “Право России на Арктику” (№ 8) присуждена Наталье ИРТЕНИНОЙ (Подмосковье).

**Ежегодные премии за лучшие публикации 2015 года присуждены:**

— Владимиру БЕРЯЗЕВУ, поэту — за подборку стихов “Горизонт неохватен” (№ 1);

— Михаилу ГУЦЕРИЕВУ, поэту — за подборку стихов “Плоть и суть” (№ 10);

— Игорю ЗОЛОТУССКОМУ, критику — за статью “Прощай, XX век” (№ 12);

— Борису КЛЮЧНИКОВУ, публицисту — за статьи “Сумерки Вашингтона” (№ 1), “Путеводная звезда Жанны д’Арк” (№ 3), “Халифат и закат Европы” (№ 9);

— Юрию КЛЮЧНИКОВУ, поэту — за подборку стихов “Генералиссимус побед” (№ 5);

— Юрию КОЗЛОВУ, прозаику — за статью “Толстые” журналы и Год литературы” (№ 11);

— Наталье КОРНИЕНКО, литературоведу — за статью “Неужели судьба моя — вечно война, о войне...” (№ 12);

— Юрию ЛОЩИЦУ, прозаику, поэту — за повесть “Мои домашние святые” (№ 6);

— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за роман “Танец победителя” (№ 5—7);

— Александру ПРОХАНОВУ, прозаику — за роман “Убийство городов” (№ 2—3);

— Лидии СЫЧЁВОЙ, прозаику, публицисту — за статью “Цифровое человечество на распутье” (№ 11);

— Юрию УБОГОМУ, прозаику — за повествование “Время вокзала” (№ 9);

— Андрею ФУРСОВУ, политологу — за беседу “Россия, мир, будущее” (№ 9);

— Ивану ЧАРОТЕ, литературоведу — за статью “Реальное против идеального” (№ 6);

— Михаилу ШЕЛЕХОВУ, поэту — за подборку стихов “Волчье поле” (№ 1).

**Премия имени Бориса КОРНИЛОВА** присуждена КУНЯЕВУ Сергею Станиславовичу.

**Премии литературного конкурса “Справедливой России”** присуждены Андрею ТИМОФЕЕВУ, Платону БЕСЕДИНУ, Елене ТУЛУШЕВОЙ за произведения, опубликованные в журнале “Наш современник”.

**Поздравляем лауреатов!**